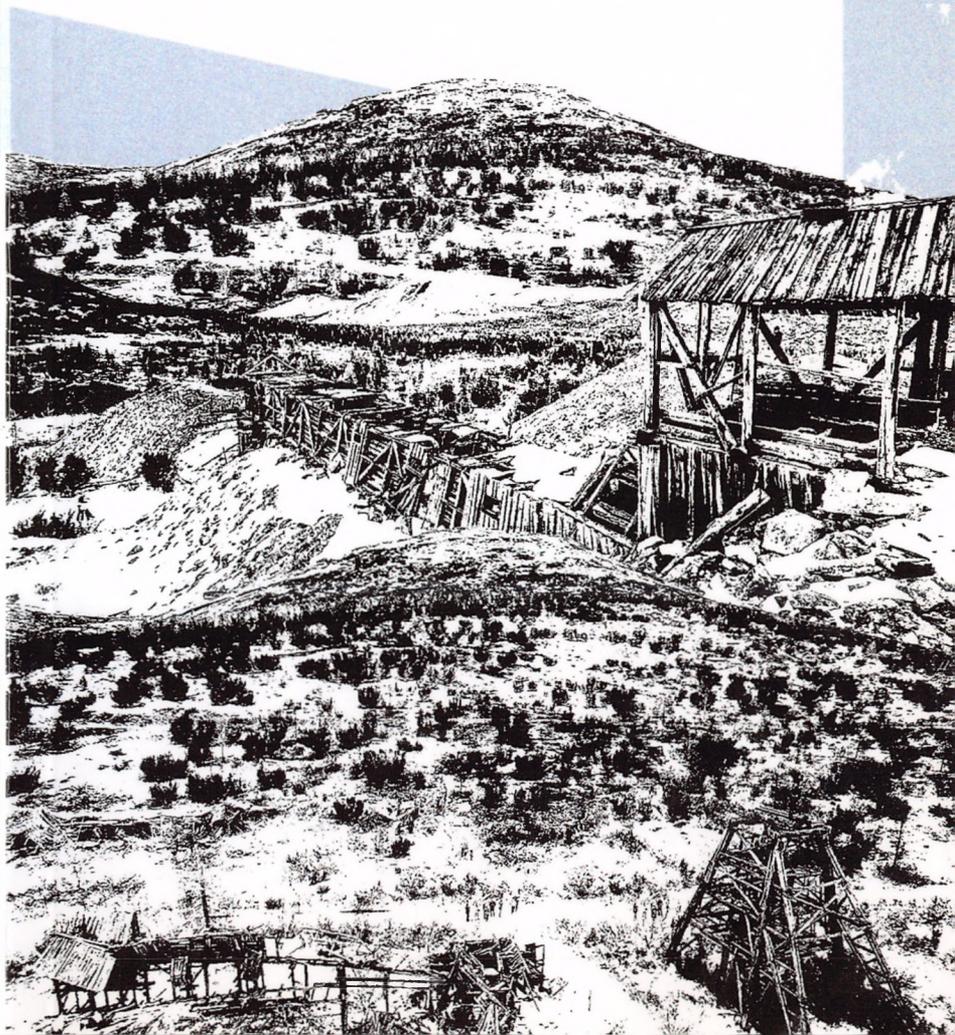




Валерия Шубина

КОЛЫМА СТАНОВИТСЯ ТЕКСТОМ



Валерия Шубина

КОЛЫМА СТАНОВИТСЯ ТЕКСТОМ

Валерия Шубина

**КОЛЫМА
СТАНОВИТСЯ
ТЕКСТОМ**

Москва
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ
2018

УДК821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44
Ш95

Шубина Валерия

Ш95 Колыма становится текстом — М.: Новый хронограф, 2018. — 528 с. — ISBN978-5-94881-402-5

Валерия Шубина — прозаик, эссеист, публицист. Автор ряда книг прозы, в том числе «Мода на короля Умберто», «Гербарий огня», «Женщина-катафалк», «Недобитые, праздные», «Портрет из холодного воздуха», а также очерков об охоте «Станица золотого фазана».

Герои новой книги В. Шубиной — лагерный друг Шаламова писатель Георгий Демидов и главный редактор журнала «Москва» Леонид Бородин, автор знаменитого майора Пронина Лев Овалов и Розалия Землячка, Ахматова и Берлин. Тема Колымы, Гулага подана автором в прямой связи с днем сегодняшним.

ISBN 978-5-94881-402-5.

© Шубина В.С., 2018
© Издательство «Новый хронограф», 2018

От автора

Имя Орфея не случайно попало в заглавие первой главы моей книги. Из произведений, вдохновленных этим мифическим персонажем, можно составить целую библиотеку. Творения художников, скульпторов, композиторов дополнили бы ее до размеров музея.

Прочное положение Орфея в искусстве несколько пошатнулось после публикации прозы Варлама Шаламова. Читатели помнят знаменитые слова Шаламова о месте писателя в жизни: *«Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад»*. Этим словам суждено было прозвучать в двадцатом веке. Правда, попытка переосмыслить миф об Орфее была предпринята и в девятнадцатом, когда Жак Оффенбах заставил своих героев отплясывать канкан в аду, посмеявшись над смертью. Но дальше иронии такая трактовка не шла. В 1858 г. Европа еще не созрела для пренебрежения Дантовским представлением об аде, где каждый получает по заслугам. Мир только стоял в преддверии войн, концлагерей, Гулага, испытания атомной бомбы, терроризма. Именно двадцатый век отличился тем, что массовое сошествие в ад произошло с помощью государства. Не всем было суждено совершить обратный путь против времени: из смерти в жизнь. И потому Плутон, о котором говорит Шаламов, как бы законный выходец с того света, и на земле останется ревнителем умершей формы жизни как единственно допустимой. Подобно гоголевскому Вию он будет кричать: «Вот он!», уставляя в жертву железный палец.

Самим пребыванием на земле Плутон обречен преследовать и теснить Орфея, как обречен Орфей остаться растерзанным и жить после смерти. Таков Орфей и сейчас, как всякий, действующий на свой страх и риск и оставленный один на один с жизнью, где гуманистическое начало отчуждается в аутсайдеры. Быть Орфеем в самом широком смысле значит быть преследуемым и отторгнутым, значит находиться в напряженных отношениях с властью, отчасти — с обществом, которое поляризуется, уходит в группы и кланы.

Да, Шаламов знал Колыму. Сойдя в ад Орфеем, он Орфеем и вышел, и это не дало ему раствориться в человеческом потоке. Где-то там, на Колыме, осталась иссохшая кожа, которая в виде перчатки слезла с его руки от дикого истощения и невзгод. Слезла, и он бросил ее на снег, «в лицо колымского льда». За этим простым рассказом об отчужденной телесности стоит реальность, которая вызывает в памяти картины страшного суда Босха. Человеческая кожа в виде перчатки подобно ритуальным пророческим символам захороненных цивилизаций являет руку Орфея, нашего современника. Мысль, вынесенная оттуда, не умерла с ним. У нее давно своя жизнь, которая идет дальше своего носителя, открывая миры за пределами мифа.

Композиция книги, расположение частей и их взаимная связь повторяют сюжет о сошествии в ад, пребывании в мире блаженных теней и следующей жизни. В книге содержится малоизвестный материал о выдающемся писателе двадцатого века Георгии Демидове — лагерном друге Варлама Шаламова, а также новые версии человеческих и писательских судеб Леонида Бородина, И. Бродского, А. Ахматовой, М. Горького. Вторая часть книги содержит пять этюдов к автопортрету, включая и автора этой книги в пространство мифологического сознания.

ЧАСТЬ I
НИЗВЕРГНУТЫЕ

КОЛЫМА СТАНОВИТСЯ ТЕКСТОМ

ОРФЕЙ, ТЫ ТОЛЬКО УБИТ

*Пять этюдов к портрету
писателя Георгия Демидова:
о заключенных, начальниках, конвоирах,
а также шпане и любви*

...Самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов, харьковский физик.

Варлам Шаламов, 1962

1. Жить, чтобы рассказать

Вернувшийся с Колымы, реабилитированный политический заключенный Демидов Георгий Георгиевич, в прошлом физик-экспериментатор, ученик Ландау, еще на каторге дал себе слово описать пережитое. В самом факте письменного свидетельства он видел оправдание своей жизни, тех двадцати лет, которые прошли в тюрьмах, лагерях, ссылке: «Я пишу потому, что не могу не писать».

На публикацию при существующем режиме он не надеялся, хотя с горечью говорил: «Неизданный писатель — это что-то вроде внутриутробного существа, эмбриона. Утешает только возможность рождения и после смерти».

Для произведений подобного рода оставался лишь подпольный способ распространения, что не сулило ни авторам,

ни их единомышленникам ничего хорошего. На сей раз арестовали не автора, а его произведения.

Даже способность держать удар в таких случаях ничего не меняет: человеческому есть предел, а сверхчеловеческое только мешает. Время террора прошло, но доносы, официальные угрозы, окрики никуда не девались. И вспоминается ответ страстотерпца Аввакума своей протопопице, спросившей: «Долго ли еще мучиться, батюшка?» — «До самыя до смерти, Марковна».

Надежды не было и у Демидова, да она и прежде не грела его. На каторге он отучился уповать. С годами тема, которой Демидов посвятил жизнь (советская каторга, Колыма), перестала считаться запретной. Но его уже не было в живых, он умер в феврале 1987 г. Летом того же года дочь писателя Валентина обратилась с письмом к члену ЦК КПСС А.Н. Яковлеву, в результате чего ей были возвращены рукописи отца.

Нередко посмертное бытование человека оказывается важнее и убедительнее самой жизни. Она, земная, проживается как бы начерно, следующая за ней, посмертная, — набело.

Три книги рассказов и повестей (Оранжевый абажур. М.: Возвращение, 2009; Любовь за колючей проволокой. М.: Возвращение, 2010; Чудная планета. М.: Возвращение, 2011) читаются на одном дыхании. Впечатление?.. Не говорить, а рыдать — вот, что просится к изъявлению. Оттого, что нельзя изменить прошлое, оживить замученных и расстрелянных, нельзя заменить идеологический фанатизм человечностью и восстановить в правах милосердие. Нельзя. Но текст... Он жив душой. Вопреки всему он утверждает: «У Бога нет мертвых».

Есть действительность, которая сопротивляется художественной обработке. Эта действительность тяготееет к молчанию. Жест, которым у Соловецкого камня на Лубянке

люди стягивают с себя головные уборы, пожалуй, более всего соответствует ей. Жанр мемуаров спасает в таких случаях. Но если мы имеем дело с автором, у которого орфическое начало сильнее гражданского, то сталкиваемся с тем, что, казалось, воплотить невозможно. Для мира проклятого и жестокого нужна особая всепроникающая человечность. В известной арестантской песне этот мир с горькой иронией назван «чудной планетой»:

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа Чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума.
Возврата оттуда уж нету.

По прошествии лет эта песня стала народной. Цитируемый отрывок предпослан одной из книг Демидова, которая так и названа — «Чудная планета».

Лагерь Галаганных, где происходит действие большинства рассказов, считался Колымским Крымом: тут мороз всего лишь пятьдесят градусов. Сразу погибали здесь заключенные-новички: от тяжелого труда, перемены климата, болезней, да просто от обыкновенной тоски, «*хотя в официальных документах этот пункт не значитя*», — пишет Демидов. Доходяги из горных, самых страшных, лагерей — каторжанских приисков и рудников, переведенные сюда на поправку здоровья, быстро освобождались досрочно («врезали дуба») от дистрофии в необратимой стадии. Про таких говорили, что они остались должны прокурору недоработанный срок.

Что человек!.. Даже оледенелое море здесь щетинилось торосами, напоминающими доисторических чудовищ с ощеренной пастью. А люди ходили на фитилей. Они старались как можно дольше продлить состояние полусна-полубодрствования, сохранить «свинцовую притупленность чувств и мыслей». И при малейшей возможности делали это

перед выходом на развод, сгрудившись у горячей печки. Состояние невыразимое, понятное тому, кто там был.

«Ну, шо вы за народ! — ругался и кричал комендант Осипенко, когда заключенные после четырнадцатичасовой обязательной смены едва волочили ноги на еще одну сверхурочную. — Для сэбэ и то робить не хочете!»

Рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся караульной вышки, ремонт карцера и вправду имели к арестантам самое непосредственное отношение, а они, надо же! не спешили хвататься за ломы и тачки. Им, похоже, хотелось завить от понуканий конвоя.

Легче всего взглянуть на прошлое оком страдальца. Но это чуждо художественной прозе Демидова. Проклятая, жестокая, тупая — и все-таки... Для автора Колыма сложнее этих определений. Как слово «чудная» находится в оппозиции к слову «чудная», так мысли Демидова не подчиняются мраку.

Автобиографический опыт становится художественным фактом. В прозе Демидова «ЧТО» и «КАК» совпадают. Благодаря этому описание перерастает рамки реального случая и перемещается в параллельный сотворенный автором мир Гойи, Рембрандта, Достоевского, Кафки, Джойса...

Имя ирландского писателя, который открыл для словесности возможности хаоса, упомянуто не случайно. Оно связано с бунтом против литературной традиции. Что-то подобное движет и Демидовым, энциклопедическая память которого ориентирована на создателей мировой и русской литературы. Однако про Демидова нельзя сказать, как про Джойса, что текст как бы часть его плоти. При чтении «Улисса» возникает впечатление, что роман постепенно теряет зрение, как сам Джойс. Конец с последним завершающим «Да», утвержденным точкой, удостоенным заглавной буквы, воспринимается как гимн человеческим соблазнам. Такое немислимо у Демидова.

Его «Нет» заложено в первой же строке. Каждый поворот сюжета готовит взрыв, опрокидывает не то чтобы ожидаемое, а вообще традиционное представление. Описывая событие как личную ситуацию, свидетельствуя об особом закрытом мире, где действует адский порядок, он ниспровергает его, не видя в нем места для приемлемых человеческих отношений.

Все же более других Демидов созвучен Имре Кертесу, нобелевскому лауреату 2002 г., бывшему узнику Освенцима (роман «Без судьбы», повесть «Кадиш по нерожденному ребенку» в блестящем переводе Юрия Гусева). Как и демидовское, «Нет» Кертеса не просто междометие. Это сигнал катастрофы, которая не изжита, адресованный всем, в том числе и тому, пишет Кертес, «кому будет стыдно за нас».

2. Погребенная нежность («Дубарь»)

Искаженный человеческий мир, претендующий на господство, соотносится у Демидова с незыблемой вечностью космоса, мирозданием. Может быть, любовь к музыке (а это чувствуется на многих страницах его прозы) и дала увидеть в холодном богопокинутом мире не тьму, а свет. Подобно Александру Скрябину, кто объединил звучание музыки со светом, Демидов привносит в свою прозу своеобразный «Прометеев аккорд». Он слышен уже в первом рассказе, которым открывается сборник, «Дубарь».

В кои веки выпавший выходной день доходяга получает задание — зарыть на погосте дубаря (покойника). Спасительной грыжи у доходяги не имелось, почтенного возраста тоже, на таких, как он, в лагере полагалось пахать. А мерзлая глина вперемешку с речной галькой — как раз

такой случай: хоть и прочней бетона, но тоже земля, и препираться с нарядчиком из-за чертовой работенки себе дороже, чего доброго, еще куб мерзлоты навяжет. Только подневольному и оставалось, что отводить душу руганью: *«И угораздило же этого дубаря загнуться именно сегодня!»* И он злобствовал и честил покойника. И посылал ему тысячу чертей. А когда взял лом, кирку и лопату и направился по непротоптанному снегу на кладбище, выяснилось, что «дубарь» это мертвый младенец.

Вот, собственно, и весь сюжет. Но для Демидова это повод разбудить в обессиленном, опустошенном зэке все человеческое. Не только человеческое, но и вселенское.

«Стояла глубокая, торжественная тишина. Наверно, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть, там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое, потухающее светило...»

Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж, в котором и прежде замечал что-то от холодного величия Космоса. Однако только сейчас закат над полярным морем вызвал у меня не только мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и преходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной и зовется жизнью...»

Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную вселенную. И это только начало!»

Дети на этой чудной планете появляются совсем не для жизни. По ним, нежеланным, никому ненужным, звонит не колокол, а кусок мерзлого рельса — «рында», подвешенная на столбе лагеря. Да и звонит-то в голове автора, не желающего отпустить никого на тот свет без прощания.

Младенца нагуляла на сенокосе «оторва-блатнячка» из женской зоны и родила, месяц не доносив. Всего часа четыре «дубарик» и прожил. И сразу повествование меняет тональность. С героем что-то происходит, и это *что-то* состоит из чувства вины и *«чего-то еще, давно не испытанного, но бесконечно теплого, трогательного и нежного»*.

Конечно же, Сретенье приходит на ум. Но «Ныне отпускаеши», подобно старцу Симеону, увидевшему новорожденного младенца Христа, не может сказать о себе герой. Не о старце Симеоне думает, а о милосердии смерти, предвидя судьбу противозаконно появившегося на свет ребенка, который никому не нужен, даже его матери.

В этой сцене нет оглядки на Библию, нет упоминания о Симеоне, но сравнение напрашивается само собой. Герой рассказа — атеист, но ум его, питаемый неосознанным христианством, стихийно, подсознательно религиозен, и слова о том, что душа — христианка, так и вспыхивают в голове. И ничего другого не мыслится, кроме того, что вот еще одна жертва, но не ради будущего Воскресения, а в ряду духовных падений. Вот вам и современный ответ Ф.М. Достоевскому на слезинку ребенка.

Сама природа потворствует смерти: холод и равнодушие пронизывают ее. Но Демидов был бы не Демидовым, если бы перенял от нее хоть частичку. Может, этот желтовато-розовый младенец в лучах полярного солнца и появился затем, чтобы герой почувствовал себя человеком. В этой страшной дыре, устроенной одними людьми для других, на дне жизни, где затруднено любое интеллектуальное проявление, где невозможно никакое желание,

кроме чувства голода и стремления выжить, он признается: «Под заскорузлым панцирем душевной грубости, наслоенной уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упраздненным за ненадобностью. Было тут, наверно, и неудовлетворенное чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве. Хлынув из каких-то тайных, душевных родников, они разом растопили и смыли ледяную плотину наносной черствости. Теперь не только грубое слово, но даже грубая мысль в присутствии моего покойника показалась бы мне оскорбительной, почти кощунственной».

Кто-то однажды сказал, что поэзия невозможна после Освенцима, а потом это повторяли сотни раз. Наверное, невозможна, но... Кто верит, что с каждым новым человеком Вечность начинает все заново, поэзия даже в прозе возможна. И тогда она — то, что вы ищете. Может быть, та самая печаль, которая светла, только возникает уже не «на холмах Грузии», а «на севере диком», и входит в круг сопереживания всех, кто ее сотворил и кого она притянула. Тонкие аллюзии на знаковые темы мировой культуры вводят ситуацию в систему бесконечных эстетических параллелей несмотря на то, что шедевр Демидова назван страшным тяжелым словом «Дубарь».

3. Новый срок

Эта история связана с электролампами — главным дефицитом на Колыме, живущей без солнца девять месяцев. Заключение Демидов, по прозвищу Ученый, брался восстановить перегоревшие электрические лампы и так

решить проблему освещения, ставшую государственной. Свое предложение Демидов изложил в докладной записке начальнику Дальстроя. Начальник-генерал ухватился за мысль. В результате под Магаданом построили завод, специалистом главного цеха назначили Демидова, и, минуя стеклодувную технологию, а также прочие тонкости, касающиеся другого дефицита — стекла, наладили производство. И в темной Тьфу-Таракани стали светлее рудники, прииски, шахты, забой, лагерная больница, зона, бараки, поселок вольнонаемных... Освещенное, все работало без простоя. Куча денег была сэкономлена государству. И главное... От скольких катастроф, несчастных случаев уберег Демидов лагерных бедолаг. Очеловечил, можно сказать, заледенелое до центра земли гиблое место, сделал его чуть теплее. Так видится это со стороны.

А как взглянули лагерники, кому наплевать, что такой инженер, как Демидов, в принципе не может без изобретений? «Фраернулся Ученый...» — световой день удлинился, значит прибавилось время каторжного труда.

Как водится, высокие награды, премии, всяческие поощрения получило начальство и вольнонаемные работники. Такое в порядке вещей и поныне, и в лагерь не надо попадать. «Победитель не получает ничего», — золотые слова, повторенные Хемингуэем четко и навсегда. Ни Магадан, ни Москва даже не поинтересовались изобретателем. Что им до конкретного человека, путаться в мелочах! Они ведь мыслят в масштабах Вселенной.

Изобретателя все-таки вспомнил главный начальник, и ему решил кое-что отстегнуть. Под «кое-чем» подразумевались ленд-лизские американские вещички вроде ботинок на толстой подошве, разные пальтишки на рыбьем меху, пиджачки, которые перед лагерной рванью третьего срока сходили за роскошь. И вот при всем народе в красном уголке, где теперь ярко и чисто горели лам-

пы, а не какие-то допотопные керосиновые фонари, на торжественном вечере в честь начальника Дальстроя (!) зачитали приказ с именами достойных, вольнонаемных, уже попавших под государственные награды. Теперь на местном уровне их одаряли американскими посылками. И подневольного Демидова в список включили. Без упоминания фамилии, разумеется. И ему подготовили коробку с ботинками. Награжденные благодарили, кланялись, про труд — дело чести, доблести и героизма — лопотали. Вызвали и Демидова. Изобретатель вышел, взял протянутую коробку и положил ее на стол. Сказал, что чужие обноски ему не нужны.

Демидова арестовали и пришили новое дело. За что? За отказ от подарка? Но нет такой статьи в юридическом кодексе наказаний. Такой нет, зато есть другая — в свете последних решений партии, в духе контрреволюционного фашистского выпада против советско-американского блока: подрыв дружбы великих держав. И быстро сообразили, как желали сообразить, как удобней сообразить... Следователь записал, что на допросе Демидов сказал: *«Колыма — это Освенцим без печей»* (кстати, и Варлам Шаламов, свидетель сцены награждения, в рассказе «Доктор Ямпольский» называет мороз в 60 градусов «колымскими лагерными печами»). И Демидов загремел под суд и вместо американских ботинок заполучил наручники. Теперь светили ему общие работы на прииске, а то и номерной лагерь для рецидивистов, которых разбирают по пять и гонят с собаками. Это только на взгляд какого-нибудь фантазера сказка помогает ориентироваться в темноте, а, по мнению гулаговских мыслителей, она помогает забыть о свете. А то, что на Колыме устроили с электричеством отдаленное подобие сказки, не сомневались даже в Кремле: орденами Ленина тогда не бросались. Еще неблагодарного русской махорочкой

собирались побаловать: пусть обменяет на хлеб, если не курит. Да и ленд-лизовские ботинки, можно сказать, от себя оторвали, тоже ведь подвиг: кованые хромовые сапоги носить без смены, ноги-то не казенные.

Были, конечно, такие, кто понял случившееся как это достойно людей. Среди них — Варлам Шаламов. Одно то, что рассказ о Демидове он, сын священника, назвал Житием, говорит о многом. Ведь житие связано с духовным подвигом, жертвенностью, воплощенными без надежды на благодарность, всегда скупую и чаще всего запоздалую даже в лучшие времена. О тех же годах, когда сама церковь в изгнании благословляла «грех убиения... вождей бесноватых легионов, упорных в своей демонической нераскаянности» (Карташов А.В. Божий меч. «Россия и славянство», 1928, № 2), незачем и говорить.

Был и другой похожий эпизод в лагерной жизни Демидова. О нем в том же рассказе «Житие инженера Кипреева» пишет Шаламов. После операции врач назначил Демидову усиленный паек. Он отказался от него потому, что кому-то лишние калории нужнее.

Читатели помнят знаменитые слова Шаламова о месте писателя в жизни: «Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад». Если говорить о «Житии инженера Кипреева», то автор-рассказчик видится все же Орфеем, но не с кифарой, а... с куском стекла, вынесенным из ада, где правит Плутон, где струятся мертвые воды забвения Леты. Когда-то стекло было зеркалом, сделанным инженером Кипреевым. Вынесенное, оно со временем стерлось, его поверхность, похожая на мутную, грязную воду подземной реки, напоминает о чем-то важном, не отделимом от чувства долга. От желания зафиксировать. Шаламов знает: жизнь — это умение забывать, искусство забывать. Зеркальный осколок — этот отработанный ку-

сок рентгеновского аппарата, который Кипреев покрыл серебром, не только память о нем, Колыме. Он уберегает от соблазна забвения, от неведения и слепоты ложных богов человеческого потока, ведомого к навязанной цели. В этом месте Шаламов совпадает с Марселем Прустом, кто, размышляя об уязвимости красоты перед временем, полагает, что есть вещь более уязвимая, чем красота, — это горе. Потому для Шаламова проза — «открытая сердечная рана». Нет ничего удивительного в его словах о том, что он мог бы плюнуть в красоту. Мог бы, но ведь не плюнул: *«Зеркало со мной. Это не амулет. Приносит ли это зеркало счастье — не знаю. Может быть, зеркало привлекает лучи зла, отражает лучи зла, не дает мне раствориться в человеческом потоке, где никто, кроме меня, не знает Колымы, не знает инженера Кипреева»*. Думая о новой прозе, утверждая ее, Шаламов тем самым предполагает какую-то новую красоту, которая спасет мир, — она будет другой. Зеркало как символ мистичности возвращенной жизни одновременно образ памяти (то же у Андрея Тарковского) и образ человеческой катастрофы, имеющий христианско-славянский подтекст в имени прототипа Кипреева — Георгий: с незамутненным зеркалом сравниваются в Библии доспехи святого Георгия.

Свободный поступок в среде лагерного «здравомыслия» всегда тяготеет к мифу, тем же мифом и объясняется, то есть тем, что в народе, в его коренной, крепкой части, испокон века зовется честью, а в других, сильно прореженных, слоях населения — духовным аристократизмом. Тот случай, когда о человеке следует судить не по тому, чего он достиг, а по тому, от чего отказался.

Дополнительные десять лет — мечь травмированных генералов — Демидов встретил спокойно, ведь он знал, на что шел. Он даже заранее принял меры, чтобы обезопасить семью. Попросил сообщить, что его нет в

живых. Разумеется, он хотел судьбу, для которой родился, а ему навязали выдолбленную по колодке участь отверженного, не задумываясь, что она больше подходит его благодетелям. А то, что его деяние обязывало к какой-то порядочности, — тут можно только руками развести: где ее, порядочность, взять, это и по сей день дефицит почище электрических ламп.

Нынешние ученые мужи — историки, утверждая, что террор превратился в «инструмент решения народнохозяйственных задач», не упускают случая заметить: «Оправдания и объяснения этому, конечно, нет». Странный вывод. Даже не вывод, а инфантильная отговорка. Почему же нет объяснения? Да еще «конечно»? Если в этом мире и есть что-то непостижимое, так это святость и доброта. Проявленные же в экстремальных условиях, на грани физического и духовного истощения, под автоматом, за колючей проволокой эти качества вообще за пределами объяснений. За пределами слов и самого понимания. Это явление иррациональной духовной природы, а не человеческого разума, для которого зло — «предмет размышлений более увлекательный, чем добро» (И. Бродский). Оперировать абстрактными категориями, может быть, и приятное занятие, но оно чревато тем, что в самых примитивных, грубых и бандитских вещах переразвитый интеллект усматривает что-то необыкновенное, мистическое, грандиозное. Что-то данное в отместку за непонятные грехи как наказание, то есть логически и этически обоснованное кучей причин, облагороженное цитированием, например Шекспира: «На свете, друг Гораций, есть много непонятого...» Эффектно, правда! Экстремальные же обстоятельства тем и хороши, что упраздняют слова, особенно выражающие абстрактные категории. Слова просто перестают что-то значить, самоуничтожаются перед одним реальным единственно верным поступком добра.

И он, этот безмолвный поступок, не то что гипнотизирует наше сознание и нашу способность оперировать абстрактными категориями, как это по Бродскому делает зло, такой поступок просто их отменяет. Было бы намного удивительней, если бы при политической системе, которая сложилась, и том состоянии мира, к которому медленно и верно двигалась вся история человечества, террор не возник — вот это действительно объяснить невозможно. Да он подготовлен самой этикой цивилизации и только ждал удобного случая, чтобы завладеть умами. Если Вольтер пишет о сожжении иезуитов как о приятном известии, то чего ждать от других?.. Пошлая фраза из какой-то немецкой пьески: «Когда я слышу слово “культура”...» — далее по тексту что-то про курок, приписываемая известному фашистскому подонку, прямо-таки вошла в поговорку, повторяется как что-то оригинальное. Нет! У Демидова не было завороченности злом. В отличие от нынешних историков он мог дать ему объяснение. Тень Мефистофеля присутствует в нескольких его рассказах, бледнея перед реальными негодями, которым доверены судьбы тысяч людей. Душевную историю своих персонажей писатель читает как открытую книгу. Трусость, корысть, властолюбие, психические извращения, карьеризм, идеологический фанатизм и все это вместе взятое, банальное до отвращения, — вот понятия, которыми он оперирует, исследуя причины карательного воплощенного зла. При этом отдавая себе отчет, что многие генералы, начальники, судьи, охранники, конвоиры как пошлые грабители и убийцы ничего, кроме каторги, не заслуживают. Про них в народе перефразирована поговорка: «Не так страшен черт, как его малютки».

4. Одичание («Начальник»)

Стихия подавления выдвигает их фигуры на передний план, но только в одном рассказе Демидов уделяет начальнику лагеря главное место. Рассказ так и называется — «Начальник». Его прозвище — Повесь-Чайник. Он так и остается безымянным обладателем пустого взгляда, одутловато-заспанной угрюмой физиономии, лающего голоса и резкого запаха перегара. У него ни профессии, ни национальности, ни грамотности, ни языка. На обращение «Гражданин начальник» он откликается «Повесь-на... чайник», чем наводит оторопь даже на выдавших виды блатных. Сама по себе присказка никого не удивляет, в лагере и не такое слышали, удивляет, что ее произносит властитель сотен людей. Типичная серость утверждается в прозвище как единственный колорит. Помнится, в «Мертвых душах» нецензурное словцо подразумевалось после определения «заплатанной» — так в народе окрестили Плюшкина. И в рассказе Демидова не обошлось бы без меткого фольклора, если бы было кого «наградить». Заключение, которые вроде старосты-прохиндея на просьбу о баланде отвечают: «Пустой твой номер, парень, да два порожних», или как блатной Ленька Одесса, выдирающий из нар горбыль для растопки, орут: «Да помогите же вы, падлы, асмодеи!», за словом в карман не полезут. Но их красноречие неприменимо к тому, кто только и знает ограничивать, выслеживать, морить голодом, морозить, «запрещать!» «не пущать!», сажать в карцер. В сочинении приказов, вроде «За убийство заключенным вольнонаемной курицы...», он мог бы соперничать с унтером Пришибеевым.

Повесь-Чайник насаждает адов порядок исключительно для того, чтобы донять заключенных, всех без разбора: и блатных, и политических. Допекает даже высокое начальство тем, что оставляет его без сливочного масла. А все

ради нравственности: чтоб смены на сельскохозяйственных фермах состояли либо из одних мужчин, либо из одних женщин. *«Высокое начальство получение масла к своему столу ставило, видимо, выше лагерной нравственности»*, — замечает Демидов, — и потому сбagrивает Повесь-Чайника из более-менее сносного «Колымского Крыма» в тяжелый лагерь дорожных работ на Тембинской трассе при окаянной сопке «Остерегись».

Прежде в этой дыре среди постылых гор Тас-Кыстабыта арестанты умирали как везде — «уныло и медленно», но с приходом нового начальника стали погибаться еженедельно. За год его царствования лагерное кладбище пополнилось лишней сотней дубарей. Если бы не случайность, он доконал бы еще пару сотен.

И вдруг... Повесь-Чайник попадает под следствие за то, что избил и в одной рубашке выбросил на пятидесятиградусный мороз собственную жену. Демидов называет арест начальника *«настолько знаменательным событием, что интерес к нему проявили даже дистрофики 3-й степени, впавшие, казалось, в полнейшее безразличие ко всему на свете»*.

В этом абзаце рассказа и ниже читатель не найдет ожидаемых слов, допустим: «арестовали к великой радости всех заключенных». Прошу взять это на заметку.

Осужденный по принципу: «Ворон ворону глаз не выклюет», Повесь-Чайник попадает на теплое местечко в легкий лагерь и остается там нарядчиком до конца своего блатного срока. Обычно урки расправляются с бывшим начальством сами, приканчивая где-нибудь в темном углу: «закон — тайга, прокурор — медведь». Но в лагере для заключенных с легкими статьями — закройщиков, часовщиков, парикмахеров — «пришивать» его было некому. Через два года он цел-невредим оказывается на свободе. Аполитичная отметка о судимости кладет тень на светлый в кавычках образ чекиста. О прежнем, досудебном,

месте нечего и мечтать. Рыцари НКВД задвигают его по-дальше, чтоб нигде не светился и не позорил их чистые ряды. Снова цел-невредим он оказывается черт-те где в бараке какой-то местной «Индии». Тут его, наконец, достают вчерашние заключенные. Нет, не убивают: в роли живого пугала он их больше устраивает. *«Возможность поиздеваться, — пишет Демидов, — над бывшим лагерным начальником ценится выше его смерти. Убить его означало бы лишить население здешней “Индии” главного развлечения».*

Подмеченное Демидовым своеобразное, но все же карнавальное мироощущение людей в таком, казалось бы, неподходящем месте, как Колыма, бросается в глаза. Барак, в котором бывший ютится под нарами, — что-то в духе карнавальная преисподней; здесь и зуботычина, и удар ногой идут в ход. Мщение дальше побоев и развенчания не простирается, зато оно бесконечно вроде танталовых мук.

Сомнительность получаемого удовольствия никого не волнует. Не корбит и то, что злорадство становится обратно симметричным эффектом исходной злобы и отравляет само чувство справедливости, подтачивает веру в нее. Потому и справедливость здесь представляется чем-то вроде глумления и без мордобоя, прочего рукоприкладства не мыслится.

Но сам автор не опускается до злорадства, ему и в голову не приходит тешить себя торжествующим мстительным чувством. Для него Повесь-Чайник — заблудшее существо, достойное жалости. Вот оно в конце рассказа: *«По направлению к лесу ковылял человек в лагерном драном бушлате, подпоясанном веревкой. Из прорех бушлата, прожженного во многих местах, как и из ватных штанов оборванца, клочьями свисала вата. Пятка одной из стоптанных лагерных бурок — подобия чулок, пошитых из ватного утиля, —*

переместилась чуть ли не на середину голенища. Ее передок, мотающийся где-то впереди ступни, явно мешал человеку ходить, но он, видимо, давно уже ничего не предпринимал, чтобы поправить свою немислимую обувь. Одно ухо тоже прожженной лагерной “шапки-ежовки” торчало вверх, другое свисало. Догнать доходягу не стоило никакого труда, так как он едва брел...»

В этом коротком отрывке Демидов дважды употребляет слово «человек», сменяя его в следующем абзаце на существительное «доходяга». Автор верен себе, как и в абзаце об аресте начальника, где так и просится восклицание: «К великой радости заключенных!». Демидов скорее скорбит, чем испытывает что-то другое. Как Старец на картине Рембрандта не отвергает своего Блудного сына, так у Демидова не поворачивается язык отлучить этого пьяницу от мира людей. И стоящий рядом с автором десятник с лесоразработок, немец Отто Пик, не испытывает удовольствия от жалкого вида забулдыги. Не кричит ему издевательскую матерную присказку, а по-дурацки бормочет: «Повесь-на...чайник», не зная, как иначе отличить безымянного, чтобы не верящий своим глазам приятель-автор узнал в этом падшем когда-то грозного властителя. Таковы уж «враги народа», которых едва одетых вышибали на снег ударом окованного приклада, которых с этапа встречали обещанием расстрелять, если они, чугреи-бросовые-темнилы, не подохнут сами. Садистов, подобных Усу (так блатные называли Сталина), кто, говорят, буквально наслаждался рассказом о паническом страхе арестованного Ежова, бегавшего по камере Лубянки, как затравленная крыса, из них не получилось. Даже черчиллей, мечтающих установить на Трафальгарской площади Лондона «господина Искорку» (электрический стул) и усадить на него Гитлера, тоже не вышло (полагаю, в обоих случаях приятелей никто бы не осудил).

Оказывается, благородство и стойкость героев Демидова не такая хрупкая материя, не берется и каленым морозом. Здесь это сказано для того, чтобы в очередной раз вернуться к Варламу Тихоновичу Шаламову, который утверждает, что интеллигент-заключенный *«чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно — он просто его не понимает, не хочет понимать».*

Судя именно по этим героям Демидова, такого не скажешь. А в отношении других В.Т. Шаламов, может, и прав. Имея дело кое с кем из бывших эзков, а также с их родственниками, я часто его вспоминала.

Но Георгию Демидову, противнику самосуда, достаточно гражданской казни для своего персонажа. Не случайно в другом рассказе он не без скрытого осуждения вспоминает кадр из фильма «Александр Невский», где правитель отдает врагов на суд разъяренной толпы. И все же... если в рассказе «Начальник» писатель Георгий Демидов заставляет поверить в соломонову мудрость блатных, значит ему виднее, и прав или не прав В.Т. Шаламов, решайте сами. Со своей стороны добавлю, что, описывая похожую ситуацию, выдающийся прозаик Варлам Шаламов, мне кажется, ближе к жизни. В рассказе «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме» он сообщает о бригадире: *«Каждый день на глазах всей бригады Сергей Полупан меня бил: ногами, кулаками, поленом, рукояткой кайла, лопатой. Выбивал из меня грамотность... Полупан выбил у меня несколько зубов. Надломил ребро... Утренние избиения продолжались столько времени, сколько я пробыл на этом прииске, на “Спокойном”.*

Заключенного переводят на другой участок. Через какое-то время сюда привозят группу людей.

«И вдруг я услышал голос, истощный радостный крик:

— Шаламов! Шаламов!

Это был Родионов из бригады Полупана, работающего и доходящего, как я, с штрафняка “Спокойного”.

— Шаламов! Я Полупана-то зарубил. Топором в столовой. Меня на следствие везут по этому делу. Насмерть! — исступленно плясал Родионов. — В столовой топором.

От радостного известия я действительно испытал теплое чувство. Конвоиры растащили нас в разные стороны...

Тогда рубили бригадирских голов немало, а на нашей витаминной командировке блатари ненавистному бригадиру отпилили голову двуручной пилой».

В рассказе Демидова описан и другой начальник — Король, у кого девять из десяти заключенных за два рабочих сезона отправлялись в Шайтанов распадок на кладбище. «Дает Король!.. Пока из последнего доходяги последней тачки грунта не выбьет, с прииска не отпустит... Ничего не скажешь — мужик хозяйственный», — говорили лагерные прихлебалы.

Заключенные, умудрившиеся не попасть на Шайтанку, переправляются в рассказе конвойным этапом в другой лагерь как «отработанный пар».

Переправляются! — легко сказано. Ведь речь о Тембинской трассе с уже помянутым перевалом «Остерегись», страшнее его нет во всей Колыме. Постоянные снежные заносы. Никогда (!) не утихающая пурга. Высоченная сопка с узенькой, вроде карниза, петляющей дорогой, а под ней — темные бездны. Автор пишет: «Ветер, как плетью, хлестал нас снегом, сметая его со склонов и скал сопки, штопором вкручивал этот снег в неплотности “щита”, который об-

разовали наши спины, когда все мы, как перочинные ножки, сложились вдвое на щелястом полу дряхлого кузова».

Грузовик то и дело зарывается в сугробы, шофер-заключенный всякий раз выпрыгивает и лопатой выгребает глыбы из-под колес. Под мат конвоиров и щелканье затворов грузовик движется до очередного заноса. Наконец, шофер ухитряется вывести машину на нижние петли каменного серпантина. И все это над пропастью, да не во ржи пресловутой, а на долбаной колымской дороге.

Глядя на этапников, уже доставленных на место, лагерные блатари из нарядчиков ли, дежурных весело потешаются: *«Ну и фитили! Вот уж фитили... Шмутье-то на фитилях в утиль только... Утиль в утиле присылает...»*

Юмор в этом рассказе скорее грустный, чем смешной. Здесь любят развлекаться игрой «в кегли», то есть умелым ударом плеча толкать крайнего в ряду доходягу, от чего валится наземь весь строй, а после орать: вот, мол, удар! врезал по одному, а рухнули десять. Сытому, тепло одетому старосте нравится издеваться над плохо соображающими дистрофиками, мучить их канителью приемки с этапа: путаницей цифр, букв уголовного кодекса, его статей, пунктов, сроков.

В свой рассказ Демидов вложил много смыслов, часто они спрятаны глубоко и нуждаются в расшифровке. Впоследствии Демидов рассредоточит эти смыслы под другими заголовками, где они будут освоены на самостоятельном материале. А в «Начальнике», кроме того, что движет рассказом: композиции, сюжетного действия, образов, преобладает авторская интонация, к которой приложима неизбывная мудрость библейского пророка Иереми: *«Горьким смехом моим посмеюся»*. В отдельных частях повествования интонация больше, сильнее слов. Но это тема для подробного разговора не на одну-две страницы, как и тема роскош-

но написанных пейзажей жуткого перевала «Остерегись». Вырванные из контекста цитаты теряют часть зловещей красоты, оставляя «неизъяснимы наслаждения» «бездны мрачной на краю» читателям всего текста. Приходят на память не только строки Пушкина, но и пейзажи А.А. Борисова (ученика Архипа Куинджи) с его умением писать гибельную красоту.

5. На грани психиатрии («Амок»)

Обращение к теме конвоира подготовлено всем творчеством Георгия Демидова. Эти люди специально держали на морозе едва стоящих доходяг, доводили их до переохлаждения. Пинали ногами упавших, били прикладами, приканчивали отставших от строя, стреляли при пустяковом отклонении от условной зоны. Все это проделывает и главный персонаж рассказа «Амок», за это постоянно получает благодарности от начальства.

«Подобранные, как и всюду, главным образом по признаку малограмотности и невежественности, нередко связанных с природной тупостью, бойцы на Каньоне быстро дичали. Это одичание ускорялось еще почти полным отсутствием в этих краях женщин. Сытые и здоровые парни тосковали по ним, и от этого у некоторых просыпались скрытая до поры жестокость и садистские инстинкты. Обязанности конвоира нередко сочетались здесь с обязанностями палача».

Грубо говоря, Демидов пишет историю хронической озлобленности простого деревенского парня, в котором пе-

ступают садистские наклонности. Амок — это психическое заболевание, когда больной в приступе бешенства уничтожает все, что подворачивается на пути. Можно предположить, что слово «амок» как некий вызов, как точка беглого сходства выбрано Демидовым в состоянии внутренней полемики со Стефаном Цвейгом, у кого новелла с таким же названием посвящена любви.

Надо обладать изрядной долей мужества, чтобы придать избранной теме этническую специфику. Главный персонаж — татарин. Демидов не делает секрета из того, что в конвоиры предпочитали вербовать не просто малограмотных подлежащих демобилизации красноармейцев, а именно инородцев — они составляли «золотой фонд вооруженной охраны». Их называли «зверями». *«В прозвище, — пишет Демидов, — звучала известная доля почтительности перед предполагаемой свирепостью и дикостью азиатов».*

Зачисленный в отряд золотого прииска конвоир, обработанный политруками, скоро теряет невольную жалость к работягам. Настроенный в духе классового чувства отщепенца он начинает ненавидеть поднадзорных просто так: за живучесть. В Каньоне, на краю земли, где «воздух казался колючим и застревал в бронхах», охранник становится одним из самых злых и жестоких. За стычку с конокрадом, окончившуюся убийством лошади, его под благовидным предлогом удаляют из дивизиона.

«Нет ничего проще, как списать погибшего в лагере заключенного. Другое дело — лошадь; как и всякая материальная ценность, она занесена в бухгалтерские книги с точным обозначением ее стоимости в рублях и копейках. Оформить исчезновение этой ценности так просто, как оформлялось исчезновение из жизни человека, было нельзя».

Нежелательный конвоир попадает в сельскохозяйственный лагерь, который за поблажки в режиме считали курортом. Поля, сенокосные угодья, фермы, лесоповальные участки, рыболовецкие пункты — здесь много женщин. Охранники расслабились, обленились. Дошло до того, что один из бойцов вступил в противоуставные отношения с подконвойной и был отослан в дыру, «где, — пишет Демидов, — походячему здешнему выражению, десять лет ни одной живой бабы не увидишь». Теперь главная забота начальника лагеря — чтоб заключенные мужики и бабы не крутили любовь. Сам бродит как кот, высматривая парочки, и охранникам вменяет карать их голодом и водворением в карцер.

Рассказ во многом бы проиграл, если бы автор представил угрюмого конвоира к отряду мужиков. Демидову понадобились женщины, чтобы показать, что новые отношения не только сверхидеологизированы, они бесполы, безличны, бесприродны, неестественны. К тому же вплетены в систему национальных предрассудков, которые закон умело использует.

Для хмурого парня из магометанской деревенской семьи поведение отчаянных баб нетерпимо. Да и нравы в дивизионе охранников за пределами его понимания.

«Близость распущенных, отчаянно сквернословящих, в принципе более чем доступных и все же остающихся запретным плодом женщин, конечно, разжигала инстинкты и усиливала обычную казарменную тягу к скабрёзным историям. В их выдумывании тут необходимости не было, похождения местных блатнячек чуть ли не ежедневно давали более чем достаточно пищи для подобных историй. Оказалось, что здешние бойцы давно привыкли ко всяким шуточкам и выходкам своих подконвойных даже в собственный адрес...»

Однажды, слушая рассказ старослужащего о заключенной, которая, оголившись до пояса, дразнила великолепной грудью: «Эй, гражданин боец! Слабо поцеловать, а?», конвоир не выдерживает: *«Стрелять таких надо!»*.

Для бесшабашных баб настанут черные дни. Конвоир не дает им дышать, следит за каждым движением, чуть что грозит ружьем. Бабы платят ему лютой ненавистью, дразнят «чуркой, свиным ухом». И скоро находят уязвимое место — болезненную чувствительность к насмешкам, особенно над его произношением русских слов: *«Ты, татарин, по-русски хоть плакать-то умеешь?»*.

На дерзкие реплики конвоиру остается только глотать пыль дороги. *«Не кричи, боец, еще животик надорвешь. Вот выкурим по одной и пойдем»*, — бабы не упускают случая выразить презрение, непочтительность. Особенно преуспевает заключенная по прозвищу Бомба. Ведь на место ее любовника, изгнанного к черту на кулички, взяли «узкоглазого чурку».

В противостоянии репрессиям арестанток не пугает ни голодный паек, ни карцер. Особенным упорством отличаются «оторвы» — штрафницы. Они живут по принципу: «Начальник, кашки не доложь, да на работу не тревожь», скорее сообразуясь со своей блатняцкой философией, чем из-за лени: «Их вера имела своих мучеников не меньше, чем всякая другая». Издевательские выпады, шуточки подконвойных Демидов объясняет их подсознательной уверенностью в силе своей слабости, полагая, что логика конвоира может быть только такой: баба и есть баба, не драться же с ней.

«За сотую долю того, что бойцы прощали женщинам, — пишет автор, — каждый из них избил бы прикладом заключенного-мужчину или подал на него рапорт за нарушение в строю дисциплины».

Не таков новый конвоир. Для него «это было только человеческое отребье. Он все больше убеждался, что идея исправления этих людей ложна в самой своей основе. Они не заслуживают даже сколько-нибудь человеческого обращения, так как понимают только то, за неисполнение чего существует непосредственная угроза удара или выстрела».

Не терпят нового конвоира и покровители баб из прилебал, иначе как «попкой нацменом» между собой не называют. Товарищи по охране тоже сторонятся, подозревая в нем стукача. Истеричный от природы, диковатый, болезненно самолюбивый, он чувствует себя чужаком, его нервы сдают. Он просит о переводе на другой пост, хоть на пикет в тайгу. Но старшего командира-лейтенанта меньше всего занимают какие-то конфликты: бойцу нужно лишь хорошо стрелять и быть безжалостным.

Патологическая действительность вынуждает Демидова постоянно вторгаться в область психиатрии. Литература побеждает, когда, балансируя на грани медицины, Демидов показывает, как плоское отштампованное сознание, осложненное комплексом неполноценности, берет верх над смутным чувством неуверенности в своих поступках. Не сумей Демидов сделать этого, читатель оказался бы перед заурядной историей примитивного убийцы и рассматривал бы ее как из ряда вон выходящий частный случай.

Неприятные отношения конвоира с бригадой штрафниц достигают высшей точки, когда промокшие в поле бабы просят разжечь костер, думая обсушиться. Конвоир соглашается, но не дает разрешения насобирать на порубке дров. Тогда Бомба демонстративно пересекает охранную зону и яростно принимается выдирать коряги. Оставить безнаказанным очередной проступок, по мнению конвоира, значит потакать блатняцкой наглости. В душе он не раз прошивал эту бабу пулями. Руки тянутся к винтовке и сейчас. Он заставит преступницу повалиться в грязи и

стреляет, чтобы напугать. Пуля разрывает сук в руках нарушительницы. В ответ Бомба поворачивается задом, подкинув вверх условную юбочку.

«...Подобный жест со стороны женщины являлся позорным не для нее, а для мужчины, которому выражалась таким образом наивысшая степень презрения...»

Забыв все, в первобытной жажде крови, человек-зверь превращается в подобие автомата: поворот, прицел, выстрел. В припадке истерической ненависти, лепя пулю за пулей, расстреливает всю бригаду. Под горячую руку отправляет на тот свет и двух своих товарищей-охранников.

Не случись этого, дело замяли бы, и за двадцать семь убитых баб не то что расстрела, и выговора бы не получил конвоир.

Анализ внутреннего человека, трансформация психики — все, что можно назвать исследованием природы садизма, занимает автора в связи с главной проблемой — тотализацией убийства, разрыва межчеловеческих связей, самопожирания нации. И анализ этот достоверен для любого времени и для любой национальной культуры. Думается, в 60-е годы прошлого века, когда рассказ был написан и попал к читателям «самиздата», социальная острота девальвировала его художественные достоинства. Перевела на уровень злободневности — той, о которой словами Гете говорит один из героев Демидова: *«Дрянное Нечто, мир ничтожный — соперник вечного Ничто»*. Скорее всего, тогда рассказ воспринимался либо как политическое обвинение, либо как искусно мотивированная моральная компенсация за подмененную жизнь. Годы выявили потенциал этой вещи. Случай, подобный описанному Демидовым, получил в истории многочисленные продолжения, обзавелся бес-

конечными двойниками в разных странах, стал в центре огромного количества интерпретаций. Складывается впечатление, что современная действительность существует как бы для того, чтобы подтвердить художественную правоту Демидова, смотрящего на автобиографический материал глазами писателя. Для него художественное обобщение, характеры, их типизация важнее субъективного взгляда частного свидетеля. Полагаю, что художественный вымысел сыграл в этом рассказе роль цемента, превратив разрозненные фрагменты воспоминаний в монолит. То, что в 60-е гг. могло представиться сгущением красок, оказалось предвосхищением будущего.

Если же обратиться к истокам кровопролитной литературной тематики, то в древнегреческой мифологии небезызвестные герои Тесей и Ахилл (один с помощью Ариадны покончил с Минотавром в лабиринте на Крите, другой тоже что-то достойное совершил, невзирая на свою уязвимую пятку) ничуть не чурались колошматить амазонок, рубили их как капусту. Но авторы поэм, описывающих битвы, — Вергилий и Овидий, понимая противоестественность подобных поединков, наказывали убийц... любовью к павшим амазонкам. Сама необратимость злодеяния возвращала им образ человеческий. Плача над мертвыми, они, наконец-то, понимали, что натворили, в их огрубелых душах античная чувственность брала свое.

Говорят, когда знаменитую шпионку Мату Хари вывели на расстрел, команда отказалась стрелять. По-моему, это нормальные люди. Приказ повторили. И кто-то из солдат выстрелил ей прямо в сердце.

Ничего похожего не происходит с завербованным «зверем», ориентированным на безликого безусловного врага, на обожествляемую силу политического порядка. Он никогда не признает себя виноватым, не будет мучиться совестью и не повесится как Ставрогин. Примитивное сознание, не

обремененное личными бесами, интеллигентской перекрученностью, раздвоенностью, оказывается намного страшнее и неожиданней, чем внутренняя темнота, которая зовется «сном разума». Самое большее, чего «зверь» достигнет в смысле раскаяния — это какая-то невыразимая злая тоска, которая претворится в жажду новых убийств.

Иногда считают, что садизм — одна из форм мазохизма. В рамках этого союза они сообщаются, один вид переходит в другой; меняясь местами, они дополняют друг друга. Попытки разъять садо-мазохистскую сущность и персонифицировать извращения в образах ли, понятиях предпринимались не раз. Достаточно вспомнить фильм Лины Кавани «Ночной портье», где атмосфера истязаний подана в духе эстетско-порочного шарма и, поглощенная им, утрачивает силу, становится элементом интеллектуальной игры. Думается, что разъять садо-мазохизм более всего удалось политическим авторитарным системам, поменявшим знаки в иерархии ценностей и превратившим порок в добродетель. На этой смене знаков и взошел садизм как государственное явление, как инструмент управления и как модель поведения для всех членов общества. Жалость презиралась, убийство романтизировалось, карательная практика сделалась единственным методом проведения в жизнь нужных решений. И палачи, и жертвы становились заложниками одного принципа — насилия, возведенного в закон. К сожалению, эта практика пережила свое историческое время и определяет многое в нашей теперешней жизни. Карательная функция жива в каждом мало-мальски заметном начальничке, в каждом административном прыще, претендующем на значительность.

Психиатры часто опираются в своих выводах на произведения литературы, ставя авторам решительные диагнозы и часто попадая пальцем в небо. Этому много примеров. Один из самых известных: Джойс с его романом «Улисс», в

котором Юнг ничего, кроме шизофрении, не увидел (правда, он счел нужным оговорить, что шизофрения здесь не более чем аналогия). Да и З. Фрейд любил пошерстить романы Достоевского и в мелкой частности выискать ломброзианскую подноготную героя, а потом перенести ее на какого-нибудь современного ему Эдипа. В этом смысле тексты Демидова — раздолье для психиатров. В них представлены самые различные типы тюремщиков, начиная от злобных садистов и формалистов-душегубов и кончая откровенными палачами с врожденной склонностью к зверству.

ВЕНЕРА В БУШЛАТЕ

1. Юмор висельников и человеческий голос («Оборванный дуэт»)

Сказанное выше не означает, что проза Демидова — тяжелое чтение. Большинство рассказов читаются на одном дыхании. Захватывают не только сюжетом, который подобен огню, бегущему по бикфордову шнуру, но и тонкой иронией, юмором. Таков «Оборванный дуэт». Здесь значительное место отведено блатной компании, которая в старой тюрьме на сибирском каторжном тракте ждет пересылки. В камере заправляет *хевра* — организованная воровская группа. Блатари располагаются на третьих ярусах нар. От скуки либо «чешут бороду королю», то есть режутся в карты на деньги или чужие вещи, либо часами слушают тискалу — «придворного» рассказчика, плетущего невероятные истории о «красивой жизни». Попытка потеснить их на аристократическом этаже «могла бы стоить зубов, выбитых ударом каблука». Казалось бы, ничего хорошего об этих господах сказать нельзя. Но Демидов верен правде, а не человеческому предубеждению.

«Их сила заключалась в спайке, организованности и солидности. Полнейшая разобщенность и трусливое благоразумие фраеров, привитое добропорядочным принципом невмешательства в чужие

дела, делала их совершенно безоружными перед воровскими объединениями. Поэтому, если и случалось иногда, что какой-нибудь одиночка восставал против засилья уголовников, то он обычно оставался безо всякой поддержки. Два-три бандита на глазах у полусотни отводящих глаза фраеров избивали и дочиста обирали строптивного, чтобы затем, уже без намека на сопротивление, обирать остальных. И всех их “загонять под нары” и в переносном, и в самом прямом смысле. Принцип, тысячелетиями проверенный в масштабе целых народов и государств».

Автор становится мягче, когда заходит речь о пристрастиях хевры.

«Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что для большинства профессиональных уголовников того времени... потребность в слушании всякого фантастического вранья была на втором месте после потребности в пище... Блатные могли слушать приключенческий вздор ночами напролет изо дня в день».

Как будто все ясно, но Демидов рассказывает о своих персонажах еще много интересного. Страницы о разных типах тискал проникнуты неуловимым обаянием.

«Среди них встречались такие, которые могли нанизывать немислимые истории одна на другую буквально целыми неделями. Это были вдохновенные импровизаторы, барды и романтики уголовщины, обычно совсем еще молодые. Большинство таких занималось своим изустным творчеством не столько

для камерной аудитории, сколько для самих себя. Спасаясь от напора неприглядной действительности, они цеплялись за иллюзорный мир благородных бандитов, гениальных воров и обольстительных марух. Когда-то прочитанная или от кого-то услышанная галиматья перерабатывалась, дополнялась и сочеталась в темных головах рассказчиков подчас самым фантастическим образом... И вся эта чушь воспринималась невзыскательными слушателями с неизменной благодарностью и восхищением...

Среди них людей романтического склада гораздо больше, чем среди тех, кто честным трудом добывает свой хлеб и послушен законам государства и общепринятой морали».

А вот описание других тискал, завербованных из сокамерников, — интеллигентных контриков-фраеров, поданное с позиции самих блатарей.

«...Он может принять приглашение и оказаться занудой, который понесет что-нибудь про пресную и канительную фраерскую любовь. Один такой весь вечер читал нудные стихи про Евгения Онегина и всех усыпил... На третий день он начал сбиваться на какие-то повести Белкина, а потом и на тургеневские “Записки охотника”. Стало ясно, что и этот не оправдал надежд и надо подыскивать нового».

Сам автор к интеллигентам-тискалам относится менее снисходительно, чем блатарии.

«Среди них нередко встречались и хорошо образованные представители гуманитарных профессий:

бывшие адвокаты, журналисты, режиссеры... Их привлекали подачки хевры и связанное с ее дружбой значительное облегчение тюремной жизни. И угодливые интеллигенты мобилизовывали свою начитанность, память, профессиональные знания и другие качества для выполнения "социального заказа" нового типа. Благо, многим из советских гуманитариев было к этому не привыкать».

По настроению проза этого рассказа напоминает монологи Лебедева из «Идиота», особенно те, где речь о мадам Дюбарри. Ну, что общего у русского юродствующего чиновника XIX в., героя Достоевского, с королевской фавориткой Жанной Дюбарри, которая на эшафоте умоляла палача гильотины дать еще минутку пожить? Что??? А то же, что у Демидова с его героями-ворюгами. Человеческое начало. Присутствие в этом мире в качестве Человека. Если хотите, наличие души, то ее состояние, которое отзывается на чары высокой Игры, неистребимое в настоящем художнике! Обаяние этих страниц напоминает и незабываемую пугачевскую сцену из «Капитанской дочки» — разбойничий диалог Хлопуши с Белобородовым, когда Хлопуша отстаивает «честь» молодецкого разбоя перед «бабьими наговорами» Белобородова. И «Отверженных» Виктора Гюго напоминает, Диккенса... Да всех их, творцов, кто «чувства добрые...», ну, и так далее. Все известные имена, великие тексты, а несть числа и другим, менее известным, но не уступающим по живой красоте и силе прославленным. Да хотя бы повесть «Соловки» писателя Василия Ивановича Немировича-Данченко, брата мхатовского режиссера.

Оценивая вкусы своего необычного контингента, Демидов говорит: *«Все сказанное о духовном мире некоторой части уголовников нисколько, однако, не меняет их практики воров и насильников. Такова уж логика самого их существования».*

Словосочетание «духовный мир» по отношению к блатным способно огорошить грозных незыблемых моралистов, подтачивает общепринятое неумолимо-безжалостное отношение к ним. Варлам Шаламов, например, вообще не считает их людьми. В рассказе «Красный крест» он так и пишет: «блатные — не люди», имея в виду растлевающее влияние их морали на лагерную жизнь, на человеческую душу, их бесчисленные злодеяния. Он даже пеняет Достоевскому за сочувствие обитателям «Мертвого дома». *«Трудно сказать, — пишет Шаламов, — почему Достоевский не пошел на правдивое изображение воров. Вор ведь — это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. Повидимому, в каторге Достоевского не было этого “разряда”... Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник».*

И все-таки люди или не люди? Пусть каждый решает сам. Нельзя забывать, что мы живем в мире, где злодеи, может быть, худшие, чем лагерные, заправляют делами, навязывают свой образ жизни, выступают по радио, телевидению, получают награды, и никому не приходит в голову загонять их в тюрьму. Корыстные, скользкие, изворотливые, алчные, бесовские, тщеславные, они удавятся за копейку и пройдут по трупам ради грошовой цели. Слово «честь» они поднимают на смех, чувство долга объявляют замшелым понятием, предательство у них в крови. Возлагая значительную часть вины на блатной мир, Варлам Шаламов ставит перед ним даже гулаговский персонал: жестоких начальников, лживых воспитателей, бесовских врачей, которых иногда, но все-таки пронимает человечность. Кто читал рассказ «Красный крест», запомнили эти строки: *«Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен*

видеть, а если видел — лучше ему умереть». И Шаламов приводит перечень лагерной порчи: «Оказывается, можно делать подлости и все же жить». Современная действительность показывает, что можно не просто жить, а жить припеваючи. «Можно лгать — и жить», — продолжает Шаламов. Опять же современная практика свидетельствует: можно! и даже в свое удовольствие. «Оказывается, — говорит Шаламов, — человек, совершивший подлость, не умирает». И на это, увы, поскребешь затылок и скажешь: нынешний человек, совершивший подлость, не только не умирает, а еще и живет больше того, кого он своей подлостью погубил. Да и подлость подлостью не считает, а переоценивает ее под уровень своего понимания. Да что далеко ходить. Возьмем нынешнего предпринимателя и спросим, ради чего он завел свое дело, например ООО «Издательство Зебра Е». Если он скажет: для пользы общества, чтобы людям помочь, ну и себя не забыть, считайте, вам крупно повезло. Индивидуализм европейского типа, связанный с интересами других, — это не для нашего бизнесмена. Впрочем, сказать — еще не сделать. Это в добрые времена достаточно было рукопожатия, чтобы скрепить договор и следовать своему слову. Между порядочными людьми так и водилось. А теперь?.. И юридическими бумагами с печатью ничего не докажешь. Скоро выяснится, что генеральный директор какого-нибудь частного издательства, например «Зебра Е», и не собирался оплачивать вашу работу, и договор подписывал не для этого. И штат нанимал, и офис снимал, и логотип — кроткую зебру, припертую своим задом к черной железяке в виде буквы Е, — утверждал, да и водил тебя за нос совсем для другого. А пока выяснится для чего, он потихоньку лохов-клиентов спровадит, чтоб не мешали варганить кое-какой контрафактик, а с ним и другой книжный товарчик с фамилией на обложке: мадам Оргазмова. А на всякие жесты и возгласы «слепит горба-

того», то есть наврет «выше крыши». Впрочем, как говорят они же, блатные, на том месте, где была совесть, у него что-то другое выросло. Даже не то интересно, что чужие денежки как свои оприходуется. Ну и все прочее под шитокрыто обделаает. Нет, не это. Почетные грамоты за вклад в культуру, самим министром подписанные, своей теплой компании обеспечит, а это в перспективе вовсе не небо в клеточку обещает. Заметим, ни о какой человечности или о чем-то из ряда вон выходящем речь не идет. Речь идет о соответствии издательскому договору и сумме прописью, взятой за него. Но оказывается, издание книги — это нечто другое, чем печатание текста. Это афера: «в бизнесе средства не выбирают, остальное — понты...», перешедшая из блатного гулаговского в обычный нынешний мир и поданная в терминах возвышенной миссии. Это пошлость покровителя, идеально вписавшаяся со своим самомнением, маркизом де Садам и байками про «Метрополь» в пошлое время. Да вот незадача, мошенники не учитывают, с кем дело имеют, и время от времени сами напарываются: то на них в суд подадут, то обведут вокруг пальца, как простых рогоносцев, которые уверены, что на голове у них корона.

Вот и думается, подвижники, праведники, святые, да и сам Шаламов Варлам Тихонович, — Господи, да это же музей травматологии при институте Склифосовского. Объекты для издевательства. Существуют, чтобы быть уничтоженными, а потом превратиться в миф. Как все в этом мире любимы посмертно.

Но вернемся к рассказу «Оборванный дуэт».

На сей раз урки взяли в «придворное» услужение не рассказчика, а певца — настоящего, оперного, посаженного по политической статье. Хотя блатные считали оперу фразерской блажью, ария приговоренного к смерти Каварадосси произвела впечатление. Слезу вышибла у кое-кого. *«Не было больше серого этапника, заключенного сталинской тюрьмы.*

Был узник Римской цитадели, мятежный граф Каварадосси, встречающий последний в жизни рассвет», — пишет Демидов. Хотя понимание свободы у гулаговцев разное, иногда и более одухотворенное, чем право на бритву, водку и женщин, и уголовники, и фраера согласились с предводителем хевры: «А ничего, что Артист из оперы, фартово поет падло».

Голос Артиста услышали в женском отделении, в ответ раздалась ария Тоски: там среди заключенных оказалась певица. Они влюбляются друг в друга по голосу. Содержание исполняемых арий усиливает их чувства. «Смешением абстрактного и реального» объясняет автор любовь Артиста к женщине, «представленной для него только звуками ее голоса». «Но от этого, да еще от горького чувства неволи, его любовь становилась еще сильнее и чище». Как физик автор знал, что звук способен привести человека в мистический транс. Певец и певица не видят друг друга и не могут увидеться. Из разных отделений тюрьмы, разных камер, разных этажей они пойдут по разным этапам, так и не познакомившись. И не «среди шумного бала», о котором поет позднее, а на нарах тюрьмы Артист пытается представить ее то пушкинской барышней, то Жанной д'Арк, то валькирией, но нет... Образы оперных героинь, как и другие телесные версии, которые навязывает воображение, кажутся ему оскорбительными для бедной арестантки со светлым славянским голосом.

«У большинства женщин были ввалившиеся глаза на серо-бледных, у иных даже с землистым оттенком, лицах. И что-то общее было в выражении этих лиц, на свободе, вероятно, самых разных. Почти одинаковыми в своем безобразии были и фигуры арестанток в грязной, изжеванной одежде... И теперь не имеет уже значения ни образованность отдельных особей, ни их артистичность, ни, тем

более, способность чувствовать и понимать. И как все заключенные, женщины здесь тоже во всем почти “бывшие”. Они бывшие граждане, бывшие специалисты, бывшие жены и даже бывшие матери... Им в заключении приходится еще горче, чем мужчинам. Уже по одному тому, что оно обрекает их на неизбежное внешнее уродство. И как непереносимо, вероятно, сознание этого уродства для представительниц артистического мира. Ведь для них внешняя обаятельность — непереносимое условие не только их профессии, но и самой жизни!»

Строка романа: «тайна твои покрывала черты» отвечает правде их отношений, где свободны лишь их голоса¹.

Тем, кто знает биографию художника Врубеля, этот рассказ может напомнить историю знакомства Врубеля с певицей Надеждой Забела, его будущей женой. Тогда, работая за кулисами в оперном театре, художник услышал со сцены арию. Голос произвел на Врубеля такое впечатление, что, разыскав через несколько минут его обладательницу, сделал ей предложение. Да и другой художник, В. Кандинский, влюбился в будущую жену по голосу, когда разговаривал с ней по телефону².

¹ Звук голоса или молчание способны проникнуть во взгляд и запечатлеться на фотографии. На черно-белом портрете супружеской четы Жолио-Кюри, снятой Картье-Брессоном, мы видим этих великих людей, открывших одну из тайн мироздания. Удрученные, они смотрят потухшими глазами, их лица полны тишины.

² Не лишнее вспомнить, что привязанный к мачте Одиссей, следуя мимо острова сирен, ловил в их пении вовсе не сладкие звуки любви, а волю богов, мгновения раستاинственнo тайного глубинного знания, которым обладали эти крылатые существа и за которое менее хитроумные мореплаватели расплатились жизнью.

В обыкновенном пересказе вокальная история «Оборванного дуэта» может показаться сентиментальной, но воспоминание о месте действия возвращает ей изначальную жестокою необратимость. Любая мелодрама в среде Гулага оборачивается трагедией.

Закодированное в тексте рассказа слово «Человек», а также название тюремной песни «Солнце всходит и заходит» склоняют к упоминанию еще одного общеизвестного имени — Максима Горького. В его пьесе «На дне» звучит эта песня. Да и сама развязка пьесы: «Эх... испортил песню... дур-рак!» — невольно накладывается на рассказ Демидова потому, что оборванный дуэт двух заключенных — та же недопетая песня в широком смысле слова. Наверно, среди тех, кто ее оборвал, были и недавние босяки вроде громогласного колоритного шулера Сатина, ратующие за человека, который звучит гордо, и ошеломившие в свое время со сцены МХТ интеллигентов-идеалистов. Не случайно в рассказе Демидова звание Человека утверждается за певцом. И утверждает его шпана: блатные, головорезы и отморозки, для кого интеллигенты вроде певца — объект для разбоя и грабежа.

2. Остров любви **(«На перекрестках невольничьих путей»)**

В отличие от рассказа «Оборванный дуэт» любовные отношения в других произведениях Демидова имеют более реальный характер. Ведущая сюжетная роль в них принадлежит женщине. Инициативность отличает всех героинь: интеллигентных, блатных и ни тех, ни других, а просто чувственных, живущих страстью, про кого в графе «Причина ареста» значит: «член семьи врага народа». Мужчина, даже если он по складу характера рыцарь, вынужден опу-

ститься до уровня невольника и подчиниться. Социальная среда преобразует его страсть в чувство вины, страх мешает активной цели. Холод — природная форма жестокости, усиливает подневольное состояние.

Все холодно и безжалостно, как в романе Мазоха «Венера в мехах». Казалось бы, где, как не здесь, явиться аллегорической ледниковой Венере с кнутом в руках! Но нет, Венера, написанная Демидовым, преисполнена нежности и человеческой теплоты. Она жаждет ответного чувства именно здесь, конкретно на Колыме, на островах в дельте реки, где летом *«ландшафты напоминают... грустную улыбку безнадежно больного, когда ему становится лучше»*. И на ней не меха, а бушлат и шапка-ежовка. И ей все равно, что она подрывает основы колымских законов, которые запрещают все человеческое.

В повести «На перекрестках невольничьих путей» аллегорическую Венеру зовут Юлия. Это имя в русской транскрипции намекает на шекспировскую героиню Джульетту. Как некогда, в романах галантного века, где любовная идиллия происходит в какой-нибудь Аркадии, так и у Демидова она переносится в колымскую пасторальную местность, на острова. Правда, архетипическая модель — «Отплытие на остров Киферу» — объясняется заготовкой сена, а не изысками рококо в духе Антуана Ватто. Обзаведенная приметами лагерной жизни идиллия представляется уже чем-то другим, даже не Телемским аббатством Рабле, которое на радостях поминает главный герой.

Тучи гнуса, мельчайшей мошки, гудящая комариная масса... Из гущи насекомых толщиной в полпальца, застигнутых ударом на теле, летят целые фонтанчики выпитой крови. От дыма костров разъедает глаза, гарь застаивается в травяных шалашах — местах ночевки. А мужчине, чтобы выглядеть кавалером, приходится обжигать щетину на лице горячей головешкой. Потом уже приводить себя в порядок с помощью

самодельной бритвы, выточенной из обоймы старого подшипника. Хотелось бы увидеть второго такого писателя, который берется за столь несовместную с неволей любовную тему и при этом культивирует в себе рыцарское настроение.

Имя Евгений, данное одному из героев возникшего любовного треугольника, а также распределение в нем ролей, таит какое-то сходство с пушкинским романом. Только носит имя не молодой кандидат в любовники, а почтенный заслуженный человек, в долагерном прошлом муж Юлии, известный ученый. Оба — каторжники. Подконвойные, они случайно встречаются на главном колымском шоссе, этой сталинской Владимирке, чтобы впредь никогда не увидеться. *«И вдруг я почувствовал к этому старику почти ненависть того низменного типа, которая нередко возникает у обидчика по отношению к обиженному. И поймал себя на том, что злобно презираю Кравцова только за то, что он стар, дряхл и искалечен. Лагеря заключения тех времен были по большей части обществами со звериным укладом и такой же звериной иерархией».*

В этой цитате откровенности намного больше, чем кажется. Ведь к чему приучили нас великие тексты? Оставляя в стороне «Евгения Онегина», где аспект чести исключает ситуацию холопской морали, читаем у Достоевского («Идиот»): *«Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, ...единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности! Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпийски успокоенная; вы рутина из рутин!»*

Сопоставление этих двух цитат не в пользу героя Демидова. Не спасает и критическая самооценка, позволяющая сделать скидку на, так сказать, воспитание чувств, которым его осчастливили в Гулаге. Демидов без околичностей пишет: *«Но вряд ли в меня бросит камень тот, кто подобно*

мне падал от изнурения и терял сознание от холода и голода, если я скажу, что, когда жестокость жизни превосходит некоторый предел, многие из человеческих качеств становятся человеку чуждыми».

Неизвестно, как разрешилась бы ситуация любовного треугольника в обычной жизни. Возможно, так же как в «Евгении Онегине». Но в лагерной зоне метафорический треугольник сопоставим с графическим кругом, то есть печатью на распоряжениях, спецнарядах, приговорах... Они упраздняли многие семейные противоречия и разрубали родственные узы без сцен ревности и прочих страстей. Именно склонность Демидова к описанию того, что считается невозможным, его отказ от примитивных мотивировок, его стремление выработать ситуацию до конца убеждают в том, что не только лагерный материал привел его в литературу. Она отыскала его сама, найдя в нем соприродную душу, которой подвластен любой материал. Не будь лагерной темы, он все равно стал бы писателем. Вот Марек Эдельман, автор замечательной книги «И в гетто была любовь», один из руководителей польского восстания в Варшавском гетто во время Второй мировой войны, не задавался целью представить некую целостную художественную концепцию человека, свободы, культуры, как это делает Демидов, он просто вспоминал и все. Но при всех бесспорных удачах сочинение Эдельмана не является художественной прозой, тогда как про Демидова такого сказать нельзя.

Особенно производят впечатление эпизоды схваток с обидчиками, посягающими на человеческое достоинство. Сцены разведены во времени, но обе связаны с женщинами, за которых заступает главный герой. Сначала колуном по башке от него получает насильник, приглядевший молодую красивую арестантку (вдову расстрелянного маршала), а позднее — и конвоир, ударивший прикладом хрупкую трогательную заключенную (художницу). Главный герой не

просто бьет конвоира со всей силы ногой, но еще и бросает ему унижительное в ту пору оскорбление: «наемный солдат». В обоих случаях заступник едва остается живым: насильник, метя ножом ему в горло, вспарывает предплечье до самой кости; конвоир пускает в ход штык и попадает в живот. Немудрено, что обе женщины видят в отчаянном защитнике покровителя и прикипают к нему со всей благодарностью разбуженной нежности. *«Это ведь такая редкость теперь, — не без горечи иронизирует сам заступник, — рыцарское поведение мужчины ради женщины. А если оно связано еще и с реальной опасностью для него, то вызывает тем большее восхищение женщин, чем дальше отстоит от здравого смысла. Смысл существует и в иной бессмыслице».* Сам же называет свое заступничество «припадками истерической злобы» и не признает себя ни галантным кавалером, ни приятным собеседником. *«Какая уж там галантность, когда после палаческого следствия и омерзительной комедии суда тебя ни за что, ни про что гонят в неведомую даль».*

Зная негласное лагерное правило: выбирать между участью труса или покойника («В отличие от покойника роль труса — это выбор на время»), он поступает по-своему: *«Те, кто не признает в других права на их личную неприкосновенность, должны быть уничтожаемы как вредные животные. Всякое гуманистическое сюсюканье тут — либо фарисейство, либо бабья жалостливость, либо антигуманизм».* Но действительность такова, что поверженными становятся как раз признающие права, в их числе смельчаки, кто не пожелал остаться тряпкой в человеческом образе, о которую вытирают ноги. Таких единицы. Но все-таки они есть и в лагере, и на воле. Гуманизм, отфильтрованный культурой предыдущих эпох, оказывается не ко времени, которое утверждает себя либо карательным пафосом и террором, либо псевдодемократией, равнодушием и беспробудной все нейтрализующей иронией.

Вводя человеческое измерение в ситуацию торжествующего садизма, герой, а с ним и сам автор, неизбежно становятся жертвами еще и потому, что *«вряд ли хоть один мужчина вспоминал тут о своем мужском звании, даже вплотную прижимаясь к женщине в холоде почти неоттапливаемой этапной ночлежки»*. Хоть и согласишься с автором: *«Фраеров губит их проклятое благоразумие»*, но камень в поверженного не бросишь.

И еще интересный штрих касательно более чем коротких отношений автора со своими героями. Речь о трансформации образа Юлии. Влюбленный мужчина вдруг задается вопросом: *«А была ли наша любовь вполне взаимной?»* Сначала ему кажется, что была. Но потом, *«как это чаще всего бывает у мужчин, я начал уставать от ласк женщины, втайне находя их избыточными и неизбежно однообразными»*. Думается, подобное заключение (по сути, перевод шекспировской Джульетты-Юлии на уровень гетевской Маргариты) не слишком обрадовало бы героя и в обычной жизни. Но когда жизнь — это срок, который надо отбыть, срок на грани жизни и смерти, когда жизнь не оканчивается — она обрывается... Комплекс Фауста, сидящий в мужчине интеллектуального склада (а герой *«Перекрестков»* таков), в перспективе неизбежного расставания отменяет все любовные варианты, кроме одного — это сплошное выхолащивание чувства. Оно снижается до обыденного, аннулируется: *«...То, что было связано с чувством к женщине, если и приходило иногда на память, вызывало скорей недоумение, чем душевный отзвук»*. Перед этапом, за несколько дней до многодневного шествия по льду в Магадан, герой признает: *«Видимо, я все-таки любил Кравцову, хотя и не так, как она этого заслуживала»*. Уже то, что он называет ее по фамилии, подразумевает больше того, что сказано.

3. Каменная рука («Перстенок»)

Сочувствие при зоркой ясности зрения вновь обрекают Демидова на шедевр. На сей раз это повесть «Перстенок» — о любви бандита и блатнячки. Их отношения не осложнены рефлексией. Нет сдерживающего начала, характерного для интеллигентов, излишней осторожности, пассивности. Эти люди отдаются страсти с языческой отрешенностью. Но у тех и других любовь растворена в стихии психоза. Над ней всегда дамоклов меч, готовый опуститься в любую минуту.

На все вероятные возражения по поводу подбора главных героев можно ответить: а что всемирно известный шедевр аббата Прево «Манон Леско» о другом? Или, может, кто-то еще, а не Пушкин, выписал разбойника Пугачева как родного отца?.. Не подарил ему заячий тулупчик руками Гринева? Или Тургенев в рассказе «Стучит» не подметил страшную удасть бесов в человеческом образе? Может, узник Рэдингской тюрьмы Уайльд не увидел товарища по несчастью в убийце? Согласитесь, в подобных сюжетах основным становится не метод социалистического реализма, а человечность.

Главный персонаж этой повести, хотя и далек по наклонностям от овечки, воплощен без грубой отделки его преступных замашек, от чего его характер только приобретает опасную сложность, и тем создает автору кучу проблем. Это отчаянная башка, у него и прозвище Гирей, что не мешает мнить себя романтическим Робин-Гудом. Именно такой персонаж невольно связывается с символическим фетишем душевного холода — кнутом. Активная героиня (она — возница) появляется перед своим избранником с этим предметом в руках, но... (это важно!) не как дрессировщица-мазохистка, а как опытная хорошенькая соблазнительница неумелого в любви мужика. Так, не выводя героев

из садистской среды, где сам Сатана утверждает насилие, Демидов девальвирует традиционный эротический атрибут.

Основной момент сюжетной интриги в этой повести явно из ряда сюрреалистической выразительности. Имеются в виду отрубленные руки убитого бандита-любownika — деталь, резко меняющая атмосферу рассказа: действие теряет авантюрную занимательность и превращается в драму. Реальная практика гулаговских опричников дана в полном соответствии правде жизни. Ведь зверские доказательства означают, что они убили сбежавшего преступника. Но тело не стали тащить в лагерь. Доставили лишь руки для снятия отпечатков пальцев: порядок, обязательный для списания заключенного в смертный архив-три (дактилоскопический узор пальцев — это второй паспорт узника на Колыме). Не похвалиться своей добычей они не могли... Вывалили принесенное на всеобщее обозрение! И героическими победителями встали перед толпой ободранных испуганных женщин. Оказавшаяся среди них подруга бандита, узнав руку любовника по перстеньку, не помня себя, в приступе горя и ярости схватила обрубки и, бросив их в реку, «в темноту глубокой воды», потопила с ними надежды преследователей на повышение в службе, ордена и награды. Триумф победы обращен ни во что, и это *ничто* как бы вопрошает: «Ад, где твоя сила?».

Нельзя не отдать должное авторскому умению перевести натуралистический кошмар в плоскость сюрреализма и на этом органично выстроить сюжет. В этой сцене национально окрашенный колорит повествования теряет лакомую географическую и политическую привлекательность. Варварская деталь выводит повесть в пространство большого времени, где господствует миф с его пристрастием к магическим именам. Среди них имя Эрнесто Че Гевары, героя кубинской революции, с телом которого проделали что-то похожее. Может, в его память на развилке дорог

где-то в Южной Америке огромная ладонь, высеченная из камня, обращает к небу неподвижные пальцы. Кто знает, не отзовется ли этот жест чем-то непредсказуемым, какой-нибудь небесной активностью, посланной наказать всех нас — нераскаявшихся, упорствующих в привязанности к запятнанному агрессивному времени.

4. Царь-дом Магадана («Декабристка»)

Бесспорно, Демидову близки образы интеллектуалов-аскетов. Очередного такого героя (генетика Комского) он дает в повести «Декабристка». Но эта вещь подкупает еще и другим — образом хромоножки Нины, которая подобно декабристке устремилась за любимым человеком на каторгу и вовлекла себя в кошмар непредвиденных обстоятельств. Нина пополняет ряд немногочисленных в искусстве хромоножек, столь внимательно и подробно выписанных Достоевским, Бергманом, столь любимых Веласкесом, Гойей, зарифмованных Мандельштамом (вспомним Наташу Штемпель с «неравномерной сладкой походкой»). Помимо прочего, это лишний раз подтверждает присутствие классической почвы в мировосприятии Демидова. Он продолжает мыслить категориями гуманизма в пору, когда ад уже перестал быть гуманным.

Перед новоявленной «декабристкой» оказываются закрытыми все двери. Отрезаны и все пути назад. Она становится заложницей места. *«Нина уже знала, — пишет Демидов, — что эти горы так красивы только при взгляде на них со стороны. Тех же, кто вынужден жить среди них, сопки, большей частью угрюмые и безлесые, угнетают».*

В этом описании смысл происходящего как бы поставлен в тень будущего, предвещающего беду. Мотив безыс-

ходности, которым пронизана эта история, приводит на ум имя Франца Кафки (роман «Замок»).

В своих попытках укорениться на новом месте Нина напоминает землемера К. — главного персонажа «Замка». Но если роман Кафки прочитывается на аллегорическом, притчевом уровне, то повесть Демидова продиктована реальной действительностью СССР, тотальной безвыходностью засекреченной обстановки. Понятие «декабристка» теряет смысл, профанируется, ситуация заземляется и, становясь тупиковой, не сулит героине ничего хорошего. Историческое предание в этих условиях обесценивается. С героиней остается ее личное «я» — живая душа, которую переиначенный мир изменить не в состоянии. Однако ее личная биография находится в ведении Инстанции, наделенной безграничным могуществом. Именно Главное политическое управление, царь-дом Магадана, осуществляя надзор, отчуждает людей от судьбы, от тайны их первородства. Невозможность диалога и понимания, поднятая Инстанцией на уровень гражданского долга, делают эту подмену необратимой. У когда-то восторженной идеалистки открываются глаза. Она начинает понимать, что ее «подвиг самоотречения» не очень-то желателен избраннику, бывшему биологу-генетику, а теперь заключенному Е-275: его существование в особом лагере — это «гражданская смерть», и он «не только не требует от нее никаких жертв, но и решительно отвергает их».

Герой тоже становится для «декабристки» недостижимым замком, каким, возможно, была для Кафки Милена Ясенская, журналистка и переводчица, непростые отношения с которой он переживал в пору написания своего романа. В названии Кафки отсутствует личностный момент, тогда как Демидов на нем настаивает. Называя поведение Нины «алогичным» и даже «полусумасшедшим», автор тем не менее отдает должное силе его морального воздействия. *«Особенно неотразимо оно оказывается для тех, ради кого*

эти подвиги совершаются», — пишет Демидов. Увы, память о подвигах неотделима и от судеб, которые оканчивались, как у философа Густава Шпета, на краю сибирского оврага. Выстрелу предшествовали: тройка, допрос, приговор. Смысл этих понятий превращает любые подвиги в трагическое ничто, рассеивает в воздухе и уносит в вечность. А через много-много лет в последнее воскресение октября — День памяти жертв политических репрессий — вечность напомнит о себе у Соловецкого камня на Лубянке, и кто-нибудь скажет: «Господь радеет об остатке», и жизнь пойдет, как она шла до этого, и вечность не остановит ее.

Сюжет и связанная с ним тема науки исходят из личных переживаний Демидова. Они слишком болезненны для него, чтобы он мог посвятить повесть лишь теме любви. Это дает знать о себе в явной, можно сказать, кричащей горечи концовки, когда герои встречаются на свободе. *«Редкий для повестей о “Колыме лагерной” счастливый конец?» — спрашивает Демидов. И сам же отвечает: «Вряд ли на таком его названии следует особенно настаивать. В повести об одной из декабристок нашего столетия — их было не так уж мало — добродетель торжествует лишь после того, как главная жизненная линия ее героев оказывается сломанной, порок же не наказуется вовсе... Утрата огромного куска жизни в ее самом творческом периоде невосполнима ни для кого. Но особенно тяжела такая утрата для человека научного поиска...»* Что же касается художественного воплощения, то взаимоотношения персонажей, поданные через речь автора, выглядят, на мой взгляд, прикладными на фоне основной темы — науки. Это заложено уже в сопоставлении двух эпитафий, взятых для повести и связанных с определением гена — единицы наследственности: из Большой советской энциклопедии 1952 и 1971 гг. Шоковой противоположностью своих смыслов они как бы предвосхищают сюжетное действие.

НА ДОРОЖКЕ ЗОЛОТОГО ЗАБОЯ

Теперь известно, какими несметными богатствами располагала «чудная планета»: золотом и бесплатным трудом подневольных рабов, именуемых зэ-ка. Ее *«истребительская функция обеспечивалась уже одним только климатом; именно здесь находился мировой полюс холода, рекорд которого был побит только космическими холодами необитаемой пока Антарктиды»*. Страшной была и жизнь этой планеты, находящейся под эгидой НКВД-МГБ. Сие государство в государстве приобрело статус номерного тайного «валютного цеха» страны. Жили под номерами и люди. Имя им заменяли номер, срок и статья — «тот тюремный полушифр, в котором сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни». В виде фанерной эпитафии такие же данные в случае смерти их обладателя устанавливались на всех могилах общего кладбища. Одна и та же ночь всех примиряла: и бытовых, и уголовных, и политических. Зато при жизни трудовой статус «врага народа» определялся как «исполняющий обязанности рабочего». В гордом звании «социально близкого элемента» политическому было отказано. Социально близкими считались «друзья народа» — уголовники и блатные, хотя не было людей, сильнее презирающих труд, чем они, набившие руку на грабежах, воровстве и разбое. Это не мешало начальству брать их на тайную слежку и поощрять в любом проявлении ненависти к «фраерам» — политическим заключенным, которых они унижали, грабили и убивали.

Так и жила эта чудная планета, не имея себе подобных во всей Новой истории. Жила в стороне от ликующего столичного «Города солнца», пополняла свое население за счет прибытия новых этапов.

1. Одна и та же ночь («Без бирки»)

С описания одного из таких пополнений начинается рассказ о номерном этапнике Кушнареве, который по формуляру значился: «Жэ-триста восемнадцать». Для таких, как он — тяжелых сверхопасных преступников, — был предназначен Береговой лагерь с новым золотым прииском.

О будущих новоселах ходили слухи, что им предписано вкалывать в кандалах и под неусыпным конвоем, и что перед этими озверелыми политическими бандитами, этими свирепыми извергами какие-то обычные «враги народа» и нормальные закоренелые урки — просто мелкая шпана. Местные заключенные ждали первых новоселов с особенным нетерпением и, что интересно, с сознанием своей некоторой привилегированности: *«Раз какие-нибудь берлаговцы объявляются “настоящими” врагами народа, то остальные, стало быть, являются менее настоящими».*

И вот на петлястой главной трассе у подножья высокогорного перевала этап появляется. *«Основную его часть составляли “газы”, наполненные людьми. Однако во главе колонны и в ее хвосте шли “татры”— мощные большегрузные машины, завезенные на Колыму совсем недавно...»*

Местные заключенные *«пялили глаза на настоящих врагов народа и Родины, понуро сидевших на дне автомобильных кузовов. Борта этих кузовов были надстроены решетчатыми деревянными щитами, как при перевозке скота. Но у машинскотовозок дело этим и ограничивается, здесь же щиты*

были густо переплетены неизбежной “колючкой”. Абы кого с такими предосторожностями этапировать не станут.

Ожидаемых кандалов, однако, на берлаговцах не оказалось. Они смирно сидели, положив руки на колени, над левым из которых... был нашит номер. Такой же номер, белый тряпичный прямоугольник с жирной трехзначной цифрой и буквой спереди, был и на шапках спецзаключенных.

Конвой этапа поражал своей боевой силой. Кроме автоматчиков среди конвойных были солдаты, вооруженные винтовками. Это, видимо, на случай дальнего боя. У многих к поясу были пристегнуты гранаты. В передней и задней машинах сидело по солдату, державшему наготове ручной пулемет. Конвойные, ехавшие в машинах вместе с заключенными, были отделены от них высокой деревянной решеткой, и в каждой из таких загоронок скалилось по собаке.

И все же, густо облепленные номерами преступники в кузовах никак не производили впечатление плененных людоедов. Это были, большей частью, уже пожилые люди с усталыми, изможденными лицами».

Описание табуированной территории Берегового лагеря не менее впечатляет. В глаза бросались толстенные решетки на подслеповатых оконцах и тяжелые амбарные запоры снаружи дверей. А что стену барака можно было проткнуть кочергой, мало кого волновало: главное — факторы устрашения. Они были повсюду.

Вокруг запретной зоны была натянута колючая проволока «в переплет», ряд за рядом три прогона с большими интервалами, надпись на щите предупреждала: «Стой! Стреляю!». Стоило задрать голову на караульные вышки с амбразурами для станковых пулеметов, и все сомнения в правдивости надписи отпадали. На территории не оставалось и сантиметра, где бы нельзя было прошить человека пулями.

Смерть здесь олицетворяет не библейский всадник Апокалипсиса, а учетная часть «архив-три» с отпечатками пальцев, снятых с покойников. Снятие отпечатков зовется «игрой на рояле». Это важно отметить, прежде чем продолжить разговор о рассказе «Без бирки».

Его главный герой Михаил Кушнарев, в прошлом аспирант кораблестроительного института, был арестован в 1937 г. Он дважды сбежал из лагеря и дважды возвращался обратно. Два новых срока на всю «сталинскую катушку без сдачи» и послужили причиной обращения человека в номер Жэ-триста восемнадцать с аттестацией контрреволюционного саботажника, не желающего работать на добыче стратегического металла номер один, то есть золота (гулаговские «кумовья» зашифровывали даже выписку заключенным новых штанов взамен протертых до дыр). Без сомнения, Кушнарев рвался к свободе. Но его побег диктовался волей не к жизни, а... — к смерти. Приверженец пессимистической философии (от мудрецов древней Индии и Китая до Шпенглера и Шопенгауэра), Кушнарев после десятилетнего каторжного пребывания на Колыме буквально зациклился на идее, что жизнь бессмысленна (признаться, в его положении с ним трудно не согласиться). На столе Кушнарева в бытность его аспирантом кафедры гидродинамики лежала и Библия, «заложная, — пишет Демидов, — логарифмической линейкой на книге Экклезиаста. Библейский пророк импонировал убежденному атеисту Кушнареву мрачным духом своей философии безнадежности».

Навязчивая идея Кушнарева осложнена странным комплексом: он не желает попасть в «архив-три» с обязательным снятием отпечатков пальцев и навешиванием номерной бирки на ногу. «В спецлаге стерегут так тщательно не людей, ...а некие предметы с инвентарными номерами. И дело не в том, жив или мертв заключенный, а в том, чтобы он сохранился как этот предмет», — пишет автор. Протест

против постоянного надругательства не только над живым, но и над мертвым человеком и толкает Кушнарёва в тайгу, где, кроме смерти, ничего не найдешь. «Главное в том, — поясняет Демидов, — что здешние горы, распадки, ущелья и болота враждебны живому человеку, пытающемуся их преодолеть, но мертвых они укрывают надежно и верно. Нужно только добраться до них, пока тебя не поймут и не расстреляют». Кушнарёв сбегает. «На свое горе, — пишет Демидов, — Кушнарёв оказался таким же жалким рабом инстинкта самосохранения, как и тысячи людей, никогда не слышавших о Шопенгауэре».

Сочувствие автора к понятной слабости своего персонажа, внутреннему надлому поражает детальным разбором его каждого душевного движения. Демидов работает по принципу: все знать, значит все простить.

Не выдержав голода, беглец через неделю возвращается в лагерь. Но и после второй неудачной попытки избитый, затравленный собаками не отказывается от своей идеи. Взрыв — вот что избавит его от постылой жизни, от формальностей «архива-три». Описание того, как Кушнарёв решает свою посмертную участь, да и предшествующий текст рассказа, сделали бы честь Эдгару Аллану По, мастеру подобных сюжетов. Его призрак словно витает над этим текстом, разве что название рассказу мистический кельт дал бы другое, что-нибудь вроде «Серебряных колоколов», наподобие тех, что впоследствии вдохновили Рахманинова на симфоническую поэму. И пусть не хор Кастальского творит Кушнарёву Михаилу Алексеевичу Вечную память, провожая на вечный покой, а звон мерзлого рельса, по которому ударили молотком, оповещая о запале заряда! Для Кушнарёва это звук Благовеста. Он, талантливый инженер, подававший большие надежды как гидротехник, рассчитал свою оставшуюся жизнь до секунды и выбежал из каторжного строя на взрыв золотоносной горы. Кто-то, разгадавший

его замысел, говорит: «А Кушнарев-то, товарищи, вовсе не в побег идет...» Это «товарищи»... Среди подконвойных под номерами... Цепенеешь читая. От демидовского умения выразить человеческую солидарность, поставить слово в нужное место. Солидарность, товарищество, когда каждый сам по себе, когда закон — тайга: сегодня умрешь ты, а я завтра. Но Кушнарев уже ничего не слышит, он по другую сторону жизни. Где свобода не навязанная фикция, какая-нибудь осатаневшая осознанная необходимость, а состояние его личного выбора. Ведь говорили же древние: справедливость должна восторжествовать даже если погибнет мир. Так и человеческое достоинство под гул взорванной скалы, грохот камней, вой и свист полярного ветра заявляет себя в красивой отчаянной смерти. Не стратегический металл номер один кумир Сатаны, а собственная свобода, в том понимании, какое внушил Кушнареву отец — профессор права прежнего времени, становится оправданием его добровольной смерти. Она возвращает ему имя, восстанавливает масштаб личности. Возможно, в нормальной жизни одаренный, любивший математику Кушнарев совершил бы иной подвиг во имя науки, но государство распорядилось иначе, навязав ему судьбу каторжника.

Наполнение этого сложнейшего по замыслу рассказа заставляет вспомнить Варлама Шаламова («Житие инженера Кипреева»):

«Много лет я думал, что смерть есть форма жизни, и, успокоенный зыбкостью суждения, я выработывал форму активной защиты своего существования на горестной этой земле.

Я думал, что человек тогда может считать себя человеком, когда в любой момент всем своим телом чувствует, что он готов покончить с собой,

готов вмешаться сам в собственное свое житие. Это сознание и дает волю на жизнь.

Я проверял себя многократно и, чувствуя силу на смерть, оставался жить.

Много позже я понял, что я просто построил себе убежище, ушел от вопроса, ибо в момент решения я не буду таким, как сейчас, когда жизнь и смерть — волевая игра. Я ослабею, изменюсь, изменю себе. Я не стал думать о смерти, но почувствовал, что прежнее решение нуждается в каком-то другом ответе, что обещание самому себе, клятвы юности слишком наивны и очень условны».

В рассказе «Без бирки» жизнь и смерть из категорий логики переходят в категорию высшей ценности жизни — свободы, которая становится возможной лишь через смерть. В этом смысле судьба Кушнарева — один из других ответов, который мог предложить Варламу Шаламову Георгий Демидов.

И еще одна, вероятно дикая, мысль возникает в связи с этим рассказом. Бывает, против воли само что-то думается, что вовсе не отвечает твоей натуре, как бы одни мысли думаются назло другим. Не удивляйтесь, я назову имя А.П. Чехова. И вспомню историю его смерти. В Баденвейлере. И, между прочим, замечу, что мелочные немчуры этого городка ничего не нашли другого, как предоставить мертвому телу русского гения контейнер для ресторанных устриц, в котором его отправили на родину. Вот и думается, предвидь это Чехов, не предпринял бы что-нибудь в духе Кушнарева. Не устранился бы как-нибудь деликатно в окрестность судьбы своих же героев? Может, потому русский человек и не любит умирать в постели, что его достанут даже в гробу. Может, смерть под забором в перспективе Гулага не так и ужасна, зря ею тыкали недалёковидные братья-писатели. Под за-

бором ли, на каторжной ли колымской сопке, а старание души сохранить в себе лучшее нигде не отменится.

И убитый Мартин Лютер Кинг вспоминается, на могиле которого начертано: «Свободен, свободен...». Надо уметь так сконцентрировать композицию, задать ей темп, что прочитанный рассказ звучит в тебе, как симфония Моцарта соль-минор № 25: врываясь вихрем нарастающих звуков, по мере приближения к кульминации захватывает дух стонущих щемящих пронзительных нот. И среди них одна, та самая... жалобная нота лопнувшей струны, знаменующая, что мир раскололся, что райский сад на земле — мечта прекраснодушных велеречивых слепцов — невозможен, и все претензии на него, как и любая их личная драма, это, по сути, комедия. Немного грустная, но комедия. Почти как «Вишневы сад».

2. Хаос («Интеллектуал»)

Вопреки утверждению М. Горького: «Сила советского воспитания заключается в том, что это воспитание правдой!» (на ярком кумаче красного уголка в культурно-воспитательной части), Демидов видел цель Гулага в другом — принуждении к каторжному труду под автоматом. Эта мысль не нуждается в доказательствах. Разве что ее уточнить словами В. Шаламова: «Арестант на предложение “давай” отвечает всеми мускулами — нет. Это есть и физическое и духовное сопротивление. Государство и человек встречаются лицом к лицу на дорожке золотого забоя в наиболее яркой, открытой форме, без художников, литераторов, философов и экономистов, без историков» («Воспоминания /о Колыме/»).

Если же перейти на язык статистики, то правда в том, что себестоимость добычи металлов была в семь-пятнадцать

раз выше мировой цены (по данным А.Н. Пилясова, исследователя экономической эффективности гулаговского «Дальстроя»), а добыча золота была связана с валютным курсом, сильно заниженным директивно. К сороковым годам XX в. сумма инвестиций в «Дальстрой» в два с лишним раза превышала стоимость конечного продукта (золото, олово, вольфрам, кобальт). Издержки неэффективности производства возмещались за счет численности узников: в пролетарском государстве их количество не составляло проблемы. Не секрет, что на изымание людей из общества спускались разнарядки. Дальнейшее превращение разношерстной гигантской массы под названием «рабсила» в реальных рабов было отлажено как конвейер. Истязание приравнивалось к воспитанию. Произвол отождествлялся с порядком революционной законности, не знавшей в своей жестокости ничего другого, чем невежество и фанатизм. *«Врожденную жестокость и нравственную неполноценность тут так легко скрыть за казенной буквой Устава!»* — пишет Демидов. Это и есть обратная сторона утопии, где всех и вся сталкивает и объединяет одна стихия — страха и ненависти.

«Изнуренным от непосильного голода людям, — продолжает Демидов, — тут никто не сочувствовал. Наоборот, они вызывали злобное презрение, особенно в тех случаях, когда еще и впадали в обычное при дистрофии голодное слабоумие. Плечущегося позади всей бригады еле передвигающего ноги человека с особой злобой пинали прикладами конвоиры. В забое его непрерывно награждали толчками и ударами бригадиры и десятники, в бараке — дневальный, а то и просто те, кто был хоть немного посильнее... А чего с ним валандаться? Начал подыхать, так и пусть подыхает, а не путается тут под ногами... В человеческом стаде инстинкт враждебности к

беспомощному ближнему проявляется с особой силой там, где это стадо состоит из людей, насильно согнанных в какой-нибудь общий загон, каковым является, например, концентрационный лагерь».

Позднее, в 1971 г., подобный вывод сделал и американский психолог Ф. Зимбардо, поставивший так называемый Стэнфордский тюремный эксперимент. Но профессор изучал психологию заключенных и охранников на студентах-добровольцах в подвале университета со специально оборудованными тюремными камерами и на деньги управления военно-морского флота, а Георгий Демидов — на своей шкуре, бесплатно и, главное, вопреки всем и всему, на свой страх и риск. По Стэнфордскому эксперименту сняли несколько фильмов, он стал легендой, а рукопись Демидова арестовали и упрятали в архив КГБ.

О светлой природе человека, казалось бы, в таких условиях говорить не приходится. Но Демидов видит ее. Таков Ученый из рассказа «Интеллектуал». Возможно, сильные характеры удаются Демидову, потому что он наделяет их своей любовью к науке, своей увлеченностью музыкой, знанием литературы, интересом к истории, философии, даже своим отношением к хаосу (разумеется, все эти чувства имеют условный характер, пока иссохший мозг способен на память, родственную фантомной боли, как все искаленное, растоптанное). Не столь давние лауреаты Нобелевской премии сэр Роджер Пенроуз и Вахе Гурдзаян нашли бы в размышлениях демидовского Ученого о хаосе много интересного. Именно при изучении этой материи в масштабе Вселенной они сделали свои открытия относительно констант Природы и цикличности времени Вселенной. Но герою рассказа не суждено было это узнать. Он, в прошлом руководитель университетской кафедры математического анализа, а теперь член бригады навалыщиков-откатчиков,

умер по дороге на рудник колымской сопки «Оловянная». Удар носком тяжелого сапога конвоира по его неподвижному телу констатировал эту смерть.

При различии тем и сюжетов в рассказах ли, повестях Демидова пространственная ситуация предстает одинаково — как хождение по стране смерти, населенной живыми людьми, которым с теоретической убежденностью садистов предопределена участь ходячих скелетов с потухшими глазами, некоторым предопределена — ни за что. Вряд ли колымское золото под слоем окаменевшей глины нуждалось в такой цене. Ведь добытое оно сосредотачивало в себе не человеческий интеллект, а кровь. Но в этом слове так много литературы, что пересилить ее может лишь тишина.

3. Лебединая песнь Человека («Люди гибнут за металл», «Классики литературы и лагерная самодеятельность», «Художник Бацилла и его шедевр»)

В одном из писем Демидов заметил, что не обладает мудростью Пимена-летописца и его старческой бесстрастностью и что минувшее для него «отнюдь не безмолвно и спокойно». На это можно сказать, что мудростью, родственной создателю «Бориса Годунова», он располагал в достаточной степени. И распространял ее на своих героев. В частности тех, кто имел отношение к искусству. Профессионалов или самоучек он пишет в ключе пушкинского утверждения: *«И меж людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»*. Таковы они, пока их душа «вкушает хладный сон». Но в свои звездные часы они преображаются. Для хилого, просвечивающего от худобы Горева по прозвищу Бацилла («Художник Бацилла и его шедевр») — это одержимость картиной, которую тайком от начальства он работает под опекой блатных арестантов. Для

бывшего студента Скворцова, мастера на каверзные подвохи («Классика литературы и лагерная самодеятельность»), — возможность выступить на концерте самодеятельности, чтобы высказать мучителям свою правду.

Тем же чувством движим и певец Локшин, вроде бы серый, заурядный, по-крестьянски себе на уме, но одаренный редким голосом, — ему прочили будущность «советского Карузо»... Но вместо сцены он оказался на Колыме.

Без надобности он был послан однажды под лютуюющий ветер долбить речные лунки. Окоченев на страшном морозе, он, пятась от снежных порывов, провалился под лед; с воспалением легких попал в лагерную больницу. И вот, пролежав несколько дней без сознания, Локшин очнулся, когда с вахты донесся сигнал на развод — а это звон того же проклятого рельса, который, как и в других рассказах, играет особую акустическую роль.

«...Он открыл глаза. Сознания в них, однако, не было. Приподнявшись на локтях и обведя палату блуждающим взглядом, больной бормотал: Переохлаждение... Переохлаждение... Уже третий сегодня... Полежав еще немного, больной откинул одеяло и сел на своем топчане, спустив ноги на пол. Потом сделал руками дирижерский жест и почти в правильной тональности запел...»

Без сознания, в горячке, раздетый, он выскакивает на мороз. И продолжает пение, начатое в больнице. Голос — единственное, что не изменяет ему. Он звучит как бы отдельно от тела, сам по себе, не считаясь с недугами отказавшей плоти (рассказ «Люди гибнут за металл»).

«По человеку, появившемуся в этой узкой полосе земли, — пишет Демидов, — часовые на вышках...»

обязаны были открыть огонь без предупреждения. Но ближайший часовой... не был, видимо, кровожадным человеком. Он ограничился выстрелом в воздух. Впрочем, было совершенно очевидно, что этот нарушитель не в своем уме... Он продолжал петь: "...угождая богу злата, край на край встает войной..." Снова раздался выстрел, но уже с другой вышки в дальнем углу зоны. Дежуривший на ней часовой отличался, видимо, большим служебным рвением, чем первый, и более буквально понимал устав караульной службы... Исполнительный солдат стрелял прицельно...»

Известная, даже запетая ария теряет свой иллюстративный смысл и становится акустическим образом гибели, как и бой рельса у вахты.

Возможно, где-нибудь за пределами чудной планеты тоже звонило тогда. Если колокол звонит в память покинувшего сей мир, утверждает Джон Донн, то он звонит и по тебе («...ибо я един со всем Человечеством»). Но на Колыме у звона другая задача: он подает доходягам сигнал согласно каторжному расписанию дня.

Сюжет, несколько напоминающий оперное либретто, вдруг обнаруживает потаенный смысл, как и ничем не выдающийся, приземленный характер героя. Все мелочное в нем, «себе на уме», бытовое преобразуется благодаря неосознанной, способности к вдохновению. Преобразуется в эту лебединую песнь, которой природа высокого духа одаряет избранных. «В лагере, где он умер, — пишет Демидов, — для места, в котором смерть является правилом, а выживание — исключением, этого заключенного помнили необычно долго... В те годы почти все, кто складывал в этом краю свои кости, так или иначе “гибли за металл”».

В трех упомянутых рассказах обычное объективное спокойствие изменяет автору, хотя он называет свое состояние «привычкой философствовать, когда позволяет время и относительная сытость». Вот, выйдя из барака, где увидел «Распятие» художника-самоучки, автор не может отрешиться от впечатления. Ему представляются кресты с мучениками в лагерных бушлатах на всех склонах колымских сопок. «Бесконечные числом» они «далеко отстояли друг от друга, что, вероятно, символизировало внутреннее одиночество распятых на них страдальцев. Каждый умирал на своем кресте, и распятый на переднем плане был лишь одним из множества...» «Я почти физически видел бесконечный лес распятий, теряющихся в мрачной дали».

Людоедская Колыма невольно лепится к кровавым эпизодам религиозно-политического фанатизма, тем же крестам и воинским пикам с насаженными на них человеческими головами: трофеями Варфоломеевской ночи, описанными поэтом-гугенотом Агриппой д'Обинье, безумствам Хиосской резни в Греции, потрясшим Байрона и Делакруа, балканским кошмарам, пошатнувшим ум Всеволода Гаршина, недавним зверствам в сирийском Хомсе.

В рассказе «Классики литературы и лагерная самодеятельность» посредником между новым временем и прошлым становится уже не обличительная картина, а стихотворение раннего Маяковского «Гимн судье», а затем пьеса Мольера «Скупой», поставленная «дыбом» в пору, когда циркуляром Гулага было приказано оживить художественную самодеятельность.

Говорят, народ, который терпит невыносимую власть, столь же в ответе за произвол, как и сама власть. О народе, изображенном в этом рассказе, где главное действующее лицо — смех, не скажешь, что он терпит. В среде заключенных всегда были сильны балаганные традиции, «юмор висельников». Но протест, обусловленный гротесковой си-

туацией, взятой из классического произведения, не может осуществиться в ином виде, кроме подвоха. «Врагам народа» не то, что говорить, но даже играть положительных героев запрещалось.

Демидовский юмор как бы ориентирован на поговорку: без смеха из этой жизни живым не выберешься.

«Струнный и хоровой кружки числились в действующих, но лишь чуть дышали. На двух домрах и трех балалайках бренчали несколько мелких воров. На трехрядной гармонии пиликал простенькие вещи деревенский кооператор-растратчик. Руководил музыкальным кружком бывший эстрадник, сидевший за растление малолетней. Он неплохо играл на гитаре, но не обладал ни дирижерским, ни организаторским талантами и авторитетом в своем кружке не пользовался. Еще меньшим был авторитет руководителя хорового кружка, хотя он был настоящим хормейстером с консерваторским образованием. Но беда хормейстера заключалась в том, что свой срок он отбывал за педерастию, а его хор состоял исключительно из молодых уголовниц, блатнячек и проституток. Народ этот органически не способный к дисциплине, скандальный и насмешливый. Во время занятий кружка озорные бабы не столько пели, сколько состязались в издевательских выходках над своим руководителем. Несколько молодых парней, вступивших в него только для того, чтобы быть поближе к девкам, были того же поля ягоды, да и петь почти не умели».

Подтекст отзывается не только смехом, но и знанием реального положения дел в обществе, лишенном интеллектуальной основы. Его контрастная яркость позволяет простить

мелкую погрешность вроде: «на гармонии пиликал», ее не сразу и замечаешь. Демидов с удовольствием обращается к фольклорно-гротескной лексике, когда пишет о начальниках или заключенных из категории блатных. Прозвища, типичные словечки, присказки так и мелькают в тексте. Нелитературная речь характерна как для персонажей, так и для самого автора. Конечно, пристойная оболочка слова взрывается не на пустом месте, а при отрицании абсурдной действительности, которая утверждает себя как что-то нормальное, само собой разумеющееся. То, что философ Хана Арндт назвала «банальностью зла».

Один из броских примеров, подходящих к ее высказыванию, есть в книге «Сухановская тюрьма. Спецобъект 110» (М., Возвращение, 2014). Здесь среди биографических справок о бывших узниках напечатано свидетельство литератора С.С. Виленского. Когда его, в ту пору студента Московского университета, вели на допрос, какие-то девицы в проходных помещениях пудрили носы, болтали по телефону, обсуждали профсоюзные путевки в санатории... Запомнилось и другое: один из охранников, сопровождающих арестанта, тайком пожимал подконвойному руку, чтобы подбодрить. Студента вели на допрос, а какой-нибудь завхоз подписывал в это время накладную на выдачу пуль, которыми застрелят его товарищей по несчастью, семь копеек за штуку. Срок, выданный в виде пули весом в семь граммов в стальной лакированной гильзе с нагановским капсюлем. Подписывал и спокойно шел на обед. И слово «дача» — так секретно именовался сухановский объект (бывший Екатерининский монастырь в подмосковном Расторгуево) — вызывало у него кривую усмешку, которую он запивал компотом. Запивал, мыл руки и возвращался на рабочее место дальше подписывать. И все это считалось правильным нужным делом и называлось «долгом перед народом». А тайные доброжелатели, часто это были врачи,

кому удавалось передать арестанта на психическое освидетельствование, чтобы болезнью объяснить его «политические заблуждения», врачи, спасшие многих (в их числе и студента С.С. Виленского), так и остались неузнанными, незамеченными в своем человеческом героизме.

И вспоминается прямо-таки стон Варлама Шаламова в одном из его колымских рассказов, предпосланный признанию, что через всю жизнь пронес чувство благодарности то ли к докторше, то ли фельдшернице, ответившей на брошенный кем-то попрек, мол, что ж ты, сволочь, так грязью оброс. *«Разве ж они виноваты?»* — сказала заступница.

Много ли их было — заступников? Тайных доброжелателей? Много ли их сейчас? Безымянные, они живут в стихах своих подопечных, в их негласных молитвах. И «в минуту жизни трудную...», и всегда.

ХОЛОДНЫЙ ОСВЕНЦИМ

И вот настало время спросить: «А вы знаете, как умирают шахтеры?» Конечно, интеллигентному человеку приятнее отвечать на вопрос: «Любите ли вы Брамса?». Но интеллектуальный минимум, включавший этот вопрос много лет назад, как и владение матом, и элитарная приклатненность, ныне не актуален. Отшумев, время унесло и писательницу, задавшую этот вопрос. Да и музыка Брамса не нуждается в нем: продолжая движение вверх, она по-прежнему стремится к ускользающей цели и тем себя утверждает.

Так вот, есть два вида шахтерской смерти: либо человек сгорает заживо, либо на него обрушивается порода, и он остается под ней навсегда. Говорить об этом тяжело, однако не говорить — значит оставить рассказ Демидова «Под коржом» без внимания. Меж тем в литературе не слишком много серьезных вещей на так называемую производственную тему. Даже такой писатель, как А. Фадеев, не справился со своей «Черной металлургией». Провалил замысел, оставив несколько глав. Может, потому и не справился, что металлургия прошла его не одними воспоминаниями о расплавленном железе, но и какими-то нежелательными подробностями нашего героического бытования.

Рядом с бесспорной удачей, связанной с темой людей производства, — таков, например, «Молох» А. Куприна, видится «Доменная печь» Н. Ляшко, повести Андрея Платонова, «Большая руда» Г. Владимова, «Территория» О. Куваева, еще

пара-тройка произведений. Все это повести. Рассказы же на эту тему — вещь почти невозможная, за них берутся редкие смельчаки. Индустриальную тему сочли уделом кинематографа, хотя перечисленные выше вещи, а также опыты композиторов А. Мосолова, С. Прокофьева, Онеггера, а еще работы русских архитекторов и художников-конструктивистов, да еще роман Валентина Катаева «Время, вперед!» показали, каким источником вдохновения она может стать.

1. Заложники оловянной сопки («Под коржом»)

1

«Под коржом» выглядит своего рода гибридом, вобравшим черты очерка и собственно рассказа.

Иногда кажется, что текст перегружен техническими подробностями: о характере рудника, типах залегания жил, свойствах породы, в нем много профессиональных слов. Возникает ощущение, что от читателя требуется эрудиция, выходящая за пределы его интересов. Все же автору удается вытащить повествование из глубин специальных подробностей.

Действие происходит на колымской сопке «Оловянная» на высоте более трех тысяч метров, где идет добыча гранита, прослоенного жилами кварца с кристаллами оловянного камня — касситерита. Касситерит — драгоценный минерал пирамидальной, столбчатой, игольчатой формы, чаще всего черного, серого, коричневого цвета, почти единственный источник металлического олова. Иногда он бывает похож на дымчатый горный хрусталь. В Советском Союзе оловянным сырьем располагала лишь Колыма. Без олова — стратегического металла № 2 — невозможно было производство самолетов, танков, автомобилей. Описанные события относятся к периоду войны.

2

Случается так, что после очередного взрыва породы в забое зависает корж — пласт гранита. Он едва держится, может рухнуть на голову от звука голоса, от ничтожного сотрясения.

Правила безопасности обязывают вывести людей и обрушить корж. Но... у начальника, горного инженера Артеева, железная отговорка: *«На войне и не такое бывает!»*

«Подобная аргументация, — пишет автор, — считалась в те годы совершенно неотразимой. Особенно модной она была среди колымского каторжанского начальства, никогда не видевшего фронта и гарантированного от него на будущее. Возможно, что некоторым из этого начальства даже импонировало ощущение, что и они руководят фронтом, на котором гибнут люди, а не каким-нибудь мирным хозяйством. Это усиливало эффект сопричастности к всенародному делу, достигаемый, как это нередко бывает, целиком за чужой счет».

«Каждый грамм нашего металла — пуля в сердце врага!» — гласят расклеенные повсюду плакаты. Невыполнение плана приравнивается к государственному преступлению.

Сопка почти выработана, но в ней еще остались кварцевые жилы. Дело работяг разбивать кувалдой обрушенные глыбы, вручную загружать вагонетки и выкатывать их из забоя. Они продолжают дробить и отгребать, как если бы корж не завис над ними. *«От страха смерти может избавить только сама смерть»*, — говорит один из забойщиков, бывший литературовед, вспоминая слова Шекспира.

3

Литературный сюжет как бы пунктиром сквозит через трагичную реальность, подаваемую в виде повествовательных документально-публицистических фрагментов. Сцена в промышленной зоне переходит в описание условий труда: они сравнимы с теми, какие были в немецких концлагерях.

Участок, где вкалывают горняки, — своего рода пещера: двенадцать метров в поперечнике и столько же в высоту. Освещается факелами, которые горят в пустых консервных банках за счет тряпки, смоченной отработанным автолом. Вместо воздуха копать и чад. От работы с острыми камнями ватное обмундирование забойщиков напоминает рвань огородного пугала. Их лица черны как у негров. Воды нет. Для питья ее *«имели лишь самые привилегированные из заключенных, — пишет автор, — остальные утоляли жажду снегом. И хорошо еще, если в бараке была чуть нагретой печка. Тогда можно было, приложив к ее железному боку зажатый в руке ком снега, потом высасывать из него влагу, как сок из граната... Тот же снег служил и для умывания».*

Взрывы породы ведутся как попало, учитывают их на пальцах. Ошибка при счете могла досрочно «освободить» все звено. Но и в этих условиях работяги подтрунивают, стараются держаться: *«Умерший сегодня избавлен от смерти завтра».* Однако ни ударный труд, ни адское терпение, ни смекалка, ни шутки, ни мужество здесь не имеют значения. Забойщики — *«подневольная рабсила — всего лишь необходимый элемент рудничного хозяйства».*

Воздушной волной от взрыва людей может шарахнуть об стенку, оставить без рук, без ног. Промедли секунду и самого взрывника разнесет на куски: настолько коротким был шнур запала. Желтый дым с удушливым запахом азотной кислоты остается после взрыва. Это нитронафталит, предназначенный исключительно для открытых работ. *«Победителей не судят, и с них не спрашивается, на каком*

количестве крови замешено исторгнутое из недр гранитной горы драгоценное сырье», — пишет Демидов. Тем не менее, взрывникам завидовали, хотя знали, что не многие из них «дотягивают до своего срока, даже если он и не так уж велик. Но уж лучше попасть под взрыв или сорваться в двухсотметровую траншею, чем околеть от голода или изнурения. Такой конец ожидал здесь почти всех работяг основного производства».

4

По описанию условий труда этот рассказ близок норийской истории «Взрывник Метляев» из книги Леонида Бородина «Без выбора». Вот, пожалуй, проза, сопоставимая с прозой Демидова по уровню понимания темной стороны «прекрасного» мира. Сходство рассказов, написанных разными людьми, разных политических ориентаций, отбывавших срок в разное время, с интервалом 20–30 лет, подтверждает вывод американской исследовательницы Э. Апплбаум, изложенный в книге «Гулаг: история советских лагерей», что Гулаг по степени зверства был не только сталинским, но и хрущевским, брежневским и т.д. Вплоть до Перестройки он оставался крупнейшим лагерно-индустриальным комплексом тоталитарного принуждения и убийственного труда.

Рассказ «Под коржом» можно было бы назвать и «Одним днем рудокопов», если бы фатальная безвыходность ситуации дала горнякам хоть шанс на спасение. Нигде у Демидова пренебрежение к человеческой жизни со стороны начальства не обнаруживает столь ошеломляющей простоты. Подобно солженицынскому Ивану Денисовичу работяги тоже хотят остаться живыми. Но для начальника с орденом и партбилетом важен план и второй орден, а не какие-то люди третьего сорта, которых всегда можно обвинить в недисциплинированности. Да и сочувствие, доброту здесь считают проявлением душевной слабости. Впрочем,

начальники «существенно иного склада, и не могли бы работать на подобных предприятиях сколько-нибудь долго, а тем более успешно», — говорит автор.

Документально-публицистические фрагменты чередуются с сюжетными — такая композиция сохраняется до конца.

Появлению Артеева в забое предшествует длинный луч фонаря, который он, подобно карателю, в упор наводит на лица работяг.

Чтобы подстегнуть их, Артеев распоряжается выдать ядреной махорки взамен американского табака в коробочках с изображением принца Уэльского.

Упоминание об изысканном табаке издевательски звучит в контексте рассказа, обнаруживая наивное незнание союзниками истинного положения дел в каторжных лагерях. Они, наверно, думали, что рабовладение осталось только в романе Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Правда, и русская махорка, и обещанные полведра лишней баланды на брата не окупят стоимость такого товара как человеческий страх. Но у партийных карьеристов и заложников-горняков разная шкала ценностей.

5

Корж остается на месте. Артеев решает не прерывать работ.

В эпизоде с русским немцем маркшейдером (старый шахтер из Донбасса, осужденный по статье «социально опасный элемент», еще раз пробует убедить инженера вывести людей) Артеев подводит базу под свое решение: «Каждому свое» — слова, скомпрометированные фашистским пристрастием к философии. Литыми готическими буквами они вписаны в архитектуру ворот концлагеря с идиллическим названием «Бухенвальд» — буковый лес (так время с помощью людей переваривает ностальгическую мечту об

утраченном рае не где-нибудь, а рядом с Веймаром — родиной Гете, и заносит ее в Колыму). Сказанная по-немецки, фраза предваряется русским «авось», эти слова лучше всего объясняют то, что происходит через несколько минут, что не может не произойти.

Глазами случайно оставшегося в живых работяги автор смотрит на картину обвала.

«В непроницаемой темноте перед ним была могила. А в ней лежат его товарищи по подневольному труду, которые каких-нибудь еще четверть часа тому назад были живы, работали, надеясь успеть уйти из-под нависшей над ними смерти, а некоторые даже подшучивали над ней. Теперь раздавленные, превращенные в ничто, они лежат под этими камнями, быть может, на расстоянии протянутой руки».

Их конец еще страшнее, чем пишет Демидов. Работяги были обречены умирать под давлением скальной породы сутками. В рассказе Эдгара По «Заживо погребенные» описаны ужасы подобной смерти (да и чилийский фильм о шахтерах, снятый на основе реальных событий, не скупится на них). Помощь — естественное желание человека в экстремальных условиях. Вот уж ничего похожего не вылуцится в мозгах колымских рабовладельцев. Люди задыхались под дикой грудой, а горный инженер, объявившийся в забое снова, как кладоискатель любовался кустом блестящих черных кристаллов касситерита, нахваливал найденное сокровище.

Не хотелось бы, завершая разговор о рядовом случае на сопке «Оловянная», именовать погибших расхожим словом «работяги».

Кто они, задолжавшие прокурору за вину нередко мнимую, недоказанную, а если и реальную, то в большей части

искупившие ее адским трудом?.. Кем были до того, как попали на Колыму: капитан дальнего плавания Коврин; мастер-штукатур Прошин; литературовед, специалист по классической западной литературе Михеев; кадровый офицер Ткаченко; молодой колхозник из Закарпатья Жартовский.

Тайну реальных имен Демидов унес с собой. Но энергия, наполняющая образы этих людей, не может исчезнуть. Вспоминать их невозможно без религиозного чувства, говорить — без боли. Потому и строки Бориса Слуцкого о сгинувших в рудниках: *«Мир, предложенный вашему праху, Отвергаете вы из могил»*, — скорее реальны, чем метафоричны.

Черное пространство забоя, дымящий факел, многотонная груда камней, случайно спасшийся, блуждающий в темноте бывший конюх из Белоруссии Зеленка, которого до кучи тут же списывают в мертвецы... И над всем этим — гора. Всесильная. Оловянная. Которая «последовательно уничтожает всех, кто кощунственно буравит ее тело».

Так кто же, спрашивается, преступники: накрытые коржом, отвергнутые обществом люди, или те, утвердившие свою власть на крови? Нельзя также не вспомнить, что в истории Великой Отечественной войны труд заключенных Гулага абсолютно не оценен. Картина победы расписана в привычных социальных категориях, среди которых им не нашлось места, будь они сто раз ударниками, талантами или гениями. Люди выполняли самую черную работу и остались проклятыми и отверженными. Такому видению истории желательны только нужные персонажи, и это несправедливо.

Собранные в книге рассказы Демидова пересекаются, переходят один в другой, персонажи меняют имена, но это все те же жертвы и палачи. Сюжеты сцепляются, развивают друг друга, но автор всегда имеет в виду одно и то же — человеческую судьбу, ее полную зависимость от не-

обузданной злой воли карающей власти. В каждом рассказе человеческая судьба обрывается по-своему.

2. Черное и желтое («Убей немца»)

В заповеди «Любите врагов своих» гуманистическая мысль вроде бы достигла своей вершины. Но не сумела на ней удержаться. Политическая жизнь скорректировала этот призыв.

В пределах понятий «враг — ненависть» и написан рассказ «Убей немца». Признаться, не сразу решилась я обратиться к нему. Серьезный по замыслу, он показался написанным в рамках наивной достоверности. Но так случилось, что мне в руки попала книга Александра Иотковского «Не позволяй душе лениться» (М.: Возвращение, 2013). В ней среди разнообразных документальных материалов на тему войны есть письмо Иотковского Константину Симонову со следующим эпизодом.

1

Служивший военным переводчиком в штабе Крымского фронта А. Иотковский был вызван ночью на допрос сбитого немецкого летчика. Допрос проводил армейский комиссар представитель ставки Мехлис. Летчику по фамилии фон Шпее было восемнадцать лет, это был его первый полет, он заблудился и в сумерках приземлился на одном из керченских аэродромов.

Дело было в апреле 1942 г.

Переводчик явился по приказу. В помещении уже находились четверо: генерал Мехлис, бригадный комиссар, пленный с конвоиром. А. Иотковский пишет:

«Мехлис спросил: “Зачем вы пришли на нашу землю?” — “Передайте генералу, — ответил пленный, — что я пришел поиграть с ним в куклы!” На второй вопрос: “Какого вы мнения о Гитлере?” летчик сказал: “Плох тот солдат, который плохо думает о своем главнокомандующем”, и прибавил: “Хайль Гитлер!” Тогда Мехлис обратился ко мне: “Капитан, — сказал он, — вы кадровый или запасный?” — “Запасный”, — ответил я. — “А что вы делали до войны?” — “Учил студентов полит-экономики”. — “Так вот, — сказал Мехлис. — Это была теория, а сейчас будут практические занятия. Выведите этого фашиста во двор, пристрелите... сами и доложите об исполнении”.

Мальчишка-летчик, когда я приказал ему идти вперед, во двор, понял, о чем шла речь, и попросил стрелять ему в сердце. Я ничего ему не ответил, да, откровенно сказать, я и говорить не мог. Вся энергия моя ушла на то, чтобы сказать Мехлису: “Слушаюсь. Разрешите исполнять?”».

Читатель уже понял, чем окончился эпизод. Вернувшись, переводчик доложил Мехлису об исполнении. Армейский комиссар потребовал у переводчика пистолет. Получив, понюхал дуло, извлек обойму, дважды пересчитал патроны. На вопрос переводчика: «Вы мне не доверяете?» — ответил, что доверяет, но проверяет, и добавил пару нелестных слов о мягкотелых интеллигентах, боящихся крови. Наконец, приказал: «Можете идти».

Через минуту, выйдя на улицу, переводчик, едва державшийся на ногах, увидел бригадного комиссара — того, кто присутствовал на допросе. Слова комиссара привожу полностью: «Счастлив твой бог, профессор! Когда ты вышел

с немцем, армейский сказал: «Если не застрелит, сегодня же отдам под трибунал, а завтра шлепну самого...».

После прочтения этого письма мое отношение к рассказу «Убей немца» поколебалось. Содержание эпитафий, предваряющих текст, усилило впечатление.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

За этими строками Константина Симонова шел отрывок из статьи И. Эренбурга такого же содержания, разве что с большим нагнетанием военной аморальности: «Нет для нас ничего веселее немецких трупов». Датой написания (1942 г.) и своим настроением оба эпитафия соединились в моей памяти с изложенным выше керченским эпизодом, да и самим рассказом, и изменили мое первоначальное намерение — не трогать эту тему.

2

Название без победного восклицательного знака говорит о том, что тема рассказа «Убей немца» вынесена из многочисленных впечатлений о вездесущей пропагандистской кровожадности власти.

Два подростка из лагерного поселка вольнонаемных мечтают о подвигах. Далеким мир войны представляется им восхитительным — это залиvistые трели пулеметов, партизанские налеты на немецкие гарнизоны, взрывы мостов, медали «За отвагу». Они видят в школе портреты своих сверстников в солдатской или матросской форме с орденами и медалями на груди. А поселок при лагере, как и весь колымский край, — под броней. Тихо и скучно. Одно и то же свирепое Охотское море с заледенелыми берегами в торосах, бесконечные лютые штормы, одни и те же ряды каменных сопок с тайгой, трясинами, болотами

на сотни-тысячи километров. Отсюда не убежишь на войну, даже если захочешь. Подросткам ничего не остается, как слушать «Пионерскую зорьку» да читать расклеенные повсюду лозунги и плакаты. Один такой плакат — «Убей немца!» с изображением советского воина, поддевшего штыком фашистского солдата, — врезается в память старшего подростка. Штык, зубчатый как пила, торчал из темени, пронзив фашиста снизу вверх.

Описывая плакат, Демидов обращает внимание на искажение реальных деталей ради большего эффекта. Но глаза школьники не замечают несуразностей. *«Их целиком захватило садистское вдохновение художника, которое так легко передать дикарям и детям. Кроме того, воображение ребят делало эпизод, изображенный на плакате, над которым желтыми с черными мазками, как будто языками коптящего пламени, было написано “Убей немца!”, только деталью общей картины боя»,* — пишет Демидов.

Призыв и рисунок производят нужное впечатление еще и потому, что цвета: черный и желтый, способны подсознательно ассоциироваться с природной окраской ядовитой змеи. О ней, фашистской гадине, говорится в большой статье, которая висит под стеклом в клубе: *«Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев».*

Опыт Гулага, этого края смерти, как бы дает автору право заглянуть за обратную сторону плаката и показать другой, неожиданный, смысл воплощенного замысла. Ему ясно, что на Колыме, где понятие о настоящем враге давно искажено, он предстает в иллюзорном виде как следствие передач по радио, редких киносеансов, чтения запоздалых газет. Здесь, как и повсюду, убийство врага является первой этической ценностью.

Рассказ Демидова строится на случайном совпадении, а также на подмене понятия «фашист» понятием «немец». Правда, в таком сверхэкстремальном месте как лагерь для

заключенных, где сам воздух перенасыщен токами зла, любая случайность приобретает силу закономерности, а подмена — свою бесспорность. Это книга Вселенной, по словам Галилея, написана на языке математики, а человеческая мысль пробивается в мире идей, чуждом всякой упорядоченности. Канонизированная в решительной форме подмена проникает не только в государственные циркуляры, но и в человеческие души. Подросток, глядя на черно-желтый плакат, тоже хочет стать беспощадным защитником Родины.

Случайная встреча с колонной арестантов, среди которых шел русский (сибирский) немец, дает ход яркому впечатлению. С этого момента тема врага проводится автором как тема рокового недоразумения, когда любой абсурд становится нормой.

Действие держится на трех повествовательных фрагментах, сменяющихся подобно кадрам кино.

3

В колонне, которую увидел подросток, шел бывший доцент филолог Вернер Иоганнович Линде.

«У него было благодушное, — пишет о немце Демидов, — несмотря на резкие глубокие морщины, лицо и серо-голубые, как будто выцветшие глаза. И цвет глаз, и морщины происходили явно не от старости, заключенному вряд ли было больше сорока лет».

В свое время Линде окончил советский университет, мечтал стать германистом и заниматься сравнительной филологией. Теперь он «социально опасный элемент», доходяга, уже не пригодный вкалывать на руднике, работает на строительном дворе. Но в его настоящем важнее всего, может быть, дореволюционный томик Гете в старом переводе Васильева, куда он заглядывает иногда, да еще разговоры со своим соседом по нарам — бывшим командиром эскадренного миноносца, тоже интеллигентом с философским складом

ума. *«Интеллигентность же, — замечает Демидов, — для офицера на Руси, как, впрочем, и для чиновника любой иной иерархии, — качество противопоказанное во все времена».*

Вернер Линде интересен автору еще и тем, что он русский немец, осужденный в 1937 г.

Немцы (сибирский, донбасский) встречаются и в других рассказах Демидова, но там им отведена эпизодическая роль. И все равно они обращают внимание читателя не только своими фамилиями: Тиц («Под коржом»), Пик («Начальник»), но и чисто немецкими особенностями характера. «Сказано — сделано» («гезагт — гетан») — их основная черта.

Время от времени Линде подрабатывал лишнюю пайку хлеба, доставляя вязанку дощатых обрезков вольнонаемным в поселок. Там не хватало топлива. И другие бригадники зашибали «левую» пайку. Но в тот день, о котором речь, они отложили доставку из-за ледяного шквального ветра. Лишь Вернер Линде взвалил на плечи поклажу и двинулся против ветра в гору. Где ему было знать, что задумал доморощенный «партизан» — подросток, одержимый идеей расправы с немцами.

Движение Вернера Линде в гору к вольному поселку Демидов описывает как путь на Голгофу. Вязанка дров за плечами воспринимается чем-то родственным Кресту распятия, щепки в ней как бы служат напоминанием о щепках-людях — обреченных, живущих под знаком смерти. Последняя фраза рассказа: *«Так валится на подушку своей постели безмерно усталый человек»*, — соотносится с миром трагического абсурда, который Сатана в томике Гете называет «дрянное Нечто». О нем возвещают удары металлической цинги, когда, отложив книгу, Вернер Линде пускается в свой последний путь.

Немыслимая литературная ситуация Демидова оказывается столь же действительной, как фантастична подлинная (апрель 1942 г.) в штабе Керченского фронта из книги А. Иот-

ковского. Пройдет месяц, и военная операция в этой части Крыма получит название керченской катастрофы. 14 мая 1942 г. Мехлис даст телеграмму в Ставку. Помимо прочего сообщит: *«Мы опозорили страну и должны быть прокляты»*. К этой реплике можно поставить эпиграф: *«Бойтесь первых порывов души, они бывают искренними»*. На его совести один миллион солдат, представших перед полевым судом, 157 тысяч из них — приговоренных к смерти, и это во время наступления противника. Мехлис будет понижен в звании и лишен постов главного политработника армии и заместителя наркома обороны, зато сделается министром государственного контроля СССР.

Что касается Константина Симонова, автора легендарных военных стихотворений: *«Жди меня»*, *«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»*, то не их человеческий пафос возьмет верх в поэте. Пройдет немногим более года после окончания Великой Отечественной войны, и на собрании ленинградских писателей (август 1946 г.) Константин Симонов в ответ на слова затравленного «пошляком и подонком» Михаила Зощенко (в прошлом офицера, награжденного георгиевскими крестами): *«Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне умереть спокойно»*, скажет: *«Тут товарищ Зощенко бьет на жалость»*. А незадолго до смерти К. Симонов будет призывать в «Комсомольской правде» спасти поле пшеницы ценою жизни и тем как бы бросит вызов «Литературной газете», в которой появится мой первый очерк «Умирать ли за агломерат?» (март 1978 г.).

4

Волевой, жестокий подросток — это своего рода маленький Мехлис. Для людей этого типа война — необходимость. Она легализует их разрушительные страсти, наделяет правом убивать. Интеллигентный переводчик вызывает у генерала неприязнь, от которой он знает лишь одно на-

дежное средство — расстрел. Таков же нашпигованный пропагандой подросток, склонный к странным, бредовым выходкам. В мире, где «высшая мера» официально считается наказанием, человек не застрахован ни от чего: ни от произвола высокопоставленного генерала, ни от опасного идиотизма фанатичного пацана. Они могут пожать руки друг другу и еще тысячам родственников им субъектов вроде описанных Демидовым начальников, конвоиров, которые были рассованы по всем островам Гулага, тюрьмам НКВД, полигонам смерти. Да что там! Сам нарком являлся в свой кабинет на Лубянке с пятнами крови на форме и гордился ими как орденами.

Художественную правоту Демидова, помимо керченского эпизода, косвенно подтверждает и статья в газете «Правда» (апрель 1945 г.), обвиняющая И. Эренбурга в том, что он призывает к истреблению всех немцев. Если один из самых мощных форпостов советской пропаганды одергивает одного из наиболее яростных газетных трибунов XX в., то вывод о том, что перебор налицо, не так уж наивен.

Своим рассказом Демидов открывает путь иным толкованиям патриотических заслуг определенной части интеллигенции. На ту пору Демидов отстаивает невозможное — свое убеждение в сомнительности политизированной морали. Но сомнительность — ее необходимое свойство. Оно в основе этой дисциплины. И таковым остается до сегодняшнего дня. На примере всем известной истории с Павликом Морозовым это легко показать.

Какие-нибудь пару десятков лет имя замечательного пионера было канонизировано под знаком преданности социалистическому отечеству. Сейчас Павлик Морозов — символ доносительства, заклеянный и проклятый в этом качестве. Что правда, что неправда в его истории — на совести архивистов, но факт остается фактом: Павлик был убит. Зарезан в лесу своим родным дедом, который держал

внука впроголодь. С позиции чистого принципа голод — не причина для доноса. А с позиции обыкновенной жизни — не знаю... Мальчишка намертво записан в подонки при том, что никто не вспомнит о настоящем злодее — его деду. Вот кто вышел сухим из воды. Дед убил не только Павлика, но и его брата, убил, чтобы убрать свидетеля, то есть действовал как закоренелый преступник. Однако в наступившем новом времени преступник обойден общественным гневом и как бы прав в своем злодеянии, а Павлик мало того, что был убит, так еще его имя втоптанно в грязь. А то, что дед морил его голодом, вообще не принимается во внимание.

Есть примеры и посвежее этого несчастного недоразумения. Можно вспомнить события, связанные с расстрелом Дома Советов в 1993 г., которым сопутствовало «обращение к согражданам большой группы известных литераторов». Раскаявшись в своей прежней «доброте», литераторы потребовали от правительства «решительных действий» против «красно-коричневых оборотней», «тупых негодяев», «кучки политических пройдох и политических авантюристов». И «действия» не заставили себя ждать. Тот факт, что под крики всех иностранных радиостанций: «Восстание в Москве! Русские убивают русских!» был открыт огонь сначала по гражданским лицам возле дома оппозиции (стреляли пулями со смещенным центром тяжести), а затем и по самой оппозиции, говорит о том, что тоталитарное представление о враге никуда не девалось. Даже после событий, обсуждая случившееся, либеральная пресса продолжала настаивать на том, что «кровь была необходима» и что «та кровь» (1937 г.) «и эта кровь» (1993 г.) — разные вещи. Надо быть внутренне безответственными людьми, чтобы позволять себе оправдание карательных действий. Дело ли писателей развязывать руки политикам и лезть без мыла в доверие к ним?..

Готовность общественного мнения вбирать в себя пропаганду: красную ли, теперешнюю ли, — удручает. Об этой

готовности, о соблюдении человечности даже на войне, думается, страшный рассказ Демидова «Убей немца».

5

Последователей подобной проблематики можно пересчитать по пальцам. В современном искусстве самым ярким видится польский режиссер Кшиштоф Варликовский, игнорирующий кодекс современного постмодернизма и напрямую задающий вопросы: какова глубина дегуманизации мира? что такое подвиг жертвы? что такое общество военного режима, когда убийство признается оправданным?

Автор пятичасовой пьесы «(А)поллония» — Варликовский — строит свою трилогию на истории польской женщины, которая укрывала евреев в Варшавском гетто. Показывая это, Варликовский ничего не решает. Как и Демидов, он ставит вопросы.

«(А)поллония» — это своего рода бунт, предсказанный еще в Страстную неделю 1943 г. строкой стихотворения «Кампо ди Фьори». Тогда один молодой поэт проезжал на трамвае мимо стены горящего гетто и увидел, как рядом веселился народ: девушки танцевали, крутилась карусель, играл шарманщик, а за стеной была смерть, бой и огонь. Дым и черные хлопья пожара долетали до веселящихся. Забавляясь, девушки ловили хлопья, и ветер развеивал их яркие юбки. Поэт читал в юности, что безудержное веселье было и на площади Кампо ди Фьори, когда там сжигали Джордано Бруно, и одиночество погибающих в гетто пронзило его. Свое стихотворение он назвал «Кампо ди Фьори». Через год оно было опубликовано и дошло до людей. Может быть, этим названием он определил всечеловеческое равнодушие, а может, и что-то другое... Не зависящее от пространства и времени.

И эти — одни в своей смерти,
Уже забытые миром.
Как голос дальней планеты,
Язык наш уже им чужд.
Когда-то все станет легендой,
Тогда, через многие годы,
На новом Кампо ди Фьори
Поэт разожжет мятеж.

(Перевод Н. Горбаневской)

Имя этого поэта, будущего лауреата Нобелевской премии, — Чеслав Милош. Один умный человек сказал позднее, что Чеслав спас честь польской поэзии.

Подобно Демидову, усомнившемуся в «бесспорной» гуманности советской идеологии, режиссер Варликовский пытается расшатать миф о несчастной Польше — жертве всех войн. Он вспоминает Треблинку и Майданек, говорит о вине поляков в трагедии Варшавского гетто, о химере националистической идеологии. Его спектакль — это гроздь противоречий. И все же... он поставлен ради того, чтобы напомнить о главном праве цивилизации — на человечность. «*Кто спасет одного, тот спасет весь мир*», — сказано в Талмуде. Польша пыталась спасти двадцать пять евреев, но не спасла ни их, ни себя, ни своих детей. Таков показатель гуманитарной ценности человеческой жизни на 1943 г. от Рождества Христова.

6

И еще несколько тем соприкасаются с емким и необычным рассказом Демидова. В их числе отношение автора к литературному языку, а также его взгляд на заключенных-интеллигентов. Обсуждение этих тем связано прежде всего с культурной речью демидовских персонажей, того же Вернера Линде, нет-нет да и читающего в бараке томик Гете, его способностью погрузиться в поэзию несмотря ни на что. «*Вряд ли, — говорит он, — есть в мире более гибкий*

инструмент для выражения поэтизированной мысли, чем русский язык».

Ценители Варлама Шаламова помнят высказывания писателя о блатных словечках, о моральной деградации заключенных интеллигентов. «...Без этих блатных словечек, — пишет Шаламов, — не остался ни один человек мужского или женского пола, заключенный или вольный, побывавший на Колыме».

Язык демидовских интеллигентов, в частности Вернера Линде, не подтверждает этого наблюдения. Никаких словечек, никакого подражания не только блатарям, но и вообще никому. Напротив, цитаты из Гете, серьезные разговоры с соседом по нарам на больные русские темы. И нижеследующие строки Шаламова опровергаются многими образами Демидова:

«Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слезают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями... Интеллигент напуган навечно. Дух его сломлен. Эту напуганность и сломленный дух он приносит и в вольную жизнь».

Не согласиться с этим высказыванием трудно. Если же соотносить его с творчеством Георгия Демидова, то, с позиции различных художественных интересов, для Демидова отсчет идет по вершинам. Именно другие — натуры сильные, верные собственным, а не навязанным убеждениям, — интересуют его прежде всего. Они были в лагере, как были там и свои святые, герои, лидеры. Превращенные в мучеников, в серую массу, они не сдавались, поднимали восстания; рискуя жизнью, помогали другим. И никакие квантовые процессы в мозгу, никакие другие гипотезы не объяснят феномен такого сознания. Как незабываемы стро-

ки Шаламова о лагере: «Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть», так остается с тобой фраза Демидова из рассказа «Дубарь»: «Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и даже сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную вселенную».

Часто новаторство обоих писателей ставит в тупик, заставляет искать аналогии с открывателями, посягнувшими на традиции и перевернувшими литературу XX в., в частности обращает к таким писателям, как Д. Джойс. Если у Джойса повествование обнаруживает жизнь, которая глобально сошла с тормозов и в состоянии бесконечной разобранности нападает на человека, то у Демидова и Шаламова обнаруживается адский порядок, который победил человека физически, превратил в мученика и раба. Далее эстетические интересы разводят писателей в разные стороны. Шаламов сам признает, что его «Колымские рассказы» — «это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями». Об интеллигентах-персонажах Демидова такого сказать нельзя. Чтобы выжить, им не остается другого, как, по Ницше, внутренне не признавать себя побежденными. Сопrotивление сидит почти в каждом из них. Но парадокс в том, что осуществить это сопротивление можно в акте самоубийства, либо в побеге — ценою смерти от пули преследователей. Людям, отказавшимся от надежды, находящим силу только в своем убеждении, доведенном до маниакального состояния, смерть, как и все остальное, не гарантирует будущего, но сохраняет за ними образ человеческого. В этом аспекте персонажи Демидова разрушают представление о сдаче русского интеллигента. Его герои-мученики — бунтари. Даже в урках и блатарях для Демидова главное бунтарский дух. Раб (вынужденный, под ружьем)

и все же восставший — его герой. Такой рассказ, как «Без бирки», с главным персонажем-интеллигентом Кушнаревым, пошедшим под взрыв, не оставляет сомнений относительно взгляда Демидова на эту проблему. Или старуха-сектантка из рассказа «Амок», монументально непобедимая в своей смерти, шедшая прямо на палача «с предостерегающе согнутой в локте рукой». *«Подобные фигуры с мрачными глазами он видел, — пишет Демидов, — на изображениях в православной церкви... Убийце показалось, что старуха свалилась как статуя, не изменив своей угрожающей позы».* Можно вспомнить и художника Бациллу, и певца Локшина, и генетика Комского.

Человек, оказавший физическое сопротивление на допросе, как это сделал сам Демидов, не может не отдавать должное мужеству другого человека, не смирившегося с произволом. И если бы это было не так, ни Шаламов, ни Демидов не совершили бы свой главный подвиг, обратившись к теме Гулага, чтобы сказать *другую, малоприятную, ситуационную правду* о человеке, а также высветить темные зоны Истории, которую мы наследуем в искаженном виде, неполном объеме столь лениво и некритично.

ЛОГИЧЕСКИЙ СБОЙ

Повести о тридцать седьмом («Фонэ квас», «Оранжевый абажур», «Два прокурора»)

1

Судебный процесс, похожий на мистификацию, становится предметом внимания Демидова в повестях о тридцать седьмом годе. Одна из них называется «Фонэ квас». Эти жаргонные словечки юга России (означают «мужик-простофиля, лопух, Афоня-квас»), как и образ главного персонажа Рафаила Львовича Белокриницкого, вводят в повесть иудейское измерение. А это, в свою очередь, невольно отсылает к древней трактовке правовых отношений, включая дохристианскую, — Книге завета со сводом законов Моисея, знаменитым Десяти заповедям, в частности: «Не убивай», «Не сотвори себе кумира...», «Не произноси ложного свидетельства...», да и другим письменным юридическим памятникам. В то же время название косвенно показывает степень ослепления, охватившего всех и вся (в том числе и нашего героя), масштаб отрыва от вековой мудрости.

Сюжетное действие начинается с ареста Белокриницкого. Он — главный инженер завода, обвинен во вредительстве. Его увозят в следственную тюрьму.

Из страха перед избиениями Белокриницкий решает написать так называемое чистосердечное признание, где оговорит себя по принципу: чем больше чепухи, тем легче

потом доказать, что его дело — сплошная «липа». Придуманное вредительство должно быть технически невозможно, противоречить законам физики.

Как всякий талантливый человек, живущий в мире мнимых величин и не подозревающий в них ничтожества, Белокрыницкий не задается вопросом, кто станет вникать в изложенную несуразицу? Разве что судьбы какого-нибудь мудрого царя Соломона. Но такое бывает только в мечтах. Полуграмотные, фанатически натасканные ежовские новобранцы призваны в ряды НКВД совсем для другого.

Ведение дела напоминает фантазии в духе Гофмана, где правит евнуховидный карлик вроде крошки Цахеса, а бутафорские прокуроры подписывают ордера на арест... Случается, ордера с черной чернильной закорючкой-подписью оказываются незаполненными, и мрачные злобные марионетки в мундирчиках с вышитыми золотыми мечами вмарывают в них кого захотят. По сто штук за ночь. Кстати, на этот счет в России глубокие традиции. Практика пустых бланков процветала еще при Николае Первом, когда в 1848-м (год революционных волнений в Европе) он назначил московским генерал-губернатором А.А. Закревского. Прозванный Чурбан-пашой Закревский имел стопку чистых бланков с монаршим росчерком и не утруждал себя процедурными пустяками при лишении человека свободы, а то и чего другого.

Не без гротеска описывает Демидов советских наследников российской юриспруденции. В повести есть сцена с бывшим прокурором. Он оказывается в одной камере с Белокрыницким, который едва удерживается, чтобы не попросить соседа изобразить в воздухе подпись: может, она и есть та самая закорючка, что бросилась в глаза в предъявленном ордере на арест и с тех пор не вылезала у него из головы. Воздушная закорючка, лишившая Белокрыницкого, как и сотен других, свободы, судьбы, приравнена

к чему-то невидимому, губительному, какой-нибудь чумной бактерии, на уровень которой власть опустила роль прокурора. «Любой из нынешних прокуроров мог бы подписать и распоряжение о собственном аресте. Как царь Александр Третий, подписавший однажды приказ о его, царя, сечении, подсунутый забулдыгой братцем, любителем веселой шутки», — сообщает автор.

Веря в благополучный исход своей затеи, Белокрыницкий не подозревает, что компетентная экспертиза в тех условиях — это запредельное, даже не дохристианское, а, наверно, добиблейское чудо в виде какого-нибудь античного бога из машины, кто спустится с неба и все разрешит.

Автор с грустной иронией называет происходящее комедией, но... палаческой. И сравнивает своего героя с человеком, который, ставя на карту собственную жизнь, играет с нечистой силой.

Вызванный на допрос, Белокрыницкий следует коридором, где девица буфетчица несет поднос с бутербродами, стаканами чая. Увидев ее, он не может отрешиться от сравнения этого темного места с театральным фойе. В непроизвольное воспоминание вторгаются крики за стеной, площадная брань — звуки возвращают реальное восприятие. На пороге кабинета он чувствует себя уже не подследственным, а подпытным. Вот конвоир закрывает за ним дверь с трехзначным номером в белом кружке. Белокрыницкий входит в комнату, где за столом молодой человек в форме что-то пишет, а поблизости у окна стоит парень с бычьей короткой шеей.

*«Рафаил Львович лишь с трудом вымолвил:
“Здравствуйте!” — язык едва ему повиновался...*

Ответа на приветствие не последовало. Следователь за столом продолжал писать, парень у окна зло смотрел на Рафаила Львовича, напоминая

собаку, которая только ждет кивка хозяина, чтобы наброситься на чужого».

Адский гвалт из других кабинетов слышен и здесь. Он нагнетает ужас, гонит мороз по коже... Не начав говорить, Белокриницкий — «элемент чуждого происхождения» — готов на все. И уже не показания, а целая ксива фантастической белиберды изливается на бумагу — о технически невозможном вредительстве.

Каждый читатель найдет в этой картине что-то знакомое, если не сказать родное. Атмосфера следственного кабинета оказалась столь заразительной, что проникла во все сферы нашей жизни и утвердилась в ней. Унижение человеческого достоинства стало второй натурой почти всех бюрократов.

Это потом, в камере, Белокриницкий способен думать о мороченье головы дурачку «фонэ kwasу». Успокаивать себя тем, что пройдет пара недель, и его затея раскроется. Надо подождать, пока грамотные товарищи *где-то там, в синедрионе высшей мудрости*, прочтут и разберутся.

Но, как известно, Правда не дружит с политикой. Через какое-то время Белокриницкого приводят на суд. Приговор оглашается. И только теперь становится ясно, что перед профессиональными палачами он сам — «фонэ kwas». Хуже того, наивный еврейский шлемазл, зарезавший себя без ножа.

Вынужденный розыгрыш оборачивается катастрофой, немим красным смехом: его галиматъя воспринята с полной жуткой серьезностью.

Липовое следствие становится прологом к замаскированному варварскому жертвоприношению под эгидой государственной необходимости и общественного блага.

Эта повесть невольно обращает читателя к мировым литературным источникам, в которых авторы задаются во-

просами о правомочности смертной казни и применения пыток. Она заставляет вспомнить и перелистать «Опыты» Монтеня, заново взглянуть в офорты Дж.Б. Пиранези «Воображаемые темницы». Эта не имеющая себе равных по силе интеллектуального протеста нетленная серия на шестнадцати медных листах (1761 г.) стала предшественницей великой книги-памфлета Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.). Здесь о стогах слабых, «приносимых в жертву свирепому невежеству», о варварских истязаниях, расточаемых «с бесполезной жестокостью за преступления недоказанные или воображаемые», о мраке и ужасе темниц... написано так, словно автор знал, что и за сто семьдесят три года ничего не изменится, если поощрять жестокость и не обуздывать беззаконие. К сожалению, не его идеи, а Макиавелли, французских просветителей, допускающих применение пыток и смертную казнь, питали русскую правовую мысль и юридическую практику, которую советская власть не только обеспечила, но и превзошла.

2

Казалось бы, понятие «ад» исключает любые качественные оценки. Однако наша действительность, создав новый тип жизни, обновила содержание и этого дискомфортного места. В рассказе «Житие инженера Кипреева» Варлам Шаламов пишет: *«Я прошел все свои следствия удачейшим образом — без битья, без метода номер три. Мои следователи во всех моих следствиях не прикасались ко мне пальцем. Это случайность, не более. Я просто проходил следствие рано — в первой половине тридцать седьмого года, когда пытки еще не применялись. Но инженер Кипреев был арестован в 1938 г., и вся грозная картина битья на следствии была ему известна».*

То, что названо «грозной картиной битья», Демидов (прототип инженера Кипреева) описал в повести «Оранжевый абажур».

Подследственный Трубников, профессор-физик ядерного института, попавший под «чистку», отказывается давать нужные показания. Чтобы его «образумить», следователь Пронин вызывает помощника. Но, едва подручный берется за дело, происходит невероятное: арестант в ярости набрасывается на мучителя. Тот отлетает к двери и, пробуя удержаться, оглушенный, валится на пол. Следователь хватается за пистолет. Но прежде получает от арестанта стулом по голове. Пистолет успевает выстрелить. Пуля попадает в застекленный портрет Ленина на стене. Вбежавшие на шум чекисты зверски избивают Трубникова ногами в подкованных сапогах и бросают в карцер — каменный мешок, где из стен, потолка сочится вода и, собираясь на полу, застаивается у бетонной плиты, служившей кроватью.

Напряженный ритм этого эпизода, особая интонация, упругость прозы не вызывают сомнения в его достоверности.

Неведомое чувство подсказывает, что автор пишет историю из своей жизни, и взбунтовавшийся арестант Трубников — это сам автор. Архивные документы следствия подтверждают: Демидов оказал сопротивление на допросе. Одна деталь все-таки вызывает сомнение — портрет Ленина на стене. Возможно, висел портрет кого-то другого, но автору понадобился Ленин, чтобы показать, что лущили не только врагов народа, но и наследие вождя, и от него летели осколки.

Интересно, что фамилия следователя Пронин. И здесь напрашивается предположение: не реакция ли это на образ доблестного правильного оперработника советской литературы, такого безукоризненного всепобеждающего чекиста, которому получивший реабилитацию бывший узник Гулага адресует насмешливое презрение. Если так, то создатель

советского Джеймса Бонда, то есть героического майора Пронина, писатель Лев Овалов сам стал его жертвой. Майор Пронин обошелся своему создателю в пятнадцать лет лагерей и ссылки за разглашение тайн советской контрразведки. Сюда же потомственному врачу (по первой профессии) Льву Овалову подверстали троцкизм и с тем посадили в 1941 г. Это не помешало ему, реабилитированному, вернуться к писательскому труду и в роли заместителя главного редактора журнала «Москва» содействовать Шаламову в публикациях историко-литературных статей и очерков. Что мир тесен, известно давно, но сколь непредсказуем — знает не каждый. Так вот, не будь Льва Овалова, не было бы у нашего читателя в 1959 г. и «Маленького принца» Сент-Экзюпери и всего его, по выражению критиков тех времен, «абстрактного гуманизма» в переводе Норы Галь. Вот и судите, какой человек (а до посадки Лев Овалов дружил с сыном антикоммуниста Чан Кайши — президента Китайской республики на о. Тайвань, маршала и генералиссимуса, а также до М. Шолохова написал роман о коллективизации «Ловцы сомнений» (1931 г.), чем заслужил сравнение с автором «Бесов») проложил дорогу публикации «Мастера и Маргариты».

Но все это кстати. Изменчивая природа времени вывела на авансцену человека забывающего, которому, может, и не безразлично, что было в прошлом, но претит мстительное чувство расплаты. Да и Евангелие учит прощать заблудших, любить врагов своих, возлагая подвиг прощения на самого пострадавшего и забывая, что месть для него — синоним справедливости, которая всегда за горами и которую государство опустило на уровень сытой, непробиваемой бюрократии. Можно понять Варлама Шаламова, который пишет: *«Я, человек, “дерзкий на руку”, как говорят блатари, предпочитаю рассчитаться с моими врагами раньше, чем отдать долг друзьям. Сначала — очередь грешников,*

потом праведников... У меня рука не поднимется, чтобы прославить праведника, пока не назван негодяй».

Лев Овалов, по-видимому, придерживался другого порядка расчета.

3

В повести «Оранжевый абажур» судебная мистификация также приобретает черты кощунственной черной комедии. И здесь слова «игра», «фарс» задают событиям гротескный подтекст, в котором главный герой Трубников, обвиненный в связях с иностранной разведкой, становится жертвой собственного логического сбоя. В отличие от Белокриницкого он отказывается давать нужные показания. Следователь-шантажист припугивает его арестом жены. Это действует. Трубников подписывает ложный протокол. Но скоро понимает, что договор между ним и следователем — запланированный, хорошо отработанный прием готового сценария.

На сей раз блюститель закона — корректный человек с интеллигентным лицом и участливым взглядом. Его подключили к делу вместо недалекого Пронина, который провалил допрос, вызвав громилу-стажера. Про нового следователя, заменившего Пронина, Демидов насмешливо говорит, что при допросе он на всякий случай проверил под пиджаком спасительный пистолет. «Очень нелишней предосторожностью оказалось и прикрепление стула!» — продолжает Демидов. А все потому, что Трубников, как в свое время сам автор при первом допросе, шархнул в завязавшейся драке чересчур активного ежовского законника стулом по голове.

В повести есть интересное место, связанное с призывом в ежовские ряды новобранцев-прониных. Тут читатель снова встречается с плакатом художника всякой нечисти вроде гадюк, уже знакомого по рассказу «Убей немца». Даже фамилия его названа. Только в «Оранжевом абажуре» змея на плакате не подразумевается, как в рассказе «Убей немца» (о ней на-

поминают черный и желтый цвет), а без всяких-яких издыхает у всех на глазах, зажатая доблестной рукой в ежовской рукавице. И эта змея подколодная с ядовитым раздвоенным языком означает внутреннюю контрреволюцию, состоящую из таких «гадов», как инженер-физик Трубников, — *«недобитый аристократ, подлый предатель, интеллигентик, шпион...»* А уж когда Демидов пишет: *«Интеллигентов Пронин представлял себе только мягкотелыми»*, то ежовский призывник видится родным братом товарища армейского комиссара Мехлиса (из книги А. Иотковского) и кое-каких его современных последователей.

Есть и другой эпизод, замечательный контрастным отличием от похожей сцены в повести «Фонэ квас», — появление заключенного Трубникова в кабинете первого следователя.

«В дверь постучали. После отрывистого “Да, Да!” подследственный вошел, но ожидаемого “Здравствуйте” не последовало. Прошло добрых полминуты.

Это было непривычно и странно. Может быть, вошедший так испугался, что и слова произнести не может?

Пронин повернул голову и наткнулся взглядом на угрюмые и насмешливые глаза худого, заросшего щетиной человека, похожего больше на машиниста или портового рабочего, чем на профессора. Что за черт? Тот ли это?

— Фамилия? — спросил Пронин, но не резким и брюзгливым голосом, как следовало, а как спрашивают удивившиеся и даже несколько растерявшиеся люди.

— Моя фамилия — Трубников, — ответил арестованный, продолжая смотреть все тем же насмешливым и неприязненным взглядом.

Можно привести еще несколько кабинетных сцен и увидеть, как оригинален Демидов в описании каждой. В них повторяется только слово «стол». Мастер масштабных полярных пейзажей, Демидов обнаруживает редкое (прямотаки пиранезиевское!) понимание замкнутого пространства: тюремных дворов, коридоров, камер, карцеров, кабинетов, судебных залов, противопоставляя их неподвижность изменчивому душевному миру узников. На этом строит сюжетное действие, в котором, как ни парадоксально, главное — ожидание. Оно наполнено переживаниями людей, отлученных от общества.

Все мнимо, иллюзорно, недостоверно, мучительно в их мире — и прокурорская подпись, и то, что за ней стоит: арест, следствие, ведение дела, буквы закона, суд... Но государственная власть такова, что именно фикция получает статус железной необходимости. Единственной объективностью формы для арестованных становится прямоугольник железной двери камеры да ржавый чугунный цилиндр параши. Остальное, как пишет Демидов, «неотделимо от больной и измученной человеческой психики». Даже лязганье засова на тюремных дверях здесь слышится как что-то не имеющее отношения к обычному хозяйственному звуку. После суда, когда подследственный становится приговоренным, меняется и объективность формы. Для бывшего профессора Трубникова — это прямоугольник окна его бывшей квартиры, где всегда светился оранжевый абажур.

О судьбе семьи Трубников узнает после суда, возвращаясь в воронке из штаба коллегии обратно в тюрьму. Его провозят мимо бывшего дома, он задирает голову. В окне непривычный багрово-оранжевый свет... Холодный, чужой.

Вместо родного, теплого, исходившего от золотисто-желтого крепдешина на абажуре, расписанном рукою жены... Незнакомый свет становится символом вероломства и несправедливой кары. Он означает: в квартире живут другие, следовательно, жена арестована, маленькая дочь отдана в сиротский приют. Самый яркий в оптической гамме «дорожный» оранжевый цвет оказывается сильнее пыток: он гасит надежду, взрывает психику Трубникова.

Так именем Союза Советских Социалистических Республик люди сходили с ума. Шел второй год Третьей сталинской пятилетки.

4

Во всех трех произведениях о тридцать седьмом годе художественному тексту сопутствуют публицистические авторские отступления с юридическими подробностями. Они вводят в атмосферу странной эпохи. Бытовое время на глазах как бы перетекает, а затем перерождается в нескончаемое революционное, которое, в свою очередь, как-то незаметно, потихоньку начинает сжиматься до превращения в календарное с годом отсчета — 1917. Обычная, обывательская, жизнь лишается романтики и обаяния, а необычная — переходит в экстремальную стадию, во Время — вперед. Прошрое, отжившее, бывшее становится проклятым и как бы ничем. Фундаментальные ценности подменяются актуальными.

Однако не особенности исторического времени, отраженные в авторских отступлениях, увлекают при чтении повести «Два прокурора», а интерес к личности самого автора. Тем сильнее, чем жестче и ощутимей проза проникается энергией несогласия и протеста. Горечь столь явственна, что сюжет перестает иметь значение. Он обрывается, как жизнь главного героя, молодого прокурора-подвижника

Корнева, единственного светлого человека в веренице разнокалиберных юридических шакалов.

К концу меняется стиль изложения, повесть переходит в реквием. Есть в нем и строки о главном вершителе правосудия. Он дан под своей настоящей фамилией — Вышинский, в одном месте с добавлением: Иудушка.

Обласканный автор труда «Теория доказательств в советском правосудии», решивший вопросы профессиональной этики согласно катехизису революционера — в духе спасительного насилия, утверждает: этично то, что полезно партии. Прошло время, и жизнь опровергла его. А еще показала, что все настоящее трагично.

Низкие каменные гряды в окрестностях заброшенного рудника протянулись на несколько километров поперек длинной впадины... Это безымянные захоронения. Таково наследие хмурого старика по отчеству Януариевич, по прозвищу Ягуарович.

Где-то здесь под сопкой, называемой «Оловянная», обрел вечный покой и молодой юрист Корнев, когда-то искавший Правды у генерального прокурора, добившийся встречи с ним.

5

В повести использован композиционный тип «хождения». Главный герой приезжает из провинциального южного городка в Москву, чтобы попасть на прием к генеральному прокурору. Сцене их встречи предшествует не выводимая из памяти картина сжигания писем в тюрьме. Она дана на первых страницах повести.

«Это были арестантские письма, заклеенные в самодельные конверты, изготовленные из лоскутков бумаги, махорочных оберток и даже развернутых и разглаженных папиросных мундштуков. Некоторые

из пакетиков были сделаны из неоднородного материала и напоминали лоскутные одеяла. Фабричных конвертов среди них не было совсем».

Письма как макулатуру притаскивают в огромном мешке. Все это — обращения в высшие инстанции: жалобы, возмущения, просьбы, негодования, написанные огрызком карандаша, либо огарком спички. Их сжигает в печке истопник-заключенный.

Все вылетает дымом в трубу. Такая же участь ждет и многих авторов писем. Только уйдут они в землю дубарями с бирками на ногах. Надорвавшиеся в рудниках обретут покой в длинной траншее распадка между бурыми сопками (лагерное кладбище называлось Трубой).

Особенно много покойников сюда поступило в годы войны, сообщает автор. Может, столько же стало дымом в печах Маутхаузена и Бухенвальда. Эти географические названия упомянуты на последней странице повести, перед заключительным абзацем о деяниях верховного прокурора.

Торжество псевдозакона оказалось прочнее генерального прокурора. Оно пережило его на много десятилетий, так и не обеспечив свободу своим авторитетом.

Москва, 2017

В СТРОЮ ПРОКЛЯТЫХ

(о Леониде Бородине)

1

Этот человек сам написал о себе, назвал книгу — «Без выбора», и тем отсек иные подходы к своей биографии. Одни сочтут название неточным, другие — свяжут со склонностью автора к фатализму. Действительно, трудно поверить, чтобы кто-нибудь выбрал себе аресты, тюрьмы, этапы, мытарства, а Бородину выпало их на двенадцать лет. Но стройный подтянутый человек, которого видишь в книге на фотографиях, не похож на тех, кто бросается словами.

«По самому большому счету я прожил легко и светло», — настаивает Бородин и опять вызывает недоумение: да это же все равно, что сказать: «Я любил ее за то, что она разбила мне жизнь».

Какой-нибудь психиатр усмотрел бы в подобных признаниях склонность к саморазрушению, предположил бы: натура Бородина устроена так, чтобы видеть свое счастье в своем же несчастье. И, скорее всего, не ошибся бы, если «несчастье» воспринимать исключительно в бытовом значении, забыв о «чисто русской тяге к чрезвычайности» (Б. Пастернак). Да и сам Бородин замечает: *«К сожалению, "героизация" сознания не только мобилизует личность, но и деморализует, точнее, может особым образом повлиять на личность в тех сферах бытия, каковые объявляются*

вторичными». Так это или нет, но жить без героики скучно. Невыносимо. Помните у Николая Гумилева:

И пока к пустоте или раю
Неборный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
Упоительной жизнью огня.

Духовной родиной Бородина были книги, географической — Россия, точнее Байкал. Они и сформировали его; про такого человека устами Версилова («Подросток») говорит Достоевский: *«У нас созданся веками какой-то еще нигде невиданный высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех... Он хранит в себе будущее России».*

Так повелось, что те, кого мы называем мыслителями, пророками, имели слабость связывать будущее с человечностью, словно оно, будущее, приходит затем, чтобы оправдать привычку к словам или опровергнуть пророчества. Будущее — слишком безопасное место, чтобы не воспользоваться его гостеприимством. Оно, безразличное к Правде, пристрастно к Идее. В пространстве грядущего эти высокие материи редко соединяются. Может быть, потому будущее и окутано обаянием вечных надежд? Зато пройдя, оно превращает нас в яростных обличителей. Таково свойство человеческой зоркости: на остатках былых заблуждений простирать руки к новым, каким-нибудь сверхчеловеческим идеям о вечной молодости, бесконечном счастье. А проблемой была и остается обыкновенная человечность, которой тот же Версиров вменяет: *«...Осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле...».*

Судьба поместила Бородина на такую почву, где сострадание, участие в чужих бесчисленных бедах могли бы сломать человека, будь он мельче и послабей. А главное, не столь поглощен исканием правды, которое в его случае

связано с представлением о подвигах, странничестве, приключениях, близкими духу рыцарства и высоких страстей. Правда важна для него как осмысляющее начало жизни — то, что для верующих вмещает понятие Бог. Недаром Валерия Новодворская, диссидентка диссиденток «Западного выбора», всегда безупречная в вопросах чести, назвала «русиста» Бородина «рыцарем прощального образа».

2

Если признать, что век гуманизма кончился и большие времена отличились (не раз!) расчеловечиванием, то придется повторить, что высший разум вышел из всего этого не в лучшем виде и подобно богине победы на пороге мгновения не застыл. Гибельность не бывает одноразовой. Она проходит через судьбы людей. Однажды (Бородин называет эту пору *«тихим сном веры»*) он узнает: его отец — враг народа. Такие открытия никогда не проходят зря. Они наполняют человека иным содержанием — о природе добра, справедливости. Способствуют изменению зрения. Так и юноша Бородин начинает понимать, что он внутри страшного мира, сам вобрал его зло, и, отдавая себе отчет, признает, что вместо возвышенно прекрасной национальной жизни страна имеет идеологическую догму, обслуживающую политическое заблуждение: *«Меня никто не учил ТАК видеть и знать, то есть как бы не видеть и не знать, этот способ самозащиты от чужого страдания я получил по совокупности всего воспитания в советском обществе, где реальны только собственно советские люди, а несветские — они как бы и не люди вовсе»*. Он впервые видит других за рядами колючей проволоки, внизу котлована: они кажутся существами иной расы, *«в одинаковых телогрейках-бушлатах, в одинаковых шапках, все на одно лицо...»* *«Не знаю, существовало ли еще место, где на квадратный метр земли приходилось столько трагических судеб!»* Бородин добавляет: *«Уже не вспомнить,*

кто первый сказал, что “зэки” не все нелюди, что полно там безвинных, или без вины виноватых, или, если и виноватых, то в пустяках». И что совсем не вмещается в его голове: социализм создается заключенными. Это он понял в Норильске, куда восемнадцатилетним приехал работать после исключения из ленинградского университета.

Шесть громаднейших рудников, столько же угольных шахт, крупнейшая в стране обогатительная фабрика... — все это в руках заключенных. Бородин не скрывает своего настроения: *«Советский человек во мне сомневался в правильности такого порядка, а несветского человека во мне не было»*. Как в подобных случаях спастись от муки психического раздвоения? Дело ведь не в формальных уловках, а в безвыходности своего положения и такой жизни вообще. Как уберечь себя от крысиной тактики поведения, которой придерживались очень-очень многие люди (собственно, придерживаются и сейчас)? Оглядываясь на прежнего себя, Бородин пишет, что заболел «идеей правды»: *«заболел настолько, что ни о чем ином и думать не мог»*. Что правда способна оказаться «объемнее» его возможностей, — такого не исключал *«и, кажется, догадывался, что знание может обернуться непредставимыми последствиями»*. Но, спрашивает он, *«разве стремление к безнадежному делу не путь открытий?»*

3

Следует остановиться ради краткого отступления и заметить, что Леонид Бородин называл свою правду «третьей», как бы показывая, что правда правде рознь. Суть даже не в хитроумной привычке к тотальной подмене, свойственной деятелям господствующей морали, когда ложь сознательно выдается за правду и ради какой-нибудь модной идейки правда извращается на глазах. Речь о соотношении правды и истины, о ее родственных связях с идеологией, коллек-

тивными страстями, групповыми и частными интересами. Ключ к «третьей правде» Бородина в понимании Абсолюта как надполитической категории, а также в гражданском чувстве, когда *«проблема страны важнее всего мечтательно личного»*. Ведь Леонид Бородин принадлежал поколению, для кого жить обывательски значило прозябать. *«Экстремальность ситуации, — утверждает он, — способна возрождать человека, выпрямлять ему позвоночник, возвращать глазам остроту зрения, а жизни — смысл, когда-то отчетливо сформулированный, но утративший отчетливость в суете выживания»*.

Русской лихостью веет его признание: *«Мне бы до Байкала добраться, там-то не пропаду!»* Так и слышишь переключку с народной песней, где строка: *«Я Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля»* и далее: *«Э-эх!»* — вмещают все, что не дается прочим словам. Думаю, что «третья правда» Бородина — это признание истины в нейтральном значении, то есть независимой от идеологии, истины как одной из доступных частей Абсолюта, который всегда бесконтролен, не просеян и специально не подобран под фундамент определенного общественного устройства. Он, как письмо на почте, пребывает в состоянии до востребования. Блуд социальных систем его не касается. Такая истина способна подорвать авторитет любой власти, и не только советской. Ей невозможно сойтись с миром идеи и государства, постоянно актуализированным, меняющимся, зависимым.

По молодости лет Бородин упускает из вида, что любая власть нуждается в ритуальной канонизации истины, в специально подобранных идеях. С годами это заблуждение проходит; в зрелом возрасте Бородин уже в принципе не приемлет идеологизированную сущность всякого миропорядка. *«Должен же быть хоть какой-нибудь символ вечности, как тот парус одинокий на горизонте — оглянулся и увидел: белеет!.. прав он или неправ, определился, нет*

ли относительно бури — важно, что белеет!» Этот вывод претворяется и на деле, что крайне непросто для такого равнодушного человека, как Бородин. Достаточно вспомнить страницы его книги, которые касаются расстрела Дома Советов в 1993 г. Бородин не примыкает ни к каким враждующим группам, он в стороне. Внутреннее смятение слышится в его словах: *«Оттого и носился вокруг дома с видеокамерой дни и ночи, будто камера способна помочь определиться, отстраниться от “идейности ситуации” и вернуться в молодость, где принцип несоизмеримо важнее истины или хотя бы догадки о ней»*. Наверно, не просто бывшему узнику особого режима, к тому же романтику, находившему отвлечение и утешение не только в книгах, но и собственных снах, особенно приключенческих, признаться, видя полыхающий Дом Советов: *«Вот оно — мое сновидение — судьба! Сколько раз снилась мне сходная ситуация: окружение, обреченность, скорая гибель...»* Признаться и на этом поставить точку: *«Мои приключения кончились... Тридцать лет назад я был бы внутри этого Дома независимо от правоты или неправоты, потому что в подсознании, как оно формировалось с детства, обреченный и погибающий всегда более прав»*. Бородин называет свою позицию инфантильной, но стоит на своем: выбор совершается однажды и навсегда и не в пользу красных флагов и новых оголтелых вождей. Все рвущиеся к власти, наверно, видятся ему, сыну краснодеревщика, заядлому книжнику, куклами из гофманской мастерской, сработанными Коппелиусом в кошмарном бреду. Бес вечной смуты и человеческого самоедства чужд нашему персонажу. Даже православный вариант несогласия он не считает приемлемым для себя. Ему симпатичны тихо стоящие люди с иконами, но он не примыкает и к ним: *«молиться — удел женщин»*. Есть и другая причина: *«Мне ли, политизированному “православцу”, место среди людей воцерковленных, подлинно верующих? Примкнувший — на*

большее мне не претендовать, и молитва моя будет формальной, потому что не умею загонять мысль, как собаку в конуру, а без этого нет полноты и искренности молитвы».

Это размышление как-то очень настойчиво просится к одному предупреждению в начале книги: *«Не было в моей жизни борьбы. Было несовпадение, потом противостояние... Не я боролся, со мной боролись»*. Между прочим, в контексте этих фраз попадается слово «урод». Подобная самохарактеристика вызывает не только улыбку, но и литературные ассоциации. Вспомним одну знаменитую книгу, где автор позволяет герою назвать себя идиотом, а затем, проведя его через все сочинение, как бы соглашается с ним и выносит это слово в заглавие. Герой предъясняется читателю самым нелестным образом (если забыть изначальное толкование этого слова) еще до знакомства с ним. Но в нашем случае самоотрицание Бородина и заглавие книги не совпадают и особенностями личности не объясняются. «Идиотизм» первого и «уродство» второго одинаково привлекательны и относят нас к мыслям о христианстве, о людях особенных, в какой-то степени не от мира сего. Невозможно не вспомнить фразу, необычную и доверчивую для такого в общем-то закрытого человека, как Бородин: *«Думаю, что в действительности был полон любовью к человекам, что, может, одной любовью и жил, а вражду и отталкивание только изображал, чтобы не казаться самому себе скучным и пресным...»* Нарочитое «к человекам» показывает некоторую неловкость автора от своего признания: особая жизнь отучила от нежностей, которые в среде бывалых людей называют телячьими. В то же время эта нарочитость не без отсылки к Библии.

4

Кстати вспомнить еще одну самохарактеристику, когда автор называет себя солдатом. Выстраивая себя как лич-

ность, Бородин делает это в параметрах героической морали, хотя терпеть не может позы и громких слов. Не случайно он находит себя в темах мужественной поэзии Гумилева, ориентируя на него не только свою жизнь, но и смерть. Наряду со строфами из стихов Гумилева, в книге есть глава о лагерном вечере 20 августа (день расстрела поэта), ему посвященном. Гумилев, как никто, был почитаем заключенными интеллигентами, может быть, потому, что и жил, и работал, и умер по высшему счету. Не забыть его смерти, рассказанной очевидцем М.Л. Лозинскому в записи Георгия Иванова: *«Этот ваш Гумилев... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж — сваял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны».*

Глава о вечере памяти Гумилева с участием писателя Андрея Синявского, товарища по несчастью, одна из лучших. Бородин умеет привносить в мрачную ситуацию смешное, обволакивая ее каким-то неповторимым чисто российским обаянием с налетом легкого бреда.

В самом деле, представьте: одиннадцатый показательный (!) лагерь. Заключенные собрались в садовой беседке (!), среди них литераторы, авторы книг (!). Синявский сидит напротив Бородина. Лицом к закату. Стихи читают по очереди. Вот дошла очередь до Синявского. *«Он поднимает свои страшные, разносмотрящие глаза» (!)*, — пишет Бородин и... Далее следуют строки Гумилева и комментарии к каждому жесту чтеца, тембру голоса, выражению лица. Его нечесаная борода, затрапезный вид, замашки неартельного компаньона — все это для подтянутого Бородина уже не

имеет значения. Чтение потрясает новым смыслом давно знакомых стихов.

Не подозреваемый трагизм гумилевских строк о завядших цветах, которые не живут рядом с мертвыми «грузными томами», стоящими «словно зубы в восемь рядов», приводит слушателей в оцепенение. Вот Синявский заканчивает... Молчание длится около двух минут.

Не правда ли, картина занятная, не без абсурда? Даже солнце вмещает в себя частицу бреда: что, в самом деле, оно освещает?.. И причем тут беседа — этот умильный славный предмет из допотопной архивной жизни? Тогда закономерен вопрос: что представляет собой мир, притягивающий этот бред? Только ли бред в квадрате??? Думаю, нет. Это реальный человеческий мир. Абсурдный. Недолговечный. Все шатко, скользко, двусмысленно. Текуче не только в мирах-ублюдках, но и во вполне внешне пристойных, вроде бы добропорядочных, не страдающих никакой всемирной отзывчивостью. Мир, обусловленный духом времени, тем самым коллективным бессознательным — этим проклятием человечества. Оно делает спорным, проблемным любой вариант житейских коллизий. О его оправдании речь не идет. Проблема в противостоянии. Оно возможно как эстетическое. И человеческий интеллект не отступает.

5

В другом месте книги Леонид Бородин называет себя бродягой, и это тоже верно отчасти: скорее по образу жизни, чем внутреннему состоянию.

«Всякая плоть — трава», — говорит библейский Исайя, тем самым благоволя к духовной стороне человеческой природы, которую можно сравнить с пейзажем, увидеть в ней горы, тайгу, озера, недоступные глухие урочища, а в них скиты с вавилонами книг. До самого неба. В душе же Бородина можно увидеть сны.

В своем повествовании он слишком часто говорит о них, чтобы не обратить на это внимание. Это слово присутствует даже в аббревиатуре ВСХСОН, составленной по первым буквам названия: Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа — нелегальная организация, куда вступил юноша Бородин. Сон — спасительная привилегия заключенных и поэтов. Их исповеди редко обходятся без описаний фантастических грез, непонятных видений, ужасов. Перед снами Бородина они имеют то преимущество, что в большинстве своем видятся ночью. Бородин же и в поэзию, философию «заныривает как в сон». И в этом не одинок. Разве не за «сон золотой» пошел на каторгу Достоевский. Не за «честь безумцу, который навеет» этот самый сон человечеству, встали на Семеновском плацу в капюшонах смертников петрашевцы! Снам отдал дань и любимый поэт Николай Гумилев. Чуть ли не двойника по снам видит в нем Бородин. Ему кажется, что Николай Гумилев, как и он, жил двумя жизнями: той, что наяву, и той, что во сне. «И неизвестно, какая интересней», — добавляет Бородин.

Сон далеко не худшая слабость, к которой можно прибегнуть, чтобы скрасить невыносимую явь. Впрочем, существительное «слабость» неточно: ведь речь о людях, которые не просто умели смотреть правде в глаза, но были готовы принять жизнь в самом жестком и предсказуемом варианте. И жизнь эта в обществе взаимного шпионства не оставляла права на выбор. Зато уход в поэзию — это состояние, подобное снам наяву, позволяло чувствовать себя человеком. Вот строки самого Бородина:

А из-за леса, из-за леса
(И это видели мы сами
Сквозь геометрию запрета)
Вставало солнце залпом света.
И чудо розовое это
Нам было продолженьем сна.

Стояли, шурились, молчали.
И в нашей утренней печали
Рождалась поздняя весна.

Сколько узников разделили эту печаль! Скольким хотелось, чтобы она была светла. От многих не осталось даже имен. Лишь фанерные таблички с темными номерами. И могилы их неизвестны.

6

«Трижды судимый, приговоренный фактически к небытию, я все же выжил...» — пишет Бородин, вовлекая своей интонацией в какое-то мистическое настроение, сходное с тем, которое сопутствует при чтении другой примечательной книги, приговоренной самим ее автором к смерти. Подобное тянулось к подобному и находило себя в границах одного и того же явления. Имя ему — Процесс! Не вспомнить австрийского «сновидца» Франца Кафку и его спасенный роман было бы странно. Каждый раз, когда речь о законе, этот писатель приходит в голову как капитальный разработчик именно этой темы. Как пронзительный фаталист, нашедший свободу в занятии литературой. Мрачная магия Франца Кафки, его фантастические видения как бы конкретизируются на русской почве, переводятся на другой уровень восприятия и подаются на страницах Бородина с обезоруживающей простотой. Достаточно вспомнить сцену ареста — КАК взяли: *«Шел по тротуару, подкатила машина, из нее вышел молодой и бравый и сказал, что я должен ехать с ним»*. Все! И попробуй не согласишься. Оказаться свидетелем подобной сцены можно было в любом месте. Однажды такого несогласного взяли при мне на ступеньках нового Художественного театра. Он спускался после спектакля в толпе зрителей. Неожиданно двое подхватили его под руки. Крепко держа, отделили от остальных. Только попробовал трепыхнуться, врезали кулаком в живот и, протащив к ма-

шине, засунули внутрь как тюфяк. Влезли сами и придавили ногами. В окошке хлопнувшей дверцы было видно, что он продолжал сопротивляться, но скоро его рука на спинке сиденья разжалась, упала. Шофер обернулся с гримасой улыбки. Машина тронулась.

Разве не о том же у Кафки при всех неоднозначных многоуровневых смыслах его сочинения? Его герой так же не понимает за что? Почему? Так же не чувствует за собой вины. Его однажды берут под арест, уводят из дома, и привычная жизнь для него кончается.

Читателям романа «Процесс» вряд ли стоит напоминать, что было дальше. Лучше перевести это «ЧТО» на уровень нескольких фактов нашей родной действительности. Повествование Бородина позволяет это сделать:

- сортировка заключенных по степени несправимости и способности отрицательно влиять на других;
- ожидание смертника перед этапом в исполнительную зону;
- пребывание в прочно закупоренном карцере на цементном полу...

Карательные действия имеют для заключенных и нумерологическую подоплеку:

- знаменитая тридцать шестая особая зона;
- у всех один и тот же срок — десять плюс пять;
- из показательной одиннадцатой в особую семнадцатую, оттуда во Владимирскую тюрьму...

Сон оборачивается двумя бараками по пятьдесят человек, зоной — сто метров на шестьдесят, рабочей зоной с одним баракон, где замерзает вода в умывальниках, а также буднями под названием БЕЗЫСХОДНОСТЬ. Впрочем, тюремная поговорка гласит: трудно только первые пять лет, остальные — нормально.

Миссию Провидения берут на себя служители закона. Именно они переводят проблему личного выбора на

уровень высшей инстанции — надзирающей, следящей, карающей. На фасаде инстанции значится: АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Ее подданных Леонид Бородин называет «исполнителями моей судьбы». Над ними еще что-то темное, странное, скорее подразумеваемое, чем действительное. Незримое ведомство брезжит как символ недостижимости. Особенно когда страной управляет ГОЛОС. Было такое в андроповские восьмидесятые. Голос, не подкрепленный визуальной картинкой, вещал, словно дух, порождая домыслы о заупокойной жизни, о гласе с того света. Вечно больной генеральный секретарь не мог предъявить свою личность на телевизионном экране. В самих же служителях закона Бородин видит лишь заложников власти, они вызывают у него снисхождение. В отличие от других политических узников он не отказывается от общения с ними, признает, что в нем они находили заинтересованного слушателя (думается, из-за писательского внимания к человеческим судьбам).

7

Имея дело с таким человеком, как Бородин, неизбежно выпадаешь в некоторую книжность, потому что благородство и обостренная отзывчивость в жизни не слишком часты. Все утверждения относительно природы альтруизма, что его не может быть много, не убеждают: душа ждет реального добра, а не благих пожеланий с киванием на гражданское общество. Этого зверя пока что днем с огнем не найти, а то, что найдешь, — кланово, закрыто, порой агрессивно, в рамках партийного (увы!) коллективного эгоизма. Только сунься, съедят без соли как подозрительного чужака. Все настолько обюрокрачено, что само понятие человечности неприемлемо. Солидарное отношение к делу практически невозможно: мы слишком держимся за свое место под солнцем, чтобы признать в новичке бескорыстие. Тут и определяется вектор

судьбы, та самая фатальность, которая тяготеет больше к людям, к их установкам и догмам, чем к року.

О ней, фатальности, глава «Взрывник Метляев», по сути, самостоятельный документальный рассказ, органично принятый текстом этой в жанровом отношении разнообразной книги (здесь и публицистика, и репортаж, и философский этюд, и исторический документ). Вот вкратце содержание рассказа.

Автор — недавний студент, теперь проходчик шахты, становится случайным свидетелем нарушения, связанного с техникой безопасности на руднике в Норильске. Взрывник, бывший заключенный Метляев, отработав смену, по привычке припрятал в трубе аммонит для следующих взрывов. Обычно все обходилось, но однажды невнимательный сварщик взялся резать именно эту трубу. И взорвался.

Узнав об этом, Бородин мчится искать Метляева.

«...Я нашел его в штреке. Он сидел на отвале породы у груди забоя, пил чай. Как только я сел рядом, заговорил с непривычным для него оживлением: “Он чистый смертник был! Чистый! Он не трубу искал, он свою смерть искал. И нашел! Ходит такой по зоне, неделю ходит, месяц ходит, а все смотрят как на покойника. На морде написано... Ну не козел! По весу хотя бы мог догадаться, он же трубы перебирал, — если вес больше, раскинь умом, на хрена же такую брать. Нет же, вытаскивает, сука, мордой бы его об эту трубу. Ну, уж помяну его душу козлиную нынче...” — Метляев махнул рукой и потопал из штрека».

По законам зоны одна смерть тянет другую, «обязательно пара».

«Я все гадал, в какой рудоспуск он тебя столкнет», — говорит начальник молодому проходчику (автору) после того, как комиссия по расследованию ушла ни с чем. Метляев к тому времени без шума перевелся на другой участок, потом и вовсе уволился, а парень проходчик цел-невредим стоял перед начальником. И на возражение: «Вот же остался жив!» начальник с явным сожалением отвечает: «Осечка. Может, жизнь нормальная началась, а мы и не замечаем».

По-моему, неплохо написано.

На разговор о производственной теме вдохновляет не только Леонид Бородин, но и классический утонченный эстет Оскар Уайльд. Парадоксальный острослов спускался в рудники Америки, о чем сообщал в письмах домой. В Лендвилле он даже открыл разработку новой жилы, которую в честь него назвали «Оскарром». В Фермонте провел под землей чуть ли не ночь: «Разговаривать с этими людьми оказалось страшно интересно...» («людьми»-рудокопами). После чтения писем симпатия к прозе этого ирландца делается столь же сильной, как сочувствие к его судьбе. Его слова о том, что занятия искусством — это долгое восхитительное самоистребление, достойны чтобы их напечатали золотыми буквами.

Здесь это сказано для того, чтобы перейти к одной важной теме, имеющей отношение к людям книги. Правда, не все литераторы и читатели таковыми могут именоваться, однако это не повод, чтобы оставить любимую тему огня и горячего производства отдельно от мира мысли. Наши современные литераторы уж очень любят над ней посмеяться, топча советских борзописцев, которые обслуживали власть. А теперь сами бегут впереди паровоза, угождая сальным интересантам. В сфере практической этики что борзописцы, что сексопаты — одно и то же. И там и тут холопство выдается за свободное творчество со ссылкой на тиражи. Кстати, в нынешней ситуации быть поповы-

ми романистами не так уж и трудно. Публика, жадная до скандалов, не прочь потрафить собственным комплексам. Если в вопросах культуры спрос рождает толпа, то самое время задуматься, не пришла ли пора перевернуть страницу пророков и покончить с разговорами о культуре. Дело не в аморальности текстов. Эти авторы неправы художественно, потому что из сферы литературы переступили в область патологической медицины. Впрочем, я ругаю их от бессилия, в действительности они достойны забвения.

8

Но возвращаюсь к личности Бородина, к его редкому дару приносить в трагическую ситуацию юмор. Можно вспомнить сцену со смертниками, к которым упекли героя, так как у политических заключенных свободных мест не имелось:

«...Напротив нарисовалась бородатая физиономия лет тридцати.

— Привет, земляк! Я — Саня. А ты? Сколько трупов?

— Где? — спрашиваю.

— Чо, где? По делу, конечно. Я ж тебя не колю, сколь в натуре.

До меня, наконец, доходит смысл вопроса.

— Нет, — говорю. — Я по другой статье.

После моих пояснений Саня долго изумленно шевелит растительностью на лице, затем, выснувшись, орет:

— Слышь, братва, к нам политического спустили!.. За что ж вам такие срока дают? — спрашивает Саня. — Боятся?

— Да нет, — отвечаю, — просто не любят.

Мой ответ отчего-то вызывает у Сани и ближайших соседей дружный хохот.

— Слышь, братва, они их не любят! — орет Саня и хохочет, широко раскрывая свою металлозубую пасть».

И снова не поворачивается язык придаться к словам. Наверно, можно что-то подправить. Но нужно ли? Эта сценка — как «Всюду жизнь», незабываемая картина передвижника Ярошенко. Словно протягивает руки к его же, Леонида Бородина, стихам:

У ног —
проклятий бездна...
Судьба, как лист, чиста...
Кому мечта — воскреснуть,
А нам бы —
снять с креста.

К сожалению, творчество не поглотило всю личность Бородина. Он сам признается, что по-настоящему занялся писательским делом к моменту второго ареста. Именно тогда оно стало для него артистическим удовольствием. А все написанное прежде — «не от хорошей жизни». Человек, которого тянет пойти по лунной ночной дорожке, мерцающей на воде (а Бородин такой), был рожден писателем. Но вопреки себе, убежденному фаталисту, совершил выбор не в пользу сочинительства. Стыдился самого этого слова. Наверно, принцесса Греза, спутница мечтателей, фантазеров, романтиков, казалась ему слишком изнеженной дамой, он не хотел допускать, что ее лик связан со временем и способен принять любые черты: и Гадюки Алексея Толстого, и Зои Космодемьянской, и певицы Марии Каллас. Все же талант вывел Бородина к зазеркальной, все-таки личной форме существования. Его произведения восхищают личностью автора. Мы отвыкли от цельного человека. Вечно

рефлексирующий, озабоченный собой психопат, ущербный, обличающий, слабый, распространился и размножился на страницах изданий. Ему не живется, а плачется. Как ветхозаветная вещь мира, он полон усталости с юных лет. Он и в жизни-то надоед, достает и в литературе, в основном, приблизительным исполнением. Его радетелям так и хочется пожелать: «Больше внимания тормозам, господа. Даже проигрывая на разгоне, можно выиграть за счет торможения». Где душа?.. Ведь и у плакальщиков она очень даже имеется. И просит внимания. А впрочем... Большинство людей живут в клетках своего сознания. Наверно, и я тоже.

9

Он был главным редактором журнала «Москва», когда в нем появились мои повести и рассказы. Для меня это значило много. В мире, разделенном на своих и чужих, может быть, *очень* много. Несмотря на это я не стала выражать благодарность Бородину. И при следующей, второй, публикации поступила так же. Словно передоверила свое отношение телепатическим силам, для которых у людей *особого* склада — с переразвитыми чувствами, каким, скорее всего, был Бородин, — самое тонкое дистанционное восприятие. В третий раз, при очередной публикации, все же решилась, но, подойдя к двери приемной, уткнулась в фотографию в траурной рамке. По моему впечатлению в самый раз было обратиться в соляной столб. Но нет, всего-то застыла на месте, да слово «необратимо» вспыхнуло в голове.

Вернувшись домой, я раскрыла взятый в редакции свежий номер журнала и снова обнаружила *ту самую* фотографию, уже с подписью «Вечная память, 1938–2011».

Леонид Иванович Бородин в добротном пригнанном пиджаке, при галстукке и белоснежной сорочке, легкий, подтянутый, аккуратный был застигнут фотографической вспышкой где-то *там, в трансцендентном пространстве*.

Слегка повернувшись, он глядел в сторону, мимо пустяков и мелочей жизни, прикрыв рот рукой и как бы держа его на замке. В этом жесте, в этой сжатой руке с артистическим тонким запястьем над отутюженной белой манжетой, весь на чеку, он ушел в один напряженный взгляд с налетом легкой опаски. Вид руки, ее устойчивое положение, корпус плеча говорили о многолетней укорененной привычке, не допуская и мысли о случайности позы. Личный жизненный опыт, годы затворничества, пересылок, скитаний вылепили эту фигуру без всякой двусмысленности. В своем облике он был очень конкретен, хотя уже давно имел отношение к мифу как общественный деятель и литератор. То была чистая работа природы, воплотившей общий смысл непростого характера. И слово «необратимость» опять зависло в мозгу.

И вот я шла по Новому Арбату в редакцию журнала «Москва» на вечер его памяти. За неделю до этого на 24 ноября обещали снег и начало зимы. Но ничего подобного не случилось. Наоборот, было не по сезону тепло. Прохожие не то чтобы радовались, но как-то слишком заметно тянулись к маленьким удовольствиям вроде пива, мороженого и тут же покупались на них. Воскресная праздность одолевала и посетителей зланных мест. За чистым стеклом они смотрелись как заклинатели какого-то вечного кайфа: то приникали к своим соломинкам, словно вытягивали из бокала эликсир бесконечного счастья, то откидывались на спинку стула и вбирали счастье из воздуха. Кто поблизости не дремал так зазывалы музея эротики. Бойкие подростки цепочкой стояли поперек дороги и лезли под руки со своими цветистыми приглашениями.

Выручил темный проход между домами, ступеньки вниз, а за ними — тихий Серебряный переулок. Под боком нахальной настырности он угрюмо стоял, храня верность былому Арбату. Разве что впереди диким цветом резал глаза недавно

отстроенный под старину особняк, да озабоченной дамочке не терпелось узнать, где музей композитора Скрябина.

— Меня занимает тема — Скрябин и Пастернак, — сказала она. — Я читала, что Пастернак — ученик Скрябина.

— О Пастернаке теперь только ленивый не пишет. Почему-то вокруг других — тишина... Но ничего... Тишина — тоже текст. Непроявленный.

— Как это понять?

— А так и понять, что случайное претендует на вечность.

— Это Пастернак — случайное?

— Ну, конечно, нет. Он-то в порядке, а вечность покинула мир. А то, что осталось, злободневное, активированное, орет и, кроме себя, ничего не слышит.

— А чем вы занимаетесь? — неожиданно спросила она.

— На расстроенном инструменте виртуозно играл только один Софроницкий. Знаете такого? Лучший исполнитель Скрябина. А вот и музей.

Собеседница поняла меня правильно и, поблагодарив, освободила душу для дороги к Леониду Бородину, к тому «спасибо», которое *непроявленным* зависло во мне. Вот и Бородин в своей книге пишет:

«...Подойти к человеку, прожившему жизнь — да еще какую! — подойти и сказать, положим: “Привет, Саша, спичку не дашь?” — ну, не мог я обучиться этому эковско-пролетарскому панибратству, не мог — и все!» И далее (если с просьбой обращались к нему): *«Доставал, глядя в сторону, протягивал без слов, и, коли разговор завяжется — хорошо, нет — не надо»*. Где-то в середине между этими строками: *«И ни в коем случае никаких “спасибо”!»*

Такие фразы остаются в памяти, ищут единомыслия. И оно откликается словами другого, уже помянутого выше известного узника (О. Уайльда): *«...Тюремная жизнь позволяет увидеть людей в истинном свете. И это может обратить*

человека в камень. Тех, кто живет за пределами тюрьмы, мельтешение жизни вводит в обман. Они сами втягиваются в ее круговорот и вносят в этот обман свою лепту. Только мы, находящиеся в неподвижности, умеем видеть и понимать». Мне достаточно было этих двух мнений, чтобы притормозить свой порыв благодарности. Кто знал, что ему не суждено сбыться? Впрочем, для сокровенного границы не меряны. Поговорка: «сказанное слово — серебряное, не-сказанное — золотое» предполагает возможность третьего, более надежного, варианта — слова, закрепленного на бумаге. Под знаком бородинской «Баллады об альбиносах»:

Смотри, я высох от проклятий,
Измен, предательств и доносов!
Так не жалея своих объятий,
Мой брат из рода альбиносов!
Цени же, друг, счастливый случай,
Нам путь назад — что путь на плаху!
Пойдем же, брат, тайгой дремучей,
Чем дальше в лес, тем меньше страху!

ИОСИФ БРОДСКИЙ, ИСАЯ БЕРЛИН И КОРОЛЕВА-БРОДЯГА

1

Этот вечер пришелся на 28 января 1996 г. Число это в нынешней протяженности дней ничем особенным не отмечено. Продолжалось всеобщее помешательство на деньгах, война в Чечне, реставрация храма Христа Спасителя и наплевательское отношение к заповедям Божьим. Разве что календари напоминали, что 28 — дата смерти Достоевского. Но на нее мало кто обратил внимание.

И все-таки... *Иная* жизнь теплилась. Даже находились люди, которые слушали музыку, приглашали к себе домой «на Фуртвенглера» или «Юдину».

Человек десять уже сидели, когда вслед за хозяйкой я проникла в темную комнату и тоже устала на звучащий ящик с маленьким огоньком. Седоватый мужчина менял кассеты, в паузах давал пояснения. Звучал Равель — почти синхронно ударам сердца. После спешки оно билось, как в клетке. Но скоро ноты, мрак и мелькание огонька объединились в терапевтическом эффекте и привели меня в чувство. За Равелем последовали более замысловатые композиторы: Хиндемит, потом Онеггер, Бриттен... Все в размахе своих симфоний. Под конец был объявлен Стравинский. Голова у слушателей раскалывалась, но седоватый настаивал и... настоял — зазвучало «Посвящение Чайковскому». Над музыкой своего кумира Стравинский поднял флаг.

Вспыхнул свет. Можно было вздохнуть, оглядеться.

Книги от пола до потолка, палитра, кисти, кувшины — уголок памяти об ушедшем художнике. На этом фоне и его вдова виделась уже не хозяйкой квартиры, а почетной хранительницей. Вид стеллажей, заставленных досками (это были картины), наводил на мысль о служении искусству. Работы стояли одна за одной, как солдаты в строю. Гости меж тем устраивались за столом, приглядывались друг к другу, минуту молчали и вдруг заговорили. Авторитетно. Громко. Все голоса, отработанные на симпозиумах, диспутах... Фразы не подыскивались, а выдавались без сучка и задоринки. Сам же разговор... Его можно назвать карательной акцией, которая состояла в том, чтобы вымарать музыку из сознания.

На одном конце стола сидел седоватый (его звали Олег), на другом — некий Лев Григорьевич, искусствовед. Один спрашивал: а что вы думаете о таком-то, другой отвечал: «скучный нудный автор», «серость», «нечего слушать». Возможно, так и было, но щелканье кнута — не лучший звук для чужого уха. Вне логики, тонких суждений и всяких высоких материй музыка свелась к двум-трем именам, литература — тоже, исполнителям повезло больше: за дирижером Николаем Головановым хотя бы признавался талант, правда, Лев Григорьевич был против. Образовалась пауза, заполненная позвякиванием ложечек: на столе появился чай. Затем демонстрация объемов информации продолжилась. Наконец, трое не выдержали, поднялись. С ними и я.

Ноги несли подальше от лобного места. Холод внутри и снаружи — зима! Судорожные попытки протеста задним умом и раздражение против интеллектуальных вампиров. В голове крутилось: «Ну конечно, интеллект — не самая сильная сторона человека! Нет такого объема информации, который не подчинился бы формуле: $n+1$ ». И тут мы увидели пьяного. Он замерзал возле подземного перехода,

рядом с метро. Молодой, башка обмотана шарфом, лыка не вяжет. Хлопоты об этом пьяном и привели нас в образ человеческий: какие-то переговоры, милиция, телефон... Страж порядка сказал: «Уже от седьмого прохожего слышим. Машина вызвана, но никто не торопится. Звоните сами!» — и подал аппарат. Раньше машина (у алкоголиков называется «хмелеуборочный комбайн») прибывала четко. Пусть это тоталитаризм, нарушение прав человека, но замерзать посреди дороги не позволялось: некрасиво и стыдно для государства. Эрзац гуманизма все-таки лучше, чем ничего. Теперь ни эрзаца, ни понятия о позоре, зато есть свобода публичного самоуничтожения.

Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке...

Это стихи Бродского, которые оканчиваются:

И замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.

Пришедшие в голову там, под фонарем, где «стоял мороз у входа», часом позднее они обнаружили странную связь с неожиданной вестью: на другом конце света их автор скончался от болезни сердца.

Надо было забыть о себе, отрешиться от раздражения, подумать и помолчать.

2

И все же... Не от болезни сердца. Погиб на дуэли, как все они — жертвы вечного 37-го, эпицентр которого — 1837-й. Так это видится.

Все, что приспособлено под наше понимание, и горе тоже неизбежно впадает в утилитарность. Печальная весть сделалась достоянием гласности, то есть опять (!) голосов. Зазвучал сплошной концерт Паганини, исполненный на консервной банке. Перетряхивание костей, подсчет наград.

Удушение атрибутикой. Гуманитарной ценности явления оказалось мало. Требовалось узаконить вклад. Объявить городу и миру. Образ безусловной величины, стяжавшей мыслимые и немыслимые награды, заслоняет поэта, то есть загадку жизни и психологического превосходства. Подводится под статус жертвы режима. Привычка откликаться на явление чуда почетным закапыванием мобилизует свидетелей; заставляет вспомнить о невероятном количестве лезущих в напарники Ленину с бревном на субботнике. В сутолоке забывается, что поэты приходят не для того, чтобы спровоцировать ритуал суеты. Далекий от бескорыстия мир — как его не понять — нацелен на выживание, лишь поэт — на открытие (и потому — на самопожертвование), это через него *неизреченное* дает знать о себе, осуществляется прорыв метафизики в физику. Тут и смерть становится обратной перспективой рождения. Поэт соединяется с тем, что его породило, переходит в Слово, которое есть... Всем известно это место из Библии, обросшее коростой банальности.

Бродскому действительно не удалось уйти из жизни недооцененным, да он как стратег школы Анны Ахматовой и не стремился к этому. Герой Честертона, вкладывающий силы и ум в то, чтобы никто о нем не слышал, его антипод. «Святого без чудовища не бывает», — скорее автохарактеристика, чем общая фраза. Но есть стихотворение, в котором Бродский опознает себя как поэт, то есть сталкивается с элементами собственного состава. Это — «Новогоднее» Марины Цветаевой: *«Одно из возможных определений ее творчества — это русское придаточное предложение, поставленное на службу кальвинизму. Другой вариант: кальвинизм в объятиях этого придаточного предложения»*. Можно сказать, что и Бродский в своей земной сущности — этом опыте тела, тоже шел через протестантизм, то есть строгость к себе без заигрывания с покаянием и скидки на отпущение грехов, так хорошо приспособленное к нашей человеческой слабости. «Поэтов нена-

видят» («Oderunt Poetas») — слова Горация на все времена. Сам Бродский назвал эту враждебность «экзистенциальной сутью миропорядка». Но ратовал за то, чтобы антология поэзии была везде: ведь никто не возражает против Библии, которая есть в любом мотеле, а сама Библия не возражает против соседства с телефонной книгой. Увы, это только на небесах заключаются браки, на земле — они распадаются. И Библия, и Антология — вещи одной судьбы: пребывают отдельно от закоулков человеческих душ, куда ни Христос, ни Пушкин не заглядывают. Поэту в таком соседстве ничего не светит: он в любом обществе инородец — отторгается всем, что не он, значит почти тотально. Потому, когда речь о поэтах, гордостью человечества их можно назвать чисто условно: дабы связать несвязуемое.

3

Распределение событий его жизни просматривается между двумя картинками с интервалом в сорок пять лет. Первая. Старик на деревянной ноге, пытавшийся влезть в вагон на станции под Ленинградом, осаженный кипятком из чайника в руках пассажирки и растоптанный толпой осаждающих (1945 г., война только кончилась). Вторая. Чувствительный немецкий господин в отпуске, ежедневно говорящий по телефону со своей матерью из отеля в Венеции. Мать умирает, и потрясенный господин просит на память телефонную трубку. Дирекция идет навстречу, включая стоимость трубки в счет. Драма на уровне удобств и комфорта. Если угодно, союз комфорта и человека на разных ступенях цивилизации. Действие обеих картинок тяготеет к гуманитарному немцу В. Набокова из «Других берегов» — коллекционеру фотографических изображений смертной казни и любителю созерцать сей вид человеческих взаимоотношений.

Безмерное отрицание, как правило, стремится к пределу. Бродского оно подвигает к эмиграции. «...Лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником и властителем дум в деспотии». Это суждение хорошо тем, что помогло Бродскому выстоять. И вот жизнь с ощущением капкана позади. Но весь мир — тюрьма, заметил Гамлет, тоже большой специалист по несовместимости и тайным драмам. Возразить ему пока нет причин. Скорее наоборот. Чем дальше по дороге истории, тем гуще ряды надзирателей. Вне географий, границ, государств. Однако испытание Свободой страшнее их. Кто не верит, пусть прочтет Матея Вишнека «Господин К. на воле». «Ад — в тебе», — говорит ироничный автор, побывавший в двух ипостасях: Йозефа К. (привет Францу Кафке) у себя на родине, в Румынии, и Козефа Й. — во Франции, куда перебрался. Выпущенный на свободу, герой Козеф Й. не знает, что с ней делать, готов обратно в тюрьму (привет Ж.-П. Сартру).

Трудно представить, что было бы с Бродским на других берегах, если бы судьба не послала ему Исайю Берлина. Именно послала, потому что первый шаг сделал Берлин.

Один из влиятельнейших людей Англии, сэр Исайя Берлин состоялся сначала в жизни и поэзии Ахматовой как Гость из будущего — роковой НЕ-герой Фонтанного Дома, а потом уже по наследству и чувству долга — в жизни и судьбе Бродского.

Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.

Эти строки из «Поэмы без героя» Ахматова написала не потому, что надела маску Кассандры, сожалея, что возраст отнял у нее роль Елены прекрасной. Правда, в пространстве ее вдохновения, возраст, в общем-то, значения не имел. Дона Анна, с Командором ли, без Командора, в принципе,

не нуждается в земных измерениях. Разве что «королевой-бродягой» ее называли знакомые.

Время показало — Ахматова сделала, что обещала. И совсем не то, о чем говорила, имея в виду войну. Не троянскую, а «холодную». И не то, что считали другие, задетые ее самомнением. Низведенные до банальных суждений о навязчивых идеях по поводу начала «холодной войны».

«Она видела в себе историческую фигуру, предназначенную стать виновницей мировых конфликтов», — пишет Берлин, вспоминая первую встречу с ней осенью 1945 г. Даже по прошествии лет его *заграничный* ум не способен вместить масштаб ахматовской личности. Простое сопоставление дат свидетельствует, что Ахматова, ожидающая каждую ночь посланцев кровавого Владыки Мрака, *не смотря ни на что* как была, так и осталась Поэтом, а в силу характера — стратегом-провидцем.

Дата первая — 16 ноября 1945 г. Фонтанный дом (Шереметевский дворец), в садовом флигеле — коммуналка, остальное пространство занимает Институт Арктики и Антарктиды, у Ахматовой здесь комната и служебный пропуск для входа, в графе «должность» — слово «жилец». Сюда тридцатишестилетний Исая Берлин, бывший петербуржец, в ту пору сотрудник Британской миссии, приходит, чтобы познакомиться с той, которая некогда написала: *«Слава тебе, безысходная боль!»*. Встреча разбивается, прерывается людьми, то один, то другой создают неожиданные ситуации. Наконец хозяйку и британского гостя оставляют одних. До утра. Комментаторы, особенно иностранные, касаясь этой темы, клянутся, что участники вынужденного randevу друг к другу не прикасались. Возможно, слово «ночь» и отсутствие третьих лиц смущают их нравственность. Впрочем, как сказано выше, лица до определенного часа имелись и даже оставили свидетельства в Деле оперативной разработки, заведенном в 1938 г. под грифом: «скрытый троцкизм»

и антисоветские настроения», например Софья Казимировна — агент специальных служб. Да и милая Анта тоже там была.

Даже отбросив специфические особенности послевоенной советской жизни, любой джентльмен причислил бы подобную ситуацию к разряду обреченных на тайну. Она и осталась тайной, но степени ее толкований приобрели математическую бесконечность. Особенно в глазах власти, к джентльменству не склонной. Озабоченная ловлей шпионов, власть и в искусстве беседы подозревает свое. Доказательством этого становится мелкая штукатурка, осыпавшаяся кое-где и обнаруженная хозяйкой комнаты через пару дней после встречи с Берлином. Уж конечно, не интерес к беседе как забытому виду искусства (и наслаждения одновременно) — этому *интеллектуальному интиму*, которым оба собеседника виртуозно владели, — заставил спецслужбы установить в стенах «прослушки».

Дата вторая — 5 марта 1946 г. Фултонская речь Черчилля о задачах западных демократий в мировой политике, об угрозе для христианских цивилизаций коммунистического центра с полицейским правительством и тотальным контролем. Начало «холодной войны» — глобального противостояния СССР — США и их союзников. «Железный занавес» опускается. Город Фултон находится в США, где некоторое время Берлин служил в английском дипломатическом корпусе.

Дата третья — 14 августа 1946 г. Выходит разгромное постановление оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», связанное с идеологическим состоянием советской литературы. Персонально М. Зощенко и А. Ахматова подвергаются зверской критике, за которой следуют исключение из Союза писателей, изъятие книг из магазинов, библиотек.

Даты, хотя и близки, тем не менее, не настолько, чтобы отрицать склонность бывшей *«царскосельской веселой*

грешницы» (слова Ахматовой) к навязчивым идеям. Но если вспомнить, что Берлин явился по заданию Черчилля, который не знал, как планировать послевоенные отношения с Кремлем, какая у бывших союзников обстановка, особенно в среде творческой интеллигенции, каково настроение, то логика Ахматовой не кажется странной. И стихотворное предсказание тоже. Оно же пророчество, которое от предсказания отличается тем, что предполагает более длительный срок осуществления.

Когда в 1972 г. Бродский приезжает в Англию, Ахматовой уже нет в живых. Но есть шестидесятитрехлетний Берлин. Верный (по духу) русофил и сионист одновременно, Берлин теперь публичный интеллектуал, теоретик либерализма, миротворец, удостоенный самых престижных наград, в том числе и Палестинской премии мира. Известны его надежные связи в Оксфорде, Вальпараисо, Тасмании, на Гаити, в Ванкувере, Кейптауне и Японии. Его влияние уже опробовано в Италии на присуждении Ахматовой премии Этна Таормина в 1963-м, в Оксфорде — Почетной степени доктора в 1965-м (Ахматова не скрывала, кому обязана, она вообще смотрела на жизнь трезво, хотя приставленная к ней *та самая* сообщала: «объект» при случае «водку пьет, как гусар»).

Бродский не собирается превращать ее имя в товар. Он называет себя лишь «яблоком, упавшим с ахматовского дерева», не обольщаясь относительно внимания к нему английского лорда. Он знает: быть яблоком, даже ахматовским, мало, чтобы другие, не обладающие всеведением Берлина, увидели в нем Поэта от Бога. Но Берлин верен себе. Отверженность Человека, принявшая форму внутренней эмиграции, как у Ахматовой («негативная свобода» по Берлину), его, теоретика либерализма, не может оставить равнодушным. «*Чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова*» памятна ему не только этими строками.

Но и другими, также вошедшими в книгу мировой литературы: «И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ...». Берлин, автор «Философии свободы», знаток и ценитель литературы, не был бы самим собой, если бы не услышал ахматовский крик и не видел в Бродском очередную жертву дикарского позорного шельмования (суд в 1964 г., ссылка на север), из которого его вытащили буквально всем миром. Отзывчивость стала призванием английского интеллектуала, чужие жизни — почти специальностью. Но дело не только в том, что он слышал безмолвный крик, даже звук шагов *тех, ушедших по коридорам* в небытие.

Роковая встреча 45-го года давно обросла мифами, а главное — стихами Ахматовой. Берлин не просто персонаж таинственной истории с ноткой французского шарма, но и поэтический адресат. В одном лице Дон Жуан и Командор, в чем-то Германн, настолько же Шерлок Холмс. Время побавило мужское тщеславие. Оно уже не мешает понять, почему романтическую «полночь» Ахматова называет в поэме «злой», а на карнавале призрачных масок тихо звучит:

Только как же могло случиться,
Что одна я из них жива?

Поэтическое зазеркалье являет глубинную правду: что значило для советского человека уединение с иностранцем вообще, а для опального поэта в частности (опальной же Ахматова стала в середине двадцатых годов после статьи Троцкого о внутренних эмигрантах; и неважно, что Троцкий сам потерпел, важно, что он вырыл яму). Каждый иностранец считался шпионом. Берлин оценит это, когда приедет второй раз, в 1956 г., и Ахматова скажет: ее сын в тюрьме, встреча с Берлином невозможна. Да и новость, преподнесенная Берлином, не вдохновляет: в Англии он женился. Не надо берлинского ума, чтобы понять, что семейные отношения, как

правило, не способствуют дружбе с одинокой женщиной. Но чтобы понять *другое*, одного ума мало. Надо пожить в шкуре Ахматовой (прошу прощения за воспетую шаль), леденеть от страха при стуке в дверь, видеть во сне кошмары, принимаемые им, Берлином — «темным слушателем», за бредни:

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год —
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки безносой
Суждено охранять его.

И еще понять, что в Советском Союзе так жили очень и очень многие. А кое-кто, обладающие талантом, принуждали себя, как Ахматова, к сочинениям вроде «Слава миру» — этой разновидности грехопадения, бесполезного, принесшего лишь унижение. Что было, то было. Говоря словами Ахматовой: «Еже писахъ — писахъ». Впрочем, она взяла их у Понтия Пилата.

Теперь можно перевернуть ахматовскую страницу в жизни Берлина и дать его портрет без Ахматовой.

4

«Если я найду людей, которые поклоняются деревьям не потому, что это символы плодородия, не потому, что у этих божьих созданий есть своя жизнь и тайная сила, — пишет Берлин, — ...и спрошу в чем тут дело, а они ответят: “Ну, это же древесина!” — я их просто не пойму...» Такое может сказать человек, который уважает чужую жизнь как свою. А это редкость. Особенно для России. И с таким человеком встречается тридцатидвухлетний Бродский. Да не в одном из «множества Богом забытых мест» вроде архангельской деревушки Норинской, в домике с разбитым стеклом и веч-

но дымящей печкой, а в Лондоне, в роскошной библиотеке для интеллектуальной элиты клуба Атенеум, над греческим портиком которого — позолоченная Афина, статуя мудрости. Под каменной богиней — классические колонны, над ней — карниз-копия Парфенонского фриза, при ней вечно поднятая приветственная рука. Язычница, она приглашает по-христиански, так и слышишь: «Мир входящему». Вот куда приводит Судьба. А скорее, тень королевы-бродяги Ахматовой, по-русски исчезнувшей перед парадным подъездом: ведь женщинам в этот клуб вход запрещен. Даже если им протезируют авторитеты вроде Диккенса и Теккерея, некогда состоявших в клубе и в качестве призраков, не покидавших его.

«С Берлином миру открывается еще один выбор», — пишет Бродский. И поэт его делает. Он сам говорит: всеведение Берлина *«мужественно, и поэтому ему можно и нужно подражать, а не только аплодировать или завидовать»*. Как известно, добровольное подчинение не противоречит чувству свободы. Она с него начинается.

И вот худо-бедно Слово Бродского обретает полетность не только русской, но и английской речи, а частная жизнь — огласку. Правда, частная жизнь, заявляющая о себе, перестает быть таковой. Публичность обращает нашего отшельника в экспонат. Противостояние внешних социальных систем заталкивает гражданина мира в рамки биографии, черты профанируются, соизмеряются с конъюнктурой. В определенных условиях и признание становится тенью, которую бросают на поэта современники. Оно столько же мера угождения вкусам, сколь и отражение объективного положения вещей. Лишь понятие «бесценно», на котором настаиваю, безразлично к любым человеческим жестам. Лишь оно гарантирует что-то, что поважнее денег. И даже признания. Правда, оно не имеет силы официального доказательства, а только этим оценивается любая стратегия, в том числе и моя.

Итак, пришла пора поставить последнюю дату в нашем перечислении.

1987-й — год присуждения Нобелевской премии Бродскому. Кстати и привести в скобках слова одной из главных доброжелательниц Бродского — писательницы Ф. Вигдоровой, той, которая сделала стенограмму позорного суда над поэтом в феврале 1964 г. «...Я никогда не забуду, — пишет она Э. Герштейн, — как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И, может быть, все будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом. А скорее всего, никем он не успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые, как канаты. Несокрушимое здоровье. А он болен. Ему не совладать с тем, что на него кинулось».

Отпустим Ф. Вигдоровой грех неверия. Он так понятен. Он объясним. Вспомним лучше фразу Ахматовой: «Какую биографию делают нашему рыжему!» На фоне письма слова Ахматовой не коробят. Задним числом они кажутся прозорливыми, если награду считать торжеством во славу и одновременно в память. Ахматова исполнила свое обещание Двадцатому Веку. Найдя себя в нобелевской речи Бродского, ее голос тоже обратился к Веку — интеллектуальной реальности здравого смысла. Мужество и смирение ее протяжного голоса стояло за тайным ропотом братских могил и за напевной речью Осипа Мандельштама с «привкусом несчастья и дыма», и за судьбой Марины Цветаевой, ее зарей на крови, и за самой доблестью и болью Серебряного Века. Как благодарность и вместе с тем как потустороннее оплакивание он следовал за каждым названным именем.

Речь Бродского — вид рыцарства Поэта — Поэтам, Искусству, эпохе.

5

И вот он пишет: «Красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде». Чтение «Fondamenta

degli Incurabili» («Набережная неисцелимых») дает множество расшифровок этих слов: *«Когда глазу не удастся найти красоту (она же утешение), он приказывает телу ее создать, а если это не удастся, приучает его считать уродливое замечательным. В первом случае он полагается на человеческий гений; во втором обращается к запасам нашего смирения... Эстетическое чувство — двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики. Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе».*

Есть вещь более обособленная по отношению к глазу и даже слезе — это взгляд. С его независимости начинается индивидуальность, а с ней — отторжение от принадлежности к большинству, «коллективному бессознательному» — этому проклятию человечества.

Что же до красоты, то здесь Бродский — почти Флобер, который писал Тургеневу (25 июня 1876 г.): *«Вы не находите, что наши друзья слишком мало думают о Красоте? А ведь нет в мире ничего более важного».* Я умышленно не вспоминаю Ф. Достоевского, потому что здесь это ни к чему.

Быть может, образ обласканного и признанного поэта воплотила та самая рыба, которая виделась ему в озероподобном зеркале отеля «Глория», где он останавливался, и которую можно спросить: была ли она счастлива. Ведь Бродский принадлежит поколению, для кого Джотто и Мандельштам насущнее собственных судеб. А пока синоним абсолютного счастья — запах мерзнувших водорослей, уводящий к воспоминаниям о доисторических хордовых предках. Отделяя этот запах от берегов Балтики, а с ним свои новые впечатления от прежних, Бродский все же фиксирует плохую переносимость положительных эмоций — наш соотечественник его сразу поймет. Иерархия в литературном пантеоне — этот атавизм мышления, также заложенный в атмосфере родимой номенклатуры, и он невыдуваем на

всемирном ветру. Но, к счастью, в России именно у отверженного больше шансов быть прочитанным. Хвалебные голоса отвращают. Нажим вызывает сопротивление. Не исключено, что вопреки себе самому Бродский становится, по выражению Ф. Достоевского, «наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец». Однако это не тот случай, о котором пишет он же, Ф. Достоевский: «...мне Россия нужна; без России последние силенки и талантишка потеряю». Наш поэт признается: «Я уходил из прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных».

И ушел. Черная дыра видится после явления этой жизни. С Бродским уходит и попытка служения делу (не на фоне, не около, не за счет), почитание слова на уровне филологии, а не улицы, тяготение к эпитету «изящная», без которого литература — обыкновенное ремесло и сплошной запах общественных уборных. «Если вы серьезно относитесь к своему делу, — говорит он, — то выбираете между жизнью, то есть любовью, и работой. Вы понимаете, что это несовместимо. И семейная жизнь тоже помеха» (журнал «Америка», май 1992 г.). Но даже поэт остается человеком. Совмещение литературы с жизнью оказалось не в пользу второй. Примечание из Бэкона под пером Бродского трагически уточняет смысл: надежда — это хороший завтрак, но плохой ужин.

Нельзя не отдать должного при мысли об этой жизни. Весь не умер, хотя был похоронен задолго до того, как родился. Наперекор всему осуществился, смертью смерть поправ, пребывает.

Послесловие

В вышеприведенной работе отчасти отражены впечатления, возникшие после чтения «Fondamenta degli Incurabili».

Почти пятьдесят страниц типографского набора оставляют по себе ощущение скорее плеска воды, чем холодного воздуха. Их следование напоминает систему венецианских каналов, здесь дышится на любой странице независимо от того, начинается чтение с конца или начала. И. Бродский так часто повторялся в Венеции, что сам себе представлялся наваждением. Кажется, что семнадцать зим, отраженных в его вещи, не могли не вобрать его собственное отражение. В этом городе, где на куполе таможни каменная Фортуна сложила свои крылья в знак того, что нашла идеальное место, он как некий дух, витающий над водой, — некто из породы неисцелимых, хотя опознает себя в другой стихии — воде. Думается, зимняя вода так же соотносится с холодным воздухом, как Бродский со своей прозой. И хотя в ее мире есть заданность и ярко выраженная система координат, многое здесь — тоска по красоте, подражание ей, ее *рукотворное* воспроизведение с налетом чисто венецианской декоративной роскоши. Это тем более примечательно, что с треском провалившаяся попытка отрешения от старого мира лишь показала нашу обреченность принадлежать именно ему. Обетованная земля, где Бродский спасает свое представление о красоте, — есть проза, распределенная по четырем временам зимнего дня и переходящая в «кучевое облако» стихов *«в чистом небе над полем того сраженья / Где статуи стынут, празднуя победу телосложенья»*.

P.S. Постановление оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» было отменено в 1988 г.

ТРАВА ВРЕМЕНИ

(1914–1935 гг.)

Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

Ф. Достоевский

С той поры, как рухнула советская власть, много говорилось о покаянии. Но факт остается фактом: эта идея не продвинулась в коллективном сознании. Несделанное, как ни странно, стало деянием — из тех, что потворствуют злу, которое в одном только двадцатом веке уничтожило более ста миллионов людей. Нечистую совесть переложили на плечи стоявших у власти, но от этого мы не перестали быть носителями катастрофы.

Между тем образы тех, чьи судьбы минули нас безвестно, пребывают в стихийном архиве, в папках воспоминаний. Так мне попалась рукопись Зинаиды Гавриловны Степанищевой, а в ней — судьба ее матери Екатерины Трофимовны. Не знаю, что подвигло меня откликнуться на голос безмолвия и взять эту папку. Может быть, чувство долга. Дело не в том, что чужой опыт приближает нас к пониманию каких-то важных вещей вроде психологии времени. И не в том, чтобы разгадать истребляющий код истории. А в чем? Один из ответов, думается, содержится

в этой архивной рукописи с парадоксальным названием: «В прошлом ответа ищущему невозможного».

Мое повествование ведется то автором, то героиней. Такая композиция позволяет сохранить живой голос мемуаристки в самые драматичные периоды жизни.

Страшный пикник

Катенька родилась на санях по дороге из церкви.

Говорят, кто на дороге родился, тому не жить, а мяться. Наверно, и родительница в это верила, назвав дочку Екатериной в память великомученицы, которая на иконах изображена с колесом. О том, что вся Россия сдвинулась тогда с точки, Авдотья, не думала, и вид колеса заворазживал ее лишь на иконе.

Авдотье было 48 лет, а ее мужу Трофиму — 51. Оба стеснялись позднего ребенка — вот и поехали отмолить свой грех. На обратном пути Трофим принял малютку. И, кажется, до конца дней не понял, кем тогда себя чувствовал: дедом или отцом. А жить ему оставалось недолго: по всему Поволжью началась холера, Трофим заразился и умер в несколько часов. Авдотья осталась с двенадцатью детьми. Двор ее начал хиреть. Хозяйство не ладилось, помощников — никого. Из детей уцелели лишь двое, остальные — кто утонул, кто сгорел. Она собрала пожитки, взяла детей, и пешком все отправились к куму — за сто верст в губернский город Саратов. Кум приютил их, даже выхлопотал крестнику Ванечке место мальчика в табачном магазине. Помог устроиться и Авдотье — кухаркой у того же хозяина, у кого сам служил дворником. Смышленную Катеньку Авдотья решила отдать в швейную мастерскую. Но степенный кум подумал-подумал и отсоветовал: «Не те времена, Авдотья. Дочка твоя любит учиться, не надо мешать». И Катенька стала ученицей сара-

товской школы, а позднее — гимназии. Кто там учился? Дети крестьян, городской бедноты, священников. Устроившись на работу, они нанимали студентов, которые готовили их дальше, становились их товарищами и вместе проводили свободные вечера. Все бредили идеями революции. Без нее и счастья не представляли. О «яркой звезде, которая горит там, вдали», говорили, о «радости, что похожа на солнце в вечерний час». В такие пустяки, как различные партии, не вникали и шагали в любой демонстрации, если она под лозунгом: «Свобода! Равенство! Братство!».

Однажды компания поехала на пикник. Захватила с собой несколько охотничьих ружей, чтобы потренироваться в стрельбе для грядущих восстаний. Катя, всегда живая, веселая, залезла высоко на дерево, и студент, который ухаживал за ней, решил пошутить: «А-а! Вспорхнула! Катенька-птичка... Вот сейчас подстрелю». Взял чье-то ружье, полагая, что не заряжено, и выстрелил...

Он выбил гимназистке один глаз, обжег другой. Ее увезли в больницу. Несколько дней она лежала без сознания. Глаз спасти не удалось, Катя хотела одного — умереть. Бедный студент пытался покончить с собой, ему помешали. Когда гимназистка стала поправляться, он пришел в больницу просить прощения и сделал ей предложение. Но был отвергнут. Романтические чувства она испытывала к другому.

Гавриил Степанищев родом из тех же мест стал Катиным мужем. Его село называлось Свинуха. Название немного смущало молодого человека. Правда, оно отвечало действительности: жители разводили свиней и знать не знали, что местный романтик грезил именами каких-то мыслителей, каких-то чернышевских, которые дали бы селу название. В шестнадцать лет с пятью рублями и новым лоскутным одеялом Степанищев ушел из дома. Переустраивать мир. Сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил на юридический факультет Университета имени Шанявского. В

1914 г. к нему в Москву переехала Катя. К тому времени их дочке Зине исполнилось четыре месяца.

Арестованные заложники

Университет, где учился отец, был учрежден как частное и бесплатное заведение для неимущей интеллигенции. Наша квартира находилась поблизости. Возможно, поэтому в доме постоянно бывали студенты. Среди них и Сергей Есенин, он тоже учился в этом университете. Мама говорила, что Есенин был красивый, ласковый и очень восторженный. Иногда он брал меня на руки и таскал по университету; в год я уже свободно болтала, и Есенин показывал меня как маленькое чудо, называл своей «невестой». Как-то он подобрал по дороге котенка и, прихватив его одной рукой, другой держал меня. Котенку что-то не понравилось, он стал царапаться, Есенин разжал руки, и так получилось, что я полетела на пол. Но как-то удачно вышло, без слез. Сбежались студенты, заахали, а я в полном восторге от их внимания стала декламировать:

Убьем лунный свет,
Тра-та-та, Тра-та-та,
Железо звенит, железо свистит,
Дайте пожить и железу.

Стишок запомнился сам собою, когда его по какому-то журналу читала мама. Кто-то из взрослых, наблюдая эту сценку, заметил: «Ребенку годик, а он не лопочет, а уже говорит. Что из этого выйдет, к чему приведет, страшно подумать. Да и гляньте, у малышки глаза взрослого человека! Не к добру это, ох, не к добру». В полной тишине Есенин сказал: «Это не ребенок, а солнышко!»

Нередко у нас на квартире проходили партийные собрания эсеров. На некоторых присутствовал и Есенин. Оказа-

лось, среди студентов был провокатор. Однажды нагрянула полиция. Есенин успел выбежать черным ходом и чуть не по крышам скрыться. Арестовали двадцать шесть человек. В том числе папу. Не забыли и маму, как содержательницу конспиративной квартиры. Оставить меня было не с кем, взяли в тюрьму и меня. Папа сидел в Таганке, а маму определили к «привилегированным», в Малый Левшинский переулок.

Была осень 1914 г. Шла война с Германией. В нашей тюрьме сидело много немцев-заложников, в основном владельцев фабрик, заводов, крупных магазинов. Сидели в хороших условиях, тюремную пищу не употребляли, им все приносили из дома. Узнав, что в тюрьме ребенок, заложники попросили администрацию, чтобы меня пускали к ним. Они даже стали выписывать для меня из дома питание. Мне доставляли фрукты, лакомства, деликатесы...

Мама рассказывала, что моя встреча с заложниками происходила так: утром меня умывали, одевали, причесывали и под команду: «Ну, Зинаида, отправляйся на промысел. Мы есть хотим! Только не приноси колбасок. Уже надоели!» — привратник выпускал меня. Брал корзину и шел со мной по камерам. По-видимому, я развлекала немцев. Может быть, тем, что с одинаковым удовольствием выговаривала русские и немецкие слова, зная их от мамы: для нее соседство с немцами не прошло даром — в Саратове их было много. Когда через час-полтора мы возвращались, привратник едва тащил за мною корзину. Еды хватало и мне, и шести заключенным камеры. Немцы, скорее всего, их и имели в виду, накладывая корзину до верха. Однажды среди марципанов оказалась коробочка с небольшой шоколадной стрекозой. На коробочке был нарисован аэроплан, как выяснилось, прогулочный — в память о полетах над мирным Берлином 1910 г.

Расстрел батюшки

За несколько месяцев до Октября Гавриил Степанищев как председатель правления купил для своего Кредитного союза дом по Тверскому бульвару (позднее его заняло Телеграфное агентство ТАСС). Дом этот принадлежал царской портнихе Надежде Ламановой — той, которую Марина Цветаева рифмовала: «богиня мраморная — наряд от Ламановой». Одновременно она была художником по костюмам в Художественном театре. Станиславский называл ее «Шалыпиным в своем деле». Это не спасло ее, дворянку, от Бутырской тюрьмы, откуда ее вызволил Максим Горький. Свои дни она окончила осенью 1941 г. на скамейке в сквере Большого театра, когда узнала, что Художественный театр уехал в эвакуацию, а ее, как Фирса, забыли. Незадолго до этого она предрекла свою смерть, сказав Вере Мухиной, разделившей с ней триумф советской выставки в Париже: «Я скоро умру». На вопрос: «Почему?» ответила: «У меня осталось две капли “Шанели”». Кому, как не Вере Мухиной, было это понять: ведь и она не жаловала пролетарский парфюм и москвашвеевские балахоны. Теперь «наряды от Ламановой» хранятся в Эрмитаже, а костюмы для театральных постановок, в том числе и «Вишневого сада», — в музее Московского Художественного театра.

Семья Степанищевых жила в служебном помещении. В закутках здесь можно было найти красивые лоскутки русской вышивки, а то и свернутые мотком куски шелка, шифона, парчи. Как-то Зинаиде попался воротничок черного бисера. Она приложила эту блестящую вещичку к своей кукле, и скромная матрешка превратилась в таинственную фею Ночи. Этот же воротничок перекочевал позднее на ее платье и лет восемь-десять служил, пока однажды не просыпался на пол, уже в другой квартире — немца Аренса, на Пречистенке, откуда и был выметен как «мещанская

чепуха». Напрасно огорченная Зина ползала по вытертому паркету за каждой стекляшечкой, мама легонько поддала ее веником и сказала: «Какая царица ночи? Дождешься, что нас заметут».

А тем временем революция победила, и в городе стало нечего есть. Семья Степанищевых между тем увеличилась. Еще одна дочь появилась на свет. Степанищев решил отправить своих в Саратовскую губернию, не ведая, что в районе его родного села шла гражданская война. Так его домочадцы попали из огня да в полымя.

Свинуха переходила из рук в руки: от белых к красным, от красных к зеленым. Население устало от постоянных боев. Взрослые, положив на телеги постели, на них — детей, прихватив съестное и несколько спутанных свиней, табором двинулись в степь. К телегам привязали коров, следом шли овцы и собаки. Путь держали туда, где не было боя. Здесь останавливались. В жаркий полдень распрягали лошадей, отвязывали коров и пускали пастись. Вечером разжигали костры, доили коров, варили кулеш. Если слышалось приближение боя, снимались и двигались дальше.

Как будто все успокоилось. Можно было даже с родней отправиться в гости, в соседнее село. Так Катя однажды и сделала, думая вернуться с детьми к вечеру. В этот день приехал из Москвы Степанищев, но встретить семью ему не пришлось. А было все так.

Катя с детьми действительно возвратилась вечером. На закате они въехали в небольшой лесок. И вдруг... Увидели двух красноармейцев, которые вели местного священника отца Александра. Первая все поняла тетка Семеновна:

— Никак нашего батюшку ведут расстреливать!

И так просто сказала, как будто все само собой разумеется, и ничего другого с человеком сделать нельзя. После Зиночке вспоминалось, как дядя остановил лошадь. Как сошли с телеги и подошли под благословение. Простились

с батюшкой, поцеловались, он перекрестил всех. Его повели дальше, в лесок, а они поехали своей дорогой. Через несколько минут раздался выстрел. Перекрестились. Когда слышишь выстрел боя, страшно, но этот... Прицельный, безусловно убивший человека, которого только что видели живым и здоровым, который погладил детей по головкам, поцеловал и благословил на дальнейшую жизнь, не то чтобы запомнился, а просто остановил сердце, чтобы дальше оно по-другому билось. Смешал-спутал все в голове. Каково после этого возвращаться домой? Взрослые как потерянные молчали. Лошади летели, словно чуя нечистую силу. Деревня становилась ближе и ближе, а легче не делалось. И впереди, и рядом, в самой дороге, и в кустиках, и в тусклой луне крылось что-то враждебное. Казалось, все отводило глаза от людей, и даже луна не желала, чтобы на нее смотрели. Батюшка надолго сделался участником детских снов и тихих ужасов, а лес с тех пор никогда не манил. Да и луна не слишком-то привлекала. Всякий раз, глядя на нее, ничего не оставалось, как принять давнюю правду: «Ничто не вечно под луной».

Много лет спустя от дочери отца Александра, Марии Александровны, сельской учительницы, стало известно, что наутро она уговорила одного мужика поехать с ней в лес. Там нашли тело батюшки, привезли домой и тихо, ночью, похоронили на кладбище.

Возвращение степанищевской жены не прошло незамеченным. Тотчас в дом явился Кузьмич — местный большевик. Кричал, грозил за то, что помогли «контре» бежать. Оказывается, красные надумали «пустить в расход» «подозрительную деревенскую интеллигенцию», то есть учителя школы, священника и Степанищева. Нашлись добрые люди, предупредили всех троих. Степанищев и учитель бежали. А отец Александр сказал, что сан обязывает его принять участь, которую посылает Бог. Кузьмич устроил

обыск, увидел в шкафу мужское пальто и решил именем революции его реквизировать. Тут же напялил на себя — только расправил плечи, как рукава затрещали, по швам вылезла белая материя. Но это не смутило Кузьмича, он прихватил еще высокий красивый подсвечник, торбу соли и, довольный, убрался.

Война в тех местах к зиме кончилась. Установилась власть. А Москва голодала, и уехавший Степанищев писал жене, чтобы не торопилась в город.

«Последние минуты с моим папой»

Как многие мужчины, папа хотел иметь сына, но первой родилась я. Когда ждали второго ребенка, сына хотела уже и мама, но родилась Люсенька. И уж в третий-то раз, никто не сомневался, будет мальчик, но родилась опять девочка — Наталья, Талечка. Папа передал маме записку: «Чтобы это безобразие было последний раз». Оно и стало последним. Когда Талечке исполнилось пятнадцать дней, папа умер от испанки.

Помню огромное количество людей в нашей квартире — папины сослуживцы. Толпились, чего-то ждали. Кто-то схватил меня за руку и потащил к папиной постели прощаться.

Я покорно наклонилась, папа поцеловал меня, как мог, едва коснулся усами и бородой. Губы его еле двигались. Рядом рыдала мама и говорила: «Ну, скажи, скажи что-нибудь! Я остаюсь с детьми. Что мне делать?». Папа последним усилием показал на свой рот, в котором были золотые зубы, прошептал: «Вынь!». Это все, что у него было ценного. Мама, не помня себя, закричала: «Они что, мешают тебе! А вдруг...» Она хотела сказать: «...ты останешься жив». Но папа умер 25 ноября 1919 г. Ему было двадцать девять лет.

Теперь, когда вспоминаю тот роковой в моей жизни день, я поражаюсь выдержке и мужеству папы, который с таким самообладанием и достоинством держал себя в последние минуты. Он был молод, красив, талантлив, удачлив. Жизнь только начиналась и так много обещала. И вот... Стоят люди и ждут его последнего вздоха. И, может быть, кто-то из них уже подыскивает для некролога: «Страстно боролся за идеалы освобождения трудящихся...»

Теперь, пожалуй, трудно увидеть такую сцену. В этом смысле человечество стало как будто гуманнее, мужество и самообладание стараются проявлять больше окружающие, а уходящего из жизни по возможности ограждают от мысли о смерти. А впрочем... Мы не знаем, сколько людей ждут кончины других и чего стоит корыстным сердцам обволакивать свои чувства видимой скорбью.

Доктор Замков с кулечком овса

По улицам, заваленным снегом, похоронная процессия направилась в церковь к Никитским воротам. Когда кончилась панихида, Зиночка вышла на улицу и залезла в одну из пролеток, чтобы ехать на Новодевичье кладбище. В эту минуту ее увидела мама и обомлела. На ребенке — ни валенок, ни шарфика, ни варежек. Из воротника торчит голая синяя шея.

Не успели похоронить отца, как понадобился консилиум для дочки. Известный детский врач Молчанов предлагал операцию на позвоночнике, после которой шея должна стать неподвижной. Мама ответила: «Нет, пусть лучше умирает». Зину вылечил папин друг, доктор Алексей Андреевич Замков, муж скульптора Веры Мухиной. Тот самый Замков, кого в тридцатом году шельмовали, преследовали, засадили в тюрьму, сослали в Воронеж, кого за эликсир вечной моло-

дости (о нем вся Москва говорила) ославили шарлатаном. Тот Замков, кто невольно наваял Михаилу Булгакову идею «Собачьего сердца» и какой-то частью своей души, да и медицинской практики, обеспечил образ профессора Преображенского. Разве что внешне он был другим: Мухина лепила с него Брута и Наполеона.

Вылечил обыкновенным бабьим средством — овсяными припарками. После всех консилиумов и консультаций лучших специалистов, которых он же и привозил, Алексей Андреевич Замков однажды явился с кулечком овса. Попросил у мамы тряпок, сам нашёл мешочки, наполнил их горячим распаренным овсом и прикладывал к распухшим железам ребенка. Чтобы подкормить, принес чугунок горячей пшенной каши. Она была тогда редким лакомством. Доктор держал чугунок за пазухой и так сохранил тепло. Больная довольно быстро поправилась и осталась без всяких уродующих последствий.

Весной 1920 г. Кредитный союз реорганизовали: в программе новой власти была не столько кооперация, сколько коллективизация, поэтому кооперативные учреждения стали постепенно упразднять.

В кабинет Степанищева, где сотрудники повесили его портрет с траурной лентой, вошла комиссия под предводительством Смилги, тогда большого начальника. Он встал на стул, снял портрет и сказал: «Ну что, Гавриил Егорович, не могли тебя взять живым, так хоть мертвым достанем»

Жизнь на путях

Новое начальство дало понять: пора освобождать казенную квартиру. А инфляция шла фантастическая: не на миллионы, а на миллиарды считали. Деньги печатали на больших листах, которые передавали «простынями» или

сложенными гармошкой. Деваться Екатерине было некуда, разве что опять податься к родне в Саратовскую губернию. Но и там толкучки, добывание денег, еды... И Степанищевы обосновались в теплушке на Павелецкой товарной станции.

Каждый вагон здесь был на учете, и железнодорожное начальство, прознав про негладанных «пассажиров», не чаяло скорее от них избавиться. Почти ежедневно приходили какие-то угрюмые люди, но, видя двух малышек и лежащую в постели бабушку, не решались гнать их на улицу. Постоят, почешут затылки, оставят хозяйке грозное предупреждение — с тем и уйдут. Екатерина же целый день пропадала в поисках работы и нарочно возвращалась поздно. Вагон (он стоял на путях) то и дело перегоняли. Как бедная Екатерина с ее плохим зрением находила его ночью, трудно представить. На рассвете Екатерина готовила еду в таганке; Зина к этому времени уже успевала раздобыть щепки для костра. Случалось ей уходить на полтора-два километра, иногда вагон угоняли, и она полдня лазила под составами, разыскивая свой «дом».

Как-то среди принесенных щепок ей попался кусочек мела. Она села верхом на доску, по которой взбиралась в вагон, свесила ноги и, забыв все на свете, начала рисовать. Так увлеклась, что легла животом на доску и не заметила, как к вагону подошел паровоз. Машинист бахнул по вагону, сцепщик, не глядя, прицепил его, вскочил на подножку, и паровоз укатил с вагоном. А Зина с доской полетела на рельсы. Плакать было не перед кем. Ничего не оставалось, как с тяжелой доской тащиться за угнанным вагоном. Кругом пытело, свистело, гремело, пускало дым. Сновали маневровые паровозы, летели с горки, сцеплялись и расцеплялись составы.

Однажды такой перегон кончился совсем плохо. Екатерина как раз приготовила завтрак. Бабушка поднялась и стала прилаживать костыли, тут к вагону подлетел паровоз,

толкнул его и повез. Бабушка упала, ударилась позвоночником о край кровати... Пришлось отправлять ее в больницу.

«Мы в разбитом трактуре»

Уже наступила осень, а мама так и не нашла ни работы, ни жилья. Тут одна папина сослуживица, Евдокия Сергеевна, жалилась и пригласила к себе. Но в ее комнате незадолго до нашего приезда был пожар. Пожарные проломили крышу и потолок. Виднелось небо, спастись от дождя можно было только по углам. Там мы с Талечкой и сидели — одни целый день, рядом с корытами и тазами, собиравшими дождевую воду, одетые во все, что было теплого. А наша бабушка тем временем умерла в больнице. Мама прибежала, чтобы взять меня на похороны, а тело бабушки уже увезли с другими покойниками на Семеновское кладбище и закопали в братской могиле. Без креста и прощального слова. Место захоронения маме не удалось отыскать.

У Евдокии Сергеевны мы прожили недолго. Мама, наконец, нашла работу — за мостом окружной железной дороги, что около Новодевичьего монастыря. В слободе Потылиха решили открыть детский сад и маме предложили организовать его, а после заведовать им. Под детский сад отвели бывший трактир, который, как и полагается трактиру, стоял при дороге, в одном-двух километрах от жилья. Двухэтажный, на двадцать окон и две стеклянные двери, но все до одного стекла были выбиты. Здесь нам и предложили жить.

Мама опять обходила разные учреждения, добиваясь ремонта, дров для отопления. Но все, что ей удалось, — это застеклить окно на кухне, починить плиту, достать пшена, нанять повариху и организовать варку пшена для будущих воспитанников детского сада. Их матери приходили к полудню, получали половник каши и уходили. А повариха, упра-

вившись и истопив плиту, мыла котел и убегала, наказывая: «Не скучайте, сиротки!». Тогда я раскладывала на теплой плите матрасик, сажала на него Талечку и играла с ней, пока она не засыпала. В темной кухне одной становилось страшно (электричества не было), я одевалась, выходила и забиралась под крыльцо. А вокруг ни души. Когда уже в потемках в щелку различала приближающуюся маму, вылезала и неслась ей навстречу. Но она не радовалась мне: сил не хватало.

Надвигалась зима. Администрация, ведавшая домом, ничего не могла сделать для утепления. Надеяться на открытие детского сада было смешно. Доведенная до отчаяния, мама пошла к жилищному начальнику в Хамовниках, откуда ее столько раз выпроваживали, схватила со стола мраморное пресс-папье и закричала: «Если сейчас же не дадите комнату, я размозжу вам голову». Начальник вызвал милицию, маму скрутили, стали грозить тюрьмой. «Сажайте! — кричала мама. — Тогда хоть дети будут пристроены в детский дом, сыты, в тепле». Помощник этого начальника, тоже кудлатый и маленький, подошел к маме, взял за руку и повел в другую комнату. Там подал пухлую конторскую книгу. Это был список свободных реквизированных квартир. «Выбирай любую», — сказал. Тогда входило в моду говорить всем «ты». Мама растерялась. Немного полистала и ответила: «Не могу... Укажите сами». Он взял книгу, ткнул пальцем: «Вот бери и не рассуждай — лучше не может быть».

Так мы переехали в роскошную квартиру на Пречистенке (дом 24), ее занимал немец Аренс.

Квартира на Пречистенке

В квартире было восемь или десять комнат. Две из них — реквизированные. В одной поселились Степанищевы,

другую занимал солист Большого театра Владимир Ричардович Сливинский с женой. Один из лучших исполнителей Онегина, сам настоящий денди с чеканным профилем, изысканный, аристократичный, Сливинский боялся простыть и постоянно обматывал горло толстым шарфом.

В передней стояли большие зеркала в дорогих золоченых рамах, инкрустированная перламутром мебель, чучело медведя, на стене висели олени рога. Дом не отапливался. От холода спасали кирпичные печурки с трубами, выходящими в форточки. В барской обстановке они смотрелись неприглядно, но, едва начинал полыхать огонь, все оживало и делалось теплым. Оттаивало и выражение лица знаменитого баритона, который, появляясь на кухне, любил что-нибудь рассказать о прошедшем спектакле. Например, как пел с Рейзенем или какой успех имел его Эскамильо в «Кармен».

Аренс владел несколькими предприятиями в прежней России. Говорили, что теперь он имеет отношение к Немецкой торговой миссии. Рядом, в Обуховском переулке, помещалось немецкое посольство, его сотрудники часто навещались к господину коммерсанту.

Он был вдовец с двумя дочерьми. Их воспитывала бонна, все трое плохо говорили по-русски. При них жили еще повариха, горничная и экономка. У каждого слуги — по комнате. В кухне ежедневно топилась плита. Немецкая педантичность чувствовалась в расстановке посуды на полках, а также в незыблемости правил, связанных с распорядком дня. Раз в неделю грели воду для ванны. Во дворе держали черно-белую корову тоже немецкой породы. Ее доили в одно и то же время, минута в минуту.

Переданная Степанищевым комната — большая, метров тридцати, обоими окнами выходила в Обуховский переулок, прямо на пожарную каланчу, теперь эта каланча осталась лишь зафиксированной солями серебра — на снимке. После разбитого трактира пожарная часть с

круглой старинной башней казалась детям замком. Все, чего не хватало, дорисовывалось в голове по картинкам книг братьев Гримм — немецкие издания сказок стояли в темном шкафу на кухне. На верху его большая крушонница со стрелчатой крышкой и ведро для шампанского мерцали, отражая свет лампы. От этой посуды и сам угол казался серебряным.

Надо отдать должное Аренсу — он не мелочился. Новой хозяйке разрешалось готовить на плите, купаться, когда топили ванну. Аренс распорядился давать детям ежедневно и, конечно, бесплатно, молоко от своей коровы. Его приносили в белом подойнике, накрытом суровым полотном. Парное, густое. Делалось это несколько по-барски, суховато, но придавать значение мелочам не приходилось, это была большая поддержка.

Иногда у Аренса устраивались концерты. Крушонница и ведро, уже с бутылкой шампанского, занимали место под хрустальной люстрой в гостиной. На окно ставились розы в корзине. Квартира наполнялась запахом вяленой вишни и чего-то еще вроде дубленой кожи. А в самом Аренсе, в его высокой стройной фигуре, в седине на висках появлялось что-то особенное, родственное людям на парадных картинах. Приглашались известные музыканты и певцы Большого театра.

«То был дом “Собачьего сердца”»

Гостиная имела общую стену с нашей комнатой. Вторая, незаделанная, дверь комнаты благодаря щелке позволяла слушать домашние концерты более отчетливо. Я подолгу простаивала возле нее и однажды чуть не рыдала, ловя каждое слово романса «Глядя на луч пурпурного заката». Мне вспомнился убитый отец Александр, потому что к строке

«когда умру под тихий шум травы» он больше всех имел отношение. Вообще романы пелись грустные — лунного света. Позднее некоторые из них я узнавала в постановках Художественного театра и, чтобы услышать их снова, по несколько раз ходила на одни и те же спектакли. Особенно не давал покоя романс, где строки: *«Ночи, последним огнем опаленные, осени мертвой цветы запоздалые»* после выхода из театра надо было как-то соединить в голове с лозунгом *«Загоним человечество в счастье»*. Они не совмещались ни с лозунгом, ни с призывами на полотнищах поперек улиц, которые восхваляли партию, внушали, что государство, политика должны стать смыслом и главным содержанием жизни. Идея Третьего Рима тогда мало до кого доходила, тем более после упоминания партии большевиков. Да если бы и доходила?! Глаза начинали искать свое, что ближе, приятней, скользили по стенам и задерживались на концертных афишах со словом «полуночное». Правда, относилось оно к слову «солнце». «Полуночное солнце» — так называлась симфония Скрябина. Афиш было много, одна — с фотографией утонченно-красивого исполнителя. «Владимир Софроницкий» — значилось под снимком. Достаточно было взглянуть, чтобы понять: этот музыкант не имеет ничего общего с произведениями «композиторов мускул и спорта», о которых сообщали другие афиши. *«Запомните, фройляйн, дух дышит, где хочет»*, — заметил Аренс, когда юная соседка осмелилась спросить об очередном домашнем концерте. Его лицо сказала больше, чем эта фраза, я поняла, что он побаивается новых соседей. Тем более я не знала, что слова эти из Библии.

Когда много лет спустя я читала «Собачье сердце» Булгакова, то обнаружила, что дом на Пречистенке, где происходит действие повести, в точности соответствует дому, где жили мы. Особенно доказательной показалась одна деталь: при входе в парадное, на первом этаже, стояла большая

деревянная резная вешалка. На ней, как и положено, были крюки для пальто и специальные отделения для калош и зонтов, как описано в повести. За всю жизнь я больше нигде, в том числе и в другом парадном нашего дома, не встречала подобных вешалок прямо на лестнице. На Пречистенке жил и доктор Замков, к которому навещалась вся партийная знать за эликсиром молодости. Говорят, его жена Вера Мухина тоже взбадривала себя инъекциями этого эликсира, когда лепила знаменитый монумент «Рабочий и колхозница». Не исключено, что автор «Собачьего сердца» заглядывал в наш дом, где на втором или третьем этаже жил профессор-медик. На его двери висела до блеска начищенная медная табличка с витиеватой надписью, кажется, Введенский (у Булгакова — Преображенский). Кстати, фамилия Введенский была популярна среди московской интеллигенции, которая посещала антирелигиозные диспуты. Их проводил тогдашний комиссар по культуре Луначарский, его противником был протоиерей Введенский.

Мама ходила на эти диспуты и рассказывала потом:

— Я объездил много стран, — говорил Луначарский, — видел людей, которые поклонялись Богу, но никто из них не признался, что видел самого Бога. Так можно ли в него верить?

Введенский отвечал:

— Я по образованию хирург, много оперировал. Видел человеческий мозг, но ума не видел. Но можно ли сомневаться в наличии ума у человека?

Или — Луначарский говорит:

— Вы утверждаете, что всякая власть от Бога. Значит, большевики тоже от Бога?

— Несомненно. За наши грехи.

Мама никогда не унывала, находя утешение от превратностей жизни в посещении театров, выставок, концертов. Иногда брала с собой и меня. В девять лет я уже слышала

Нежданову в «Травиате», правда не могла понять, почему, умирая, она поет. На это мама заметила: «Просто она любила жизнь без всяких условий», — и спросила: «Понятно?» Я промолчала. У меня-то как раз были условия, мне хотелось получить в подарок настоящую гитару взамен моей захудалой. Но я знала, стоит лишь заикнуться, услышишь: «Тренировать надо мозги, а не пальцы». Кстати, музыка тогда жила в душах людей, часто мурлыкали себе под нос или тихо насвистывали, напевали. Не обязательно модные песенки, а романсы, арии.

Конечно, Аренсу чужие мешали: бегающая детвора, шум, гам... А тут еще на кухне появился цветастый поднос с агитационным лозунгом: «Меня много упрекали, что расту бунтарка, но я знаю свое дело, я ведь пролетарка». Поднос подарили маме сослуживцы, и она не придавала значения надписи. Но педант Аренс мог посмотреть на него по-другому.

Люди уже начинали дрожать. Даже по маме это стало заметно. «Дождешься, что нас заметут», — сказала она, когда на аренсовский паркет посыпался старинный бисер забытого ламановского воротничка, а я принялась его ловить-подбирать, бормоча про царицу ночи.

В один прекрасный день Аренс предложил своим подселенцам продать их комнаты. Власти на это смотрели сквозь пальцы. Он давал много денег, часть которых можно было истратить на себя.

Так мы переехали на Зубовский бульвар, дом 25, в типичную коммуналку.

Шесть примусов, шесть корыт у бывших Романовых

На закопченной кухне стояло шесть столов, на них шипели, гудели, рычали шесть примусов, в ванной комнате по

стенам висели шесть корыт. Когда-то эта и квартира напротив принадлежали одной семье — юриста Николая Николаевича Романова. Во время революции он бежал за границу, прихватив семейные драгоценности, его жена с детьми остались без средств. К моменту нашего въезда она, Полина Сергеевна, с сыном Кокой занимали семнадцатиметровую комнату. В другой, семиметровой, для прислуги, жила ее младшая дочь, все ласково звали ее Люлюкой. Старшая же дочь продала свою комнату нам и переехала к мужу.

Остальные жильцы к этой семье отношения не имели. Самая большая и парадная зала принадлежала юристу Аронову с женой и дочкой. Рядом жила швея-мотористка Настя с мужем-слесарем. Дальше — три сестры Богачевы, ткачихи с фабрики «Красная роза». Достаток у всех был приблизительно одинаковый: еле сводили концы с концами. Иногда возникали ссоры из-за оплаты электричества или переполненного помойного ведра, но, в общем, жили дружно — угощали друг друга пирогами по праздникам, помогали заболевшим, а если к кому-нибудь приходили гости, по всей квартире собирали ножи, вилки, тарелки, рюмки, стулья: ни у кого этих предметов не имелось в нужном количестве. Однако со временем, точнее с изменением состава жильцов, атмосфера в квартире ухудшалась и, наконец, накалилась настолько, что стала невыносимой.

Все началось с того, что красивый белокурый Кока Романов сменил лоток Моссельпрома, с которого продавал папиросы, на работу стрелочника трамвайных путей и очень рано женился на проститутке с Зубовского бульвара Соньке Долдоновой. Вскоре Сонька родила хиленького, слабенького мальчика и заболела чахоткой тяжелой формы. Жили они вчетвером на нищенские заработки Коки и Полины Сергеевны, которая в любую погоду бедовала при конфетном лотке. В лето 1928 г. Люлюка перебралась к подруге на дачу и сдала по объявлению свою комнатку пожилым

супругам Тройченкам. Все лето Тройченки вели себя тихо, ходили на цыпочках, улыбались, а некоторым странностям их поведения вроде подслушивания у чужих дверей никто не придавал значения: люди временные, с ними не жить. И вдруг к возвращению Люлюки эта парочка предъявляет ордер на крошечную кладовку (2х2 метра с окном), в которой жильцы держали барахлишко.

«Появился седьмой стол, повесили седьмое корыто»

В кухне появился седьмой стол, в ванной — седьмое корыто. Мебель Тройченкам была ни к чему, они приделали к стене двухэтажный стеллаж и спали на нем. Напротив пристроили полочку, заменявшую стол, и тогда развернулись во всю ширь и мощь. Дверь их каморки всегда была приоткрыта, оттуда несло прогорклым жареным салом. Супруга, Елизавета Викентьевна, и раньше не отходила от чужих дверей, теперь же подслушивание и подсматривание стало ее основным занятием. Истинными пролетарками у супругов считались проститутка Сонька и ее мать Долдониха — из ткачих шелкоткацкой фабрики француза Жиро, которую после революции переименовали в «Красную розу». Долдониха вступила в партию и как общественный деятель от станка отошла. Смертельно больной Соньке вбивалось в голову, что она жертва эксплуатации. Сонька со всеми ссорилась и демонстративно плевала в раковины, на пол. Если ее осторожно одергивали, в ответ раздавалась грубая брань. Тут же выползала Викентьевна и елеинным голоском подзуживала: «Так их! Так, Сонечка! Нет, чтобы подтереть за больным человеком, еще замечания делают. Привыкли в поместьях распоряжаться...».

Жили все, как я уже сказала, бедно. До получки почти никто не дотягивал. Не хватало и Соньке. Она шла к кому-нибудь из жильцов, обращалась и к маме:

— Екатерина Трофимовна, одолжите трешницу. Кока через два дня получит, сразу отдам.

— Соня, пятерка осталась, а получка не скоро.

— Ну, Екатерина Трофимовна, Петеньке молочка не на что купить.

Устоять было невозможно, и мама отдавала последнее. Проходили два дня, четыре, больше... Соня и не думала возвращать, а когда напоминали, орала:

— Ах, ты сволочь поганая! Сначала даешь, а потом обратно требуешь. Кто тебя заставлял давать? Откуда тебе возьму?

— Соня, ты же на день-два перехватывала, а прошла неделя.

— Ну и что? Я запрещаю тебе давать, если опять попрошу.

Как из-под земли выростала Викентьевна.

— Правильно, Сонечка, умница! Мало они твоей кро-вушки попили? Мало на твоей спинке поехали? Буржуи недорезанные! Ни за что не отдавай! Обойдутся.

В следующий раз все повторялось с каким-нибудь другим соседом.

Сам Тройченко время от времени объявлял проверку документов как красный партизан и член партии. Усаживался в коридоре под тусклой лампочкой на длинном проводе, а «шарабура беспартийная» выстраивалась в очередь, держа бумажки (паспортов тогда еще не было). Он брезгливо брал их, внимательно изучал, придирался к неясным штампам, печатям, неразборчивым подписям, заносил что-то в записную книжку и грозил разоблачением. Обитатели стояли с поджатыми хвостами, у каждого замирало сердце, когда Тройченко останавливал подозрительный взгляд на

какой-нибудь закорючке. Иногда он поднимал бумажку на свет, как денежную купюру, и всматривался так долго, что можно было упасть в обморок. Возвращая, вытирал руки о серую кацавейку. Завершалась проверка словами: «Лизавета Викентьевна, будь ласка, проветри мою куцефайку».

«Жить нам стало невыносимо»

Утро встречало революционными песнями. Особенно любили Тройченки «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Пели с подтекстом, вызывающе громко, с явным намерением затеять скандал. Повторяли одно и то же сто раз. В их репертуаре было много песен о мировой революции, о которой тогда говорили, словно это дело ближайших дней.

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

— Во! И боле ничего! — с какой-то угрозой сообщали они, пристукивая кулаками о полку.

Их кладовка была между нашей комнатой и комнатой Богачевых, к которым приехала еще одна сестра — Феша, психически больная, с мальчиком Вадиком.

Мы, естественно, говорили Тройченкам:

— Нельзя же с шести утра голосить.

— А мы не поем. Мы так молимся. Это наша коммунистическая молитва. Если вам не нравится, значит, вы враги коммунизма. Ваше буржуйское нутро не принимает революционных песен.

В это время появились плакаты с призывами вождя и его портретами. Тройченко приволок штук пятнадцать и развесил по квартире. Однажды к нам пришла подруга мамы Мария Александровна. Ничего не понимая, она устала на плакатный «иконостас» в коридоре. Мы сказали,

что это еще не все, у нас даже в уборной портрет. Мария Александровна, любившая посмеяться, пошла взглянуть. Выйдя, крикнула маме на кухню: «Катя! Кто это додумался Сталина в сортире повесить? Что за издевательство над великим вождем!». Тройченки знали, что Мария Александровна — родная тетка Свердлова, и поэтому непосредственной реакции не последовало, но ночью плакат исчез.

Когда Петенька капризничал, Сонька брала его на руки, выходила в коридор, давала палку и говорила: «Петенька! А ну вдарь Сталина по морде!» Петенька изо всех силенок лупил по плакату. Тройченки молчали: «истинная пролетарка» могла развлекать своего ребенка, как хотела. Но другим житья не давала, если один сосед заходил на минутку к другому — сразу: «А-а! Заговоры! Застенки устраиваете!»

А Сонька погибала. Озлобленность ее росла с каждым днем. Однажды она попалась, когда плевала в чью-то кастрюлю. Разразился страшный скандал. Все забрали примусы и посуду в комнаты. На кухне перестали готовить. Время от времени Сонька выбрасывала в коридор грязное белье. Никто уже не делал ей замечаний, но пришедшей Долдонихе как-то сказали, что в квартире маленькие дети, а тут форменная антисанитария. Долдониха уставилась пьяными глазами и пробасила:

— Соображаешь, чего несешь! Я иду с пленума Моссовета, а ты про какие-то тряпки!

Тут же появилась Викентьевна:

— Золотые слова, Анфисочка Прокофьевна! Люди ведь не понимают, что вы государственный человек. Белье им мешает! Привыкли в своих дворцах и хоромах...

А если жильцы слишком уж возмущались, Тройченко объявлял проверку документов. И опять столик, табуретка, на ней — Тройченко в кацавейке, остальные, как овцы, — в хвосте.

Психически больная сестра Богачевых Феша тоже не дремала. Тихая, забитая между приступами безумия, но если на нее накатывало... Она хватала топор или чугунный утюг и носилась за жильцами. Люди разбежались по комнатам, запирались на ключ, задвигали дверь шкафом и сидели, стуча зубами. Телефона в квартире не было, вызвать «Скорую» не могли. Тогда кто-нибудь, кто жил ближе к входной двери, выскакивал наружу и вызывал по автомату «Скорую психиатрическую помощь». Фешу увозили на несколько месяцев, она возвращалась тихая, виноватая, но через какое-то время все повторялось.

«Дорогой Михаил Иванович всех спас»

Мама начала заниматься обменом.

Ее усилия долго ни к чему не приводили. Но однажды знакомая сказала, что в ее квартире развелись соседи-супруги, и муж хочет съехать от бывшей жены.

Человек, с которым предстояло меняться, Михаил Иванович, стоит того, чтобы рассказать о нем подробнее. Еще до революции он работал по коммерческой части — вел торговлю золотом, хотя по образованию был инженер. Имел всегда большие деньги и жил на широкую ногу. Любил кутнуть, для чего снимал ресторан у «Яра» с цыганами. И «гулял». По несколько суток. Черную розу Варе Паниной посылал, когда она пела: «Я пережил свои желанья, я любил свои мечты». Дешевле трех червонцев шампанское не заказывал.

При новой власти он стал работать по специальности и превратился в рядового инженера. Однако держался всегда независимо. Он был небольшого роста, тщедушный. Одна нога у него была изогнута колесом после какой-то травмы, не гнулась. Он сильно хромал, но, несмотря на

все это, обладал большой физической силой: как-то при ссоре с женой разворотил старинную кафельную плиту в кухне, а в другой раз — согнул металлические перила на черной лестнице.

Следовало объяснить Михаилу Ивановичу, почему мы меняем лучшую комнату на худшую. Сказать правду — можно испугать, и мама, не вдаваясь в подробности, пошла на полуправду: хотим уехать от скандалов. На это Михаил Иванович спокойно ответил, что скандалов не боится, так как всегда найдет способ их пресечь. Расставание с единственным сыном тоже его не смущало. Сын оставался с матерью, от которой Михаил Иванович потребовал расписку, что она против встреч с общим сыном ничего не будет иметь. Сын увлекался астрономией, особенно ее влиянием на общество, и Михаил Иванович называл его звездочетом, стало быть, юношей, правильно оценивающим расстояние, пространство и человеческую активность.

Осенью 1932 г. мы переехали в Малый Каретный переулок, а на старой квартире в первое же утро, как всегда в шесть часов, раздалась «коммунистическая молитва». Михаил Иванович чертыхнулся и стал дубасить стену соседей. Тройченки продолжали: «Наша власть, наша власть, наша власть, наша власть...», «должен пасть, должен пасть, должен пасть, должен пасть...». Михаил Иванович выскочил в коридор и начал колотить их дверь. В ответ услышал то, что говорилось всегда: «Ах, вам коммунистическая молитва не нравится. Сразу видно, что вы недорезанный буржуй». Михаил Иванович опешил и ушел. На другой и третий дни повторилось то же самое. Тогда он пригрозил: если хулиганство не прекратится, заявит в милицию. В ответ Тройченко объявил проверку документов. В тот же вечер в передней были поставлены стол и табуретка. Тройченко занял свое место под лампочкой, а жильцы выстроились в

послушную очередь. Не было только Михаила Ивановича. Послали за ним. Он вышел, окинул взглядом сборище и рывкнул:

— Что еще за комедия? А ну, рррразой-дись!

Все радостно юркнули в комнаты и застыли по ту сторону своих дверей.

— Как вы смеете? — завопил Тройченко. — Я проявляю бдительность. Я хочу знать, кто вы такой.

— А я хочу знать, кто вы такой. И кто вам дал право проверять, — спокойно сказал Михаил Иванович.

— Я красный партизан!

— Отлично! Вот завтра обращусь в соответствующие органы и попрошу выяснить, партизан вы или кто другой? Где партизанили и против кого? И какого вы на самом деле цвета — красного или другого?

Тройченко, как ошпаренный, вскочил с табуретки. Ни с того, ни с сего начал набиваться на дружбу, совать руку:

— Доброго дня! Будь ласка, Михаил Иванович! Все люди братья.

Михаил Иванович не удостоил его рукопожатием. Презрительно хмыкнул: «Ага, братья, люблю с них братья». Ушел. На другое утро жильцы увидели дверь каморки Тройченко открытой настежь. Внутри — ничего, кроме приделанных к стенам голых стеллажей. Тройченки исчезли, как привидения, никто из жильцов их больше не видел. Остался лишь запах прогорклого жареного сала.

«Они вспоминаются по брюхо в навозе»

Мама в ту пору работала заведующей машинописным бюро, где приходилось вычитывать восковки (отпечатанные на вошеной бумаге тексты без краски, только вда-

лением букв). Читать их даже здоровыми глазами трудно, у мамы же от напряжения произошло кровоизлияние в единственный глаз. Без того плохое зрение резко ухудшилось. Надо было менять работу, и мама поступила на курсы кролиководов. В те годы пытались решить продовольственную проблему разведением кроликов, которых в насмешку по-тихому называли «сталинскими быками». Кролиководческие хозяйства росли, как грибы после дождя. Мама окончила курсы со званием зоотехника и стала работать в МСПО (Московский союз потребительских обществ).

По условиям работы ей полагалось двадцать четыре дня в месяц находиться в командировках по Московской области. Хозяйства находились далеко от станций, транспорта за инспекторами не высылали, да и было его раз-два и обчелся. Добирались сами как могли: где пешком, где на попутной лошаденке или случайном грузовике. Приходилось мерить километры и в стужу, и в жару, и в слякоть, в любое время суток — в зависимости от расписания поездов. Гостиниц и домов для приезжих не было, вся надежда на гостеприимство работников хозяйства. Это мог быть директор или агроном, иногда сторож. Сами они часто ютились с семьей в комнатенке, либо хилой избушке и, случалось, уступали единственную кровать. А если это одинокий мужчина... Бывало, среди ночи мама выскакивала из тепла и бродила по зимним улицам, где из каждой подворотни ее облаивали собаки. В глухих деревнях не исключалась и встреча с волком. К тому же маму стали посылать не только как кроликовода, но и как инспектора других отраслей животноводства.

Общественный скот стоял в бывших «единоличных» сараях по брюхо в навозе. Зимой навоз леденел, и ноги животных вмерзали в него. Кормов хватало только до января, а потом разбирали соломенную крышу самих же са-

раев и полусгнившей соломой кормили скот. Коровы были так истощены, что не могли держаться на ногах. Их через брюхо подвешивали на веревках к стропилам, и в таком положении они все равно погибали. Над деревней стоял рев голодной скотины, а рядом голосили бабы, оплакивая недавних кормилиц.

Мама часто рассказывала о своих впечатлениях и мне, и знакомым. Эти подвешенные к стропилам коровы так и остались для меня символом тридцатых годов. Не воздвигавшиеся плотины и электростанции, о которых вещали с утра до вечера, не строящиеся заводы-гиганты, не невероятной протяженности оросительные каналы, и даже не «приближающаяся мировая революция»...

Сколько надо было вырастить кроликов, чтобы уравновесить убыток от одной такой коровы? А кролики от воздуха тоже не жирели. И для них не хватало кормов. Среди истощенных «сталинских быков» вспыхивали эпизоотии, уносившие сотни и даже тысячи животных.

До поры до времени эти массовые падежи сходили с рук. Но это было, скорее, счастливой случайностью. Любой хозяйственник мог в духе того времени свалить неудачи на вредителей. И начали бы хватать всех подряд. Мама не выдержала этого напряжения. В сорок пять лет, получив инвалидность по зрению и пенсию двести десять рублей, вышла замуж за Ивана Константиновича Штарева, того самого студента, который в молодости чуть не застрелил ее, и уехала к мужу в Ташкент. От греха подальше. Чтобы не стать колесованной, как та святая, в честь которой ее называли Екатериной. Это было в 1935 г.

Послесловие

АНЯ. Восходит луна.
ТРОФИМОВ. Да, восходит луна. (Пауза.) Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!

А. Чехов. Вишневый сад
(комедия)

Несколько слов о судьбе людей, упомянутых в этих воспоминаниях.

Единственный брат Екатерины Трофимовны — Иван Трофимович (Ванечка, устроенный мальчиком в табачную лавку в Саратове) — работал в Москве в продовольственном комитете. В начале 1918 г. был командирован в Харьков как уполномоченный по продовольственным делам. Однако до места не доехал. Его тело было сброшено с поезда возле станции Лопасня. Родственникам прислали его вещи: окровавленную меховую шубу и обручальное кольцо.

Одна из дочерей Екатерины Трофимовны, Талечка, рожденная в 1919 г. за две недели до смерти отца, умерла четырех с половиной лет от скарлатины. Вторая, Люсенька, не дожила до года. Третья, старшая, Зинаида Гавриловна, рассказ которой время от времени дополнял это повествование, стала доктором биологических наук, профессором. Ее уже нет. Она умерла в 2004 г. В некрологе ее назвали ученым с мировым именем. Но в своих воспоминаниях она сравнивает себя со щепкой и про жизнь свою пишет: «Одни руины и несбывшиеся надежды». Зинаида Гавриловна покоится рядом с отцом на Новодевичьем кладбище. Через

дорожку от них могила циркового артиста Дурова. Его памятник с обезьянкой оживляет это место. Особенно хороша обезьянка, когда на ее любопытное рыльце падает солнце. Да и карнавальный костюм артиста смотрится тогда по-другому, без резких теней. В ясные дни солнца здесь сколько душе угодно. Ночью же на кладбище не пускают, и трудно сказать: омывает ли эти могилы лунный свет, который в порыве всемирной вибрации пожелали убить. И, кажется, убили. По крайней мере, в жизни. А Зинаиду Гавриловну так потянуло к нему! Но последние слова ее воспоминаний вовсе не о луне. «Что пользы человеку от трудов его, которыми трудится он под солнцем». Это суждение связывалось у нее с Библией и сельским батюшкой Александром, которого расстреляли. Как-то в родных краях ее потянуло к нему на могилу. Но что оказалось? На месте кладбища был свинарник, повсюду бегали хрюшки и по обочинам, где уцелели могилки, животные чесались о металлические кресты.

Примечательна судьба «звездочета», с которым Зиночка подружилась, переехав в Малый Каретный. Свое пристрастие к астрономии он перенес на биологию. Стал утверждать, что мухи и люди имеют общие биохимические процессы, зависимые от периодов солнечной активности. За это ли, за другое, но, в конце концов, он получил срок и подорожную на лесоповал. Какое-то время от него приходили письма, а потом — ничего.

Его отец Михаил Иванович был обескуражен таким поворотом судьбы сына. Пробовал выяснить, писал, просил, добивался приемов. В расстройстве пристрастился к спиртному и однажды угодил под колеса. Тогда грузовики АМО только появились на улицах. Кажется, выпустили сто пятьдесят штук.

ЖЕНЩИНА-КАТАФАЛК

(рассказ скульптора)

Моя первая мастерская была во дворе, а это в городе коммуналок не так мало. Рядом, за высоким забором стоял особняк... В свое время известный архитектор построил его для миллионера Р. — промышленника, мецената и старообрядца. До семнадцатого года владелец жил там с семьей, а после бросил большевикам вместе с коллекцией старообрядческих икон, которые собирал, и бежал за границу. Потом его роскошный особняк занимали разные учреждения, а в тридцатых годах туда поселили писателя. Особняк писателю не то чтоб не нравился... он воспринимал его сдержанно. «Улыбнуться не на что», — сказал однажды. И ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ: «МОРЕ СМЕЯЛОСЬ». Но дареному коню... В общем, пять лет он там прожил. Когда я на той улице поселился, писателя давно не было в живых, а в особняке распоряжалась Зинаида Васильевна, художница, вдова его сына. С ней связано много любовных историй, но таких, что не позавидуешь — не зря ей дали прозвище Катафалк. Почти все, с кем она затевала романы, начиная с главного чекиста страны, быстро отправлялись на тот свет. Кого ни возьми — враг народа, расстрелян... Разве что ее муж, сын писателя, умер своей смертью, но опять же при загадочных обстоятельствах, где-то на улице. Поговаривали, что и ему помогли, надеясь прибрать к рукам отца. Тот, кто «пришел в мир не соглашаться», — так классик сказал о себе, не

устраивал кое-кого. Позднее смерть самого писателя тоже вызвала слухи... Поговаривали, что его отравили... Зинаиду злые языки не путали в это дело, разве что вспоминали ей «снохача»: это прозвище прилипло к писателю, когда она поселилась в доме. Обыкновенная человеческая симпатия или другое связывало их — никто не знает. В общем, так и пошло: Катафалк. А это на многих действовало сильнее, чем ее красивая внешность и всяческие таланты.

Иногда я наведывался к Зинаиде отвлечься, поговорить. Она любила искусство, много видела, сама была хорошей художницей. А еще я ходил посмотреть на «Волну» — знаменитую лестницу. Этот шикарный модерн был известен по книгам. А теперь своими глазами я мог увидеть, что все лестницы перед «Волной» ничто. Мраморными перилами она повторяла движение гребней воды. Их кипение, пена переходили в перила следующей лестницы, а внизу лампа в форме медузы высвечивала каскад. В других интерьерах тоже обыгрывался подводный мир: морские коньки, улитки, раковины. Где-то течение вод напоминало женские волосы. Даже по паркету расходились волнистые и округлые линии. А над всем этим — плоская крыша, по ней шарили ветки деревьев. За глухим забором с улицы особняк почти не виднелся. Только под крышей — большие окна вроде аквариумов в изогнутых переплетах, да роспись на стенах. Но и это летом скрывала зелень. Должно быть, шум деревьев пугал писателя, узника этих покоев, он мог угадать в нем звук своего заточения.

И вот однажды, придя в особняк, я толкнул какую-то дверь и обнаружил ванную комнату. О!.. Пятна ультрамарина и охры стыли на влажном полу. Их давали отражения ирисов в витражах. И тут — ни одной прямой линии, все зыбко, двусмысленно: можно купаться не только в воде, но и в свете. Вспомнилось мытье в своей коммуналке у русской печки — хлопотная канитель с ведрами и тазами. А здесь

настоящие термы для патрициев. При первом удобном случае я спросил Зинаиду Васильевну, нельзя ли и мне побыть в роли патриция. Ведь что такое скульптор-монументалист (я тогда делал памятник на армянскую тему)? Это работа каменотеса. Пыль, грязь, глина — все на тебе, и вечером это необходимо смыть, иначе новый день не начнешь бодрим и свежим. Врости в свои ботинки, как Микеланджело, чтобы потом их срезали с тебя, я не мог, мне надо было являться в Академию.

В ответ Зиночка согласно кивнула, и в первый же вечер я вошел в ту самую комнату. Разделся, пустил душ, но, прежде чем стать под него, долго следил за струями в зеркалах. Струи превращались в каскады, на каждом пороге искрились, но при этом возникало какое-то странное беспокойство. Что-то темное не отпускало взгляд. За окнами ветер мотал деревья, тени перебегали по полу, и это тоже добавляло тревоги. И вдруг в глубине зеркал мне почудился прообраз потопа. Дождь, буря, наводнение. Как будто и я из тех нечестивых, кого наказал Бог. Ведь уцелели лишь восемь праведников, только их прибило к горе Арарат.

Я скорее ступил под душ, намылился, и тут дверь открылась. На пороге стояла Зина. Я обомлел. Она же тихо сказала:

— Ну, что вы смущаетесь, Сереженька? Ведь мы с вами художники. Для нас живая натура — это профессия. Хотите, спинку могу потерять? — и взяла мочалку, собираясь мне услужить.

Это не просто устоять, когда красивая женщина предлагает вам помощь. Да при этом глаза у нее блестят, а голос — как зов сирены. Не прикасаясь, самой интонацией она уже приникала, я чувствовал это как первую ласку. А сам только что думал о праведнике Ное. Хотя перед тем в патриции метил. Насколько она красивая, показывает портрет Корина, где она в синем платье, — настоящая короле-

ва. Павел Дмитриевич, кажется, увлекался ею. Красота на портрете выдавала что-то еще... Не просто одно любование. Все дело было во взгляде. За лучезарной улыбкой скрывалась жесткость, близкая холодноватому оттенку платья на ее складном теле. По-моему, он с удовольствием обнажил бы модель, не будь диктата железного времени. Оба — модель и художник, смотрели куда-то... Это пространство принято называть параллельным, оно и было таким, здесь скрещивались любовь и молчание. Как некий фокус тайна обнаруживалась на стороне. Общее прошлое, известное только двоим, кисть художника удержала.

Корин, правда, не пострадал, как другие ее фавориты, отделался долгой опалой, но меня это не вдохновляло. Его многострадальная картина «Русь уходящая» так и не была окончена. Какие-то фрагменты Корин показывал, но лишь в своей мастерской. Да и то спустя много лет. Все печально, темно; закрытые лица, опущенные глаза, склоненные головы. Столпники, старцы, монахи... Без острых углов, прямых линий, которых много в его энергичных портретах. Все проникнуто болью и сожалением. Корин побоялся завершить эту картину. Безбожники могли отыгаться, тем более что в 31-м году в СССР запретили продажу и ввоз Библии. Нет! Ни судьба Корина, ни ее предыдущих любовников меня не устраивала. В моей мастерской осталась крестьянка, выбитая из гранита, и богиня весны в мраморе, и студентка из гипса, и балерина... И все они ждали, чтобы я доработал их, вдохнул в изваяния душу. Я, конечно, не был святым, чего греха таить, любил женщин, но ради опасных интрижек не мог поступиться своей работой. Так я считал тогда. Ведь и великий писатель любил женщин, но литературное наследие сильно бы поубавилось, занимайся он лишь амурами. Правду гласит поговорка: «Если Бог хочет нас наказать, то исполняет наши желания».

И я не то чтобы отвел ее руку, но отстранился немного сам. Хотя и слепой бы заметил, что творилось со мной: так прихватило — все на виду. Только дай себе волю. Но какое там, когда страх в душах и стенах! Повелитель почище желанья, всех одолел Красный Призрак Расплаты.

Если бы Зинаида Васильевна видела в это время свое лицо! Это было сплошное детское изумление. Да еще морского цвета глаза на половину лица. Почти врубелевская Волхова. А при мне ни глины, ни карандаша, ни бумаги. В эту минуту понять меня мог только художник. Но я забыл кто рядом со мной.

— Подождите, — сказала Зинаида Васильевна. — Сейчас принесу. Карандаш или уголь? Картон у меня на втором этаже. Но фиксатора, кажется, нет.

И она исчезла, едва услышав: «Карандаш». И больше не появлялась... Исчезла словно не приходила. Предоставила меня самому себе и тому бесу внутри, что не мог успокоиться.

Женщины не любят, если им предпочитаешь работу. И мстят чересчур рассудительным. С незапамятных времен, тех еще — отвергнутой Феды, Софонисбы или библейской жены Потифара, которая вспылала к Иосифу. Женская месть не исключалась и для меня. И тут сам Господь не помог бы.

Возможно, с другой женщиной так бы и было. А Зинаида Васильевна ограничилась шуточками. В удовольствии посмеяться себе не отказывала. Острила позднее, что Офелия-нимфа из нее никакая, уж лучше быть Саломеей, по крайней мере, ни воды, ни волн, ни течения, знай себе услаждать танцами Ирода да голову Иоанна Крестителя испрашивать за старания. По тем временам шуточка не из приятных. Участь Крестителя подстерегала любого, головы летели как кочерыжки. Хотя в ту пору я не придавал значения библейским иносказаниям, но в Ноя поверил. Ну, а

как не поверить? Ведь это он призвал меня к делу. А жаль иногда... И беспечности мимолетной, которой праведность ни к чему, все равно что оковы, и страсти, которая не сбылась, краем коснулась и сгинула, и тайны, что осталась за ней. Не она стала моею любовью, но она могла бы стать ею.

Я так и не понял, что это — случайность или судьба? Почему игра изогнутых линий оказалась столь драматичной? Видно, не зря вода — метафора времени. Приливы, отливы, фазы Луны, река забвения Лета. Древние знали, что вода сильнее огня. Да и нашему Буревестнику предчувствий было не занимать. «Не на что улыбнуться», — он сказал неспроста. Скорее себе, чем строителям города Солнца...

Но почему знак был именно мне? Чем приглянулся библейскому праведнику работяга, рубающий камень, далеко не отшельник, смиряющий плоть, напротив — весь из страстей и желаний и даже слишком жаждущий ласки?

Согласно легенде Саломея окончила жизнь в изгнании, утонув в море. Сомкнувшиеся льдины отрезали ей голову. С той же, кого скульптор назвал Зиной, ничего такого не случилось.

ДЕЖУРНЫЙ ОФИЦЕР УЗНИКА № 7

1. Немного литературы

Его привели ко мне уроки литературы. Худо-бедно они оплачивались, а когда нет ничего, вроде и это что-то. Тогда спекуляцию только стали называть коммерцией, а деньги и выживаемость сделались дежурной темой всякого разговора. Продавали все: Родину, слово, полезные ископаемые, орден, квартиры, партийные билеты, любовь, знамена, душу, детей, оружие, право первородства и даже самую чечевичную похлебку. Как видно, мой посетитель был из тех, кто сразу нашел себя в новой жизни, потому что костюм с иголки и улыбка — примета людей небедных. Но зачем коммерсанту литература — тут я терялась в догадках. Не уверена, что она нужна другим, но нынешнему оборотистому, полудикому?.. С этой колокольни и я в уроках смотрелась не очень. Кусок хлеба от них становился сомнительным, зато дань инерции: «Жить-то ведь надо...», была налицо. Как понимаю сейчас, лучше бы отойти в сторону, помня как заповедь: «Шла война, а Сезанн писал свои яблоки».

С легкой руки знакомой, имеющей право на бесплатные объявления в газетке, где она служила, появилось несколько слов о моих уроках литературы. Посетитель прочел и явился.

Итак, для начала я предложила странному интересисту свой комментарий к памятной сцене с Маниловым, когда герои притискивают друг друга в дверях. К этому прочитала

гоголевское откровение «Избранных мест»: «Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынноика, меня занимало...» Далее в качестве бреда предъявила сценку из «Истории моей жизни» Казановы — свою новую слабость, пустив пыль в глаза немецким изданием. На русском языке это звучит так:

«То было в комедии: один петиметр по неосторожности наступил мне на ногу.

— Простите, сударь, — быстро произнес я.

— Это вы меня простите.

— И вы меня.

— И вы меня.

— Увы, сударь: простим же друг друга оба и позвольте вас обнять».

Так окончился наш спор. Перевода не потребовалось, правда, я сама не знала, что такое петиметр. Положим, Казанова назвал так маленького нескладного человечка, но произвольное толкование — баловство. Разве себя потешить, когда общий смысл на виду. Позднее выяснилось, что петиметр — это франт.

Слушатель ничего не сказал, а только глядел крапленными глазами с карей искрой. Мыслительная работа вовсе не отражалась на его лице, однако что-то все же варилось в его голове, потому что вдруг он заметил:

— Мир тесен и в литературе тесно.

Таким замечанием он показал себя не совсем безголовым, и приятно удивленная я обнародовала еще одно совпадение — сапоги от Гофмана, незабвенные сапоги начала немецкого XIX в., в которых утонул крошка Цахес.

Сценка, где он выпал из них, тоже была встречена подобающе. Для полной картины оставалось вспомнить

Прошкины сапоги из «Мертвых душ», столь же безразмерно-свободные, одни на всю дворню.

Обо всем толковалось в разбитой квартире с окнами, заклеенными липкой лентой по ходу пуль. Жилище было расстреляно, придясь на пути в день сведения счетов (4 октября 1993 г.), когда правители убеждали друг друга пулями. Тут не было пренебрежения обстоятельствами, скорее наоборот — случай, когда в доме повешенного не говорят о веревке. Да и природа беглых знакомств берегает от сетований. Разгром свидетельствовал сам за себя, чего же еще?..

— Занятно, — сказал слушатель.

Я так же считала, а это значит, что чашка чая скрепила наше единодушие. Гость должником не остался и заявил себя в духе практичного времени, именно попросил взять его на заметку как владельца четырех автомобилей, стало быть, хозяйственно полезного человека. Я тем более удивилась странной тяге к литературе, когда угробление жизни он себе обеспечил. Однако занятие так расшевелило его, что он позавидовал мне в профессии.

— А мне похвастаться нечем, — заметил он. — Суета сует и всяческая суета. Дорого бы я дал за какое-нибудь путное дело.

— А чем вы занимались прежде?

— Семь лет нес службу в тюрьме, — сказал он самым обычным тоном.

— В тюрьме? — переспросила я.

Мне почему-то представилось, что он вел роль слишком тонкую, может быть, готовил людей к казни. Я спросила:

— В Таганке? Или где?

— Так уж в Таганке... Тюрем, увы, больше, чем городов. Не только в России. На родине Гете тоже.

— Ах, в Германии! — сказала я, показав как будто теперь все ясно. На деле же еще туманнее стало, потому что, когда человек говорит почти шепотом и слушает каждое слово да к

тому же прекрасно знает немецкий и при этом еще кажется коммерсантом, тут можно думать все, что угодно. «Да ведь эти секретные теперь не в силе, — успокоила я себя. — Их ведомство подорвали. Что они теперь? Ноль без палочки...»

Однако холодок по спине дал знать о себе, и язык сделался менее бойким.

Тот же, о ком я столь легкомысленно заключила, как видно, был другого мнения и преподнес в следующем пустом восклицании, может быть, воспоминание лучших лет своей жизни:

— Семь лет я состоял при узнике века. Такого человека я никогда не видел и вряд ли увижу. Теперь, говорят, он признан национальным мучеником.

«А действительно, кого он мог охранять?» — подумала я в обход кое-каких проникающих мыслей.

— Уже сейчас мне предлагают сто тысяч дойче-марок за одну только версию его самоубийства в тюрьме... Что это дело русской разведки...

— Ваш узник — Рудольф Гесс, — сказала я, теперь мало заботясь его ответом.

— Но я слишком хорошо знаю, чем кончаются эти версии. Со всеми тысячами и с пулей в затылке тебя найдут где-нибудь в предместье Берлина.

— А, в самом деле, разве Гесса убили?

— Эти деньги можно заработать и без риска. У меня, например, есть его фотография, снятая во время прогулки в Шпандау: крупный план, лицо в кадре, сбоку дерево каштана.

— Значит, у вас был контакт?

— На уровне шевеления губ: общение с узником, как понимаете, запрещено.

— А как же вы сблизились? — спросила я, не заметив, как сама перешла на немецкий, зато отдавая себе отчет в том, что не каждый день попадается такой собеседник. Пусть

он не свидетель эпохи, но все-таки... Уловил, сфокусировал, запечатлел нечто подобное отблеску, если, конечно, позволено слово «свет» по отношению к узнику, столь страшному и секретному.

2. Немного истории

Все же грехопадение, а вовсе не знание языка, анкета и что-то иное... Полагаю, моего посетителя свело с узником грехопадение, возведенное в абсолют: научные люди назвали бы это социальной системой. Но как ни скажи, а факт остается фактом: выпускник советского института был направлен в тюрьму Шпандау — известное место заключения военных преступников. Один единственный узник — номер семь, Рудольф Гесс, значился там. Другие либо умерли, либо вышли на свободу. Гесс отбывал наказание уже столько лет, что, может быть, сам забыл, за что отбывает. Это был высокий старик, в котором ничто не напоминало коричневого олимпийца. Тюрьма, как говорят, наложила печать. Биография летчика, имперского министра, редактора книги «Майн Кампф» и даже мнимого душевнобольного на Нюрнбергском процессе стояла за ним, связывая по рукам и ногам всякого, кто хотел отделить ее от служения свастике. Но вот полет в Шотландию, имение герцога Гамильтона, возле которого Гесс выбросился с парашютом, и он зависает в истории вопросительным знаком. До сих пор не ясно, чего Гесс желал от туманного Альбиона — политического убежища для себя или дипломатической проституции во имя Германии: холодноватая Англия в блоке с красной Россией смотрелась неубедительно. Участник переговоров Черчилль, в ту пору глава кабинета, обходит в своих мемуарах странный день 11 мая 1941 г., когда на его голову свалился неожиданный

гость. Нобелевские лавры автора закрепили этот пробел как подводный камень истории.

Разгром рейха переместил пленного Гесса на родину. Его судили. Приговорили. Победители требовали виселицы, защита отстояла для пожизненного заключения. С годами эта жесткая кара зародила сомнение в приверженности фюреру, а прилет в Шотландию породил поклонников версии бегства. К тому же милость назидательного чистописания на вратах Бухенвальда и подобных иных предприятий («Каждому свое») начинала стираться в памяти потомков. Гесс превращался в заложника исполнительного Возмездия.

Было бы неправдой сказать, что к сведениям, пускающим первые корешки в моей голове, не приплеталось косвенных мыслей. Я, например, думала: «Не простак же этот охранник, чтоб не сложить цены своему материалу. Всякий лег бы тут обыкновенной собакой на сене, а он — сама откровенность». И роль уроков литературы встала на место. Я понимала собеседника как собрата по перу, желающего придать лоску своим мемуарам.

3. Институт Возмездия

Целая иерархия поднадзорности нагромоздилась вокруг заключенного. Охрана совершалась с немецкой педантичностью. Кроме обычного караула был заведен специальный, состоящий из офицеров камеры. Они находились при узнике, мозоля его глаза день и ночь. Такая сверхкапитальность диктовалась известной причиной. Преступники, по которым плакал ад, хорошему законному наказанию предпочитали плохую ампулу с ядом — досадное самовольство перед лицом Справедливости. «Рейхсмаршалов не вешают», — все, чем они утешались, оставляя после себя записки. Не иначе как правосудие с пустыми руками вызвало к жизни эту

должность — лжекомпаньона и одновременно посредника между камерой и теми, кто около, — живую гарантию самой строгой неволи. Тут был высший пункт изоляции, больше нечего и желать. Само собой, офицер не отлеплялся от узника и на прогулке. Неусыпное око с дозорных вышек следило их путь.

От англичанина к американцу, от американца к русскому... круг наблюдения замыкался на первом. Снова и снова страж заступал в свой черед, хлопала дверь, гремели засовы, часовой подавал сигнал, и по всем караулам огромной тюрьмы шло сообщение о смене поста. С этой минуты и узник, и его компаньон делались поднадзорными третьего, следящего в глазок там, в коридоре. Тюрьма Шпандау, построенная вольнолюбивыми французами в конце прошлого века, воплощала незыблемость института Возмездия. Перед лицом времен и народов. *И очень может быть, что течение времени смешало все, даже само понятие Свободы, и большой вопрос, где она была на самом деле: вне тюрьмы или в камере?*

Бывало, к этому заведению обращалось перо журналистов, но дерзкая мысль не находила поддержки, а поверхностное скольжение мало кого волновало. Дело скатывалось к обсуждению привилегий. Громче всего трещали о розах, уподобляя тюрьму курорту, а еще о комфорте камеры. Цивилизованное право допускало некоторые послабления, но клетка оставалась клеткой, несмотря на книги и телевизор. Если узнику и позволялось что-то выхаживать, то разве надежды. Но и надежды... Что в них? Кому доверить?.. Астрологи, прорицатели, колдуны — преданные советники прошлого, эти свидетели времени, молчали. То были друзья, заплатившие жизнью за свои предсказания. Гесс улетел в Шотландию, а их казнили. Память обращала к снимку Луны, висящему в камере. Холодные, рябые пространства, оттяги-

вающие в полнолуние силы земли и сопряженные с водами морей-океанов, внушали что-то, что заставляло жить.

4. Смерть под знаком Луны

Одно к одному вязалось как будто нарочно. Пожалуй, романисту поставили бы в вину нагромождение деталей, но в жизни случилось так, что узник мало, что сам стал тенью — без имени, а только под номером семь, и сопровождаем был стражем-тенью, и кругом несли службу тени: американцы, англичане, французы, русские, он и предмет постоянного интереса выбрал Луну. Даже в письмах на волю взял за правило давать астрономические выкладки. Фрау Гесс, размышляя над туманными строчками мужа, нашла здесь повод и поспешила довериться мнению более компетентному, чем свое. Выкладки оценили, опубликовали, самого исследователя занесли в почетные члены научного общества и пригласили на конференцию. Но как расценить жест, адресованный за решетку? Ясно любому: Гесса надумали вызволить.

Здесь можно остановиться, чтобы не превращать рассказ в перечень попыток одной стороны и последовательных отказов другой. Так будет всегда: прошлое — тяготеть над будущим, Луна — менять свои фазы, стражи — отбарабанивать службу, а тюрьма — стеречь свою жертву. И все же это было лучше, чем Нюрнбергская виселица в 46-м — удел других. Гесс пережил несколько поколений, пока не представился случай... Мир, в назидание которому поддерживалась эта долгая жизнь, однажды узнал, что в тюрьме Шпандау повесился отбывающий наказание последний узник. Он был глубокий старик.

«Повесился или повесили?...» — можно спросить. Иное неоспоримо: был мертв, доподлинно на языке Гете: *var tot*

Рудольф Гесс 93 лет, 17 августа 1987 г. К этому просится утверждение самого Гесса из его диссертации: «Нет такой тайны, которой нельзя было бы не узнать». Возможно, стяжая степень доктора философии, он проговорился о самом себе.

Трудно сказать, потерпело ли в его случае правосудие: все двулико в руках человеческих, и Возмездие тоже обращается в произвол. А что правители любят душить друг друга — так было, так есть. Но все равно история заключений пополнилась примером редкого долгожительства. К самоубийству (или тому, что так называли) мой собеседник отношения не имел. Это случилось позднее, когда своим вниманием он обязал другое лицо (откровение, не вызывающее оптимизма: а что, в самом деле, если дежурные офицеры не ходят так просто по разбитым квартирам?!).

Такая почти аттестация, тут мало чего добавить, разве что повторить, и, кстати, в арсенале характерных черт моего посетителя имелась улыбка. Возможно, все дело в ней, а вовсе не в хорошем знании языка, безупречной анкете, пулях в стене и прочем. Улыбка таких людей, если не граничит с иезуитством, то и от привычного далека: многое обещает, но ничего не дает. Задним числом она возвращает вам собственное заблуждение, но поздно — впечатление обмана уже заслонило реальность. Попался ли на эту удочку заключенный?..

Есть и другое, что приходит на ум, — отступления, ставшие для русского офицера в порядке вещей. Он научился, к примеру, поддерживать разговор без слов. Какое-то особое шевеление губ, выражение глаз, не требовалось даже усилия, чтобы понять. Провокацией читались его вопросы, если не от школы подсадных уток, то от простого лукавства, но простота специальных людей!..

Однажды офицер превзошел себя: он хочет тайно сфотографировать узника и просит его согласия. Оставить свидетельство анонимного существования под номером семь —

документ, которым, как козырной картой, можно покрыть Нюрнбергский обвинительный кадр, — не ту страшную хронику крематориев, а постановочно-триумфальный, снятый аполитично-гениальной богиней кинематографа, этой последней из Нибелунгов, с горением факелов и экстазом толпы, когда Гесс на трибуне по правую руку фюрера, — такой документ не доказательство ли искупления?..

Ответ узник дал спустя несколько дней. Все «за» и «против» склоняли к согласию, в остальном он полагался на страх и риск офицера. Дело стало наполовину решенным.

5. Улыбка специального человека. Исчезновение, последняя параллель

Об улыбке спасителей, если я
был потерпевшим аварию,
Об улыбках спасенных,
если я был спасителем,
Я вспоминаю так же, как
о родине,
Где я чувствовал себя
таким счастливым.

Антуан де Сент-Экзюпери

Главное устроилось под прикрытием дерева, на последнем круге прогулки. Обстановка подстегивала. Мешкать — не для тюрьмы. Сфотографировал, что называется, в мгновение ока. А дальше... как ни в чем не бывало... за узником... последовал было... Но сигнал тревоги привел в движение даже листья деревьев. На вышке часовой заподозрил неладное, тревогу поднял на всякий случай. Проверки было не избежать.

Однако и в тюрьмах свои правила, понятия обхождения. Этикет не позволял офицеру обыскивать офицера, если чины их равны, — это грозило международным скандалом. А чина нужного не случилось сию минуту. И русскому дали время отвести узника в камеру, сдать как положено пост, ему позволили свободно передвигаться внутри тюрьмы, устроив ловушку при выходе в город. Сюда явился англичанин в чине достаточном, чтобы исполнить неприятную процедуру. Он охотно уступил бы ее другому, но долг службы и прочее... Словом, он двинулся к русскому, когда тот оказался в метре, но что такое?.. Вдруг передумал... посторонился и дал дорогу. Русский свободно вышел наружу. Возможно, потом англичанин хватился, но тогда... Суцая безделица решила исход — та самая улыбка полнейшей невинности. Наверно, англичанину почудилась тень когда-то бывшего на земле рая, и он, простофиля, купился.

У меня вертелся вопросик и скорее в рамках урока напрашивалась новая параллель, относительно французского писателя Сент-Экзюпери: не он ли пришелся кстати своим незабываемым рассказом «Улыбка»?.. Но, как всегда в подобных случаях, ни с того ни с сего свалился знакомый, который, если объявлялся прежде раз в год, — и то хорошо. Знакомый был своего рода прочитанная книга: ничего он так не желал, как слушателей своим невероятным замыслам. В психиатрии это как-то квалифицируется, но врачи сортируют более-менее нормальных людей, а держателей собственных замыслов... — тут медицина слаба. С его приходом тема вильнула в сторону, как-то истратилась, скомкалась, а вместо нее потянулась история нашего устного исполнителя. Мой прежний рассказчик поспешил откланяться. В дверях шепнул, что через день его ждут в географическом смысле Штаты, но, уладив там свои коммерческие дела, он надеется продолжить уроки... По старой памяти бывшего того самого он был чересчур скромн, ограничив свою ком-

мерцию одной частью света. Его прежние соратники давно развернулись по всему земному шару. Брошенное под конец: «Будьте покойны, за мной не заржавеет», с тех пор повисло в воздухе. Не видно было, не слышно никого, а деньги, уплаченные за неделю вперед, обратились в какой-то упрек. Я разглядела в них минус своей педагогике и не понимала, зачем судьбе этот лишний щелчок. Мне хотелось, наверно, чтобы бывший дежурный офицер Рудольфа Гесса оставил одну славную улыбку и воспоминание о своем полупешоте, на крайний случай спросил бы разрешения на съемку простреленных окон и стен моей квартиры, а так — что-то уж слишком приземленное. Словом, деньги действовали на нервы. Немудрено, что их преподобие вездесущая коммерция с обманной улыбкой крапленых глаз сплелась в голове с уроками литературы и отравляла жизнь как могла. Потом все сгладилось и вошло в колею, но таинственная фотография продолжает меня занимать. Полагаю, не я одна держу ее на уме. Где-то дежурит мой посетитель и, примеряясь к курсу валют, ждет своего. Кто знает, не случится ли заурядное: чем дорожишь, обычно теряешь. А впрочем, особые люди не попадают впросак и даже с прошлым рассчитываются сполна. А может, то был мой Черный человек, желавший реквиема в память недавно убитых?..

3–4 октября 1993 г.

ЧАСТЬ II
МИР БЛАЖЕННЫХ
ТЕНЕЙ

НЕДОБИТЫЕ, ПРАЗДНЫЕ...

Нас мало избранных,
Счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

А.С. Пушкин

Вместо предисловия

Несколько предварительных слов скорее дополнят предлагаемую вещь, чем послужат вступлением.

Ее можно сравнить с маленьким островком, где ясны лица других, не похожих на всех. О ком она? О людях, через которых осуществляется связь времен, кто соединяет прошлое с будущим. «Любили петь», — можно сказать о них, и это достойно гимна. В мире всегда что-то меняется, ускользает неуловимо или кошмарно. И культура тоже. Но что особенно грустно? Если человечество предъявит свою культуру на Страшном суде, Бог скажет скорее всего: маловато... Один Бах, один Моцарт, один Пушкин... Зато кровопролития, войны, раздоры, насилия, предательства — этого предостаточно.

А ныне?.. Намного ли продвинулись мы в постижении унисонов Вселенной?

Все, что происходит в «Недобитых, праздных», — во исполнение заповеди: «Не живите по законам мира сего».

Если хотите, это приключенческая повесть с оттенком готического романа, но представленная жизнь — ее незачем сочинять, она в реальных картинках, в образах ушедшей Москвы, закулисных историях, звуках реальных имен — фон более чем конкретен. С другой стороны, особенность, если она есть в этой вещи, — в попытке публикации музыки. Как известно, музыка живет в момент исполнения, с концом звучания она переходит из мира эмоций в мир интеллекта, продолжая звучать в сердце. Андрей Белый однажды предпринял такую попытку и даже назвал свой текст «Симфонией» (1901 г.). Мой опыт скромнее, я претендую не на лад и настроенность, объединенные сатирой и символизмом, как у А. Белого, а лишь на легкость звучания с оттенком иронии и гротеска. Жизнь достаточно неожиданна, чтобы читатель мог окунуться в музыкальные каденции и ферматы в виде печатных слов.

1. Ночной танец

Они сидели рядышком, как озябшие птенцы: седовласый старец, похожий на церковного батюшку, и меланхолическая девушка в лохматом пальто. Где-то сбоку пребывал Маэстро.

Посинел и Бетховен на портрете, на него тоже дуло изо всех щелей широченного окна. Что-то потянуло меня в чужой класс... Наверно, фамилия руководителя на табличке:

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ

Скуратов Владимир Дементьевич
заслуженный артист РСФСР

Увидев меня, Маэстро обворожил улыбкой и, придя в движение, слегка даже засуетился, освобождая стул, а потом настойчиво-нежно приглашая, вытягивая из-за

двери. Нет, нет, нет!! Он не отпустит. Можно ли уйти, не послушав его учеников? И широким жестом он указал на питомцев — они смотрели полупросительно. Тоска по слушателю читалась у них в глазах.

И я осталась.

Была еще пианистка, которая пудрилась и взбивала упавшие кудри. Она делала это попеременно, и всякий раз ее притязания на совершенство оказывались обманутыми то ли пудрой, то ли расческой.

— Мокей Авдеевич, — отрекомендовал Маэстро старца, — или попросту Мика. Ты ведь не обижаешься, детка?

Незыблемая патриархальность исходила от грозного батюшки с его ровным пробором посредине косм и пышной белой бородой. Я не удивилась бы, скажи Маэстро: «Сила Силыч», «Тит Титыч» или другое замоскворецки-купеческое, но Мика?.. Да еще «детка»?

— Этого негодяя знаю сорок три года, — продолжал Маэстро. — Уму непостижимо! Достоинейший человек, меломан, полиглот... Но ленив, ленив!.. И скажу по секрету: Мику обожают женщины. Да-а. Представьте себе, души в нем не чают!

Обращение ничуть не смутило старца, он пребывал в состоянии нерушимого спокойствия, кротко глядя из-под сивых бровей.

— Эк, неймайся тебе, Володя, — пробурчал Мокей Авдеевич. — Образованный человек и такая склонность к преувеличениям. Будет городить-то.

Определенно, старцу было суждено заставить людей врасплох и посягать на устои. Не нуждался законченный образ Маэстро в топорной поправке, в этом расхоже-необязательном «Володе». Такое мог позволить себе прирожденный смутьян и вечный путаник.

— Verzeihen Sie! Pardon, — извинился Скуратов, отошел в сторону и сказал: — Магистр... — взглядом исчерпывая тайный смысл своей характеристики.

На суровом лице старца вспыхнула юношеская улыбка и тут же исчезла, оставив ощущение чуда. А Скуратов говорил:

— Представьте, после долгого перерыва я встретил Мику в Крутицах... Нечесанный, рваный, в допотопном старье... Щека подвязана... Боже мой! Мика, детка! Ты же был вылитый Миклухо-Маклай! Изнуренный лихорадкой! Разве что без туземцев, и пифоны не ползали рядом. В покоях архиерея... Среди хлама. А кругом жэковские коммуналки. До сих пор костяной звук в ушах. Черепами мальчишки в футбол играли! Да-а, представьте себе... — и вдруг переключился на девушку в лохматом пальто. — А это Оля. Наша артистка, она сейчас нам поет.

Девушка безропотно поднялась и встала возле рояля.

Маэстро повелительно вскинул руку. Пианистка тронула клавиши.

Снился мне сад в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоем...

Мне почему-то представилось расплавленное золото, которое я никогда не видела жидким. Оно переливалось, играло, лучилось. Девушка даже не пела, она просто служила своему голосу, давала ему свободу. Он перетекал из одной формы в другую, отрешался от всего человеческого, приводя в действие силы, которые были одно с видением сада.

Звезды на небе, звезды на море,
Звезды и в сердце моем.

— Настоящее контральто, — шепнул Маэстро, — без дураков.

Во все глаза смотрела я на певицу, не понимая, откуда что берется: среднего роста, даже не хрупкая, а тщедушная; тонкие руки придерживают пальто; на ногах какие-то несуразные сапоги, в них заправлены брюки. Но все это, сделавшись оформлением чуда, лишь подчеркивало его. Однако Маэстро не разделял моего восторга.

— Что за мимика? — спросил он. — Где позитурка? В осанке должно быть достоинство. Если готовишься в профессионалы, будь любезна следить за спиной. Стоишь как кулачник на ярмарке, — и коротко приказал: — Сними шубу!

— Мне холодно.

— На сцене нет ни холода, ни боли... Ничего! Бывало, голова болит, раскаляется, а выйдешь... Куда все подевалось?.. Я сам видел, как умер на сцене артист балета Рябцев. Да-а. Вот под эту музыку, — и Скуратов, отбивая ногой, стал напевать польку из «Ивана Сусанина». — Прямо, на балу. В роли ясновельможного пана. Сердце. Кордебалет окружил, оттеснил, прикрыл.

И с высоты своего представления о сценическом долге Маэстро заверил:

— Публика ничего не заметила, — оглядев всех, он вновь обратился к певице: — Александр Николаевич пел два куплета.

— Я же не Александр Николаевич.

— Надо сократить. Вертинский знал толк.

В тот вечер мы уходили все вместе. Маэстро настойчиво убеждал:

— Приходите к нам, приходите! Живой человеческий голос — это же удовольствие. Несравненное! В следующий раз будет петь старец. Только для вас.

Мы шли длинными узкими коридорами, потом через темную сцену — ее надо миновать, чтобы попасть в фойе, оттуда спуститься к выходу, над которым, призрачно осве-

шая снег, брезжила вывеска: «ДОМ КУЛЬТУРЫ». Впереди чинно шествовал Мокей Авдеевич.

Уже огибая кулисы, мы услышали душещипательный аккордеон. Танцоры разучивали танго. Шарканье эстрадных ног становилось ближе и ближе. Сейчас незаметно, на цыпочках, мы пройдем мимо, бесшумно притворим за собою двери.

Но что это? Мокей Авдеевич прирос к месту. За ним остолбенели и мы. Под звуки роскошного танго, в полумраке, тихо двигались пары. Кавалеры обтянуты трико, дамы в длинных широких юбках. У обнаженных плеч рдели бумажные розы.

За окнами, на проводах, качались фонари, освещая заснеженную крышу напротив и большие буквы на длинном карнизе: «ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!». Как в зеркале, плыли по этому фону в темном оконном стекле, во всю его ширь, отражения танцоров. Казалось, они двигались между двумя огнями: наружными, зыбко-тревожными, и комнатными, как бы влитыми в стекло и застывшими, проходили сквозь них, словно духи, и, неопалимые, бессмертные, не доступные тлению, плыли дальше. Пышные белые шторы отделяли эти видения от бренного мира.

Элегантный и гибкий, скользил между ними педагог. Громко отсчитывал: «Раз, два, три, четыре! Р-р-раз, два, три, четыре!». Кавалеры повиновались ему, склонялись над дамами и, резко притягивая их к себе, кружили, кружили... Старательные, одинаковые, точно сделанные на заказ. Стекла дробили и множили отражения.

А в центре...

В центре зала, обтянутый траурным крепом, стоял КАТАФАЛК. Люстры и зеркала были закрыты полупрозрачной тканью. Черно-красные ленты обвивали колонны.

— Ну и ну, — сказал Маэстро. — В чистом виде Феллини... С доставкой в родное отечество. Признаться, на ночь я предпочел бы что-то менее эксцентричное.

— Классическое танго! Неувядаемое! Вечно юное! «Мода на короля Умберто», — сказал одинокий танцор, галантно поддерживая даму-невидимку, свою волшебную пленницу.

И-и-и раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Профессиональная нога в узком лакированном ботинке безупречно шаркала по паркету. И сладостно замирала, слишком легкая, странно женственная в подъеме, как будто созданная для показа. И опять требовательно, с едкой вкрадчивостью наступала. Несуществующая подруга изгибалась в его объятьях, ядовитые лжеиспанские завитки блестели у нее на висках.

А танго навевало мечты. Оно стонало. И обольщало. К победному аккордеону присоединилась томная гавайская гитара.

— Тронулись, — сказал Маэстро двусмысленно.

Мы проследовали по самому краю этой импровизации, пахнувшей здоровым потом, сокрушенные приступом самодетельного вдохновения. Король Умберто был реальнее, чем мы.

— Все-таки здоровье — это... — не найдя нужного слова, Маэстро подчеркнуто отстранился от ближней пары, но все же договорил: — Не в ладу с интеллектом. Легкий невроз им бы не помешал, он все-таки лечится.

На лестнице нам попался администратор, он нес фотографию с траурным уголком.

— Молодой начальник автоколонны, — сказал администратор, глядя на нас расплывшимся красным пятнышком возле зрачка. С фотографии приветливо смотрели глаза, теперь уже закрытые навеки: — Несчастный случай. Что-то с тормозами. Чья-то халатность, — и, поправляя ленту, уже по всей форме добавил: — Трагически погиб

при исполнении служебных обязанностей, а гражданская панихида у нас.

Мокей Авдеевич, в голове которого разомкнулись все связи, вдруг обрел дар речи, чуть ли не выкрикнул:

— Они б еще на погосте танцы устроили! Разогнать всех! Нашли время. Вавилон новоявленный! Тьфу!

Скуратов дернул друга за рукав, но понятливый администратор объяснил, что мероприятие неожиданное, оповестили часа два назад, даже занятия не успели отменить, а раз люди пришли, куда денешься?

— Кого это вы «людьми»?.. — переспросил Мокей Авдеевич. — Этих прямоходящих? Разве это люди?.. — и повторил свое: «Тьфу!»

Где-то над нами гремел репродуктор, заставляя вздрагивать и прикладывать ладони к ушам. Только на свирепом лице Мокея Авдеевича не дрогнул ни один мускул.

— Где других-то взять? — спросил администратор. — Спасибо, что такие приходят. Не они для нас, а мы для них...

В его словах была та извинительная человечность, которая восстанавливала хоть какой-то здравый смысл. Но все равно к мертвому мы были добрей, чем к живым. Не оттого ли, что покойные всегда значительнее живых?.. Их можно жалеть, ни о чем не заботясь. Жалеть тех, кому это уже не нужно, — разве это не трогательно?

А музыка набирала силу, она благословляла и воскрешала дух всеобщего братства. Танец становился чем-то более значимым — публичным действием, актом группового единения граждан. Даже виновник аварии, вопреки естественному ходу вещей, сейчас присутствовал в зале. Не отраженный в зеркале, размытый, потусторонний, он обнаруживал себя то в шарканье, то в церемонных поклонах. Погубленная улыбка начальника автоколонны сопровождала его движения.

Мы двинулись к выходу.

— Мика, у тебя скверный характер, — сказал Маэстро. — Что ты на всех нападаешь? Чуть не обидел достойнейшего человека.

— Твоя правда, — согласился Мокей Авдеевич. — Уж не взыщи: конь на четырех ногах и тот спотыкается. Препаратское поведение. Не характер, а просто беда.

Маэстро принялся бранить его, припоминая старые грехи. Но через некоторое время, устав от самого себя, вдруг повернулся спиной к ветру и, обносимый снежными хлопьями, спросил:

— Мика, а помнишь Марьи Юрьевны страсти в Даниловом монастыре?

— Как не помнить... И забыл бы, да вот, поди ж ты, забудь.

— Кошмар! — подтвердил Скуратов. — Почище нынешнего Феллини.

— Пожалуй, что и почище... Не в пример... Шабаш сатаны! — опять согласился Мокей Авдеевич.

Уловив наш интерес, Маэстро заговорил громче:

— Образованнейший человек эта Марья Юрьевна. Она знала прошлый век как никто. Однажды мы гуляли с ней по Донскому. Она показывала на могильные плиты так, словно под ними лежали ее знакомые: «Вот здесь Иван Иванович, премилый господин, он спас того-то и облагодетельствовал такого-то, большой любитель света, женщин... А тут Николай Петрович, он женился на княгине такой-то, состоял в родстве с декабристами. А здесь удивительный князь, ничем особенным не отличился, но умер интересно: выпил бокал вина — и готово!». Это нужно слышать! Она была у нас консультантом по эпохе. Специально пригласили, когда ставили «Декабристов». Я пел Рылеева. Труднейшая партия... «Тюрьма мне в честь, не в укоризну...»

— Эк, куда тебя понесло, — перебил Мокей Авдеевич. — Скачешь с пятого на десятое, все равно, что горох молотишь.

— Так вот, Марья Юрьевна Барановская была секретарем по эксгумации... Ну и работка, доложу вам, дежурить при гробах. Переносить с одного кладбища на другое.

— Кого переносили, а кого и нет, — уточнил Мокей Авдеевич.

— Ну, это как водится... От широты душевной коекого с землей сровняли... Как мусор... У нас ведь недолго.

— Наломали дров, накуролесили, а теперь хватились. Дуралеи. Вот когда кощунство-то началось.

— Вскрывали могилы Гоголя, Языкова, Веневитинова...

— Извини! Веневитинов Дмитрий Владимирович покоился в Симоновом монастыре, — снова уточнил Мокей Авдеевич.

— Да, но перстень на его руке был из раскопок Геркуланума! — взорвался Маэстро, не выдержав очередной придирки. — И подарен был Зинаидой Волконской! Это Марья Юрьевна позже передала его в Литературный музей. И она записала, что корни березы обвили сердце поэта. И она сказала, что зубы у него были нетронуты и белы как снег. Я тебе больше открою, и знай, что об этом ты ни от кого не услышишь: Марья Юрьевна поцеловала прах Веневитинова в лоб и мысленно прочитала его стихи.

На сей раз Мокей Авдеевич промолчал, и Маэстро, остывая, продолжил:

— Да-а! Она доверила мне с глазу на глаз. Поразительно! Откуда у двадцатилетнего юноши такой дар предвидения? Не надо бы тебя баловать... Ну да ладно... Прочту. Я не злопамятен, — и Скуратов остановился под деревом, тень которого сетью лежала на снегу.

О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом...

В это время ветер рванул крону, тень ее закачалась под ногами, придавая нашей неподвижности иллюзию движения. Мы как бы зашатались, теряя опору, подвластные заклинанию:

Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных тихих снов
И молви: это сын богов,
Любимец муз и вдохновенья.

Скуратов замолчал и первый вышел из колдовского переплетения теней. Вслед за ним шагнули и мы, с облегчением ощутив твердую почву.

— Но вот дошла очередь до Хомякова, — продолжил Маэстро. — Идеолог славянофильства, интереснейшая личность... Подняли гроб, открыли, а на усопшем целехонькие сапоги... В тридцатые-то годы! А вокруг беспризорники-колонисты, они жили в монастыре. Как они накинута на эти сапоги! Если бы не Марья Юрьевна, разули бы. А пока она отбивала Хомякова, кто-то отрезал от Гоголя кусок сюртука.

— Вроде и берцовую кость прихватил, — добавил Мокей Авдеевич, мертвея от собственных слов.— Вроде Гоголь потом стал являться мерзавцу во сне и требовать кость. И за две недели извел. Безо времени. Покарал похитителя.

Мы шли длинной малолюдной улицей, выходящей на вокзальную площадь, — там, в сиянии огней, клубился холодный неоновый дым. Перед нами скелетными рывками мотало на деревьях перебитые ветви. Повисшие, они напоминали рукокрылые существа — каких-нибудь летучих мышей или вампиров. Огороженная заборами, кирпично-каменно-цементно-бетонная улица казалась бесконечной. И было удивительно, что мы достигли ее

конца. Над последней глухой стеной трещали и хлопали от ветра разноцветные флаги. Флагштоки, раскачиваясь в железных опорах, душераздирающе скрежетали. От этих звуков пробегал мороз по коже, так что не радовали и веселые цвета флагов. Призраки потревоженных писателей подавали голоса, слетаясь на голос Маэстро. Жу-у-у-утко! Холодно-о-о-о!! Тя-я-я-яжко!!! Им вторило оцинкованное дребезжание водосточной трубы. На ней трепетала бумажная бахрома объявлений: «Куплю!», «Продам!», «Сдаю»...

А Мокей Авдеевич предрекал:

— Помяните мое слово, еще и не то будет!

2. Многия страсти

Отражение клавиатурных пальцев пианистки уже завизировано латинскими буквами «Блютнер Лейпциг» на поднятой крышке.

Мокей Авдеевич тоже у рояля. Голова скорбно опущена. Благообразные седины ниспадают на воротник. Взгляд устремлен в неведомое. Он почти отрешен.

Маэстро поднял руку. Начали!

С первой же ноты старец рванулся ввысь, глаза засияли, почтенная борода ожила в светлейшей улыбке, а руки прижались к груди, как бы пытаясь унять бушующий пыл. Озарилась и комната: в лампах словно прибавилось света.

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня, твои лобзанья...

Благо, Маэстро остановил Мокея Авдеевича: они только начинали разучивать романс, иначе я уподобилась бы библейскому Хаму и не засмеялась бы, а просто заржала.

— Детка, ты неправильно поешь, — внушал Маэстро. — Путаешь ударение. Не в крови горит, а в криви. Ты же

знаешь, у Глинки не совпадает ударение с пушкинским, опытные певцы умеют это скрыть.

Полный прилежания, Мокей Авдеевич набирал воздуха в грудь, но... опять срыв и опять:

— В крави, детка, в кра-ви...

Но вот трудная строка позади, а Скуратов по-прежнему недоволен:

— Неужели ты не можешь сказать «уязв»?.. Ласковой, легкой! «Уязвлена»! Потом уже страсти клокочут. Томность, томность! Забудь обо всем, пой нашей гостье.

Меня охватил новый приступ веселья, а Маэстро отрывисто захлопал:

— Нет, нет и еще раз нет!

Он подлетел к Мокею Авдеевичу, выпятил свою широкую, объятую нежностью грудь и, приподнявшись, открыл в немом сладкозвучии рот. Не сводя с него глаз, Мокей Авдеевич довел с придыханием:

— Да, слаще мирра и вина-а-а...

Маэстро отскочил и щелкнул пальцами:

— Не слышу верхнего «фа-а-а-а»! Еще раз. Это же «Песнь песней» царя Соломона в переложении Пушкина. Не бойся утрировать. Ты Гете, ты Шиллер, ты недобитый фашист, наконец! Пой свободно! Зачем портаменто? Зачем, черт возьми?!

Мне показалось, что меня схватили за ухо и вывели вон.

— Что такое портаменто? — спросила я.

— Изгиб, деточка! — бросил Маэстро, не обеспечивая приземленным смыслом таинственный мир, который скрывался за романтическим «портаменто». — Не хмурь бровей! Следи за взглядом. Вниз смотрят одни прохвосты: во-первых, они надеются что-нибудь найти, во-вторых, совесть нечиста.

Они были недосыгаемы в стремлении достичь совершенства. Превыше смеха, осуждения, суетных вопросов: «Зачем?», «Ради чего?». Музы и гении витали над ними, осеняли их благодатью, а все остальное не имело значения.

— Каков старец! — шепчет Маэстро голосом оперного соблазнителя. — Сколько чувств. Это про Мику сказано в Писании: «От юности моей мнози страсти борют меня».

Но тут же обычным шутовым тоном поддразнивает:

— Мика всю жизнь любил двух женщин: Мирру да Иду. Он и поет про них: «Слаще Мирры и вина», а еще: «Ида почиет безмятежно»... Между прочим, Миклуша, заруби себе на носу: пауза дается для отдыха. Когда в прошлый раз ты пел «Средь шумного бала», я видел не мраморные колонны, обнаженные женские плечи, вихрь, колыхание вееров... Понимаешь? «Тебя я увидел» не в Дворянском собрании, а в магазине, в очереди за колбасой. Да-а, представь себе, хоть ты у нас и вегетарианец.

Мокей Авдеевич смеется, открещиваясь от Скуратова, словно от нечистой силы, а место у рояля занимает тенор Шарлахов.

Мокей Авдеевич меж тем направляется к столику, прихватив свой пузатый портфель. Здесь что-то вытаскивает, отвинчивает, раскладывает. Тихо-тихо, чтобы не помешать музыке, которая колышется, льется и уходит далеко-далеко... За ней устремляется голос тенора: «Словно как лебедь по глади прозрачной...» Вместе они плывут по венецианским водам через сумеречные коридоры, и тени мостов растекаются перед ними.

«Мечты плывут, поднимаются по реке, по лестнице взбираются на набережную. Надо остановиться, поговорить с ними, они знают так много, только откуда они пришли — не знают... Почему вы поднимаете руки, вместо того чтобы заключить нас в объятия?» — это Маэстро не

в состоянии удержаться, чтобы не огласить очередную классику.

Вот перерыв, а Мокей Авдеевич еще колдует у столика, он не успел развязать торт.

— Мика, кому я сказал?! Что за непослушание! Откуда купеческие замашки? — говорит Скуратов. Его ноздри давно уловили тропический аромат кофе, конечно же, из термоса, огромного, обшарпанного, на котором уцелело изображение райской птицы с длинным пышным хвостом.

Маэстро представляет себе опаленные зерна, размолотые в мельничке, похожей на музыкальную табакерку. Ему грезятся пальмы и гладкие плечи креолок. Он мысленно ласкает их взором, он слышит ласковый смех.

— А чаю у тебя нет? — спрашивает он.

— Как не быть... Поди, не в тайге. Чего другого, а этого-то добра... Мешка два наташили...

— Сладкий?

На глупости Мокей Авдеевич не отвечает, он продолжает:

— У меня жили два странника, два пилигрима. Один — гитарный деятель, другой — донецкий шахтер. Во-о-от такие кулачища, но душа ангельская... Я наотрез... Какие еще деньги за постой!!! Гратис и все. Но они ни в какую. Спрашивают, может, морду набить обидчику для остратки? И мне тем потрафить. Еле угомонил. Тогда наташили крупы, чаю индийского, сахару. Наливки в придачу. Чай, говорят, пьют отчаянные, до рафинаду охотники. Но я на сахар не падкий, в анекдот не гожусь.

— Какой еще анекдот! Ты у нас Селянинович, из былины.

— Помнишь, про чаехлеба, — опять смеется Мокей Авдеевич, и Маэстро не может отказать себе в удовольствии назвать старца еще и «жучилой» и птицеловом за то, что держит свою улыбку, как птицу в клетке.

— Эх, Володя, твои бы слова да в божьи уши, — вздыхает старец и продолжает: — Тот чаехлеб горемычный не мог напиться хорошего чаю. Дома пьет, сахару жалко, а в гостях столько наложит, что пить противно. Но, Володя, уж не взыщи, сорт — какой Бог послал.

И рука Мокея Авдеевича тянется к термосу поменьше, голубовато-серебристому, с тугой желтой розой на млечном боку.

— А вода родниковая, из Коломен.

На последние слова Маэстро не обращает внимания и, потирая руки, просит пианистку:

— Ниночка, дерните старца за бороду, ну-у-у-у, умоля-я-я-ю вас!

Однако Ниночка смотрит на торт, где засахаренные вишни увязли в рубиновой карамели. Жеманно отмахиваясь, спрашивает:

— Мокей Авдеевич, а нож?

— Ох, мадам, простите! Запомню, остолоп.

От неловкого движения на пол летят пряники, а затем из того же портфеля на свет божий извлекается нож: огромный, разбойничий, с блестящим отточенным лезвием.

— Бутафорский? — спрашивает Ниночка.

— У вас, мадам, одно баловство на уме, — стонет Мокей Авдеевич. — Где это видано, чтоб бутафорским людей резали?..

— Мика, сколько раз я тебе говорил: не шатайся ночами. Вечно с тобой что-нибудь происходит. Мало тебе совдеповской выучки? Ни одного же темного угла не осталось, куда бы тебя не носило.

— Знать бы, где упадешь... — отвечает Мокей Авдеевич. — В самом центре... Куда уж центральной?.. На Арбате, за домом Прянишниковых... Нос к носу... два злодея... отъявленные мерзавцы: «Батюшка, батюшка...» Небось, подумали, что я священник и денег у меня полон портфель.

— Тоже предупреждал! Укороти волосы. Вечно тебя за кого-то принимают. В самом деле, не разберешь: профессор или дворник!

— Ох, Володя! Свинье не до поросят, когда ее смоят. Один злоумышленник приставил нож, а другой — кирпичом по башке... Очнулся — никого, портфель вывернут... И рядом этот нож. Взял хоть его... И зря, нечистый попутал...

В его взгляде столько самоосуждения, что Маэстро разводит руками:

— Что мне с ним делать? Доверчив, доверчив, ну просто как ребенок.

Невозможно не улыбнуться этой сцене.

— Не смейтесь над Микой! — предупреждает Скуратов. — Марья Юрьевна Барановская говорила: «Не смейтесь над Мокеем Авдеевичем. Это не-счаст-ней-ший человек!».

— Да, Марья Юрьевна, светлой памяти, благоволила ко мне, хотя вид у меня был... Не приведи Господь... На море и обратно. «Рубль-двадцать» меня дразнили, имея в виду походку. В ту пору я ходил в калошах, подвязанных веревкой... мерзость запустения одолела.

— А милиция! — напоминает Скуратов. — Мику как-то посадили в кутузку. Да-а. Представьте себе. Остановили прямо на улице: «У вас на одной ноге ботинок черный, на другой — коричневый. Портите вид города, гражданин». Часа три продержали в честь праздника. Да, Миклуша?

— Пожалуй, что и побольше. Бывало, и за бороду драли в отделении. На почве шпиономании. Думали, приклеенная.

— А история со старушкой? — взрывается Скуратов. — Вообразите, человек встречает знакомую... аккуратненькую старушку. Из бывших. Недобитую. И ничего не придумывает, как на радостях обратиться к ней по-французски. Решает сделать приятное. Ну, Мика, соображать же надо! В битком набитом трамвае. В каждой газете: о классовых

врагах, вредителях, двурушниках, а ты парле франсэ! «Букашка» была тотчас же остановлена. В самом центре мирового рабочего движения. А подозрительных под микитки и в КаПЭЗэ. Как еще голова уцелела!

Мокей Авдеевич отмахивается и потихоньку перетягивает портфель к себе поближе. Вздыхая, начинает доставать листы.

То было настоящее шествие нотных знаков. Отогретые термосом, под боком райской птицы, они подобно потревоженной стае обещали не пение, а полет.

3. Тайна Мокея Авдеевича

Все привыкли к тому, что Маэстро не говорит банальностей, но столь неожиданный оборот:

— Петр Ильич писал эту музыку для коронации... Кажется, Александра Третьего?.. Да, его! Иллюминация, царские вензеля и короны, гирлянды разноцветных фонариков, факелы... Понимаешь, что такое исполнять кантату в Грановитой палате? Первым лицам государства?! «Где силы взять?», — спрашивает не кто-нибудь, а юноша-воин, идущий на подвиг. К Богу обращается. Понимаешь? Это только в плохой литературе герои не сомневаются. Ты сейчас не Оля, не студентка консерватории. Ты — Зоя Космодемьянская. Тебя фашисты спрашивают: «Где Сталин?», а ты отвечаешь: «Сталин на своем посту!».

Кивнув на меня, он приказывает:

— Пой нашей гостье. Ее любимого Давыдовского.

Неслыханный, царский подарок! О таком можно только мечтать.

Снова тот же голос, но теперь задевающий не слух, а душу, отрешенно-тихо начинает:

— *Ныне отпускаеши раба твоего, Владыко...*

Старец Симеон обращался к Богу, он окончил земной путь, увидел новорожденного младенца, которому суждено искупить грехи человеческие, и теперь уходил с миром.

Она пела без сопровождения — степенно, торжественно и в то же время бережно, словно боясь растратить себя раньше срока. Ни лампад, ни церковного полумрака, ни мерцающих позолотой икон. Но все это вставало за ее голосом, чудился даже хор: тонкие осторожные голоса, молитвенно прозрачные, а сквозь них — слабый прощальный звон... Последнее трепетание. Тихо. Свеча угасает...

В чем же загадка? Почему умирающий старец удавался Оле, а юноша-воин — нет?

Загадка? Только не для Скуратова.

— Не надо логики, — призывает он. — «Взгляни с слезой благоговенья...»

И, оборвав декламацию, спрашивает:

— Неужели тысячи поколений канули в вечность, не оставив следа? Что-то же передали нам христиане-предки. Некие атомы святости, веры...

Пианистка Ниночка тут как тут с неизменным кокетством вставляет:

— Владимир Дементьевич, а есть ли на свете что-нибудь, чего вы не знаете?

— Есть! — восклицает Маэстро. — Я не знаю, где Мика. Где этот негодяй! Без него класс не класс. Мы собирались разучивать «Растворил я окно». Я же чувствую, он лежит больной, без присмотра, воды подать некому. Он же, балбес, не признает ни лекарств, ни врачей, ни цирюльников.

— Да он здоров, как бык, — убеждает Ниночка, широко раскрывая глаза и сразу прикрывая их кукольными веками. — В прошлое воскресенье у нас на даче деревья выворачивал с корнем.

— Это Мика умеет, — соглашается Маэстро. — Когда, светлой памяти, Барановский восстанавливал Крутицкое подворье, Мика, представьте себе, таскал ему кирпичи со всей Москвы. Как снесут памятник архитектуры, Миклуша тут как тут... А старинный кирпич — это вам не теперешний. Ни много, ни мало — восемь килограммов. На себе возил сей государственный прах. Можете представить, как общественное остроумие поддерживало его на всех перевальных пунктах... Однажды припер машину консолей XVII в., а какой-то проходимец позарился и сдал их в утиль. А в другой раз...

Маэстро принимает удобную позу, предвкушая удовольствие, которое доставит ему рассказ.

— Однажды в районе Арбата, на Собачьей площадке, рушили старинный особняк, и Мика явился за маркированными кирпичами. Как водится, на ночь глядя. Тут его заприметил дворник... «Ага-а-а... Подозрительная темная личность. На развалинах. Видать, кладоискатель. Али буржуй недобитый, кровопивец-наследник, отщепенец, вражина, шпион. Ну, я те покажу, как обирать советскую власть». Что в таких случаях делает средний российский обыватель?

— Стучит в милицию, — подсказывает Ниночка.

— Правильно. Через несколько минут бедного Мику сцапали. А потом целую ночь он доказывал, что ни о каком кладе знать не знает и никакого плана дома у него нет как нет. Ему, конечно, не верят: уж очень подозрительная борода... Но, увы... Доказательств нет. Отпустили. Кажется, взяли подписку о невыезде...

Маэстро улыбается, ему приятно смотреть на молодые лица слушательниц. Их и на свете не было, когда рушили Собачью площадку. А он до сих пор слышит глухие удары чугунной бабы, которой громили стены. Роспись, мозаика, кирпичная кладка — все пошло прахом. Как дрова, коло-

ли кружевную деревянную резьбу, диковинные водолеи... Львиная голова с торчащими прутьями лежала у ног Скуратова. Бум... бум... бум... Раскачивание бабы напоминало движение колокола, какого-нибудь «Сысоя» в две тысячи пудов. Но звук!.. Особенно варварский, когда Скуратов думал о том, что у Симеона Столпника, церкви неподалеку, тоже стоит экскаватор... Ждет... Теперь-то известно: если бы не Петр Дмитриевич Барановский с помощниками... Кто-то из них залез в ковш — не дал работать, кто-то кинулся в Министерство культуры выбивать охранную грамоту. Прибыла власть, сам глав-бум-бред-моссвета, махнул на маковки, венчавшие когда-то крепостную актрису Жемчугову с сиятельным Шереметевым, и процедил: «Раздолбали бы к черту... Все церемонитесь. Пару дней поорут и заткнутся». Церковь молчала. С тех пор, как в ней заочно отпели Шаляпина, здесь не служили. И если бы не Барановский, не красоваться Столпнику, нерукотворному даже с отпиленными крестами, как деревцу, у которого отщипнуты верхние почки.

И мысли о Барановском возвращают Маэстро к началу рассказа.

— Как раз в ту пору я встретил Миклушу в Крутицах. Щека подвязана, нечесаный, драный, собака к ногам жмет-ся... А мой братец, шутник страшный, решил разыграть помощников Барановского. А кто ему помогал? Школьники, студенты, рабочие... Все добровольцы, люди наивные, романтики... Вот братец и пристал к Мике: «Спустись-де в подвал и вденься в цепи, а я приведу ребят и напугаю живым Аввакумом». Мика было согласился, направился в Аввакумову темницу, но Марья Юрьевна Барановская, земля ей пухом, сказала: «Не обижайте Мокея Авдеевича. Это не-счаст-ней-ший человек!».

Скуратов решительно поднимается. Подходя к вешалке, говорит:

— Антракт закончен. Нина Михайловна, пройдите еще раз Чайковского. Зингершуле под вашу ответственность. Главное — вера! Несокрушимая. Вера старца Симеона. Я отлучаюсь на час. Если появится Мика, скажете, что поехал к нему.

— Мокей Авдеевич не появится, — объявляет Ниночка, выждав, когда Скуратов отойдет на приличное расстояние. Ее личико непроницаемо, тем поразительнее то, что она сказала.

— Как это не появится? — спрашивает Оля. — Почему?

— Потому, — отвечает Ниночка и томно возводит глаза.

— Опять что-нибудь случилось? — допытывается Оля.

— Мокей Авдеевич сделал мне предложение.

— Че-го? — спрашивает Оля, пугаясь собственного грубого голоса.

— Мокей Авдеевич сделал мне предложение, — повторяет Ниночка и, отчуждая взгляд от непонятливой Оли, напоминает: «В крови горит огонь желанья...»

Оля переламывается пополам и от смеха начинает трястись.

Я тоже удивлена, но скорее собственной тупости, как человек, проглядевший что-то важное. Образ влюбленного Мокея Авдеевича не укладывается в голове. Он связан с музыкой, родниковой водой, чем угодно, только не с Ниночкой. Вспомнилось брошенное как-то Маэстро: «Если бы я был режиссером, клянусь, на роль идеальных влюбленных приглашал бы окончательных идиотов. Да-а! С ярко выраженными признаками отупения. Вы когда-нибудь наблюдали за парочкой, млеющей в метро, электричке? Зрелище поучительное. Ни проблеска мысли на лицах! Куда все девается?.. Дебилизация полная. Можете считать меня мизантропом, но я утверждаю: лишь кретины, и

только они, способны изображать настоящих влюбленных». Не-ет, такой образ не приложим к Мокею Авдеевичу.

— Думаете, я повод дала? — на всякий случай интересуется Ниночка. — Ничего подобного. Мокей Авдеевич добровольно таскал мне родниковую воду, по собственному желанию работал на даче и в свое удовольствие дарил мне цветы.

Исполненная благочестия, она обращает взгляд к нотам:

— Ну что, Чайковского?

— Бедный Мокей Авдеевич, — отзывается Оля.

Бедный? Ниночка так не считает. Мало ли что втемяшится в голову: если не в деды, то в отцы Мокей Авдеевич ей точно годится. Да и не отказывала она: «Мама выдала «атанде»». Что-то правдоподобное.

Всегда улыбчиво-одинаковая, кокетливо-томная Ниночка не принимает на свою совесть одиночество и тоску Мокея Авдеевича. Она решается на последнее откровение:

— Да ему аккомпаниаторша нужна! Вот! Чтобы с утра до вечера петь романсы... Всякие... Со старой дурацкой орфографией... До умопомрачения голосить!

И Ниночка хлопает крышкой рояля, не зная, что еще сделать, как еще наказать сумасбродного старца. Но ее доводы не убеждают.

— Ну, нет... — откликается Оля. — Он нарочно прикинулся. Для твоего удовольствия. Человеку искусства плохо без поклонения. Посватался, чтобы тебе угодить; он же все время твердит: «Доброта — это гениальность».

Ниночка покусывает губы, не позволяя себе фыркнуть. И вдруг, потрянув кудрями, беспечная, лукавая и какая-то бесшабашно вольная поднимает крышку рояля. В честь отвергнутой любви Мокея Авдеевича танго. «Мода на короля Умберто!» Пальцы ее мелькают, их становится намного больше, чем положено пианистке. Оля тоже начинает по-

качиваться и поводить плечами. Обольстительный призрак Умберто манит ее. Касаясь послушной руки, поднимает со стула. С закрытыми глазами она танцует. Белые одежды обвивают ее. Она — фарфоровая статуэтка, одинокая примадонна, Олечка де грациозо, хрустальная флейта. Но фантомный король не признает своеволия. Чем бравурнее музыка, тем ощутимей его присутствие. Тонкий яд его власти преобразует движения, выворачивает наизнанку. Оля уже не легкая, плавная и скользящая. В ритме заведенной игрушки дубасит по клавишам Ниночка. Подпрыгивает на сиденье. Что-то подталкивает и меня к сумасшедшему дерганью. Ходуном ходит пол, проваливается под ногами. Вот-вот послышится стон гавайской гитары.

В разгар аргентинистого веселья появляется Маэстро.

Радостно возбужденный, он не обращает внимания на шикарную жизнь питомиц. Разве с Микой соскучишься? Молодая овчарка Лушка — вот кто героиня нового рассказа, прошу любить и жаловать. Красавица, умница, родословная, как у английской королевы. Само благородство и элегантность...

— Невероятно, — лепечет Ниночка.

— Именно, — кивает Маэстро и говорит о сердобольной полковнице-хозяйке семи псов и одиннадцати кошек, которая навязала Мике четвероногую Лушку. — Наш старец поклялся быть образцовым другом животных, пока она не пристроит собаку в надежные руки. Мика принял бразды и сразу же собрался с Лушкой гулять. Но она очень резвая... Суший бес... Рванулась, Мика попробовал удержаться за дверь и, конечно, захлопнул. Что вы смеетесь? Что тут веселого? Дух в квартире ужасный, пахнет псиной. Естественно, Мика решил проветрить. Открыл дверь...

— Она же захлопнулась, — напомнила Ниночка.

— А ее взломали! — отрезал Маэстро. (Он далеко, его овекает сквозняк Микиной квартиры.) — А зверя на это

время старец привязал под окном. Лушка завывала. Прямо как собака Баскервилей. Но это же пытка. Сбежались общественники. Мике почудилось, что они при вилах и топорах. Зверя водворили обратно и пожаловались патронессе. Мадам примчалась и обругала старца живодером. Теперь бедняга не волен отлучиться, пока не врежут замок. Лушка грызет его шляпу, уже съела подкладку, а сам Мика охвачен идеей... Он жаждет лавров благодетителя. Да-а. Спит и видит себя во главе приюта четвероногих. — И без перехода замечает: — Что-то сегодня у нас не густо. Не понимаю, куда подевался народ?

— А кого вы ждете, Владимир Дементьевич? — дерзко спрашивает Ниночка. — Шарлахову еще не время. Остальным не до пения, будни заели.

Маэстро возводит глаза к портрету Бетховена. О чем он переговорил с Людвигом ван, неизвестно. Через минуту Маэстро таинственно вопрошает:

— А вы знаете, кто прислал Людвигу нотную запись ростовского колокольного звона? Она пригодилась в «Аппассионате», — и, улыбаясь, как заговорщик, шепотом сообщает: — Это останется нашей с ним тайной.

4. Время созвездия Водолея

— Мой дед Федор Федорович квартировал на Тверской, в старинном особняке... от него камня на камне не осталось, потом перебрался на Кудринку... угол Садовой и Качалова, этот дом и сейчас стоит, как раз напротив особняка нашего Торквемады... Естественно, злодей был тогда в фаворе, творил что хотел, но мы-то ничего не ведали. А впрочем, ведай, не ведай, *тиран* уж повязал по рукам и ногам. Дед служил себе в театре, на хорошем счету, главный режиссер и так далее. Естественно, избытком времени

не располагал, а для души холил кота. Да-а, роскошного, огромного, с дымчатой шерстью... глаза с поволокой. Спокойствие, благородство, добрый нрав — все при нем. Дед величал его «батьюшка-кот», и никому даже гладить не позволял. Слышишь, детка, я тебе говорю... Ведь ты у нас известный друг животных.

Мокей Авдеевич отворачивается. Привычка Скуратова шутить заставляет его ждать подвоха. Печален Мокей Авдеевич. Ниночкин отказ не прошел даром: под глазами у старца тени, лицо осунулось, борода и та потускнела. Лишь осанка прежняя, даже недоброжелатель не назвал бы его согбенным.

— Ну вот... Однажды является к дедушке бравый такой молодец, скрипя новенькой портупеей, — продолжает Маэстро, стараясь изо всех сил отвлечь Мокея Авдеевича. — «У вас-де кот, а у нас — кошечка. Нельзя ли их сосватать? Будьте уверены, товарищ, вернется в целостности и сохранности...» Добавление отнюдь не праздное. Тайны тайнами, а слухи о нравах злодея просачивались на поверхность, а тут еще за кулисами, из одного театра в другой, кочевала история о некой актрисе, которая имела неосторожность, и так далее... Словом, на randevу не оправдала надежд, паук выпустил ее целехонькой, даже как галантный кавалер проводил к машине и преподнес на прощание букет роз: «А это вам на могилу...».

— Легенда, — мрачно говорит Мокей Авдеевич. — Госбез — сборище скупердяев. Снегу зимой не разживешься что на Соловках, что на Колыме.

— Детка, ты не умеешь слушать. Не перебивай! Кстати, любимица публики вскоре исчезла и обнаружилась спустя много лет, когда начали выпускать... Так вот, мой дед Федор Федорович пришел в страшное волнение, словно речь шла о настоящих матримониальных делах, словно злодей покушается на него, на его семью, внука... «Батьюшка-кот

ручной», — и то была чистая правда. «Порог не переступает. Если угодно, извольте, вашу кошечку к нам...» Молодец щелкнул каблуками и удалился, а дед провел пренеприятнейшие пятнадцать минут. По тем-то временам. Он уже мысленно собирал вещи... Не пугайся, Миклуша, ты и так бледный, все закончится благополучно. Кошечку принесли и оставили с кавалером. Понравились ли они друг другу, не знаю, а вот я... устал ждать, когда ты выйдешь к роялю. Прошу!

— Что-то неважно себя чувствую... — жалуется Мокей Авдеевич. — Недуги одолели... Преарапское состояние. Пессимизм, будь он трижды неладен.

— Что? — грозно переспрашивает Маэстро и, отойдя на шаг, разгневанный указывает на Мокея Авдеевича: — «Как же смел ты, вор, назваться государем?!»

— «Я не ворон, — возразил Мокей Авдеевич тоже словами пушкинского Пугачева, — я вороненок, а ворон-то еще летает».

— Не желаю слушать! От тебя веет обаянием порока, — и, обратясь ко мне, серьезно говорит: — Вы знаете, старец сладострастен, как павиан.

Шутка выводит Мокея Авдеевича из себя. Он бросает книгу, которую держал, вскакивает и с вызовом обещает:

— Погодите! Я заставлю вас заплакать!

И первые строки романса действительно звучат очень грустно.

Растворил я окно,
Стало душно невмочь...

Жалостливый голосок едва слышен. Еще минута, и он затихнет. Неожиданно для самой себя я помогла. Вдвоем мы прикончили романс, и Мокей Авдеевич с удивлением посмотрел на меня. Что таил его взгляд, я не поняла, но позднее его пристальный взгляд мне не раз припоминался.

Однако Маэстро был недоволен.

— Князь Константин Романов выше меня на целых две головы... Естественно, перед раскрытым окном он опустился на колени. Ничего странного. Петр Ильич и другие тексты К. Р. положил на музыку. Мелодичность стиха — это знаете... не каждому дано... Ученик и покровитель Фета, кстати... Нынешние ставят К. Р. в вину: «Эпигон!», «Не продвинул поэзию вперед!..» Может, не продвинул, но и не задвинул тоже.

— Его счастье, что сподобился умереть в пятнадцатом, а то бы шлепнули, за милую душу, как всех великих князей, и не посмотрели бы, что протезировал Демьяну Бедному, — отзывается Мокей Авдеевич.

— Чужбина, ночь, соловей — вот о чем ты должен думать, — раздражается Маэстро. — Что у тебя в голове?! Что ты за несносный человек?!

И подгоняет ученика, напоминая текст:

— Ну, «Где родной соловей...»

— «Песнь родную поет», — подхватывает Мокей Авдеевич под аккомпанемент Нюночки.

А Маэстро, дирижируя, строго замечает:

— Власть — это способ распределения, — относя едкую интонацию Мокея Авдеевича на предмет особого разговора.

— И подавления, — не уступает Мокей Авдеевич.

— «Песнь родную поет», — настаивает Маэстро.

— А хочешь, возьму шаляпинскую ноту?

— Не воображай! — осаживает Маэстро. — Когда Иоанн Креститель стоял рядом с Христом, ему тоже мнилось, будто и он такой же человек. Не расслабляйся, держи ребра! Вообрази себя великим князем, отпрыском царской семьи.

Мокей Авдеевич со вздохом поднимает глаза, но Маэстро и тут добирается:

— Вот и я тоже... пел в «Князе Игоре»: «От Божья суда не уйдешь никуда» и указывал пальцем вверх, а режиссер сказал: «Мой друг, держите руку при себе, все знают, что Бог

там», — и сердито заканчивает: — Мика, ты не понимаешь элементарной разницы между завершенным и совершенным.

— А ты не понимаешь, — упрямо говорит Мокей Авдеевич, — что Христос был КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОМ.

Маэстро уставился на него, но, чтобы не тронуться разумом, обаятельно улыбнулся. Широко и сценически.

Желание взять шаляпинскую ноту занозой сидело в Мокее Авдеевиче. Именно сейчас, отвергнутый Ниночкой, он мог так потрянуть, что застонал бы рояль вместе со своим «Блютнер Лейпциг». Но Мокей Авдеевич говорит:

— Прошлое — сплошное смертоубийство, а будущее в тумане.

— Детка, что ты сердишься? Разве я спорю? Прочти Платона. У него все сказано. Отдай Платона на отзыв Томасу Мору или наоборот, и будет тридцать седьмой год. Увы, Миклуша, власть — это способ распределения.

— И подавления, — твердит свое Мокей Авдеевич.

— Когда у власти задерживаются профессиональные революционеры-подпольщики... Эффект узкой специализации. Это все равно что постоянно лечиться у хирурга: лучшее средство от перхоти — гильотина. Так и мы были заморожены отсечением... Я отлично помню, как в газетах, календарях печатали: 20-й год революции, 25-й, 30-й... Море разлитое крови, безразмерная революция, а до коммунизма так и не добрались. Да за эту... с позволения сказать, фантазию, черт возьми, все человечество может перед Россией шапку снять. Это только народ не от мира сего способен позволить себе такое... Да вот еще недавно... Все же помнят... пели: «Революция продолжается...» А на съезде говорили о какой-то горстке революционеров, которые идут узкой кремнистой тропой.

— Интересно было бы взглянуть на этих канатоходцев, когда они набивали кубышки, — отозвался Мокей Авдеевич. — Шельмовали напропалую. Совдепия и утопия... Бред.

— Век гуманизма кончился. Звезды на небе и те иные! Обозначилось созвездие Водолея, которое никогда не было видно. Давай порадуемся и поплачем. Еще одной иллюзией меньше.

— Значит, до четверга? — в дверях спрашивает Ниночка, оделяя прощальной улыбкой всех поровну, не забывая и Людвиг ван Бетховена.

— Терпеть не могу эти фальшивые улыбки! — взрывается Мокей Авдеевич, давая, наконец, выход своему самолюбию. Но Ниночка его не слышит. Она далеко. Возле бывшего катафалка. — Эти ужимки, гримасы... Постоянно она куда-то торопится. Тут совместительство, там совместительство... Мечется, как в капкане. Тьфу!

— Аморозе дольче, Мика, — пробует унять его Маэстро на своем музыкальном языке, давшем жизнь вселенскому портаменто.

Однако старец во власти ее — пошлой действительности. Уже и баритон Василий Васильевич по-житейски советует ему плюнуть, потому что отрицательные эмоции — что хорошего? Да, сегодня уже у Мокея Авдеевича не было полетного звука.

— А Ниночка что ж... — мудро заканчивает Василий Васильевич, — придет-уйдет, а искусство вечно, никогда не предаст.

— Ладно... Чего уж там... Мелочиться... Я хочу расстаться с Ниной Михайловной по-хорошему, — решает Мокей Авдеевич. — Дам прощальный ужин. Гратис.

— Не выдумывай! — сердится Маэстро. — Богач отыскался. Когда ты возьмешься за ум?

— Поди, твоих умников и без меня, грешного, пруд пруди. Заполонили.

— Ты же, — смеется Маэстро, — водил ее на вечер: «Кому за сто тридцать»? Водил. Она познакомилась там со своим нынешним кабальеро? Познакомилась...

Мокей Авдеевич предпочитает не вспоминать. Он бы и колкость пропустил мимо ушей, но чересчур ядовита.

— Может, и не сто тридцать, а двести... Все мои...

— Миклуша, ты говоришь со мной, как с дикарем. Я же не зулус, все понимаю.

— Чужого не заедал. Своего вкусил. С лихвой! Восемнадцать лет от звонка до звонка. И впереди еще, сколько хлебать, неизвестно...

— Ну, будет тебе. Ты ведь у нас добрый, тактичный. Дальше Евгении Марковны не посылаешь.

— А чего ж задираешься?! И без тебя прокаркают... По тебе, так седой — и уже геронт.

Маэстро выпрямляется, его осеняет.

— Господи! Как же я раньше... Самсон — вот кем ты должен заняться. У тебя есть клавиры «Самсона и Далилы»?

Лицо Мокея Авдеевича теплеет.

— Могучий Самсон, — вдохновляется Маэстро, — обречен вращать мельничный жернов. Его лишили длинных волос, ему выкололи глаза. Женское предательство обуздало героя. Он напоминает укрощенного льва.

Мокею Авдеевичу идея определенно нравится.

— Всем шампанского! — кричит Маэстро, садясь за рояль. — Детка, ты чересчур склонен к интиму. Это роскошь в наш сокрушительный век. Светлой памяти, Марья Юрьевна Барановская говаривала: «Учитесь отходчивости у природы». А уж она-то находилась в Бутырку, набедовала там в очередях.

5. Смерть Германна

О каторге Мокей Авдеевич не любил вспоминать, заговаривал лишь о доносчике, посадившем его. И обязательно добавлял с непонятной виной: «Я еще жив, а он давно на

том свете». О ком он жалел? Злодей упек не одного Мокея Авдеевича.

Нужно слышать, как старец описывал погубителя. Ни во внешности не отказывал: «Огромные черные глаза, горящие, огненные», ни в голосе: «О, это замечательный драматический тенор, редкого тембра. Настоящий Германн». А чувство собственного достоинства? «Это король, это премьер, земли под собой не чуял». Припоминал и другое: «Любил заниматься трикотажем. Вязал себе сам. Жилеты, душегрейки, жакеты — все своими руками».

Наивный слушатель мог склониться к кощунственной мысли: доносчик — самое светлое из того, что осталось у рассказчика от тех лет.

Мокей Авдеевич проходил сквозь них безмолвно, но случайно оброненные слова: «лесоповал», «Архангельская губерния» — создавали образ силача, бредущего через тайгу. Обобранный жизнью, выбирался он на равнину и шурился от скудного света, который брезжил над ней. Что-то там впереди?.. Бросались в глаза его руки — необыкновенные, с длинными тонкими пальцами — настоящие музыкальные; и удивляло не то, что он сам уцелел, а что умудрился сохранить такие руки.

А потом Мокей Авдеевич переносил свой рассказ на волю, в театр. Он появлялся там днем. Репетировали «Пиковую даму». Мокей Авдеевич пробирался за кулисы. Знакомый далекий запах. И одинокая лампа в пустом зале. Возле режиссерского столика. Как часто он вспоминал ее, глядя на луч прожектора в зоне. Мокей Авдеевич пробовал слушать, но не мог. Он скорее чувствовал, чем понимал: Германн сегодня не в голосе, еле берет коронные верха.

Мокей Авдеевич ждал. И перерыв наступал. Секунда, другая, третья... Сейчас Германн пройдет мимо. Белый парик, белые полосы на мундире, брюшко под офицерскими рейтузами. И те же глаза — огненные, испепеляющие. Они

смотрят на тебя, они видят насквозь: кто ты, что ты, чем живешь, каким воздухом дышишь. И вдруг... Боже мой! Что случилось? Быстрее «Скорую»... Кто этот человек?!

Разве мог знать Германн, что призрак старой графини, который только что являлся ему, — милый пустяк по сравнению с тем, что ожидало его?! На него вдруг вышел страшный лесной бородач, лохматый, рваный... Он разлепил губы и сказал: «Я вернулся, Георгий... Как ты на это посмотришь?..» И Германн узнал его. «Разрыв сердца», — заключал Мокей Авдеевич.

— Радоваться надо, а ты скорбишь, — внушал Скуратов. — Одной сволочью меньше... Жаль, что раньше его черт не прибрал. Да пусть он сгорит! Пусть на том свете не выходит из камеры Торквемады.

— Пусть-то пусть, а времечко не вернуть. Ищи ветра в поле...

— Забуди! — бросает Скуратов, хотя знает, что это невозможно. Как забыть погубленные восемнадцать лет?

Меркнет день, обещая хорошее завтра. Скорбный профиль со вздернутой бородой недвижим на фоне окна. За ним образ вечера набирает розовый цвет. На горизонте краски заката, расслаиваясь, оседают наподобие химической жидкости, давая эффект спектральной шкалы. Отстоявшийся нижний слой на глазах темнеет и запекается. Лазурь неба над ним исчезает. Для космической стороны человеческой драмы трудно представить более выразительную картину.

— Все, Володя, шабаш! Хорошего понемножку. Пошатался и будет. За водой родниковой больше я не ходок.

— И правильно! Нельзя тебе таскать тяжести.

— Разве это тяжести, — усмехается Мокей Авдеевич. — На каторге я бревна связками брал.

— Больше трансцендентного, детка! Ты слишком печален. Опять тебя за кого-то приняли? Лучше признайся, где пуговицы потерял?

— Эх, Володя, хороший ты человек, но беда — зубо-скалить любишь. Просто хлебом не корми. Язык, что ли, чешется!

Маэстро не принимает упрёка.

— «Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, — декламирует он, — ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клоч бороды». А знаете, однажды Мику просили позировать в костюме Пугачева. Бараний тулуп, малиновое полукафтанье...

— Ну, зарпортовался... Пошел сочинительством про-бавляться. Эх ты, Скотт Вальтер...

— Мика, ты просто невыносим. Что ты бросаешься на людей? Если тебя опять за кого-то приняли, так и скажи. Опять на тебя напали? Говори! На водопое что-то приключилось?

Старец молчит, не все расскажешь даже лучшему другу, но и утаить нет возможности, вообразит бог вещь что...

6. Лебедь

На сей раз случилось так, что Мокей Авдеевич сам сунулся, куда не просят.

Известно, в последнее время он зачастил по воду в далекое место, где можно послушать птиц. Сойдя с электрички, пошел к оврагу, там был родник. Здесь подставил свой здоровенный бидон и, пока посудина наполнялась, смотрел на солнце: лучами оно протопило лунку в кроне сосны и грело ее нежно светящийся ствол. Деревянно поскрипывали березы. Звук воды перекликался с голосами синиц, дробил иногда дятел, а солнце плыло, плавилось, лучилось и ослепляло белесым утренним светом.

Мокей Авдеевич привык к тому, что в эту пору никто не встречался, но, поднимаясь обратно, неожиданно

уткнулся в фургон с надписью «Хлеб». Бросились в глаза даже карамельные обертки возле колес.

Мокей Авдеевич прошел мимо, потом что-то повело его вернуться, он заглянул в окошко кабины.

«ЛЕБЕДЬ», — первое, что пришло ему в голову. Но, взглядевшись, сообразил: нагое тело. «Убитая», — подумал он. И вдруг обомлел: «Да это же грех содомский! Господи, до чего изошрились!»

Потрясение его было сложным, с изрядной долей растерянности. Ведь самому Мокею Авдеевичу было заказано обыкновенное рыцарское поклонение. Ему даже вздыхать запретили. И кто?.. «Кабальеро», как выразился Скуратов. И за подобного субъекта Ниночка не то что собралась замуж, а... как бы сказать... соблазнилась жизнью метрессы. Этот солдафон и запретил Мокею Авдеевичу в о з н и к а т ь. Ему! У которого и пороков-то настоящих нет, лишь одни недостатки.

— И долго ты наблюдал эту сексораму? — спрашивает Маэстро, заставая старца врасплох. — Я-то думал... Разве ты не помнишь, какой конфуз был на «Руслане и Людмиле»?.. Когда в декорациях Головы застали парочку эротоманов.

Старец, задетый тем, что его впечатления отброшены, а речь о каких-то эротоманах, нарочно говорит, что не помнит.

— Как же так! — настаивает Маэстро. — Шум на весь театр, скандал...

— Не помню! — отрезает Мокей Авдеевич, не желая обсуждать чужую историю.

Маэстро, наконец, оценивает положение:

— А я-то сочувствовал ему, играл марш, обещал клавир... Не Самсон ты вовсе... Бабочка — вот ты кто. Капустница. Да-а.

Мокей Авдеевич согласен на все, пусть его порезвится, лишь бы отстал. Но не тут-то было, Скуратова уже понесло:

— Немыслимые сочетания тонов, пыльца... Я стоял на пороге, когда она угодила в сети. Один за другим два укола ядовитой бандитки. Я готов был убить Василису. Растоптать! Ну, паука, господи, кого же еще... У нас на даче. Она от ужаса съежилась. А я взял, да и помиловал коварную. Она наутек, как циркачка по канату. Скрывалась под крышей ровно два часа. Пила валерьянку, делала примочки... Да-а. Потом, ближе к вечеру, — Василиса на троне, припудренная, подтянутая.

И Скуратов, по-прежнему изумленный, — два часа, всего два часа! на восстановление сил — опять призывает:

— Забудь!

— Интересно! Она что, тебе метрику предъявляла? Может, не Василиса, а Василис?

— Предъявляла! У пауков так заведено: прежде любовь, а потом дамы поедают своих кавалеров. Если не хочешь быть съеденным, забудь!

7. С чужим паспортом

Сначала возник легендарный бидон, и я вспомнила взгляд полный значения, когда мы вместе приканчивали романс. Тут же к моим ногам грохнулся мешок, обдало едкой пылью.

— За ваше пьяниссимо! — возгласил Мокей Авдеевич.

— Пьяниссимо? — повторила я, пытаюсь что-то понять.

А рядом с бидоном лег сноп цветов. Похоже, старец воскрес.

Он стоял позади своих даров, в узком коридорчике, между шкафом и стеной, на которой дребезжали электрические счетчики.

— Эк, их разбирает! Тарахтят, оглашенные! — Мокей Авдеевич метнул на них взгляд, после чего счетчики угомонились, а потом... опять принялись за свое.

— А вы представьте, что это цикады, — я ткнула в стенку с августовским календарем.

— Куда высыпать? — деловым голосом спросил Мокей Авдеевич, нагибаясь над мешком и скручивая ему шею.

— А что там?

— Картошка. Отборная. Два пуда. С базара. Где кладовка?

— Куда ж так много?! Пустите! Вам тяжело.

Он рванул мешок, махом взвалил на спину.

— Ну, хорошо, — не отставала я, — картошка — ладно, но зачем воду?.. Разве нельзя без родниковой воды?

Мокей Авдеевич спокойно отстранил меня и, направляясь в кухню, буркнул:

— Не хлебом единым...

Я подошла к бидону, откинула крышку. Внутри были книги. Жизнь подпрыгнула, перевернулась и встала вниз головой.

Как будто все было по-прежнему: Мокей Авдеевич возился на кухне, счетчики тарахтели, предполагаемые цикады скрипели в желтом пейзаже. Но... пьяниссимо задавало тон. Невьясненное пьяниссимо ждало своего часа.

— Истаивание... — мечтательно пояснил Мокей Авдеевич. — Сведение на нет последней ноты...

И, приподнявшись на цыпочки, сам пожелал истаять.

— Тихо, как можно тише. Или это есть, или его нет. Это природа. Надеюсь, и фортиссимо у вас на высоте?

Всю жизнь я стремилась найти легкость в словах, но, кроме неприятностей, ничего не добилась. Орфические забавы и жизнь не ладят друг с другом: выбирая одно, теряешь другое, в угоду истине жертвуешь чувством. А тут за какое-то пьяниссимо, которому никогда не училась,

получаю многомесячное пособие натурой, доставленное на дом с дорогой душой!

Готовый к подвигам, старец ждал. Каким франтом выглядел он! Черный костюм с иголки. Краешек малинового платка в нагрудном кармане.

— У вас при себе документы? — спросила я, переводя взгляд на обувь.

Старец похлопал себя по груди и вынул проездной билет.

Я стояла не шевелясь. Не потому, что билет ни при чем, а вагон, в который надумала его пригласить, назывался резиденцией аграрной геронтократии. Я остолбенела потому, что на левой ноге Мокея Авдеевича красовалась правая туфля, на правой — левая. Что было на остальных ногах, не знаю.

— Так удобней, мадам, — кратко пояснил старец, хотя я ни о чем не спросила.

Жизнь опять подскочила и в воздухе скорчила рожу. А я должна была похлопать ее по плечу.

На моем столе лежали бумаги Никитского ботанического сада. В них была надобность для моей новой безделицы. Я открыла одну из папок.

— Держите! — сказала. — Заграничный паспорт господина Базарова. Действительного статского советника. Директора императорского Никитского сада. Выдан ровно сто лет тому назад. Пошли!

Мокей Авдеевич не без любопытства взял документик. Внимательнейшим образом — само умиление и почтительность — начал изучать, восхищаясь почерком, качеством бумаги, отсутствием пункта «Национальность» и загадочной женой Клавдией, которая была вписана без отчества рядом со своим дражайшим в графе «Предъявитель сего». Фотография не предусматривалась, что также приятно удивило старца. Он разбирал оттиски печатей, водяные

знаки, подписи, как будто впереди была целая жизнь, и никто никуда не спешил.

— Нет слов! — молвил старец. — Подарок судьбы.

И с опаской поинтересовался:

— А не посадят?

— Разве сейчас сажают?

— А кем же переполнены тюрьмы?..

Я начинала понимать Маэстро. В самую неподходящую минуту старец готов был вклеить вопрос, не заботясь о том, что у вас в кармане пригласительный билет от Главного Иерарха, и что он прожигает вам бок своей пламенной повесткой дня.

— Или вы идете, «советник Базаров», или остаетесь с бидоном книг!

Светский человек, Мокей Авдеевич, рвался в люди, но, прежде чем пуститься лукавой стезей действительного статского, он пожелал выяснить, что связывает меня с Главным Иерархом?

Я успокоила старца, не поскупясь на похвалу влиятельному соотечественнику: благоволит к людям искусства, меня призвал в свое ведомство после публикации в «Литературной газете», меценат, добрый гений...

— А что же столь достойная особа не вызволила из вертепа?.. Небось, всю жизнь в коммуналке?..

Деловая дотошность Мокея Авдеевича была не приложима к образу Иерарха, у которого голова шла кругом от своих подданных. Бывало, и Главный терялся, если в поле его зрения попадало что-то не то. Например, я. Действительно, в «бессмертные» я не годилась, а на литераторов по его ведомству разрядки не было, референты, специалисты, консультанты, дамы, господа уже имелись. Оставалось «прочее» — вакантное место на общественных началах, как раз для таких, как я. Это в сто раз меньше, чем «камер-юнкер», но ведь и Главный — не царь, балов в тереме не давал.

Через час мы были у непробиваемых стен терема, где собирался конклав. По случаю большого созыва «бессмертные» валили валом. Действительный статский советник Базаров мог спать спокойно: у врат никто не дежурил. В общей толпе мы и без него сошли за действительных.

Да-а-а, внутреннее убранство произвело на Мокея Авдеевича впечатление. Расписные потолки, окна-бойницы, портреты царей... Мы тихо сошли в ряды. Чувство собственного достоинства не изменило старцу даже при взгляде на лик Алексея Михайловича. А уж с этим-то государем он мог почитаться. Ведь Мокей Авдеевич, хоть и гораздо позднее, жил в царском Измайлове, поблизости от знаменитого Острова, и в детстве чуть не утонул в самодержавных прудах.

Тут на трибуну взошел Главный Иерарх.

— Какой бас, — зашептал Мокей Авдеевич. — Пировов!.. Вот это я понимаю. Тембральный. Но до чего ж дошло! Рыбы в озерах не стало. Уже в открытую говорят. Куда ж она подевалась?

Я дернула Мокея Авдеевича, поймав на себе взгляд оратора. Старец снова принял свой значительный вид. Но через несколько минут опять раздался его малиновый шепот, приглушенный платком.

— Вы не полюбопытствовали, какой фирмы у них инструмент?

Сколько раз я ходила сюда, но никогда не обращала внимания на рояль за трибуной. Он был вдвинут куда-то вглубь, разглядеть его на темном фоне было мудрено.

— Я должен здесь спеть, — снова прошептал старец.

— Тсс... могут забрать, — я имела в виду специальную медицинскую службу, а Мокей Авдеевич подумал про каторгу. Мысль эта легла на его лицо, оно осунулось, постарело и стало удручающе однозначным.

Как избавление пал перерыв.

Проталкиваясь через проход, заполненный «бессмертными», мы добрались до сцены.

— «Мюльбах», — прочитала я, подняв крышку рояля.

— Солидная фирма. Не «Стейнвей», но ничего, ничего... Доводилось... Третьей группы... Деки отменные... И молоточки, повидимости, не хуже... Узнать бы, настроен ли он...

А верховные тем временем поднимались из-за стола и гуськом следовали мимо. Слова об озимых и яровых только и слышались.

Окруженный свитой Главный Иерарх задержался неподалеку и обратил на меня взор. Я поздоровалась и подошла.

— А что это за товарищ с вами? — спросил он. — Ваш брат литератор или... из аппарата?..

Не представлять же Мокея Авдеевича бывшей жертвой режима! Я выпалила:

— Это солист ГАБТа!

— Вот как! — оживился Главный. — Он что же, ищет у нас детали для образа? Мы можем организовать экскурсию...

— Да! В новой опере он будет петь академика.

— Это для меня новость. Уже и оперы про академиков ставят?

— Да, представьте, Константин Леонидович, не все же про силу судьбы и сельскую честь.

И меня понесло, как бывало Маэстро:

— Когда ставили «Войну и мир», исполнитель Наполеона никак не мог обратить на себя внимание композитора. Вот он звонит по вертушке, а композитор не узнает его. Не знает он никакого Наполеона. «Хоть убейте, дружок, не помню и все». Ну что тут поделывать?! Певец начинает: плечист, высок ростом, волосы темные. Без толку! Тогда, не будь он шляпой, на первой же репетиции и отрекомендуйся: «Грузинский князь!». Представьте себе, Константин Леонидович, какой-то кахетинский князь... Всего лишь крохотное уточнение: «Князь из Иверии», и композитор сразу припоминает... Све-

тицховели, Константин Леонидович, и точка! И к чему, думаете, привели эти чудачества композитора? Скончался в один день со Сталиным. Надо же подгадать! Толпы народа, паломничество, горы потерянных галosh... А он лежит себе, в ус не дует. Играет, но в ящик. Такой шутник, любил грустить весело. Даром, что ли, сын управляющего имением, в деревне родился! Сарабанду белыми тапочками отбивает. Джульетта ему мерещится. Представляете, Константин Леонидович, выходит она на аплодисменты, а платье на ней с декольте сумасшедшим, она кланялась-кланялась и одну грудь уронила.

— Не понял! — сказал президент озадаченно.

— А что тут не понимать? Та, которая больше, и вылетела. Уже слишком мягкая грудь в дело пошла. Согласитесь, мягким должно быть другое место. И знаете, какую грудь она уронила? Левую, в полном соответствии с политической конъюнктурой.

Мокей Авдеевич, который до сих пор держался в стороне, приблизился и аккуратно припечатал мне ногу своим сорок третьим размером нестандартной конечности. Он терпеть не мог хлестаковых.

Ну, знаете... Я взяла да и отплатила тем же, угодив на мозоль — законодательницу шиворот-навыворотной обуви. Мокей Авдеевич скорчился, схватившись за сердце:

— Ух-ха-а-а-а!

Иерарх испуганно востепенулся:

— Что, плохо? Может быть, вызвать кардиолога?

И тут старец, весь перекошенный от боли, предстал во всем своем простодушии:

— Для вашего лейб-медика, поди, документы нужны. А при мне только паспорт действительного статского советника Базарова... Столетней давности. Соболаговолите взглянуть, — и, сверкнув тигровыми запонками, Мокей Авдеевич извлек стародавнюю книжицу.

Они смотрели друг на друга: отставной жених, бывший артист-каторжник, великий специалист по добыванию картошки, непревзойденный исполнитель романса «В крови горит огонь желанья», и не менее великолепный его ровесник — бывший полковник-министр, вкусивший черного хлеба опалы и снова призванный в центр, к небу, звездам, святыням... Свита, вышколенная и приверженная, почтительно ждала реакции Главного Иерарха. Бессмертие, которое живо проклятием, лежало на лицах избранных. Их спаянные ряды подтверждали, что общее прошлое вроде борьбы с генетикой никуда не девалось, оно живо и будет жить в том времени, или другом, или в том, которое не дошло нас. Тишайший царь Алексей Михайлович взирал на потомков с портрета, объятый нежной дымкой забвения. И Главный (прозорливый хозяин!) обратился именно к нему:

— Вот Алексей Михайлович — первый отечественный селекционер. Наша гордость. В своем знаменитом Измайлове разводил виноград и прочие чудеса... Установил добрососедские отношения с Венецианской народной республикой.

Потом ободряюще пожал старцу руку. Повернувшись, промолвил:

— Звоните.

Свита отрезала нас от него. По-военному молодежавый, он двинулся вперед, унося в памяти образ перепутанных туфель с левым уклоном на правой ноге и бывшим троцкистским на левой.

Его продвижение всколыхнуло ряды. Все метнулись, как стайка плотвы. Увы, путь вверх безнаказанно не дается. Но если где-то за былые грехи расплачиваются несколько поколений, то в России расплата становится вечной для всех. Россия — не та страна, где хоть кто-то признает себя виноватым: у нас прошлое объясняется паранойей стоящих у власти.

А свобода манила нас. Как выбраться из этого лабиринта? С кем молвить слово? Мы кружили, пока запах жареного сала не настиг нас у подземной трапезной. Когда-то, при грозном владыке, тут сажали на кол сокольничих, и царь, закладывая основы традиций, испрашивал жертву: «Что, сребролюбче, отрадно тебе? Не томно? Аки власы над челом восстали!»

— А все-таки вы не правы, Мокей Авдеевич, — сказала я, обращаясь к кромешной тьме, как незаслуженно пострадавшая от старческой разъяренной ноги. — Сергей Прокофьев не виноват, что умер в один день со Сталиным...

— У вас какой диапазон! — откликнулся старец. — От тончайшего пьаниссимо до фортиссимо. А с меня и форте довольно. Фортиссимо меня убивает. — И подал мне руку, на шарив дверь черного хода.

Мы вышли на Садовую, и Мокей Авдеевич принялся донимать меня «рыбой-в-озерах-не-стало» и «Мюльбахом». Он уже мечтал о сольном концерте в тереме. Его волновала акустика. Нас обогнали цыганки, веселые и цветастые.

— Это ваш папа? — спросила та, которая держала на груди ребенка.

— Ага, — ответила я, — двоюродный брат.

Они засмеялись, и та, которая шла налегке, сделала ребенку «козу».

— Почему не сказали «папа»? — прозудел старец.

— Вы же недавно сватались. Жених и вдруг дочь. Даже Главный заподозрил в вас аппаратную бестию.

— Ох, мадам, не столкнешься с вами. Экое мерило — столоначальник... Слушал его, внимал, а видел Барановского. Петр Дмитриевич, Марья Юрьевна, какие люди! Это же надо — забраться на колокольню... Я про Ярославль говорю. Как узнал, что центральный собор взрывать собрались, забрался и объявил: «Взрывайте со мной!» И спас, благодарение Богу. А в Москве? Послал телеграмму Стали-

ну, додуматься надо. Василий Блаженный уцелел, а сам... Куда ворон костей не заносит... Восемь лет возил тачку. А Параскева Пятница в Чернигове! Это же страсти... Страсти по Матфею. А теперь что? «Ура-ура, нас бить пора!» Никто и не пикнет. Тьфу!

— Время другое.

— Нет, жертвы давления. И рады бы в рай, да грехи не пускают, — подвел черту старец в знак того, что тема исчерпана. Приятное общество, дама, хорошая погода... Зачем беречь старые раны?

— «Не ветер вея с высоты», — тихонько запел он, и я последовала за ним тихо, как можно тише:

— «Листов коснулся ночью лунной...»

«Если бы я был режиссером, — вспомнился мне Маэстро, — то на роль идеальных влюбленных...»

— «Моей души коснулась ты...»

— О, если бы я был режиссером!

8. Черная маска

И вот настало время поведать старцу, каким ветром занесло меня под одну крышу с певцами. Но прежде я подверглась экзамену. Старец раскинул передо мной настоящий пасьянс — пачку открыток, предлагая назвать запечатленных на них.

По крупным печальным глазам я сразу узнала Рахманинова, по беззащитному озябшему виду — трогательного Велимира, трагический красавец в старинной солдатской шинели не мог быть никем, кроме Гаршина.

— Недурно, — подбодрил старец.

Жесткие черные морщины на вызывающе белом челе — Эдгар По, щегольской живописный берет принадлежал Ваг-

неру, а крошечная японская фрейлина — конечно же, сама леди японская проза, создательница «Гэндзи».

— Выше всяких похвал!

Испытание продолжалось.

Надменный орлиный холодок, заплаканные глаза — это Бунин, взъерошенный старик с пронзительным колючим взглядом — Лесков, хрестоматийно расхристанный, в больничном халате — Мусоргский...

— За несколько дней до смерти... Кто же не знает его! Портрет Репина. Вы бы еще Пушкина подсунули, — тут я запнулась, отводя глаза от оставшихся представителей галереи.

Пылкого юношу я бесспорно видела впервые, а другой, посolidнее, напоминал некоего замечательного композитора, но я не брала на себя смелость рисковать чужим добрым именем.

— Веневитинов Дмитрий Владимирович, — ответил за меня старец, собирая пасьянс в колоду, — Хомяков Алексей Степанович, — посылая вдогонку и второго подопечного Марьи Юрьевны Барановской.

Еще и еще хотелось взглянуться в лица тех, с кого началась моя новая жизнь. Но старец спрятал колоду на груди, в том месте, где недавно пригрел паспорт его превосходительства статского.

— Ну что же, — подытожил он, — два неуда вполне допустимо. Интеллектуальный уровень терпим. Признаться, я ожидал худшего.

Вздохнул и сказал:

— Мы-то — недобитые, праздные... Ретрограды чистейшей воды. Маргиналы, можно сказать... А вам, поди, с пролетариями надо объединяться, патернализм проявлять.

— Да нет, Мокей Авдеевич, мне счастливы праздные по душе. На высоте поражений как-то легче дышать.

И я рассказала, как несколько лет тому назад самая-самая наша инстанция, выше и демократичней которой не было, удостоила меня... ну, конечно, запрета. Напечатать что-либо было нельзя. Грозная бумажка именовалась «МОРАТОРИЙ», как будто я была какой-нибудь тюлькой, которую запрещалось ловить в заповедных водах. И тогда некий поэт пристроил меня в Дом культуры, чтобы я художественно сводила концы с концами. Он совершил это доброе дело и от удивления на самого себя тут же скончался во цвете буйных лет, не успев дать содеянному обратный ход. Будучи при жизни в высшей степени безалаберным, он и на том свете не изменил себе и для начала попал в чужую могилу.

— Как? — спросил старец. — Возможно ли?!

И я рассказала, что могила предназначалась для писателя Юрия Осиповича Домбровского, но родственники от нее отказались, и так далее и тому подобное...

— Каторжник? «Хранитель древностей»? — уточнил Мокей Авдеевич.

Я кивнула, добавив:

— Я прошла у него маленький курс на «Факультете ненужных вещей».

После достала книжку, на которой крупными буквами было написано: «ЛЕРЕ С ЛЮБОВЬЮ, ДОМБРОВСКИЙ», и подала старцу:

— Только потрогать.

— «Ретлендбэконсоутгемптоншекспир», — прочитал Мокей Авдеевич.

— О Шекспире.

За книжкой явился листок, который мне почему-то дорог:

«Я, член Союза писателей с 1939 г., никогда никому не дававший рекомендаций, на сей раз делаю исключение...»

Листок и книжка легли на место, а Мокей Авдеевич опять вздохнул и сказал:

— Вы, мадам, говорили, что необходимо съездить за рукописью. Я к вашим услугам.

Путь предстоял в творческий городок «Литперо». Сама я не хотела являться туда, чтоб не застрять. Однако и старца отпускать одного не могла. Решили поехать вместе.

— Как мне представиться? — спросил мой посол, когда электричка замедлила ход.

— Скажете: «Салтыков-Щедрин».

— Но ведь он же умер.

— Ну и что?.. Живых-то все знают.

Старец ринулся в темноту, как будто его ждало что-то большее, чем рукопись, и до меня донесся хруст льда под его ногами.

Я осталась на станции. Близ железнодорожного домика. Мне не грозила тоска: ночь надвигалась пасхальная, поезда то и дело привозили людей. Неподалеку, над голоногими соснами, громоздился храм, за ним — кладбище, а дальше — обведенная яркими фонарями, никуда не могла подеваться дорога, до самого «Литпера».

Уже последние пассажиры продышали поблизости, а старца все не было и не было. Я решила двинуться навстречу.

Самый короткий путь шел через кладбище. Какие-нибудь десять-двенадцать беспокойных минут, зато, срезав угол, можно было перехватить посланца на вольном месте, у первых домов поселка.

Тонкие свечки множилось и плыли перед глазами, когда я подошла к воротам. В неверном огне мерцали надгробия, венки, пасхальные приношения. И так это было красиво, что захотелось помолиться. А в стороне, сквозь просветы деревьев, мчался состав, и, пока он не скрылся, было не страшно. Потом же — едва слышный шорох бумажных цветов и слабое дрожанье огня.

Я протискивалась среди оград, когда впереди, от высокой плиты, отделилась фигура и шархнула в сторону. Здесь где-то, я знала, покоился мой благодетель, попавший в чужую могилу. А что если... опять его что-нибудь не устраивает?..

Жуткая фигура приближалась, будоража далеких апрельских собак. Неужели облаивали усопшего? Проваливаясь в топкую землю, хлюпая и скользя, фигура шла на меня. Мрачная тень сквозила по иссеченному снегу.

Я съежилась и закрыла глаза. Еще минута, и мне покажут, как потешаться над мертвыми. Неожиданно привидение остолбенело.

— Ух-ха-а-а-а! — послышалось.

Я узнала голос и шагнула навстречу.

Мокей Авдеевич стоял обескураженный, с куском кулича, борода его была обсыпана крошками. А рукопись?..

— Тихо! Эх вы, литераторша, тонкий человек, и вдруг подобная толстокожесть. А я, наоборот, дурак, но позорнейшая чувствительность, — и, подхватив меня под руку, повел к дороге.

Рядом ломилась река, увлекая за собой коряги и ветки. В ее течении трепыхалось подломленное дерево, кроной образуя порог, через него вода переваливала свой скарб: щепки, стружки, сухие листья. А днем, под солнцем, здесь, должно быть, блестело и шумело еще сильнее.

— Эх, жаль, не могу взять си-бемоль, а то бы спел «Весна идет».

— А недавно еще, Мокей Авдеевич, вы хотели разучивать: «О, не буди меня, дыхание весны...». Где же все-таки рукопись?

— Ох, мадам, простите. Оскандалился.

— Потеряли?

— Не следует реагировать негативно. Экспедиция — это всегда непредвиденные обстоятельства... Не зря говорят: собираешься на день, а хлеб бери на неделю.

Минутой позднее выяснилось, что произошла обыкновенная путаница: вместо сорок шестой комнаты главного литераторского корпуса Мокей Авдеевич устремился в сорок пятую. Было время ужина, и творческое общество вкушало в столовой. А мой старец с холода и долгой дороги разомлел и, прождав в пустой комнате минуту-другую, не придумал ничего иного, как рухнуть на кровать и заснуть.

Дальше произошло то, что должно было произойти, если возвращается хозяин и чует что-то неладное. Именно чует, потому что он был слепой.

Они обомлели одновременно: Мокей Авдеевич, когда узрел впотьмах склоненную над ним зловещую маску, и хозяин комнаты, когда вместо ожидаемого женского тела под пеной струящихся кружев нашарил лохматую жесткую бороду. Собственно, ради экстравагантной особы, ее кружев и разных пикантных штучек и была оставлена незапертой дверь. Человек-маска вскричал: «Кто здесь?», но Мокей Авдеевич, ни жив ни мертв, был неспособен ответить. Его хватило на то, чтобы поскорее вылететь на дорогу.

За ним не гнались, не спускали собак, не стреляли вдогонку, и он решил — пронесло... Чтобы не искушать судьбу и все-таки не попасться, Мокей Авдеевич свернул на кладбище. И тут оттаял: Господи, Пасха же! В сиянии стояли надгробия. Холодный и голодный, он принял с гостеприимной могилы стаканчик, а потом причастился куличом. И вот, когда на него снизошла благодать, откуда ни возьмись — живая душа. Как он желал высказать ей все, что думает об этой жизни. Но душа спросила про рукопись, как будто свет клином на ней. Меж тем Мокея Авдеевича куда больше занимало, откуда Железная маска, кто его так напугал?

— Кто напугал?.. Мастер кошмаров... Он спрыгнул с высокой башни в бурную реку, бежал и скрывался в одеянии монахини, а потом пробрался к вам, чтобы отомстить за чужую могилу.

— От странности вашей фантазии, мадам, мухи дохнут.

— Ну, хорошо, единственный в своем роде... Романтик... Поэт... Вас устраивает? Его ранило в лицо, ослепило, с тех пор он и носит темную маску. И надо же сунуться именно к нему! Так и знайте, больше не буду ничего поручать!

— Фанаберии-то... Ишь, как ошпарило. Больно вы, мадам, гордая. Впору градусы мерить. Вид-то у него вовсе не Монте-Кристо. Пожалуй, и не жуира.

— А какой же?

— Мужлан чистой воды, Пыхтелкин...

Мокей Авдеевич смотрел с заповедной нежной печалью, и я остыла. Звон колоколов нас примирил. Звук плыл, вовлекал в свое настроение, тональностью благой вести облагораживал ожидание праздника.

— Жаль, великий Глухой это не слышит, — заметил старец.

— А причем здесь Бетховен?

— Знаменитый «Полиелейный», — продолжал старец. — Одновременно «ми» и «до» контроктавы.

— Ну и что?

— А то, что австрийский посланник в России прислал Бетховену ноты русских колокольных звонов. А если бы не прислал, то и «Апассионаты» бы не было.

Как будто ничего особенного он не сказал, но объяснение поразило меня, объединило звучание далеких колоколов с музыкой Бетховена. Сам воздух сделался музыкой, вызвал в памяти краски заката — те, со спектральным эффектом. Когда-то на их фоне профиль старца соединился с космическим образом вечера, теперь его дополнили звуки. Пересоздали воспоминание из печального в радостное, придали объемность человеческой страсти.

9. Тень Барановской

Сначала пожаловал баритон Василий Васильевич. Он патриархально раскланялся со всеми сразу и с каждым по очереди, мне сообщил:

— Я поставил свечку за вашего Будковского... Сегодня можно... Единственный день, когда можно... за них, самостраненных...

Я опешила, не зная, что сказать: Будковский был персонажем моей новой вещицы, его судьбу я выудила из бумаг Никитского сада.

— Пошел, подал милостыню, купил свечки, — продолжал Василий Васильевич. — Честь по чести. Сначала помянул Марину Цветаеву, потом Есенина, потом Будковского.

— А Юрасовский? — встревает Маэстро. — Тоже покончил с собой... Как?! Юрасовский, композитор... Автор оперы «Трильби»... И неплохая опера, кстати... Ее давали в филиале Большого. Да-а. Сын Салиной, первой Снегурочки, — прибавил он таким тоном, словно этого-то не знать — просто позор.

Василий Васильевич, желая хоть как-то оправдаться, сказал, что в прошлом году он поминал одного сына и внука:

— Помните, Владимир Дементьевич... Была такая писательница... в свое время... «Узы любви» сочинила... Лидия Вербицкая. Так вот, ее внука, красавца актера из МХАТа.

Теперь Маэстро в замешательстве:

— Как?! Разве он умер?

Василий Васильевич не просто подтвердил, но даже рассказал обстоятельства:

— Он выстлал пол разными книгами, разных авторов и раскрыл на страницах, где написано, что жизнь бессмысленна... И есенинское тоже. А потом включил газ.

— Последний раз я видел его в Сандунах, — растерянно сказал Маэстро, прикидывая, сколько же лет прошло с тех пор. — Кто бы мог подумать!.. Бедный Толя.

— Какой это был Вронский, — вспоминал Василий Васильевич. — Блеск, благородство, внешность какая!.. А Печорин в кино!

Тем временем появились Шарлахов и Ниночка. А старца все не было.

— Негодяй! — сказал Маэстро. — Как мне хочется его посечь! Не мог позвонить. Вокруг происшествия, грабежи...

При этих словах дверь отворилась. Возникшая темная полоса коридора через секунду обратилась в сияние.

Это походило на столбняк, а может на помешательство, все разинули рты. Серебряная труба над орехово-золотистой шкатулкой: «МЕЛИСАНДА и Ко» была наставлена на нас граммофонным жерлом. Знакомые музыкальные руки поддерживали ее, направляя вперед вместе с белокурым амуром — обитателем фирменного знака.

Маэстро опомнился первый:

И он устал,
В степи упал...
Предстала тень из Ада,
И он, без сил,
Ее спросил:
«О Тень, где Эльдорато?»

— Смейся-смейся, — отозвался Мокей Авдеевич, — не пришлось бы заплакать.

Он опустил граммофон на столик, бормоча про обещанный прощальный вечер.

У белокурого амуря появились двойники, мал мала меньше, на коробках, футлярчиках, этикетках — все держали в пухлых ручках гусиное перо, у всех был один и тот же адрес (насмешка судьбы!): Лубянская площадь, Дом человеколюбивого общества, и все они именовались в честь

фирмы-родительницы: «Пишущий амур». Затем к ним присоединилась голубая собака, открывшая пасть на голубой граммофон и в этом бестолковом виде застывшая на коробке с иголками. Мокей Авдеевич начал быстро-быстро крутить ручку. Диск завертелся, амур втянулся в красную этикетку, послышался треск, а потом тонкий голос запел:

Но остался влажный след в морщине...

К нему присоединился мужской голос:

Старого утеса. Одиноко...

Третий поддержал их:

Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Маэстро сидел, обхватив голову руками, и кажется... Не берусь утверждать, что именно с ним происходило: у меня самой першило в горле. Мокей Авдеевич глядел невидящими глазами. Он был далеко. Ему светило юное солнце, и сам он с такой же молодой, как он, подругой спешил в студию звукозаписи, избегая за Скуратовым по ступенькам парадного входа. Друзья устремлялись в блестящее будущее, которое сулило трио Даргомыжского и которое серебряным вихрем мелькнуло сейчас на диске.

Машина времени молчала. Амур тосковал на пластинке.

— Дивная Надя, земля ей пухом, — сказал Маэстро. — Сама Збруева не спела бы лучше... А уж она-то в этом трио не знала равных...

Мокей Авдеевич снова принялся шуршать, что-то искать. На многое он не рассчитывал, только прощальный романс для Нины Михайловны.

Капризная, упрямая, о как я вас люблю,
Последняя весна моя, я об одном молю...
Уйдите, уйдите, уйдите...

Высокий голос вился вокруг низкого, оплетал его, как плющ; вместе они возносились, потом тенор уходил куда-то в сторону, а баритон держал свое, устойчиво-несдвигаемый, как тумба.

Что за трогательное тяготение густых органных голосов к нежному репертуару! И откуда это отроческое самозабвение тенора?

Было слишком хорошо, чтобы так продолжалось долго, что-то зарождалось в воздухе, какая-то пакость. Она надвигалась. И вот на пороге — вахтерша!

— Ну, хрипуны! Опять Лазаря затянули?.. Не наорались еще? — даже очки, подпрыгивая, кипятились у нее на носу.

— Да мы только приступили, — закричал тенор. Он готов был забросать ее пустыми консервными банками и пачками от сигарет, вынутыми из рояля перед занятиями. — Охрана называется!! Почему посторонние проникают в класс?

Еще секунда — грянет бой и полетят клочья. Но Маэстро, обхватив, поворачивает тенора спиной к орущей глотке.

— Сколько ж мне сволочиться с вами, сколько грязь за вами грести!

И все стражи культуры — эти, присной памяти, охранители, законники, дозировщики, напичканные ссылками на народ, вместе с ней завопили:

— А-а-а, танцульки-свистульки... Бездари... Безголосые. Праздника захотелось. Проваливайте, пока двери открыты! Маэстро оставался невозмутим.

— Увы, милейшая, — сказал он, — бесконечно сожалею... У нас автономия... Суверенное государство. Разве вам не известно? Под эгидой ЮНЕСКО. Да-а. Объявления надо читать. На белом коне. В двадцать первый век.

Рядом с Маэстро на блеклой стене проступила тень Барановской, которая, как известно, водила дружбу с людьми

далеких времен и, наверно, этому научила Скуратова, когда они бродили по дорожкам Донского монастыря.

Распахнув дверь, Маэстро позвал:

— Товарищ Умберто, князь тьмы! Будьте любезны, проводите стража.

Ошалевшая старуха начала пятиться, оседать, рассыпаться.

— Миклуша, — неожиданно сказал Скуратов, — ты не помнишь, как зовут архитектора... Ну, этого, кто построил биодом в Вене... Ну, бывшего моряка... Он, вроде тебя, вечно в разных носках...

— Как же... дай Бог памяти... А, Фердинанд... нет! Фриденрайх Хундертвассер Регентаг Дункельбунт! — отчеканил Мокей Авдеевич, вытягиваясь в струнку.

— Да!!! Коридоры в биодоме похожи на свежепротопанные тропинки. Полы волнистые. Там поют птицы, растут деревья. Геометрия прямых линий аморальна, милейшая. От нее душевные болезни, склоки... Подлец — он всегда желудочник. Вам придется несладко. Товарищ Умберто, примите неугомонную. Родина вас не забудет.

Вахтершу подхватило и понесло, швырнуло на выросший катафалк. Она своротила его, разметав венки. А потревоженный покойник, выпростав мощи, гневно вознеся и хватил «милейшую» по чугунной башке. Дикарский гогот понесся по коридорам. Ахнули стены...

Мокей Авдеевич тихо сказал:

— Помяните мое слово, вы еще будете плакать.

ДВОР РЫЖИХ ЛИЛИЙ

С этой землей было несчетное количество встреч, как и с ее хозяйкой, если живущую там так можно назвать. Она, Нина Николаевна, вне слов «дочка своего отца» не воспринималась, а вне «хозяйки» — спокойно. Ей удавалось, приглашая в гости, встречая, одаривая, провожая — все с дорогой душой — оставаться просто... По другую сторону собственности, домоводства и расхожего здравомыслия. Ей удавалось также, не приглашая, притягивать к себе, у нее постоянно сидели, засиживались, изливали душу, и это создавало впечатление, что к ней можно всегда.

Но сначала об ее отце. Сам он неотделим от пионов, а его имя — от немислимых звучаний, ведь сорта пионов имеют названия. Педантичным классификатором шефствовал Николай Иванович между шпалерами, оглашая: «Дюшес де Нимур», «Оффициналис рубра плена», «Соланж», «Вечерняя Москва»... Моей любимицей навсегда осталась «Кларисса Калло», розовато-сиреневая, с зачесанной вверх аккуратной головкой, отливающей цветом платины. Она благоухала сразу ландышем и розой и в этом своем качестве умудрялась ночью проникать в дом при закрытых дверях и окнах. Я получила ее в подарок в виде корней с биркой, похожей на меченую подвеску. Если бы меня спросили: «Чем занимается Николай Иванович?», я бы без рассуждений сказала: «Пионовод. На выставках Ботанический сад

Академии наук получает второе место, а он — первое» (а был Николай Иванович учитель).

Иногда в проливной дождь его можно было застать на веранде без дела, в кресле. Но и тут он порывался в сад, к любимым кустам: «Здоровье растений для меня дороже собственного». Дочка почитала его как положено, и это усиливало сходство этих людей с героями Л. Толстого: его — со старым князем Болконским, ее — с княжной Марьей.

Часто, глядя на пионовых отпрысков у себя в саду, я мысленно передавала ему приветы, что потом заставляло Нину Николаевну спрашивать по телефону: «Признавайтесь, посылали мне импульсы? Воздух просто щелкал от позывных». Я подтверждала, а закруглялась, как водится, уже настоящим приветом Николаю Ивановичу. Так было, пока однажды...

Однажды Николай Иванович пошел с Малышом, самым добродушным и улыбчивым существом из всех четвероногих под этим именем. Подобные прогулки, без дела, не в стиле таких работяг, как Николай Иванович, но иногда им тоже что-то мешает применить себя как обычно. При обжигающем южном ветре «что-то» не новость: на земледельцев нападает тоска, от которой, если ее не разогнать, свихнешься. С Малышом они зашли далеко, на обводное шоссе, и здесь... Как всегда в таких случаях все происходит мгновенно. Машина. Сбитый Малыш. И Николай Иванович, предпринявший возможное и невозможное, чтобы его спасти. Из всех невозможных (почти бегом до звериной лечебницы) это оказалось последним: не выдержало сердце. Словом, Нина Николаевна осталась одна, если не считать сада и воспоминаний, где все живые.

— Я стала совсем седая, — сказала Нина Николаевна. — Вроде косматой пряжи, что плетет нити человеческой судьбы в каком-нибудь японском фильме.

— В этом тоже есть прелесть.

— Да! Но я больше не рыжая!

Когда она была совершенно, абсолютно, стопроцентно рыжая, ее звали «девочка-наоборот». Это многое объясняло, главное же — непохожесть на всех, которая заводила ее далеко-далеко... Так далеко, что в один прекрасный день она, будучи автором ученой книги, бросила службу в очень умном, очень академическом институте и пошла на рынок... уборщицей. О хождении в народ от нее никто не слышал, но, похоже, именно эта идея ей не давала покоя. В таких «университетах» слишком много русского, чтобы не догадаться, чем они могут кончиться. Прозрение, житейский опыт, разочарование — неизвестно что еще стояло за полученной на недолгом базарном поприще Почетной грамотой о добросовестном труде.

Из всех поездок к ней, уже после ухода отца, особенно запомнилась одна — со старцем, неожиданно ставшим в тот день моим спутником.

Мы вышли на площади, где вокзальное здание подражает очертаниями старинному паровозу, а цветом — природе. Прочее — белесое, пыльное, рыночное, сам оголтелый торг с ящиками, коробками, баками, а также заборы сплошь в объявлениях, — мы прошли, одолели, не дрогнули, пока не вступили в тень и прохладу.

Дорога по-прежнему вела напролом, мало согласуясь с рельефом, и там, где надо душой, брала геометрией. Зато по сторонам веткам ничто не мешало быть самими собой и при порывах ветра касаться наших голов. На асфальте виднелись лужицы, в них смотрелись деревья, расцветившая темень и развлекаясь по всему полотну игрой в тени. И вдруг... После оград и веток, перекинувшихся наружу, — маленький базарчик. Яркий до сказочности, колдовской до переключки со страницами Пушкина о садах Черномора. Он содержался на столике под покровительством старой березы и наводил оторопь своей полной безнадзорностью; разве что ворона

установила наблюдательный пост на верхушке. Ошеломлял он цветами: пионы, ирисы, лилии — изысканным много-много, без аляповатости и крика, без цивилизованного вылезания из кожи, этого товара лицом. Сбоку лежало что-то съедобно-пряное, вроде тмина и мяты. Ценник показывал такую скромность, что глазам не верилось. Удивленный старец позволил себе сравнить этот самодельный прејскурант с одой, которую голландцы прилагали к своим натюрмортам.

— Из скомканной скатерти, мадам, — сказал он, — из опрокинутого бокала они делали совершенство. Какое благородство, отношение к делу. Один лимон с полуснятой витой шкуркой чего стоит! Не в пример нынешним служащим муз.

Тут взгляд его упал на маленький бумажно-монетный клад — выручку от торговли.

— О, сколько денег! — сказал он. — И никто не берет. Достоинство всяческого изумления.

Я сгребла богатство в кружку и, устроив собственный языческий благовест, потянула калитку. Она подалась, мы оказались на тропке. По левую руку был дом с чужим входом и незрячей стеной, по правую — живая изгородь из акаций, доходящая до сарая.

— Каретный, — изрек старец: все древнее наводило на него благоговейный столбняк.

Еще про сарай можно было сказать, что он красивый, в узорах, с наборными досками и что его повело назад, а можно сказать — что он отшатнулся, не жалуя настоящее, как любой старожил. Строение рядом, лет на сто моложе, не каретное, не резное, совсем неприглядное, загадки не задавало: скособочилось на треть и приготовилось завалиться. Меж тем дом с другим, *нашим*, входом очутился за спиной. Очень темный, как будто в патине и как будто на снос, он внушал своим видом: «В таких теперь не живут», и следом: «Но если отреставрировать...» Если отреставрировать, вы-

светились бы кружевные карнизы, наличники, узорный дымник на крыше и прочее благородно-душевное вплоть до бревенчатых ершей на углах. Дом был связан с каретным не только замыслом, но и вневременным выпадением и особым деревянным мужеством перед натиском панельных громадин. Монстроподобная архитектура налезала со всех сторон, брала душу в клещи, нагоняла тоску.

— Ребята, вы что?! На место!.. Пуша, пожалей свои нервы... Самый инфантильный и самый шумный.

Все это время мы облаивались сворой собак, от которых спасало сетчатое ограждение. С появлением хозяйки свора куда-то девалась, и перед нами распахнулась калитка:

— Проходите!

Старец впервые увидел Нину Николаевну — пышноволосяную, худощавую, всю в веснушках, эту ходячую рыжую лилию; она — степенного, старорежимного и церковного на вид незваного гостя. К «незваному» пояснение: старец имел обыкновение являться неожиданно-негаданно: вам — уходить, а тут он, с этой всегдашней, невыносимой болью в глазах, когда боль как цвет роговицы. Одного взгляда на него было довольно, чтобы начать перетасовку планов. На сей раз из всех вариантов: «Остаюсь. Никуда не еду», «Остаетесь вы, Мокей Авдеевич, и ждете меня», наконец: «Едем вместе», старец выбрал последний, но с оговоркой: «А не турнут взащей? К Евгении Марковне не пошлют? Все-таки не испрошено разрешение».

— Какая Евгения Марковна! Да Нина Николаевна чурается шантрапы, университетская выучка! И слов-то грубых не позволит себе.

— Ну, знаете... Два странника на ночь глядя, два пилигрима. Не зря говорится: поздний гость — долгий гость.

Теперь дорога повела между ведрами, корытами, бочками, тазами, раздваиваясь, чтобы в одной своей ветви закон-

читься высоченной кучей, приютившей цветущее семейство тыкв, а в другой — дать начало нескольким тропкам в сад.

Растительный смотр открывался пышным кустом крапивы высотой с дерево. Он пестовался на самом виду и был достоин таблички «Охраняется государством».

— Красивый? — спросила Нина Николаевна. — Посмотрите, какая у него борода! Индюк позавидует.

Крапивные соцветия, свисая блекло-зелеными низками, все в бесчисленных крошечных узелках, сплетались с другими такими же низками в густую, волнистую бахрому, которая смыкалась со следующей живой бахромой на стеблях рядом, эта — с другой, что и создавало впечатление роскошной буклированной бороды. Сама пыль смотрелась на ней как оттеночный ворс.

Рядом возводила лазоревые очи мальва, а толпа маков проветривала свои атласы и шелка, потерпевшие от непогоды. На почтительном расстоянии покачивались стройные циннии, отороченные красными лепестками, держа в пазухах головастых младенцев, напоминающих шляпки гвоздей. В стороне обосновалась какая-то особая генерация маков — с лепестками тончайшей выделки, ориентирующими шмелей черными знаками; один за другим они посещали интимный мир чаши: здесь, в траурно-пепельном опушении, зарождалась новая маковая жизнь. Но не она волновала шмелей. Осторожностью они напоминали завсегдатаев опиумного притона, далеких от поклонения чему-либо, кроме собственных страстей и пороков.

Но все это пропадало перед смотром, устроенным пионовыми кустами. Сказать, что они цвели, значит — ничего не сказать. Они изнемогали от цветов. Белое переходило в розовое, браталось с рубиновым, истощивало себя в угоду бордовому, вишневому, дымчато-сиреневому, заключившему союз с Богом в первый день творения. Местами кусты падали в грязь, местами поддерживались фанерными ящи-

ками. Заросли сирени служили кулисой с севера, юго-восток стеной защищала малина. Несколько яблонь, не зная, куда деваться, запустили ветви на крышу каретного сарая. Смородина, опутанная вьюнком, подвизалась в роли второй ограды. Из ее кущ дозором лезли крапивные султаны, покачиваясь с равнодушием верхоглядов. Как видно, растительный патриарх с пышной бородой позаботился заслать своих недорослей во все концы.

Были среди пионов и исполинские зонтики пастернака, утыканные крест-накрест щепотками золотистых семян. Тут же гуляла разная экономическая мелюзга вроде петрушки, лука, укропа. Меж ними личики анютиных глазок поражали серьезностью и глубиной цвета. Особенно лиловые изумляли своей черной, трагической бархатистостью. Но лучше всех чувствовали себя бобы, возникая многочисленной нахальной родней в каком-нибудь пионовом семействе и ущемляя аристократов в питании и свете. Словом, куда ни глянь, по старой доброй основе, выдающей пристрастие утонченного коллекционера, лез мусор и чужеродный хамский элемент.

Нагромождение досок на самом солнечном месте — что-то вроде помоста — давало параллель с эшафотом. Однако клочья собачьей шерсти показывали, что на досках друзья человека принимали воздушные ванны. И все же свою роль — гнета и медленной казни — помост выполнял. Несколько пионовых кустов, угодивших под него, фантастически изогнувшись, пробовали вырваться на свет. Рядом королевские лилии мученически ожидали конца, покорно приникнув к земле. Это вынужденное пресмыкательство и все вместе: с эшафотом и остальным, что вокруг, вызывало странные ассоциации на тему Утопии и Города Солнца, а также Свободы-Равенства-Братства, культивируемых под Автоматом, а также Наказания в его предпочтительной форме, как-то: лишение жизни. То ли райский уголок походил на

историю, то ли история на райский уголок — только друг к другу они отношения не имели.

— А вам нравится порядок? — спросила Нина Николаевна. — Я так — терпеть его не могу. Из настоящего хорошего хаоса можно сделать все, что угодно, а устройте-ка что-нибудь из порядка!

— А вы пробовали?

— Сколько раз! Неужели не заметно? Собаки, бедлам и все такое, потому что я не улавливаю генеральной идеи. А не улавливаю потому, что тенденция еще не устоялась. В сердце механизма, который этим ведает, она не выработалась. Ну и пусть, душа все равно прописана не здесь, а где-то в вечности.

С этими словами она вонзила вилы в ближайший куст и начала его потрошить, зная, что мы пришли за корнями. Демонстративная спина меня озадачила. Обычно после калитки следовало приглашение в дом. Значит, незванный старец (борода, грозный взгляд, космы) пришелся не ко двору. Обидно.

Нина Николаевна продолжала теребить кусты, как будто нас не было. Старец поспешил услужить, но, отстранив его, она сказала:

— На меня не обращайтесь внимания. Я попала в Бермудский треугольник, причем вершиной вниз. Лучше принесите пустое ведро. Оно в сарае.

Старец кинулся выполнять, и нетрудно представить, почему, достигши цели, он застрял.

Первое, что он мог увидеть, — погребальный венок, приставленный к стене. Кого он поминал, знал дождик, начавший вселенский плач, Нина Николаевна и я. Венок был принесен *тогда*, но из-за «некуда брать» оставлен при доме, при тени, при мысли: здесь Николай Иванович живьем ложился костями. Освещения хватало разглядеть земляной пол: по нему с непосредственностью детворы высыпала ху-

досочная травка, довольствуясь темным окном и кусочком дня из-под двери. Фарфоровая посуда — «Кузнецовы» и «Голубые мечи», пасторальные статуэтки, весы на коромысле с бронзовыми чашами, пакеты удобрений, старая рабочая одежда, древние кресла, инструменты — все отзывалось тем же пренебрежением. Не к порядку как таковому, а *заведенному* порядку вещей. К системе человеческих ценностей. Вырванные с корнем целебные растения сохли вниз головой на веревке, источая запах прелого сена. Как во всяком сарае пахло еще неистребимой древесной сыростью, и тишина стояла, как в склепе.

«Чего только на Руси не бывает... Даже тот свет на этом», — мог подумать старец, выбираясь наружу. Но он не подумал. Старый каторжник по двум заходам: 37-й и 47-й годы — не склонен был льстить этому свету. Первый же его шаг пришелся на мокрую, словно намыленную, доску, он поскользнулся и со всего маху ляпнулся в компостную кучу. Из-под рук у него с ужасом отскочила лягушка. Бедный старец не знал, как отмыться.

— Хотите руки вымыть? — спросила хозяйка, проследив его взгляд. — Пробирайтесь в дом, там полотенце, только пользуйтесь серединой.

Я поспешила в проводники.

Веранда встретила нас скопищем ветхой мебели, побуждая держаться центра, пол под ногами был выхожен в желоб. Из сеней мы ступили на кухню.

Два окна, заслоненные зеленью, как ни старались, а пропускали свет едва-едва; следовало приглядеться, прежде чем что-то увидеть. Но — стоп. Кажется, я вторгаюсь во владения Гоголя, что не мое дело, потому меняю тональность.

Я знала здесь все наизусть. Старинный дубовый буфет, сухие цветы, русская печь, то самое кресло, где сидел Николай Иванович, и тысяча плетеных изделий поверх закопченной двери в покои, где летом — прохлада, зимой — вечная

мерзлота. На стенках книжного шкафа — тоже веревочные плетения Нины Николаевны, достигшей в рукоделии кружевного полета.

Особо нужно сказать о двери. Вся в прожилках и трещинках, это была настоящая филенчатая Анна Маньяни: «О, морщины! Ни одной не отдам... Мне потребовалось на них столько лет». Словно патина, они придавали двери благородство и даже наделяли обаянием времени, как, впрочем, и великую итальянскую актрису Маньяни.

— Смотрите, протравлена самой жизнью, нерукотворная выделка. Одинцовские письма.

В ответ раздалось глухое рычание из угла и следом — сопения, вздохи, чесание. Густой синий запах давал себя знать отовсюду. Лохмы, носы и глаза глядели из нижнего буфета, из-под стульев, кресла... легче сказать, откуда не... Мы все-таки угодили в ту самую свору — если не в лапы, то в окружение.

В сенях послышались шаги, и распахнувшаяся дверь дала ход свежему воздуху.

— Ну, как, полная деградация или не совсем? — спросила Нина Николаевна. — Собаки только на вид вредные. Белка вообще слепая, у нее от старости катаракта, остальные лают больше для порядка. Из них самый скандальный Пуша, но, по-моему, он вас признал.

Из-под стола последовало рычание.

— Пуша, не сердись! Скажи что-нибудь приятное.

Рычание повторилось.

— Не надо ругаться. «Тварь» — нехорошее слово. Слышите: «Твар-р-р...» Бросьте ему конфетку, — и, подойдя к столу, загребла карамели для взятки.

— Предрассудки, — предупредила она вероятное возражение. — У меня своя система. Что есть, то и едят. Лучше от диабета загнуться, чем от голода.

— А почему конфеты?

— Удобно, компактно, чисто, — и сама обнесла воспитанников, строго соблюдая принцип общественного равенства. — Мне уже знакомые говорят: скоро ты окажешься на половичке за порогом, а они будут спать на кровати.

Хруст поедаемой карамели сменился тонким воем: на псов напал страшный зуд; они чесались, скреблись, катались по полу — полуоблезлые, в царапинах. Старец от жалости даже забыл, чего ради пришел, и отменил все желания, вытерев руки клочком газеты. Нина Николаевна оставалась невозмутимой, пока не увидела на столе горстку монет, ту самую, с улицы.

— Ненавижу деньги!

Мы молчали.

— Сама читала предсказания одного пророка из Индии: человечество ждет новая страшная болезнь, и передаваться она будет через деньги.

Обстановка, разыгрываемая как плюшкинская декорация, являла какое-то новое настроение. Наверно, потому что не плюшкинская, а диккенсовская.

— Похоже, мадам, на вашей иерархической лестнице человек стоит ниже собаки?

— А это плохо?

— Не знаю... Век гуманизма кончился, а все-таки не хочется быть канальей.

— Есть выход: стать бестией.

— И бестией не хочется, — засмеялся старец. — Пускай планетарное помрачение обходится без меня.

— Тогда подавайте заявление о выходе из рядов человечества.

— Все же *они*, мадам, были, чтобы поднять, а не втоптать в грязь.

— Вы имеете в виду гуманистов? А гуманисты не ответственны за наши действия. Из-за нас они даже не пере-

вернутся в гробу, — и вдруг перебила саму себя: — Вы, конечно, знаете про короля Дагомера?

Такое Нина Николаевна любила — бить цитатами. И нам была скормлена мудрость короля Дагомера, который не просто сказал, а сказал умирая, что даже с самой лучшей компанией приходится расставаться, и обвел взглядом своих собак.

— Но вы же не любите юмор, — попрекнула я.

— Надо заземляться и ходить босиком! Я не люблю сатиру. Пресловутое бичевание. Всему на свете во вред. Сатирики и живут мало.

— А Гете?

— Какая же «Фауст» сатира?

— А «Рейнеке-лис»? А «Блоха»?

— А еще кто-то, — не обращая на меня внимания, продолжила Нина Николаевна, — изрек: «Чем больше узнаю людей, тем сильнее люблю собак».

Спасибо забурлившему кипятильнику, внимание переключилось на него.

— Чай пить — не дрова рубить, — заметил старец. — А бывало, колол — только щепки летели. Да, мадам, были когда-то и мы рысаками... А теперь что ж? Разве декламацией позабавиться, — и он принялся отрабатывать угощение: читал на французском Расина, Бодлера, на немецком — Гете, пел «Растворил я окно» и в этом своем старании был так по-хорошему старомоден, что трогал до невозможности. Но ни «браво», ни благодарности, ни второго стакана чая. Следовало знать и честь.

Да, старец смотрел глазами побитой собаки, выдавая свою тягу к покою. Он не прочь был прилечь до утра. Где-нибудь в чуланчике, в закутке. Да, дождь продолжал разыгрывать свою драму. Но... Мы были всего лишь людьми. А это так мало. Даже не людьми, а битыми жизнью человеческими волками, старым и молодым, видавшими виды похлестче

сегодняшнего. И ни где-нибудь, а рядом с собой, от своих же близких, родных, от своих дорогих, коленопреклоненных возлюбленных, клявшихся любить до гроба и крепче. Мы были теми, кто желал правды больше, чем счастья, и не хотел принимать ласку, нежность, внимание по мнимой цене, а иной меры на этом свете пока не имелось.

Возможно, в обиженных чувствах я зря расписывалась за старца, все же он был менее дуболомный, чем я, но солидарность товарищества не терпит оттенков, всех этих обдумываний, сомнений.

Мы взяли выкопанные корни и подались восвояси. Нина Николаевна дала нам прозрачную пленку укрыться от дождя.

— Какое благородство! — сказал старец, когда мы минули самодельный базарчик. На нем уже все разобрали, под перевернутой банкой лежала выручка. — Если бы все были столь бесребрены.

Обиженная за старца, я очень каменно и очень *от Достоевского* объявила:

— Человечество любить легче, чем отдельного человека.

— Ну, мадам, это не аристократично. Федор Михайлович первый и осудил бы вас.

— А Федор Михайлович в аристократах не числился.

— Согласен. Аристократ духа куда выше, чем какой-нибудь просто аристократ.

— А почему осудил бы? — забеспокоилась я.

— Ну, как же: у Фили пили, да Филю же и побили.

— А уважение к правде?

— Ох, мадам... Вся правда в том, чтобы быть милосердной.

И сама знала, что не права, хотя бы потому, что правый всегда не прав. В голове на заднем плане маячило: «крысы, печка, вода...»

Крысы, потому что кто при земле, как Нина Николаевна, тому напасть. А Нина Николаевна: «Травильщица

предлагала свои услуги. Ой, не знаю! Имею ли право на чью-то жизнь». — «Зато крысы не мучаются этим вопросом. Бывает, загрызают людей». — «Вот и сплю со светом, и подкармливаю их, чтоб угомонились».

Печка, потому что кладка не вечная, тогда дым — внутрь дома; копать, сажа — на стены, в душу, глаза. Опять же чистка труб, дрова, походы на пилораму, к черту, дьяволу, пьяным мужикам. Опять же температура в кухне зимой выше двенадцати не поднимается (чтоб продлить добытые запасы топлива, Нина Николаевна сэкономила), а в «покоях» — уже сказано...

Вода, потому что она в колонке, значит — тележка с баками, бочки, целый выезд, дальше — Нина Николаевна, толкающая тележку, — сюжет передвижников.

А просадка дома, ледяные полы, щели в стенах, кровля... Соседи... Другие... Другой мир... Тот самый «контекст времени», набитый стереотипами в мире стандартов и подражания.

Но я отвлеклась. Самое интересное ждало меня дома. Едва переступила порог — звонок телефона. Слышу в трубке Нину Николаевну, полуночную, драконоподобную, взбудораженную до бессонницы:

— Вы зачем его привели? — и залпом: — Сватать меня? У меня не отстойник для неприкаянных! — и пошла хлестать, как крапивой, словами.

В конце концов, природа вольна являть свои тайны в любой форме: бреда, мании, «пальцем в небо», «ничего похожего на действительность». Полагаю, это был феномен хорошего отношения к крапиве, если видеть в ней нечто большее, чем крапива, например тяготение к вечному отрицанию. Увы, оно так часто переходит в какой-то необратимый невроз, во вторую натуру, испепеленную фобиями.

Пусть то, что не попало в текст, останется самым главным; да у меня и желания нет обеспечивать словами дра-

гоценный импульс несогласия таких людей, как Нина Николаевна, с сокрушительным большинством человечества.

Осталось досказать про цветы.

Был конец августа, когда я приехала снова. Жара стояла нечеловеческая. В саду все выглядело изнуренным и неподвижным, даже шапочки сорняков, этих одуванчиков осени. Пропыленные кусты у калитки отозвались обреченным шорохом, когда, проходя, их задела. В этом ритуальном звуке душа отметила что-то свое и даже определила: шуршат как кладбищенские венки.

Я приняла из рук Нины Николаевны охапку черно-красных георгинов вперемешку с рыжим, лилиеподобным семейством монтбреций, на которые она сама была так похожа, и не стала скрывать:

— При мне... На моих руках... Последнее, что сказал: «Тише», как Расин. Помните, он читал на французском:

И в безумной любви моя юность пропала...
Сердце с сердцем спорить устало...

— Да... Нехорошо получилось, — осудила себя Нина Николаевна за *тогда*.

Душа старца, не покинувшая еще пределы земли, возможно, ее услышала. И даже скорее всего.

САД, 1987.

ДАВНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

С некоторых пор часто спрашиваю себя: «Зачем я ее взяла?» — эту папку из архива Никитского сада, помеченную словом «макулатура». Было так хорошо. Море. Солнце. Уединение на берегу. Наскальная роща, которой ночью владеют оравы жуков-оленей. Какой-нибудь из рогатых гуляк, опившись древесным соком, обязательно залетал на свет и, очумев, стучался о стены каштановым панцирем, пока спасительная рука не выбрасывала его обратно, в смоляную прохладу. Он вмиг исчезал, оставив пальцам воспоминание о цепких кургузых лапках, а душе — легкость разделенной свободы. Комната — нет, целые апартаменты! с огромным письменным столом, настоящим генералом от мебели при массивных дубовых карманах-ящиках и гладком мореном верхе. Махина господствовала, распространяла влияние, призывала под стяги, знамена, хоругви.

Возле камина, сработанного по всем правилам номенклатурно-ведомственного интима, так уютно читать «Житейские воззрения кота Мурра». И время от времени переводить глаза на террасу, укрытую душистой глицинией. И возвращать взгляд обратно, под казенные своды, где еще недавно вился, пластался огонь, сквозил, облегая поленья, — они полыхали и отражались в кафеле на полу да в лаковой спинке кровати напротив.

А внизу, под окнами, среди желтой сурепки с обильными деревенскими цветами-крестиками, стелились алые маки. Ниже розовыми головками кланялась морю валериана, и никнущие белые гвоздики осторожно ползли по камням, пуская вперед чувствительные побегии. Мимо них, ближе к полночи, я часто пробиралась, нащупывая дорогу к воде. Глянцевито-темная, как нефть, она колыхалась всеми своими водорослями, медузами, светилась под луной так же фосфорно и таинственно, как крошечные светлячки на изломе ступеней. А утром опять ощущала себя контрабандисткой в этом бронированном мирке, предназначенном совсем для другой персоны — Главного Иерарха, кстати, симпатичного человека, который не возражал, чтобы я порылась в архиве и написала о Никитском ботаническом саде что-нибудь поучительное и приятное.

И все это пропало, едва я открыла папку.

Первый лист, вытянутый в длину, с тисненым крылатым львом, был исписан черными когда-то чернилами, вверху значилось: «ПРОТОКОЛЬ».

«1913 года апреля 20 дня помощник пристава 3-го участка г. Ялты Никульников вследствие предписания его высокородия господина ялтинского уездного исправника от 20 с. апреля прибыл в Императорский Никитский сад, где производил дознание о лишении себя жизни посредством выстрела из револьвера в висок ученика Никитского училища Николая Амвросия Петровича Будковского IV класса, сына генерал-майора, причем спрошенные нижеподписавшиеся лица объяснили...»

Всего два листа с оборотом, скрепленные подписью помощника пристава, а также словами: «Более добавить ничего не имею». Каллиграфические строки были расположены на

бумаге рачительно, с отступами для полей. Тоскливая простота исходила от них; и ни исправить, ни зачеркнуть, как теперь не уйти самой от пожелтелых страниц, избравших меня поверенной. И было убедительно совпадение чисел: тринадцатый год после начала века, когда ученика мертвым обнаружили в классе, и тринадцатый год от конца века, когда листки попали ко мне.

А море продолжало плескаться, едва шевелило галькой, словно никогда не кидалось на скалы, в бешенстве сдвигая сам берег, не сводило небо с землей.

Он лежал навзничь, человек девятнадцати лет от роду, в шинели, и кровь растекалась под его головой. Уездный врач констатировал смерть, и полицейский приступил к дознанию. Следствие не заняло и двух часов, не то что составление протокола, над ним помощник промаялся бы до завтра, не предложи услуги местный эконом. Толковый малый и записал показания. Он же позднее прошил листочки нитками, подклеил к ним другие бумаги и, чистый перед самим собой, не оскорбив лукавством память покойного, закрыл папку. Тот, кто через много лет первый наткнулся на нее... Не знаю, кто это был. Может, какой-нибудь бывший следователь, убранный подальше от глаз в годы реабилитаций, возможно, кто-то другой, уверенный: «Хорошие люди не стреляются». Свое мнение он выразил словом «макулатура» и, проводя инвентаризацию, одним махом перечеркнул и жизнь генеральского сынка, и аккуратность добровольного писаря да, пожалуй, и само минувшее время в лицах и характерах. Но каким-то чудом дело все же вернулось обратно, получило номер, значит, уравнилось в правах с другими «единицами хранения» и восстановило с ними родство по всеобщей связи людей и событий.

Свидетельствует директор Никитского сада действительный статский советник Щербаков — будущий профессор, чью фотографию я видела в Никитском музее, — пыш-

ные кайзеровские усы, лихо закрученные и сведенные на нет по обе стороны крупного носа; облик внушительный, степенный:

«Будковский был хорошим учеником и вел себя безупречно. В характере его наблюдались замкнутость и сосредоточенность. Всегда он был одиноким и не принимал участия в увеселениях товарищей...»

Без привычных: «в пьяном угаре» или «психически ненормальный» запись не убеждала. Просто, доступно и ни к чему не обязывает. Голове, обмороченной стереотипами, доступней: «Самоубийство — выход для малодушных». Ничего назидательного не содержалось и далее. Здесь аккуратный экономайзер записал показания преподавателя Андрея Ивановича Паламарчука:

«Я подумал, что у него пошла кровь горлом, и скорее повернул его лицом вверх, затем стал выслушивать сердце, оно уже остановилось, хотя тело было совершенно теплое. Заподозрив совсем скверное, я принялся осматривать подробно голову Будковского и заметил ожог от выстрела на виске. После этого я нашел на его шинели револьвер. Шинель ввиду болезненного состояния — у него был переломлен позвоночный столб — Будковский всегда носил...»

Двадцативосьмилетний питомец Московского университета физиолог Паламарчук, которому суждено вывести знаменитый табак с душисто-арифметическим названием «Дюбек-22», говорил как на Страшном суде. ШИНЕЛЬ носил ВСЕГДА! Так некогда один великий писатель уподобил повесть о бедном чиновнике библейскому преданию и дал ему вечную жизнь.

Слышится голос пытливого современника: «А где божественное откровение? Сколько людей стрелялись, стреляются и будут стреляться. Читатель занят другим. Разоблачения... Осуждения репрессий... Реабилитации... Кого теперь тронет судьба какого-то мальчика?!» Возможно, не тронет — тем хуже, потому что нет гибели значащей и незначащей. Во всяком случае, для Создателя.

Письма, телеграммы, объяснительные... Бумага, оказалась прочнее участников той давней истории. На глазах она перерождалась в житейскую круговерть, в будничные мелочи — их лучше не знать: они создавали ощущение, словно листаешь записи собственных похорон.

А странички, где Будковский завещает свой гербарий любимому учителю, нет, но текст ее приведен директором — горькая самооценка и неожиданное добавление: «*Прошу дорогого Ивана Алексеевича принять на добрую память...*» Наверно, Иван Алексеевич взял и записку — то небольшое, что мог теперь сделать для своего лучшего ученика. Сноска директора — крестик, маленький, как цветок сурепки, выделяет последнюю фразу, к ней пояснение: «*Преподаватель училища Промтов*». Тот самый Промтов, будущий автор муската «Красный камень». Значит, дорогому Ивану Алексеевичу, тогда преподавателю истории и словесности, передал Будковский самую большую свою ценность — гербарий. Но что за странная тяга к белым цветам? Только они и привлекали ученика: подснежники, анемоны, нарциссы — одного цвета со снегом, первыми распускаются, дрожа на ветру, и первыми засыхают от стойкого солнца.

Никто, кроме министра

Следующая бумага резко отличается от других — в траурной рамке, с надписью: «*Большой выбор гробов*», счет

от погребальной конторы Барильо: «Итого 23 руб.». По тем временам немалые деньги, если вспомнить, что месячное жалованье, например магистра ботаники, — десять рублей. Но интересней другое. Не тот ли это Барильо, кто выстроил министерскую дачу в центре ботанического сада? А может, его отец? В 1887 г. (запомнить нетрудно, сто лет назад) какой-то Барильо исполнил государственный заказ, скрывавший прихоть министра государственных имуществ Островского. В самом сердце ботанической коллекции сей муж отечества пожелал обосноваться и возвести дачу (на казенные деньги, конечно). И директор сада (был поставлен Базаров) воспринял это как божью милость. С истинным почтением и совершенной преданностью для начала он послал под топор шпалерное отделение, утопающее в персиково-алычовых цветах: отсюда открывался наивыгоднейший вид как с востока — на море, так и с запада, ваше сиятельство, — на горы. А затем, размахнувшись, очистил и соседние участки. Падуб мадерский, пурпурный бересклет из Флориды, крушина альпийская, магония из Китая, вечнозеленая этрусская жимолость, земляничник... Список истребления так же велик, как перечень вещей высокопревосходительства, ввезенных на дачу: иконы Спасителя, святого Козьмы, Божьей Матери, а еще кушетки, комоды, пуфики, стулья... И, наконец, под номером 147 — ночная ваза, собственность господина министра.

К пяти десятинам усадьбы присоединили семь кварталов парка, проложили дорогу для возки дров в кипарисовой аллее, устроили фонтан — и резиденция для отдыха готова. Почтения ради чиновник особых поручений попросил господина Базарова — *конфиденциально!* — устроить его высокопревосходительству какой-нибудь сюрпризик, нечто специфическое, например, выстричь деревья у въезда так, чтобы, как некий вздох, обрело себя «О-о-о» — инициал господина министра. Но цветущая там острая пампасная

трава и юкка с ножевидными листьями мало подходили для подобных фантазий.

Вместе с фундаментом для дачи его высокопревосходительство заложил традицию истребления сада, подхваченную потомками и доведенную нашими современниками до совершенства. Теперешним достойным преемникам останется забетонировать море и на всех папках архива написать «макулатура», и следующие поколения разоблачителей будут при деле. А начиналось уничтожение благородно — с инструкции: «Для всех чинов министерства, приезжающим по делам службы». Правда, никто, кроме министра, не ездил сюда, даже его великий брат Александр Николаевич (автор «Леса» и «Бесприданницы»). Верный своим пенатам, драматург предпочитал деревенское Щельково.

Следом за государственным деятелем прибывали пирожковые и десертные тарелки, блюда, соусники, салатники, горчицницы, компотницы, ножи — мясные, овощные, фруктовые, а также передники для прислуги, тюки с бельем, занавески, гардины, ковры, куски коленкора, плюша, бахромы, а кроме того, ушаты, скалки, лопатки, керосиновые лейки, трубы для самоваров, ящики с нарзаном... Десять лет Базаров встречал их, препровождал нарочных, посылал в ялтинскую ресторацию за формами льда, а в Магарачский подвал — за лучшим вином, составлял списки желаний его сиятельства, а через месяц, после отбытия высокого гостя, принимался за ремонт дома, сообщаясь то с каменщиками, то с печниками, обойщиками, мебельщиками. И так до тех пор, пока не выхлопотал себе должность в ученом комитете министерства и не переехал в Петербург. Перед отъездом он, правда, успел сделать в ватерклозете черный ход, а уж на выполнение иных желаний министра не хватило времени. К тому же следовало подумать о собственном будущем. Ведь неподалеку... Даже страшно сказать, почти рядом, в Ливадии, изволит отдыхать государыня императрица. Ну, почему бы

не вспомнить про успехи акклиматизации растений, бывшие у предшественников? И... чем черт не шутит! — не представить к стопам венценосной дамы жардиньерку из бамбука, выросшего в императорском саду? Не присоединить к ней вазон с заморской пальмой, воспитанной здесь же!

И вот он — случай! Государыня в обществе великих князей вздумала посетить ботанический сад, загодя отправив в Никиту навьюченную прислугу, чтобы там, чего доброго, не помереть с голода. И тут выручила пустая министерская дача с большой изразцовой плитой. Их величество престолодержательница с их высочествами князьями, цесарятами и многочисленной свитой по прибытии сразу же уселись за стол. Затем осмотрели дом, не найдя, очевидно, в ботаническом саду ничего более достойного внимания. Далее им угодно было расположиться в тени на часок-другой, и на том, окончив знакомство с миром растений, они отбыли восвояси. А будущий член ученого совета, провожая монархические экипажи громким «ура!», благословлял день, когда подрядчик заверил подписью обязательство: «Я, Барильо, принимаю на себя постройку двухэтажного каменного дома с галерей...» и т.д. и т.п.

Дачи давным-давно нет: не выдержала землетрясения. Но оставят ли пустым благодатное место? И чуть ниже, у берега моря, там, где взору министра открывался лазурный природный амфитеатр, на щедрой земле Никитского сада — не зря же кто-то в порыве восторга назвал ее клочком Италии, приросшим к суровой Скифии, — стоят бетонные корпуса современных представителей власти. А чуть выше, на скале, пробитой тоннелем, — их чайный домик. А левее — укрытый элегантными криптомериями теремок слуг народа. Теперь не нужны царские тропы, чтобы спускаться к берегу, достаточно в лифте надежной фирмы «Люфтмерхен» нажать кнопку «МОРЕ» — и даже оно, торжественное и великое, у твоих ног.

Был праздник

А ветерок тормозит страничку архивного дела с подклеенной телеграммой: *«Приехать не могу»*.

Она пришла, когда ученика уже отпели, похоронили и составили опись вещей: часы глухие с цепочкой, кошелек с деньгами (1 руб. 35 коп.), несколько экземпляров журнала «Пробуждение», записная книжка с заметками... Конечно же, директор не может пренебречь просьбой опекуна, заключающей телеграмму, и деликатно сообщает обстоятельства, зачеркивая слова и подбирая нужные:

«Особенно грустен стал он после смерти своего отца осенью 1912 г. Какая-то тоска и апатия одолели его, он по целым дням молчал, отделяясь от расспросов односложными фразами. В отпуску почти никуда не ходил, и время каникул проводил тоже в училище...»

Щербаков пишет и мачехе, тем более что ее требование: *«Немедленно известите»* сопровождается оплаченным ответом. *«Примите, милостивая государыня, уверение в моем совершенном почтении»*, — заканчивает он послание. Она вскоре приезжает из Одессы в Ялту, останавливается на даче знакомого генерала. При встрече с ней директор, наверно, почтительно насторожен и, отвечая на нервные вопросы, вынужден повторить: вещей в обыкновенном смысле слова у ее пасынка не было, а то, что способно таковыми именоваться, сдано в полицейский участок, и помощник пристава Никульников расписался в приемке.

Пошла ли она в класс, где пасынок упал на дубовый пол, или встретилась с тем, кто первый поднял тревогу, а может, подробности лишь расстроили бы ее слабое здоровье, и она уехала, не открыв душу для них (да и какое, собственно, это имеет значение)?!

Был праздник Белого цветка. В этот день ученики обычно вили гирлянды. Возле министерской дачи стоял автомобиль,

который им поручили украсить. Они шумно взялись за дело, время от времени поглядывая на малиновые драпировки в окнах: не мелькнет ли красивая дочка зрителя, имевшая обыкновение кататься по саду на велосипеде. А тот, с кем она недавно столкнулась и кому со злостью сказала, потирая ушибленную руку: *«Я возвращу вам несчастный гербарий. Вы не рыцарь. Вы — жалкий смешной поляк»*, прятал на груди предсмертную записку. В пустом училище тишина. Слышен лишь шелест глицинии, укрывающей здание. Да жужжанье шмелей, облепивших лиловые гроздьи.

Черные дрозды метнулись от выстрела и на секунду умолкли. И чуть сильнее прежнего качнулись зеленые плети. Да еще отражение бальзамина у кромки бассейна багряно колыхнулось, потревоженное упавшим листом. Вот и все. А потом один из учеников вздумал украсить цветами свой класс и побежал с букетом. Единственно, о чем Будковский просил, — хоронить без религиозных обрядов.

Директору стало жаль сироту, он не решился провожать его в последний путь без прощального слова и пригласил ксендза. Скорее всего, он после раскаялся. Меловая бумага все объясняет — на бланке римско-католического прихода. Отпевание?.. На каком основании? Его высокопреосвященство требует резонов. А тут еще ксендз не отступает от своего: не уплатили за службу. А ведь он ехал в праздничный день, за шесть верст от Ялты, да и приход его малочислен и беден, никакой поддержки от правительства — одна надежда на верующих, и от состоятельных за отпевание в черте города приличествует рублей двадцать пять, а уж за чертой...

Деньги мачеха не рискнула перевести, отсылая к опекуну. На ее новое письмо директор смиренно отвечает:

«Залог, который внес генерал-майор Будковский при поступлении сына в училище, выплачен погре-

бальной конторе Барильо. Примите, милостивая государыня, уверение в моем совершенном почтении».

А опекун? Где голос крови? Кажется, родственник не торопится с долгом. А знаменитый польский гонор? Или бумаги утрачены? Листаю, листаю, листаю. Вот! Страничка в линейку, вырванная из тетради, — желтые пятна времени на щегольских размашистых буквах: *«Сначала вещи покойного Николая Будковского малой скоростью, после чего последуют десять рублей для ксендза...»*

Я закрыла папку. Захотелось дохнуть свежего воздуха.

Из череды неудач

По скалистой тропе спустилась вниз, к морю.

Тень веток шевелилась на выступах. Лишь земляничник выглядел застыло-недвижным. Дерево-дикарь, гордое, независимое, оно либо гибнет, либо живет так, как ему нравится, высоко на скалах, поближе к солнцу. В нем все сопротивляется, не поддается чужой воле. Равнодушное к влаге, не признает иной почвы — лишь камень. Мускулистые, напряженно-скрученные стволы, — сизовато-багровые, часто желтые, иногда нежно-розовые, в тонких лоскутах обвислой коры, несут раскидистую вечнозеленую крону то с белыми цветами вроде ландышей, но без запаха, то с ягодами, яркими, как земляника, но безвкусными, как трава. Цветы уже начали осыпаться, добавляя свой прах пылым лепесткам буйного ладанника. Его сиреневые кустики ютились на каждом освещенном пятнышке. На миг, как отголосок поспешного отпевания, память одолжила заемным: *«Ваши пальцы пахнут ладаном...»*, и обратила к строкам Будковского, записанным после смерти отца:

«Во дворе, у клумбы, можно перевести дух. Дождь стекает с моего зонта, одна из капель падает в белую чашечку, обращенную к хмурому югу: мгновенное сияние, потом все гаснет от нового удара капли. Почти прозрачные лепестки уже разъедены траурной влагой. К вечеру они совсем потемнеют, истончатся, затем смешаются с землей. Белые, анемичные, щемящие... Я вспоминаю наш сад, где всегда что-то цвело: первыми пробивались крокусы, держа на плечиках остатки снега, а последними — хризантемы; согнувшись под ветром, они смотрелись в зеркальце льда. Больше у меня никого нет. Холодно. Зимно. Бардзо зимно».

Такие признания настроения не поднимают. Вспоминаешь свое, из череды неудач, и образ новейшего кабинетно-бетонного монстра настигает меня как добычу. Я вижу что-то оканцеляренное. Позванивая длинными очковыми цепями, которые болтаются, как подвески грузинской княжны, оно сразу предупреждает: *«Придется подождать. Минутку-другую, возможно, больше. Неотложное задание».* Цепями смотрит в газету, еще секунда, и оно стряхнет на тебя золу сигареты. Статья о мышинной возне производит бурные потрясения, фаланги свободной конечности отбивают барабанную дробь, учиняя звуком маленькую гражданскую казнь надо мной. Без суда и следствия, без слов «Государственный преступник». От нечего делать придумываю ему биографию и произвожу в эксвольнодумца, сохранившего привычку почитать на службе. Потом заполняю на него историю болезни и подыскиваю лечебную травку для внутреннего потребления. Отправляя на курорт, даю для компании ходячую бесполоую идентичность. Но отказывается. Почему? Нет привычки к изменам. В таком случае — обезглавить: пусть умрет нравственным, числа себя мужчиной. Сейчас

поднимет удивленные органы зрения: *«Вы еще здесь? Я же сказало, явитесь через месяц. Пожалуйста, без эмоций. В противном случае ваш вопрос рассмотрению не подлежит».*

Наверно, специалист по замораживанию и должен обрывать на полуслове, чтобы поддерживать вечную мерзлоту внутри себя, пронести ее сквозь века и передать прекрасному будущему. Приемники уже наготове, такие же демократически вероломные, желчекаменные и бесполое. А предшественник из темного прошлого давным-давно уверяет в почтении на архивной страничке, лежащей у меня под рукой.

Опекуны, ксендзы, мачехи, разные барильо, высокопреосвященства, министры и прочие высшие инстанции, маленькие и большие вершители судеб с очками и цепями шли за мной по пятам. Я слышала, как летели камешки из-под ног. Тучей вились москиты и слепни. Голоса сливались над ухом. Господин министр обращал внимание на недостаточность ризницы в Никитской церкви и поручал заказать полное облачение для священнослужителей. Архиерей возмущался тем, что отхожие места помещены под алтарем, и директор сада предлагал выдвинуть их в пристройку. *«Мускат белый, мускат розовый, Совиньон из подвалов экспериментального винзавода, заизюмленные тона с шоколадным оттенком»*, — диктовал чиновник особых поручений и бетонных корпусов. А там компанию уже развлекал приголубленный шут профессор: *«Бокал следует брать за ножку, а женщину ниже талии».* И только действительный статский советник Щербиков пытался восстановить с межевым инженером границы сада, докладывая Главному Иерарху: *«Никитский сад теряет земли, а главное — физиономию изолированного учреждения».*

К причалу подошел катер, и на весь берег загремела музыка. Голоса сразу стихли. Вскоре катер повернул в сторону Гурзуфа; сошедшие экскурсанты потянулись долгой

цепочкой к пепельной оливковой роще. Голубоватая, таяла вдалеке Ялта.

Имя забытого мастера

Был полдень, когда последний раз я взглянула на часы. С тех пор прошла вечность и еще семьдесят четыре года, месяц и двадцать дней, отсчитанные от Праздника белого цветка. Но что изменилось? Одной банальной историей больше, одной меньше. Мир видел столько мертвых, что мог бы сойти с ума. Но ничего — скрипит. И время от времени жаждет возмездия. Со-кру-ши-тель-ного!!! Мир уходит в крик. И по-прежнему стынет в деревянной скорби над гробом чужого пасынка Божья Матерь, роняет восковые слезы, и светится бледный веночек в ее кипарисовых пальцах. Где-то в девятьсот тринадцатом.

На обратном пути, у подъема на гору, меня кто-то окликнул. В своих мыслях я не узнала голос директора.

Не призрак действительного статского советника Щербакова, а нынешний, Петр Аркадьевич, — преемник вековой бетонной традиции (под его руководством в очередной раз перекроили ботанический сад ради курортного «культпросвета») взялся откуда-то. С улыбкой души и приятельским разговором.

Некоторые, не признающие полутонов, считали нас врагами: из-за пустяка — расхождения относительно изысканного садоводства, самой капризной области красоты, последний мастер которой скончался больше ста лет тому назад. Чудаки! Мне действительно казалось, что этот вдохновенный художник (его имя достойно упоминания — Пюклер-Мускау), будь он жив, взял бы мою сторону, но это еще ничего не значит. Конечно, великий Пюклер не одобрил бы крикливых нововведений — всех этих косых

углов, прямых линий, бетонных площадок, навязанных Никитскому саду, а также прочего застойно-провинциального модерна, включая и корпуса для сановников. Ему вообще нравилась незаплеванная патриархальная классика. В родовом парке (Мускау) он воплотил свои представления.

Сначала Маэстро творил собственноручно, а затем пустился в скитания. Управляющему надлежало лишь исполнять его распоряжения. Плавающие мексиканские сады, игрушечные японские бонсэки, парки Китая, России, Англии, головоломные версальские боскеты... Два года он изучал их, правя на расстоянии с такой точностью, словно возил Мускау в кармане. Потом вернулся, чтобы самому продолжить работу, навсегда склонившись в пользу естественного стиля, не чуравшегося жизни, — фабричных стен, мельниц, плотин.

В память о Мускау Пюклер удлинил фамилию, когда, разорившись, продал имение и забрался в глушь. Но и здесь однообразие унылой равнины стало действовать ему на нервы, мешая продолжать «Записки покойника». Старик князь отложил перо и потихоньку взялся за прежнее: сотворил озеро, окружил его холмами, воздвиг лесок... От этого занятия его оторвал Господь, призвав к себе как самого опасного соперника. С Пюклером-Мускау умерло в 1871 г. поклонение природе, облагороженной до идеальной красоты, и уважение к характеру самого неприметного ландшафта.

Но Петра Аркадьевича не вдохновляло имя забытого мастера. Иерархия, к которой Петр Аркадьевич имел честь принадлежать, была с ним в состоянии необъявленной войны. Моего спутника не трогало и то, что Пюклер отстаивал каждую ложбинку, бугорок, струйку воды перед самим королем, если его величество осмеливался соваться в чужую работу. Директор продолжал говорить о распоряжении свыше, ссылаясь на Главного Иерарха, народ, сотни тысяч экскур-

сантов. Мне делалось скучно, потому что он был искренен. Слушая, я вспоминала пленительные глаза Главного Иерарха и думала: «Ведь и Константин Леонидович — не последняя инстанция. Над ним не только небесная сфера с позолоченным солнцем, вписанная в потолок его легендарного кабинета. И он, академический цезарь, — раб всеохватной бетоносистемы, засосавшей всех нас». И не сочувствовать директору было сверх сил. К тому же не кто иной, а он, мученик должности, разрешил мне пользоваться архивом даже по воскресеньям. А потом предложил заведовать им. Вряд ли предложение было серьезно, но... несерьезность в отдельных случаях особенно привлекательна! Больше того, вызывает симпатию.

И вот я глядела на него, пытаюсь отыскать интерес к истории, которую собиралась рассказать. Но заметила озорство в глазах, как у деревенского парня, из тех, кто встает поперек дороги и не дает прохода.

А явился Петр Аркадьевич предупредить: завтра едем в долину. Он не заснет спокойно, если не покажет самый большой водопад в Европе и редкий папоротник «Венерины волосы».

Нашел из-за чего не спать! Есть поважнее предметы. Например, слово «макулатура» в память незадавшейся жизни, любви. И я рассказала о папке.

Реакция директора удивила меня. Путаясь, и смущаясь, и сбиваясь на косноязычие, он выразился в том духе, что вроде как бы, это самое... нельзя оставить все так, ну, в устном рассказе, что ли... А? Надо бы закрепить. Это был психолог, изучивший человеческие страсти гораздо лучше, чем изящное садоводство и ботанику. А затем встревоженным голосом стал уверять, что самоубийство — грех, и священник, совершивший обряд, нарушил заповедь.

И тут мой доброжелатель запнулся. Кажется, в ту минуту он тоже услышал грозное рычание гербового льва. И

мерный гул бетономшины, накапливающей дикую инерцию разрушения. Оранжевая платформа на колесах протряслась мимо, обдав жарким смрадом. Она сметала, крушила, давила. Завтра к ней добавят компрессор, он застрочит и разъяренной струей песка начнет выжигать все живое. На лице директора появилась замороженность. Через минуту он деловито ступил на колею, оставленную колесами, опробовал ее крепость. Похоже, его снова одернул кто-то из невидимой свиты, следующей за мной по пятам. Густой бас с характерным латгальским акцентом мог принадлежать лишь Главному Иерарху. «Надо пожалеть», — приказал бас. И Петр Аркадьевич виновато улыбнулся, послушно договорил: «Нельзя, это самое... переутомляться. Нужна маленькая разрядка. Завтра, если нет возражений, форма одежды походная».

Холодно даже во сне

Мы расстались у пропускной будки. Смотрительница торопливо открыла ворота на пляж, затем накинула скобу, кандальную цепь и замок, поправила табличку с изображением оскаленной собачьей морды. Директор очутился по ту сторону, заспешил вдоль аллеи акаций. Смотрительница исчезла в тени. Сверху я видела, как по набережной проползла его осторожная машина. Она еще не скрылась, а меня уже охватило сомнение: правильно ли я поняла его последние слова?

— Когда, говорите, это самое? — хмуро спросил директор.

— Что?..

— ...Случилась эта история?

— В 1913-м.

— На сто первом году жизни Сада.

Счет удивил и меня. Директор не отделял судьбу Будковского от истории своего учреждения и, наверно, был прав. Разве вся наша жизнь не сад, подстриженный, прореженный, забетонированный? Столько людей — да что там! Целые народы ушли в макулатуру, стерты войнами, революциями, конвейерным уничтожением. После них — лишь фантомная боль, та, что мучает инвалидов. И вот она настагает где-нибудь в архиве, вырастает, как древоядник в кору, и ноет, мешает жить. И ты не можешь больше читать «Записки кота Мурра», а думаешь о белом гербарии, который давным-давно превратился в труху, и бредишь откровениями захоластного гордеца. Слышишь звуки граммофона, о которых он пишет в своем дневнике:

«Представление еще не началось, артисты устанавливают ширму, дети вертятся, кто-то усаживается, кто-то бежит, пытаясь догнать собачонку, — во всех движениях столько обыденно вечного, будто видишь картину старого мастера, даже налет времени на красках видишь. Густая седоватая хвоя колышется вместе с музыкой, я заставляю себя идти вперед, под сень плакучего кедра — самого непонятого из деревьев, — поникшего, словно безвольная ива, предавшего свое мужественное начало. Дальше, дальше, к древнему земляничнику, не способному на перерождение. И это говорю я, “не рыцарь”.

Ее веломашина была украшена плющом, помешавшим удержать руль и уклониться от столкновения. Кажется, этот удар — последний. Единственно, что меня греет, — шинель».

Разговор с директором не выходил из головы.

— С чего бы именно этой папке оказаться в моих руках? — спросила я.

— Как с чего?.. Это самое... — сказал директор, пораженный моей недогадливостью. — Раз человек интересуется, ради бога, — продолжал он обстоятельно и внятно, но голос доносился, словно из другого мира, из какой-то параллельной реальности, где душе бесхлопотно и легко, — пусть работает в свое удовольствие. Я сказал Нине Федоровне: запишите и отпустите. Под мою ответственность... это самое...

Я слушала, наклонив голову, понимая, что рядом — никого. Безмятежный простор покоился передо мной. Уходил в бесконечность. К ней устремлялся и взгляд. Но чувство убеждало в предельности человека. Солнечный свет оплавливал над горами край лохматого облака. Где-то, за скученными деревьями, — с высоты они казались зеленой отарой, замершей на спуске, — ехал мой благодетель. О чем он думал?

Предсмертную записку нашли на груди при осмотре тела. Уездный врач подал конвертик Андрею Ивановичу Паламарчуку и, приподнявшись, отошел в сторону.

«Тяжело умирать, не будучи удовлетворенным в жизни, без сознания, что выполнишь честно свой долг перед обществом. Дальнейшее существование бесцельно и ведет к новым страданиям. Прощайте».

Николай Будковский сложил секретку и запечатал ее за два дня до праздника. Слабое оживление заметили в нем товарищи. Позже они скажут помощнику пристава, что в последнее время Будковский повеселел. Накануне праздника он даже признался, что ему приснился чистый снег, и кто-то заметил: «Будковский, тебе даже во сне холодно». И, ложась спать, попросили Будковского, встававшего первым, разбудить их пораньше.

Признание настоящей любовницы

Запах глицинии остановил меня на последнем участке подъема. Он плыл и плыл от террасы моего дома, окутанной дымчато-сиреневым цветом. В нем было дуновение давнего апрельского утра и тишина праздника, разбитого пульей. И по мере того, как я приближалась, запах делался сильнее и резче. Но вот ветер изменил направление. И опять, неуловимый, бесследный, как облик Будковского, которого не суждено увидеть даже на фотографии, как его последний взгляд, обращенный к сиреневым гроздьям, поплыл стороной.

В холле ко мне устремилась дежурная.

— Вы из архива? — спросила она, и законный интерес к истории обозначился на ее лице.

Как известно, все законное не вызывает доверия.

— Вы про Молотова ищите документы? — не отставала дежурная.

После нескончаемых споров в Москве, после горячего разномыслия, которое конъюнктурные пророки назвали «русской Вандеей», и здесь услышать осточертевшее имя!

— Да не волнуют меня кумиры! Ни бывшие, ни теперешние! Разве что посмеяться над ними.

— А что тут смешного?

— Ну, как же! Учрежденный де Ришелье, французом! и Христианом Стевенем, обрусевшим шведом! сад, ботанический! носил имя министра иностранных дел Молотова.

Можно было назвать и второго «ангела-хранителя» Никитского сада — Лысенко, с которым его связывали узы сельскохозяйственной академии, но стихи читать как-то приятней:

Мир был хлопотным, мир был чудным
Под туманом юным, тревожным,

А теперь, в этом веке безлюдном,
Стал пустынным он и несложным...

Конечно, дежурная хотела услышать что-то другое, но я продолжала читать самого польского из поляков: чтобы впредь не приставала с модными темами. Но нет! Она была несбиваемой.

— На всякий случай запомните, — сказала она, — когда Молотова расстригли, памятник ему возле бассейна подлежал ликвидации. Его заключили в клеть, и он стоял как арестованный. Потом на него натянули холстину, чтобы не смущать иностранных гостей. И так он простоял еще, пока не нашли технику. Это у вас, в столице, по ночам, втихаря, а у нас выносят при стечении народа...

Меня позабавило столь оригинальное осуждение столичной практики.

— А Лысенко? — спросила я. — Тоже задвинули за решетку?

— Тут обошлось! Ни в мраморе, ни в граните не красовался.

Ее гневное чувство ограничивалось расправой над монументами. В этом было что-то обнадеживающее, как и в том, что идолы уходили в макулатуру.

— Никто не звонил? — спросила я, возвращая дежурную к будням.

— А сколько кавалеров вам требуется? — ответила она удивленно, не делая секрета из своих наблюдений.

Похоже, у моря старушка признавала только любовные отношения. Я пожала плечами и подалась к лестнице.

— Я сказала «кавалеров», а не «любовников», — закричала она вдогонку, — что не одно и то же! Превратить кавалера в любовника — не такое простое дело.

— Вы считаете?

— Я считаю!.. Это факт. «Случайным бывает только брак», — говорила моя бабушка. А в любовники нужно брать

человека надежного. Запомните: в любви главное поцелуй. Если он приятен и вас от него шатает, и сами вы таете, а он горит на губах, то все остальное будет еще приятней.

Я улыбнулась, находя суждение небесспорным, однако во внимание приняла.

В комнате по-прежнему было солнечно и так же слышались волны. Кажется, ничто не изменилось, но в жизни многое кажется. Тогда-то и спросила себя: «Зачем взяла эту папку?» Было так хорошо. Море. Солнце. Встречи с директором. А теперь все достанется ей — неприкаянной тени. Все? Может быть...

Послесловие

Судьба этого рассказа претерпела много невзгод. Хотелось видеть его напечатанным на родине главного действующего лица, как бы репатриировать в Польшу, если с персонажем такое возможно. Тем самым отдать дань его памяти. Однако идея не имела успеха. Чванливыми и надутыми, словом, одними из тех, кого называют официальными лицами, было сказано: «Поляк, который прижился у вас, в России, — не поляк». Даже под покровительством центра, названного Культурным, жестокость так же мелка, как и глупость, хотя и тщится изобразить гордость. Речь не о ней, а о том, что у боли нет родины, кроме души. Да и милосердие не имеет национальности.

ОДИНОЧЕСТВО МУЖЧИН И КОТОВ

И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней.

А. Платонов

Глава первая

Он был шупленький, небольшого роста, с пугающим выражением глаз. Они замирали и округлялись до ужаса, подобая гримасе какого-нибудь актера в роли или того анонимного фотографического пациента, который к вашим услугам в любой книге по психиатрии. Об этой своей особенности Герцик долго не знал, но однажды словоохотливая хохлушка — из тех, про кого говорят: «Шо я маю, то я везу», — ляпнула ему об этом. Герцик не удивился: как некоторые связывают седину с пережитыми несчастьями, так и он нашел объяснение: гетто, куда на руках матери угодил из местечка Изюм.

От матери он знал, что там были каменоломни, их оцепляла колючая проволока, там расстреливали... Дальше он не хотел думать, но мысли не отпускали, и ничего поделать с этим было нельзя.

Людей расстреливали по рвам, потом засыпали, а после земля дышала неделю, схоронив всех подряд: и мертвых, и живых. Бывало, на «акцию» приходили местные, прина-

ряженные как на праздник. С тех пор глаза Герцика как бы знали свое — стремились вон из орбит. Можно представить, какой счет этому миру носил он в душе, и как никому до этого не было дела. Мир едва помнил себя, а уж чужие обиды, страдания... «Скажи спасибо, что уцелел! — говорили ему. — Все под Богом ходим. И которые убивают, и которые этим воздухом дышат». Но «спасибо» Герцик мог сказать только своей матери — ей удалось бежать из гетто, — а во все не миру, который мало чем изменился. «Ужас, кошмар, конец света», — вот что Герцик о нем понимал. В благодарность он жил для матери, никого не любил и любить не собирался. Мать соединяла его с прошлым, единственной верной реальностью, где даже, тени находили в нем покровителя. Прошлое делало его жизнь значительной, тогда как настоящее только и умело, что мучить. Он привязывался к матери тем сильнее, чем невыносимей становилась жизнь. А счет к миру нарастал. Когда терпеть стало невозможно, Герцик сказал: «Надо что-то менять». Что имелось в виду, он знал, а дальше... Пускай устроительная сила сама воздаст за страдания. Даровала же ему мама второе рождение, так и теперь отыщется спасительница и вызволит из трясины.

Но «спасительница» не спешила. Женщины вообще не удерживались возле него, хотя за ним числилось столько достоинств, что по нынешним временам просто клад: не пьет, не курит, не гоняется за юбками, не крадет, не обманывает... Главное же — предлагает законный брак. Но женщины — непонятно — появлялись и пропадали без объяснений, мало сообразуясь с его настроением и с тем, что «надо что-то менять». Они хотели другого. Со своей стороны и Герцик не спешил с авансами: книжечка стихов, букетик, коробка конфет — эти милые пустяки только сбивали с толку: что значит букетик, когда человек предлагает себя?! Да и не богач он, чтобы сорить деньгами. А тут еще мама сыпала

соль на раны: «Это самое страшное наказание — одиночество. Вернешься домой, а тебя, деточка, никто не ждет».

— А, кроме тебя, мне никто и не нужен, — отвечал он.

— Мама не вечная...

— Живут и до ста! — отрезал он.— Помнишь Зося?..

Она в пятьдесят восемь только первый раз родила...

Но мама твердила свое. И однажды... Он действительно нашел ее... На кухне... И понял: нет больше главного человека. Она была всегда как бессмертная — заботилась, опекала, лелеяла — и вдруг с отчужденным лицом... Как будто свои же слова, что «не вечная», воплотила и устранилась без всякого снисхожденья. Бросила на произвол судьбы, как бросают детей в реку, чтобы выучить плавать. И он не знал, как теперь жить, что делать, куда идти. «Может быть, ее отец позвал», — подумал он, и новый приступ сиротства сковал его по рукам и ногам. Он глотал воздух, словно впрямь брошенный в воду, спазмы душили, и ничего в голове другого, а только то, что с ним, а не с нею, случилось самое страшное. Одно утешало, если кто-нибудь говорил: «Им теперь лучше, чем нам». «Конечно, они там вдвоем», — отзывался Герцик и опять забывал все на свете, хватался за сердце, считал себе пульс, искал по карманам лекарство, даже что-то обидное для памяти ушедшей являл посторонним, хотя правда его: «какой стресс, какая нагрузка на нервы». Однако ничей язык не поворачивался одернуть, советовали обратиться к врачам, называли специалистов, и он покорно делал, как говорили, и заботы о собственном здоровье, казалось, поглотили его. Но по вечерам накатывала тоска, та самая, зеленая, хоть караул кричи, он кидался куда глаза глядят — к родственникам, знакомым, сидел, молчал, считал себе пульс, а рюмка водки — это лекарство на все случаи жизни — стояла нетронутая, потому что Герцик боялся за сердце.

Так продолжалось достаточно долго. Потом родственница, из тех, что седьмая вода на киселе, взялась за него, закрыла холостую квартирку и, списавшись заранее, отправила к тетушке, единственной близкой родне. Квартирка его — ничего особенного, но на общем безрыбье... Словом, родственница, которая выдала замуж дочь, нуждалась в пристанище, чтобы освободить от себя молодых. Это отчасти и послужило причиной ее энергичных забот.

Глава вторая

1

Столичная тетушка тоже жила без присмотра. Болезни и коммунальное общежитие одолевали ее. Она любила свою заставленную комнатенку давним ревнивым чувством старой москвички и ради «дорогого племянника» жертвовать ничем не собиралась. Племянник был помещен в коридоре на раскладушке, где и проводил ночь, как безгаремный евнух. На большее он и не посягал. Тетка, склонная впадать в повелительный тон, тиранила его как могла. Если бы не работа, Герцик сошел бы с ума. Но и работа не грела. Зубной врач, он зацепился в районной поликлинике, где надумали поставить дело на манер американского. Но охотников раскошелиться оказалось мало: до изысков ли обычному пациенту? И Герцика бросали направо-налево и куда ни придется. У себя в провинции он привык говорить: «Свою лепту в отечественную стоматологию я уже внес», а здесь?.. «Ужас, кошмар, конец света», — шептал он в сторону, без расчета на посторонние уши, и гримаса на его лице задерживалась дольше, чем прежде.

Но кое-кто с наметанным глазом подивился такой беспредметности жалоб и рассудил: «Даром мужик пропадает...» И особа из отдаленного медицинского персонала прибли-

зилась, чтобы утешить себя и его. «Пускай не вышел ростом, — рассуждала особа, — не красавец, не обольститель, зато порядочность налицо, а также приличное жалованье, хорошая специальность и никаких хвостов, то есть оставленных жен и детей». Конечно, житейский опыт подсказывал: «Мужик что? До тридцати еще годен, а после — сухой». «Сухой, да свой, — был ответ своего же практического рассуждения. — Хоть полено, только бы дома: есть словечком с кем перемолвиться».

Герцик поддавался, но не очень, и, снисходя к женскому одиночеству, скорее уступал, чем млея от восторга. Перебивался с хлеба на воду, имея скромные крохи и свой маленький интерес. Женская активность пугала, а еще... он боялся служебных историй. Да и персонал слишком уж младший.

К этому времени тетушка подгадала не без задней мысли найти племяннику пару. Имелась в виду дочка одной приятельницы. Лучшего повода для знакомства и не придумать — за яблоками к ней в сад.

Так Герцик познакомился с Наташей. Встретились они на вокзале. С удивлением Герцик поглядывал на высокую складную спутницу, примеряя к ней дежурные представления о замотанной дачнице. Разве что кеды и походная куртка — остальное расходилось с его фантазией, озабоченной предстоящей дорогой, так что и тяжелая сумка в руках Наташи не стала предметом его внимания; Наташа так и несла ее до самого поезда.

В вагоне, забившись в угол от сквозняка, Герцик чувствовал на щеке веянье ее волос, краешком глаза он косил в ее сторону и, видя чеканный профиль, улавливал надежность, исходящую от Наташи: вот человек, которому можно верить себя. Сама мысль о поездке слилась с мечтой об однодневном доме отдыха или санатории. Явилось тайное тайных: «С такой и в Гефсиманию можно податься» (почему он выбрал именно это название, Герцик и сам не знал, но

в этом слове его мечте было уютней). И сад, до которого они, наконец, добрались, показался райским.

На деревьях, земле, по дорожкам, в канавах — такой прорвы яблок он не помнил со времен Украины. К яблоням клонило сливы; сомкнутые в глубине заросли облепихи давали бесконечности рыжий цвет. Флоксы, астры уже казались лишними, как и запах ели у входа. Все это будоражило, ложилось на душу забытым восторгом. Растревоженный, Герцик ничего не хотел, а только смотреть и вдыхать: он устал, он желал отдохнуть, не было ему дела ни до каких яблок. Он поставил шезлонг на террасе — повыше и посуше, расположился и впервые за много дней заснул. Странный сон приснился ему: покойная мама тихо-мирно присела и все не могла нахвалиться сыном — добрый, преданный, золото, а не человек.

— Кому это ты говоришь? — спросил Герцик.

— Ну, как же... — мама кивнула: в дверях стояла Наташа. — Я довольна, ты попал в хорошие руки.

— Нет, — сказала Наташа, — он не может любить.

— Как не может любить?! Почему?..

— У него на лице написано... Ему не дано. Самооколованный слишком.

Герцик кинулся к зеркалу: это неправда! У него лицо приличного человека. Но зеркало куда-то девалось. Вдруг Герцик обнаружил его при себе, подумал: «Разве занятыми руками что-то найдешь?» — и разжал пальцы. Зеркало упало. Сухая листва намелась на осколки.

— Мама, мама! — стал звать Герцик.

— Да это же сценка Страшного суда, — сказала Наташа и засмеялась. — Не пугайтесь: здесь она, с нами, — и открыла калитку в сад.

Деревья лучились в дымке; густея, она обращалась в туман. Все заволочло на глазах. Солнце пропало. Тоска охватила Герцика. Он проснулся.

2

Яблоки лежали на траве большими семейными кучами; солнце било в листву, все казалось ярким и летним. Наташа сидела за столом. Она молча ела, наблюдая за ним исподлобья. Это была уже не та беззаботная спутница, которая подхватила его на вокзале. Но, подавленный сном, Герцик мало что замечал. Он глядел и не знал, что сказать. И вдруг сами собой... В полном согласии с выражением его глаз, тем самым, пугающим, — какие-то слова о здоровье, о том, что врач советовал ему дышать... побольше свежего воздуха... не замыкаться... обзавестись подругой...

Наташа слушала и не слушала, сидела напротив, но была где-то далеко; «серьезные намерения», о которых Герцик завел, остались без внимания. Скоро она поднялась, и Герцик увидел ее в саду. Она сортировала яблоки: желтое, красное; ящик, корзина — Герцик не успевал следить, — а те, что для дома — по сумкам: себе и гостю. Она работала, как настоящая крестьянка, которая не видит света белого. Косынка сбилась у нее с головы, Наташа сорвала ее и вытерла лоб. И так много знакомого почудилось Герцику в этом жесте, что он закрыл глаза, чтобы припомнить, где уже видел похожее. И по своей тоске понял, что так же делала его мама. Какие-то люди подходили к Наташе. Она набирала яблоки в ведра, корзины и опять бралась за свое. В сторону Герцика не глядела.

— Жучка, отстань! — услышал он ее голос, прежде чем заметил неистовое ликованье откуда-то возникшей собаки.

Поодаль от Жучкиных скачков и приветственных лап, соблюдая дистанцию, стоял черный лохматый пес.

— Ну что, Фараончик, — сказала Наташа, — так и будешь при мамке всю жизнь? Эх ты, вечный сын.

Для далеко идущих выводов и параллелей Наташа была слишком замотана (похоже, она дорабатывалась до бездумья, до состояния, когда в голове — ничего), но мысли брали

свое, являясь откуда-то со стороны: «Об этике природы, о нерасторжимых связях... — вспоминала Наташа. — Наверно, творя их, Бог-Вседержитель не осознает себя... Для Него привлекательно сверхкосмическое, как для человека сверхчеловеческое... А проблемой оставалось и остается обыкновенное человеческое... Что за пределами своего запуганного маленького Я».

Герцик снова закрыл глаза, чтобы увидеть маму. «Милая, дивная», — звал он, чего при ее жизни никогда не делал. Мама же как будто передоверила его Наташе — этой странной, молчаливой, у которой на уме одни яблоки. Герцик так и не узнал, как трудно их собирать, как отваливается голова, обращенная вверх, и сжимается сердце от мысли, что не управится: короток день. Он не догадывался, что и от этого можно сойти с ума, как сходят с ума от одиночества. Голос земли, ее власть — этих вещей он не знал. Само почвенное чувство ограничивалось для него словом «свои». В глубине души он понимал, что и *свои*, и *чужие* одинаково далеки от него, но за *своими* мерещилась хоть какая-то правда, тогда как *чужие* в расчет вовсе не принимались. Да и слаб был Герцик, чтобы заходить за фасад расхожего мнения, удобного всем: и тем, кто покрывает друг друга, и тем, кто преувеличивает национальную солидарность. И потому обаяние слова «свои» не затемнил бы и призрак барона де Ротшильда, предавшего соплеменников, когда за них взялся Гитлер. Не переубедили бы и обвинения самих сионистов в адрес лидеров, отправивших собственных же собратьев в немецкие концлагеря. Герцику спокойнее было закрыть на правду глаза, чем жить без всякой надежды.

Уже обозначился месяц. Наконец последний ящик Наташа оттащила волоком на террасу и стала собираться. Месяц высветился сильнее. Какие-нибудь полчаса оставались до выхода, когда Герцик попросил чаю, такого же ароматного, с травкой, как за обедом. Наташа сердито подала кипя-

тильник, а за водой послала к колодцу. Как-то подчеркнуто громыхнула железной коробкой с заваркой. Конечно, Герцик не стал ничего затевать.

Они вышли при полной темноте. Российская экономия без всякого понятия давала себя знать в погашенных фонарях. Романтическому месяцу требовалось полнолуние, чтобы сильнее светить. Но месяц барахтался себе на спинке рожками вверх и горя не ведал. Герцик тащил свои яблоки, Наташа — свои. С непривычки сбивался, попадая в придорожную глину. Цепные псы рвались и визжали, почуяв чужих. Пахло остывающими кострами. Но вот впереди прорезался свет. Вид станции придал духу. Худо-бедно достигли платформы с воскресным народом, томившимся ожиданием. Несколько поездов пронеслось мимо. Все же подали местный состав, народ кинулся — и Наташу с Герциком буквально внесли внутрь вагона. Двери захлопнулись. Поезд тронулся. Прижатый к своей спутнице, Герцик попробовал поблагодарить за чудесный день; округлая щека с легким пушком была прямо перед его губами, какой-нибудь сантиметр, несколько ударов сердца... Герцик гнал крамольные мысли, отводил взгляд — и опять... Смущенный, он все бормотал, не замечая ее настроения и пыли на волосах, и царапин на шее, щеке. И все озирался, боясь проскочить свою остановку.

На первой же станции у метро он выбрался, помахал рукой с платформы. Наташа не ответила. Пьяный сосед, повалившись, заслонил окно. Наташа качнулась, но как стойкий оловянный солдатик вернулась в прежнее положение. «Рассеянная какая, — подумал Герцик. — А поговорить серьезно не удалось».

Что было после, Герцик так и не узнал. Почему его больше не приглашали, тоже было неясно. Все, что осталось от чудного дня, — желтая горка яблок.

А дальше было вот что.

Глава третья

1

Сойдя с электрички, Наташа выбилась из толпы и в сторонке решила заранее приготовить билет на метро. И на тебе: ни в сумке, ни в карманах, ни в тележке, ни в рюкзаке... Нет кошелька! Тут она вспомнила, как, замороженная просьбой о чае, кинула его и подала кипятильник. Она так явственно все представила, что, казалось, видела блестящие набивные цветы на этой несчастной вещице. И даже место возле запасной керосиновой лампы, где кошелек остался. От досады... Наташа сама не знала, как себя называть. Ключи — вот что ее убивало. В кошельке были ключи. Стоило проделать весь этот путь, а ключи оставить на даче. Мама в больнице, груз неподъемный, руки-ноги словно чугунные. А толпа валила мимо, ни знакомого, ни друга... Наташа вспомнила, как днем раздавала яблоки, и дачный сосед, видя ее одну, предложил подвезти, но из-за гостя она отказалась. Все складывалось как нарочно против нее. Однако звать и просить не хотелось. *Звенящая чистота одиночества* — так называла она минуты, похожие на эти, когда ни досады, ни злости, все куда-то девается... Остается лишь отстранение, как будто кто-то невидимый следит и диктует: «Действуй сама».

Тем временем стрелки вокзальных часов подбирались к двенадцати. И вдруг голос диктора: последний электропоезд! Наташа повернулась и вдоль пустого состава — назад, в первый вагон. Стало сразу легко, груз отпустил. И снова удача: в полутьме — пассажир. Возле окна, освещенный снаружи, раскладывает на газете еду.

— Садись, дочка! — сказал он, сгребая газету, и хлопнул по деревянной скамье. — Вдвоем-то повеселей.

Он был простоватого тертого вида с живыми глазами компанейского мужичка. От снеди приятно пахло дымком,

свежим хлебом. Когда едок подносил ломоть ко рту, на руке его можно было разглядеть надпись: «РАЯ», родственную татуированному сердцу с застрявшей стрелой.

— Туда ехал — разносчиков, как из мешка вытряхнули: кто с газетами, кто с брошюрами, книжонками... Ни свет, ни заря — двести вопросов для женщин! Ишь, каков молодец! Что раньше шуры-муры звалось, нынче секс. А все едино не для нашего человека. Замучишься выполнять. По душе-то милее. И пособия не надо. Лучше б губной помадой торговали... А то лепят горбатого, и вот ничего не купил девке.

Попутчик, верно, имел в виду дочь или внучку, однако ночью догадки теряют правдоподобие. Наташа, отодвигаясь, подумала: не ходок ли по женской части? Мужичок и сам хватился, куда его понесло, сказал не без лихости:

— А чего?.. Было, и мы на ходу подметки рвали! Ох, рвали и не чинили. Слава Богу, сорок шестой год со старухой живем и еще столько бы. У меня и на *тот* случай, — он показал пальцем вверх, — свой расчет. Буду являться, не дам позабыть. Пускай знают: рыжий да рябой — самый дорогой. А к чему это я?

— Что утром — люди, а вечером — никого.

— Поди, ночь уже. Ясное дело, народу не густо. Праведность режима требует, разбой — темноты, а все прочее — забытья. Задумался, и уже одинок. Либо дальше думай, либо на стенку лезь без людей. Монахи и те парой ходят.

И по-свойски поведал, что, не разгибая спины, пропадал все воскресенье на сына, даже поесть не успел. На том покончил с прожитым днем и... воззрился на что-то совсем непонятное: яблоки в сумках попутчицы! Как же так? В Тулу да со своим самоваром?

— А все от дурной головы... и ногам нет покоя, — откликнулась Наташа, переняв стиль попутчика.

Поезд тронулся. Беспхлопотный час дороги располагал к разговору в полное удовольствие. Темень в вагоне от-

звалась сырым холодком. Месяц взошел, бледнея в свете мелькающих станций, и стеной отлетали глухие прогоны мрака.

На станции вышли вместе. Чувством встречи обняло душу в ответ на что-то зримое ей одной. Только семафоры горели на путях. Наташа глянула на попутчика:

— Ну вот, ехали-ехали, а как звать не спросила. Может, встретимся: на распродаже саженцев или другого чего...

— Саженцы — дело хорошее, — был ответ. — Да только ты, дочка, разве не чуешь, как картофельной ботвой пахнет?.. То-то и оно... Путный хозяин картошку выкопал и в город повез. Вот и прикинь, какое время неподходящее... Самое воровское: пойдешь сапой, встретят лапой. Сезон кончился, фонари потушены, дачники съехали. Нынче жизнь человеческая ни во что, только и слышно: там ограбили, тут убили... А зовут меня Павел Кириллович.

При этих словах он поднял сумки Наташи и, не дожидаясь возражений, двинулся вперед:

— Старому солдату, дочка, дать лишний крюк спокойней, чем маяться что да как...

2

На другой день это злоключение представилось Наташе яснее: симпатия к случайному попутчику не помешала увидеть в Герцике виноватого. В этом качестве он и остался бы среди далеких знакомых, не напомни о себе телефонным звонком. Наташа собиралась в больницу к маме, о чем, сняв трубку, сухо сказала ему. Правда совпала с уловкой, а это не лучшее, когда разговор за глаза. Герцик мимо всех обстоятельств гнул свое. Тяжелые паузы делались пыткой. Наташа повторила: мама в больнице, та, которая вырастила сад, яблоки... Но Герцик... Своими «серьезными намерениями» пришелся так некстати, что даже желанием насолить не добился бы большего. Казалось, и телефонный аппарат

потерял терпение: разговор разъединился на полуслове. Герцик набрал номер снова. Ответа не последовало. Он набрал в третий раз. Опять — ничего. Значит, с ним не хотят говорить? Догадка сначала озадачила его, а потом соединилась с усмешкой той призрачной Наташи, которая отвергла его во сне, и он понял все. Бесчувственной, злой показалась ему Наташа. Он взял записную книжку и вымарал ее телефон.

Позднее тетушка пыталась выведать у Наташи, в чем дело. Однако уклончивая собеседница свела разговор к яблокам: розданы, а больше нет ничего.

— Розданы? — обиделась тетка. — Мы в состоянии и заплатить. Да и яблочки... Чтоб я так жила... Скрыжапель — это яблоко! А подмосковные... То червивые, то с бочком. Разве что сразу покушать.

Нескладный разговор, завершившись, обратился тетку к племяннику, этой подручной, всегда достигаемой жертве, и здесь она отыгралась. «Железные нервы, — бормотал Герцик, срываясь на улицу. — Нет! Совсем не иметь нервов. Какие таблетки, какое успокоительное? Цистернами пить...» Жизнь представлялась конченной. «Мама, мама, — звал он. — Что ты наделала!»

Глава четвертая

Из-за денежных затруднений соседки в квартире вечно кто-то путался под ногами. Постояльцы с мешками не переводились и, сбыв товар, налетали табором, заполняли углы и щели. Захватили и раскладушку Герцика в коридоре. «Только этого не хватало! Неизвестно кто в сапожищах. Храпит без задних ног», — Герцик не будил, не толкал, а подкараулил безмятежное пробуждение и что-то такое сказал. А после весь день дрожал от нервов. В этом состоянии

и подвернулся той самой из медицинского персонала, то есть Зоя Алексеевна, которая рада была и полену.

Зоя Алексеевна сдавала ключи разговорчивому вахтеру и в роли слушательницы задержалась, ожидая личного случая. И вот он — Герцик, тоже с ключами.

— Прямо как апостол Петр, — сказала Зоя Алексеевна, поднаторев возле грамотного вахтера.

— В смысле? — не понял Герцик: брови его, надломившись, усилили выражение ужаса в глазах.

— Апостол Петр, уважаемый, — пояснил вахтер, — из Нового Завета, держатель ключей от рая. Потому как вас на пороге Ева заметила, завидую вам. Скорбно, уважаемый, стеречь помещение в одиночестве.

— Так я же сдаю ключи, а не беру, — сказал Герцик. — Или разницы нет? Или зубной кабинет теперь считается раем?

— Все рай, уважаемый, что не занято бесами!

— В смысле? — опять не понял Герцик.

— В рдении о вере, а не земном суесловии.

— Ну-у, философия... — пробормотал Герцик. — Путаница, чтоб вы знали. По одной вере, так лучше дворником у себя, чем преуспевать на чужбине, а по другой — и тут хорошо, и там не плохо. Одни конца света ждут, уже день назначили, а другие... Да что время терять! Путаница.

— Все, уважаемый, слова... Слова человеческие — следствие грехопадения. В Библии сказано: истинно верующий не печется о дольном. А что правда, то правда: хорошо там, где нас нет.

— Ну, это еще вопрос, — буркнул Герцик и, подхваченный Зоей Алексеевной, с досадой кивнул вахтеру.

После разговора раздражение стало сильнее: «Грамотные, а жить невозможно». Он доказывал, жаловался, и в ответ Зоя Алексеевна сочувственно кивала как законное доверенное лицо. На душе сделалось легче, и Герцик подумал:

а почему бы по старой памяти действительно не зайти к ней на чаек. Одного воспоминания о раскладушке в коридоре было довольно, чтобы отбросить всякие колебания. Чаепитие к тому же обещало и скорое горизонтальное положение его ноющему позвоночнику. Расслабиться, отдохнуть — о другом он не думал.

Но у себя дома Зоя Алексеевна превратилась в сплошную настырность и пристаивания. Казалось, они поменялись ролями, хозяйка наседала и наседала, а гость отступал, пока не обнаружил одни расстроенные нервы и не отвернулся к стенке вконец убитый. Его глаза увидели дыру на обоях и невольно зажмурились. Часы, удостоверение, записная книжка были положены рядом на столик — вот все, что он предоставил со своей стороны, да еще враждебную спину. Обескураженная хозяйка взяла со столика документ, а это было удостоверение бывшего узника гетто (гарантия бесплатного проезда в транспорте), и прочитала: «Герцик Лев Михайлович...». «Как Герцик?» — чуть не застонала она, с досадой толкнула безвольную спину: именно отвлеченным поленом лежал рядом с ней мужчина. И она разразилась:

— Я думала, герцог! Гер-цог! А тут?.. Цики-дрики какое-то. Заикание, а не фамилия.

Толчок в спину как бы открыл двери в прошлое. Ожидание карательной акции заставило съежиться. Противная дыра на обоях опять полезла в глаза. «Ну, это кусок сумасшедшей», — подумал Герцик и быстро стал собираться.

— Вас не устраивает моя фамилия?.. — сказал он. — Что такое «герц» надо знать. От «сердца» моя фамилия. И не надо принимать себя за графиню.

Дрожащими руками он взял портфель, но не успел сдернуть в прихожей куртку, как вдогонку были запущены шлепанцы, ну и несколько заветных словечек в придачу — это само собой, чтоб не отрывался от почвы, а то вроде как и не дома, не хватает чего-то. А словечки эти... С ними по-

нятней живется; на заборах ли, на устах ли рассерженных женщин они возникают — все с одинаковым постоянством.

Глава пятая

1

Новая осень оказалась особенной. Неожиданно теплая после холодного лета, она окончательно разделила людей на своих и чужих. Площадь, возле которой жил Герцик, всякое время пестрела народом. Здесь сходились по привычке, как два года назад — в дни заговора против бессильной власти. Державное прошлое с вечным расползанием танков будоражило людские умы, не слишком самостоятельные и в доброе время. Сама площадь не изжила еще призраков баррикад, каких-то, присной памяти, народных дружин. Группы бузотеров и пустопорожних голов толкались здесь просто от нечего делать. Бес вечной смуты и человеческого самоедства продолжал раздирать эту массу, жаждущую нового лидера. Два года назад он не заставил себя ждать и, явившись из номенклатурных рядов, призвал сограждан к неповиновению. Танк, с которого он толкнул пламенную речь, так и лез в параллель осточертевшему броневнику, чей акулоподобный корпус застрял в истории, как кость в горле.

Бескровная победа над заговорщиками внушила чувство беззаботности и легкости дела, которым берется новая жизнь. Торжествам не знали конца. Был август, страда, поля ждали хозяйской руки, в садах деревья ломались от урожая, а в городе... Складывалось впечатление, что горожанам ничто так не любо, как слоняться, сбиваясь в толпу и являя глазам людское море, послушное оголтелым ораторам и просто паяцам. Сам асфальт стерся до серого, пыльного цвета; тротуар и проезжая часть от хождения сделались как одно. Пришла новая власть, и, как водится,

новая метла попробовала мести по-новому. Однако согласия среди лукавых политиков трудно достичь и в лучшие времена. Правительство походило на крыловский квартет. Цели рисовались самые разные. Их пытались достичь словно в бреду. А подданные... Подданные очутились в положении эмигрантов на собственной земле. О Родине говорили: «В этой несчастной стране...». Прежний флаг превратили в тряпку, а новый в силу еще не вошел. Настал звездный час человека с толстой мошной. Великую Россию опять качнуло неведомо куда. Началось глумление, святотатство.

Однажды в сумерки (это было в конце сентября 1993 г.) Герцик шел домой, размышляя в своем духе о жизни, то есть не думая ничего хорошего. Приближалась очередная печальная годовщина. Его мама ушла из жизни глубокой осенью, когда засыпающая земля была еще достаточно податливой, чтобы принять ту, которая трудилась на ней всю жизнь. В преддверии горького дня Герцик был особенно подавлен: ведь он не исполнил заветной мечты матери — не женился и не мог порадовать ее на том свете. Вечернее время вообще обостряло в нем мрачность. Строки поэта: «Из всех женщин самая прекрасная — ночь», знай Герцик их, не нашли бы у него никакого отклика. И женщины, и ночь... Что от них толку, одна бессонница. Он вспомнил Наташу. Годовалой давности вечер. Яблоки, сад... Все отмерло с какой-то частью его души, зато неприязнь... Неприязнь была живой, ею питал он свое одиночество.

Итак, он шел домой. На подходе к площади его остановил патруль и потребовал документы. Всегда имея при себе паспорт, Герцик теперь, как нарочно, не мог ничего предъявить. Он показывал на дом, на окна своей квартиры, объяснял про тетю — напрасно; патруль препроводил его к машине, к таким же беспаспортным, как и он, — всех живо доставили в отделение. Там было битком; пока дошло до Герцика, настало утро.

— Вы понимаете, — говорил дежурный офицер, развлекая себя, — бывшие товарищи, господа! Прочистите ноздри, повесьте уши на гвоздь внимания. Пахнет жареным. Не кровопивец-торгаш в гаврилке, а элита — всякие дяденьки-тетеньки, насквозь демократы призывают добивать канделябрами. Прогрессивная общественность, мать честная! Заграничным документиком пора запастись, а вы российским пренебрегаете.

— Не бойсь, Сергеич, — вторил помощник. — Мы их везде достанем: бьют-то не по паспорту, а по морде.

Процедура выяснения личности представилась Герцику зловещей (таковой она и была). Он подумал, что однажды может просто-напросто не вернуться домой, застрять в каком-нибудь человеческом отстойнике и... пропасть без вести. «Никто и не хватится, — думал он, когда его, наконец, отпустили. — Кто поручится, что очередной идиот не привяжется снова?» Герцик подходил к месту, где его вчера задержали. Патруль поменялся, «новые» и не глянули в его сторону, кто-то дружелюбно бросил: «Проходи, отец, проходи!». Герцик остолбенел: как это «отец»? Он считал себя молодым человеком. Вид колючей проволоки, на которую вдруг наткнулся его взгляд, слился с видением гетто, затерявшимся в памяти. Все мгновенно всплыло и сразу пропало.

— Проволока-то американская, отец, — сказал солдат. — На валюту куплена.

Сомнений не было: солдат обращался именно к нему. Кое-как Герцик добрел домой; не раздеваясь, повалился на раскладушку и укрылся с головой. Тетка ахала, донимала вопросами. Герцик молчал. Наконец тетка отстала, шаркая поплелась к себе. Сон, однако, не приходил. И понятно. Как иной рождается вечным любовником, так он родился вечным сыном. В этом состоянии он пребывал всю жизнь. В нем принял сиротство. Козни судьбы, словно очертившей замкнутый круг, где Богом данное одиночество: историче-

ское, религиозное, национальное (философы сказали бы еще: экзистенциальное) — завершилось полной неприка-
янностью, эти козни судьбы ничего не изменили в составе
его души. Он продолжал оставаться тем, кем был всегда,
привыкнув мучиться и страдать, а не разбираться в себе.
Вопреки здравому смыслу его тянуло к печали, он держал-
ся ее как единственного своего достоинства, которое можно
клясть, но невозможно отнять. И печаль, словно чувствуя
это, тоже тянулась к нему.

2

Герцик ворочался с боку на бок, вспоминал лопухого
солдата-верзилу, его дурацкую ухмылку, фамильярное об-
ращение, твердил себе, что плохо выглядел после бессонной
ночи, и старался успокоить себя тем, что это ничего не
значит: «отец», «мать» — так говорят невзирая на возраст.
Все напрасно. Он поднялся и, пройдя на цыпочках коридор,
заперся в ванной комнате. Зеркало — вот единственное,
чему можно верить.

Помятая, небритая физиономия глядела на него, а в
ней — усталость, разочарование, тревога. Герцик всматри-
вался в отражение, привыкал. Свыкшись, прозрел давние
стершиеся черты и снова увидел себя молодым.

— Лева, ты будешь кушать? — спросила тетка из кух-
ни. — Иди послушай! Чтоб я так жила... По радио Пушкина
гоняют в хвост и гриву. «Не приведи Бог видеть русский
бунт...» — четвертый босяк запягает. Или у них хороший
склероз. А я так думаю что-то случится.

Герцик открыл дверь и нос к носу столкнулся с Кате-
риной Ивановной, соседкой. Она развешивала мокрый от
дождя плащ.

— Все дураки для других, — ворчала Катерина Иванов-
на, — а себе так нигде не упустят. Плакали наши денежки.
Этак всю кассу незнамо на что. Сейчас Николаевну встре-

тила. Морду решетом не покроешь. Гляжу, опять пьяная. Правда, и в хорошие времена она тяжелыше стакана ничего не поднимала. А на какие шиши, говорю, развлекаешься, Николаевна? А вот ихний комитет им деньги выдал, чтоб они нажрались да шины жгли и камнями кидались. Вроде студента какого-то убили. А стекло-то, стекло... Одних окон на миллиард перебили. Уходи, парень, помяни мое слово. Русские знаешь как? — долго запрягают, да скоро едут. Сама видала, как винтовки в главный подъезд заносили. В войну хоть знали, за что помирать, а ныне?.. Шкуродер на шкуродере. За копейку удавятся. Сталин нужен, вот что, у Виссарионыча не забалуешь.

Тетка, не выходящая из квартиры, высунулась на голос:

— А что, Катерина Ивановна, про гуманитарную помощь не слышно?

— Как же, гуманитарная! Сейчас задаром и по морде никто не даст.

— А в прошлом году как раз в это время... Лева не даст соврать.

— В прошлом году и мы были моложе, — строго сказала Катерина Ивановна и, повернувшись к Герцику, тоном человека, знающего цену своим словам, посоветовала: — Ноги в руки, парень, не то поздно будет. Помяни мое слово.

Герцик не знал, что и думать; при странных обстоятельствах люди отбирали и возвращали ему молодость: внизу, на площади, как палачи на помосте, расхаживали охранники в длинных плащах с капюшонами, а дома две старушки благословляли его уносить скорей ноги.

3

Видавшие виды старушки не ошиблись. Новое утро встретили танками. Спровоженный к сыну Катерины Ивановны на другой конец города, Герцик мог следить за собы-

тиями по телевизору. Он видел, как расползлись по центру войска, как саданули огнем по белому зданию с флагом.

Непостижимым образом происходящее на экране достигало его. Герцик вздрагивал, пригибался. Вся эта пальба была ему не по силам. Он просто знал, что это ужасно. «Русские убивают русских», — вещал комментатор, а хозяин квартиры взвивался от каждого залпа: «Да пусть передушат друг друга! Самоедская власть. А люди-то, люди... Пустота, которую можно наполнить ничем. То одним мучаются, то другим вместо того, чтобы жить!»

Домашние телефоны в зоне обстрела были отключены. Неизвестность отнимала последние силы. Герцик бледнел, задыхался. Сердце стучало в горле. Он поднялся, вышел на воздух.

Умопомрачительная картина открылась ему. Как ни в чем не бывало прогуливались граждане, занимались своими делами. Ленивое безразличие лежало на всем: что там? где там?.. Пускай себе власть отношения выясняет. Ну, замочат сотню-другую... Туда и дорога. Так было всегда: паны дерутся... «А где же народ? — подумал Герцик. — Куда смотрит?» Но не было народа, только каждый сам по себе. Как говорили на родине Герцика: сам — пан, сам — ярмарок. «Валокордин, капли Вотчала, нитросорбит...» — вспоминал он и, хватаясь за сердце, таращил глаза.

К вечеру правительственный дом был повержен, из окон полыхало, копотью и чадом несло по округе. Радио сообщало о капитуляции. Воплями подстрекателей и силой оружия был учинен разгром. Через день, вернувшись к себе в центр, Герцик заметил, что к зеленой травке на солнышке странно влеклась мошкара. Образ роящихся насекомых имел давний пролог — в его младенчестве. Он понял: там кровь и поспешно принял таблетку. Дом его был нетронут, пули лишь прошлись по фасаду, отколов кое-где куски камня; кругом валялись обломки, а еще водосточные

трубы, битое стекло, перепутанные провода. В воздухе пахло несчастьем. Поговаривали, что рядом, на стадионе, не считать убитых, ночью их увезли сжигать. Бойкая публика фотографировалась на «историческом фоне». Неподалеку, на развилке дорог, словно выросшая из земли, громоздилась на железных опорах реклама «Свидание с Америкой». Возле нее позировали любители символических кадров. С замиранием сердца открыл Герцик дверь теткиной квартиры. Старухи кинулись к нему с причитаниями. И он почему-то заплакал.

Глава шестая

1

И без того тоскливы вечера поздней осени, а уж теперь... В обугленном правительственном здании Герцик видел знак своей несудьбы. Пустыми окнами этот дом напоминал ему глазницы черепа; голубовато-мертвенное освещение лишь усиливало впечатление. «Еще одна такая победа — и мы погибли», — думал Герцик чужими словами и не мог отвязаться от этой мысли. Он слышал ее в отделении.

А жизнь постепенно вошла в свою колею, старалась не вспоминать, забыться. Только Герцик... Опять ударился по врачам: гипнотизеры, психотерапевты, экстрасенсы — у кого только не перебивал! Видя подобное состояние, в поликлинике перевели его на самую маленькую ставку — обслуживание пациентов с редким видом дефектов. Если в день выпадало два-три человека, и то хорошо. Были смены и вовсе пустые.

Однажды Герцик сидел в прострации, уставясь без всякой мысли в окно. Его вызвали к телефону, звонил профессор — единственный из всех эскулапов, не взявший с Герцика за прием ни копейки. Как коллега коллегу профессор просил принять одну даму.

— Ее фамилия Барс, — сказал профессор, — но она без когтей.

— Это ваша родственница? — поинтересовался Герцик, сиюсья вспомнить имя профессора; хоть убей, оно — «Валериан Тариэлович» — всегда вылетало из головы.

Профессор пропустил вопрос мимо ушей и по какой-то странной ассоциации, известной только ему, начал говорить о книжке, которую недавно прочел. Герцик ничего не понял кроме того, что книжка называется «Рабская душа России» и что автор — болван, хотя и университетский профессор.

— Собственно толкование России этим американцем — то, что жаждет ленивая человеческая природа, — настаивал профессор. — Такое случается даже в Стэнфорде. Еще не коснулся темы, а уже кричит, что постиг, — вот вам синдром недомыслия на фабрике мысли. Всякое самопожертвование для него мазохизм. Если бы он знал Барс, то и ее записал бы туда же. И угодил бы пальцем в небо. Собственно, бездуховное или духовное — одного поля ягоды, если душевности нет. То и другое — от большой головы.

«Значит, своя или дама сердца, — решил Герцик. — Стал бы он хлопотать за кого попало».

— Его мысль даже не любопытна, тем более не пытлива, — продолжал профессор. — Просто удивительно, каких болтунов поддерживает фонд Рокфеллера. Подобные названия сродни нашим прежним слоганам, того же ряда дешевка. Этому американцу заняться бы кайтингом и скользить по воде или льду. Самое интересное, хомячок знает, что такое душа России, но дело в том, что такая душа ему не нужна. Не по зубам. Даже если бы я разделял его точку зрения, все равно не согласился бы с ним. И знаете почему? По той самой причине, по которой Достоевский выбрал бы Христа, а не истину, окажись между ними. Человечность вернее.

«А Пушкин сказал о тьме низких истин», — мог бы добавить Герцик, если бы соучаствовал в разговоре. Но, уважая «высокие материи», он старался держаться подальше.

«Похоже, ему важнее сказать, чем быть услышанным», — подумал Герцик. Чужая отзывчивость всегда подкупала его. Но своя внутренняя беда пересиливала каждое новое впечатление.

Вернувшись в кабинет, Герцик осмотрел инструменты, попросил у медсестры чистую салфетку и сделался само ожидание. Не прошло и четверти часа, как постучалась больная, которой словно приспичило явиться именно в это время. Отвертеться было никак нельзя. Герцик решил сбавить ее побыстрее. Краем глаза он заметил крошечные тубельки пациентки — миниатюрные ножки выставались, как в витрине. Однако было не до того; под руками у него все горело. Закончив, он схватил регистраторскую карточку и прочел: Барс Наталья Владимировна. Герцик кашлянул и поправил галстук. Ничего в пациентке не подходило и близко к тому, что он ей заочно наметил: ни солидности, ни степенности, ни всего остального. Одни игрушечные ножки чего стоили! И, конечно, лицо: нежно-розовое, оно держалось на выражении. Черты были исполнены переменной души, вызывая скорее интерес, чем восхищение. Наталья Владимировна была на голову выше Герцика, ее серые большие глаза глядели пристально. И, странное дело, ему казалось, что он уже видел ее. Но где?..

— Вы, случайно, не посещали поликлинику местечка Изюм? — спросил он, и вечный ужас в его глазах слегка померк.

— Изюм! — откликнулась она. — Смешное название. А действительно... Я как-то проезжала такой городок. Где-то на Украине. Жаль, теперь это за граница.

— Городок не так чтобы примечательный, но зубы лечить там всегда умели, — Герцик с почтением поклонился

и на всякий случай заметил: — Для орехов все же лучше приобрести щипцы.

— А вдруг опять сломается? — спросила Наталья Владимировна. — Что тогда?

— В смысле? — не понял Герцик, но сразу сообразил: — Ах, да! Конечно... Конечно... Я дам вам свой номер...

Тут он представил, как Наталья Владимировна звонит, к телефону подходит тетка или Катерина Ивановна... И быстро сказал:

— Лучше я сам позвоню. Или это не так желательно?

Внизу, в машине, Наталью Владимировну ждал Валериян Тариэлович, расспросы были сейчас ни к чему. Однако дело касалось внешности, а это не тот случай, которым пренебрегают. Потому номер телефона в карточке был передан в полное распоряжение доктора. Прощаясь, она протянула руку, и Герцик с удовлетворением еще раз отметил, что на ней нет обручального кольца.

2

На следующий день он позвонил и сказал так, как будто знал ее всю жизнь:

— Вам же не восемнадцать лет. Вы хотите создать семью? У меня серьезные намерения. У вас зубы приличного человека. Кругом один волчий оскал.

Привыкшая к цветам, сумасбродству и жестам, она спросила:

— Что это? Любовь с первого взгляда? Романтическое увлечение?

Герцик запнулся. Потом Наталья Владимировна услышала:

— Это ненормально жить одному. Человек создан для пары. Сойдемся и заживем как люди.

При слове «сойдемся» она закатила глаза.

— ...Солидные, серьезные отношения... Или вам нужен ворюга и аферист?

Она молчала.

— Вам нужно, чтобы водили за нос, голову дурили, делали за спиной гадости? Или вы сомневаетесь в моей порядочности?

Она не знала что и сказать, понимая любовный роман как маленькое помешательство. Дрожать, преследовать, надрываться, обставлять странные выходы безрассудством — вот чем жила эта особа. Не далее как неделю назад в компании психопатичных профессоров она встретила классического сердцееда — из тех, кто близок к обмороку при виде *своей* женщины. Это кажется бредом, но такое бывает; она встретила, он пошел за ней, забыв все на свете, и они целовались так, что у нее сломался зуб. Чувство утраты — невыносимо! Наталья Владимировна свела к проклятому зубу всю накопившуюся горечь жизни. Она тоже сказала профессору: «Вам же, Лерик, не восемнадцать лет!» Однако на женском лице сумасброд признавал только любовное выражение. Слепленный, он и в упреке нашел обожание. Профессор воскликнул: «Всего и живешь, когда любишь!» Настроение Натальи Владимировны переменялось. Она слушала с доверием: Валериан найдет врача, зуб будет как новенький. И действительно, донжуан постарался и скоро отрекомендовал: «Врач настолько надежный, что я спокоен. Вашим другим зубам ничто не грозит».

«Как в воду глядел», — подумала Наталья Владимировна, слушая Герцика. Выражение ужаса в глазах дантиста виделось ей как бы рядом.

— Или вам нужен супергерой? — добивался Герцик. — Я недавно смотрел фильм с таким типом. Страшное дело. Что там может нравиться? Секс?..

Наталья Владимировна была подавлена. Человек выказывал расположение. Она же... перебирала как бухгалтер:

не читала стихов, не дарила своих книг, не пела, не играла на гитаре — словом, не завлекала. Не было и того, от чего просто обезумел профессор. Разгоряченный, он сразу распустил руки, Наталья Владимировна не успела опомниться, как почувствовала их у себя под кофточкой. «Бархат, а не кожа», — прошептал профессор и дальше понес такое, что Наталья Владимировна, может, и слышала прежде, но старалась не вспоминать. Привычкой к вседозволенности, сомнительным тоном отдавало его поклонение. Но все же... Поклонение. Профессор буйствовал, требовал свиданий; не в ладу с миром вещей он становился невыносим: на что-то налетал, за что-то цеплялся, немудрено, что и зуб сломался от его поцелуя. Но все же... Профессор полыхал... Полыхал как соломенная крыша, облитая бензином. Порочным шармом отзывалось его сумасшествие, и это тоже нравилось Наталье Владимировне. А дантист? Сам голос, который звучал в телефонной трубке, не сулил ничего хорошего. Вялый, бесцветный. При звуке этого голоса все теряло значимость, выцветало. Все обесценивалось. «Кто он? Как его называть? — думала она. — Поклонник? Любownik? Приятель?..»

— Ненормально, понимаете? Ненормально жить в одиночестве! — настаивал Герцик.

А в голове Натальи Владимировны сквозило: «Без аматера тяжело на Москве...»

— Не нормально, — долбил свое Герцик.

3

Но Наталья Владимировна и не притязала на «норму».

— Послушайте, я же не говорю вам о газетке знакомств, о каком-нибудь объявлениице между мисс Бюст и мадам Задницей... Эх вы! Господин Патологическое Влечение К Норме.

В этой отповеди правды было больше, чем казалось на первый взгляд. Наталья Владимировна просто не пере-

варивала норму. Норма для нее означала пошлость жизни; учитывая несовершенство речи, и того хуже. Хотя куда уж хуже? Наталья Владимировна сжимала кулачки, показывая, как беспросветно то, что называется нормой. Ее влекло к эксцентрике, тайне, к тому, что из ряда вон. Оттого-то возле нее и вертелись одни сумасброды. Самый давний неотвязный поклонник, еще со школьной скамьи, теперь настоящее наказание, падший ангел, донимал ее на день сто раз. За причудливую истеричность она называла его Эдгар По. Это был человек, привыкший доводить людей до белого каления. Лишь одна Наталья Владимировна приучила себя работать, не откликаясь, под звонки телефона; фраза «Я люблю тебя безумно» примиряла ее с мучителем. В этой фразе обольщало слово «безумно». Теми же устами преподносилось и другое, менее приятное, просто хулиганское — все в согласии с жизнью и, можно сказать, диалектикой. Бывало, и Наталья Владимировна выходила из себя, начинала беситься, грозить. Но, остыв, опять отзывалась, зная: если не она, кто же откликнется? И она считала: от нее не убудет.

На фоне Эдгара По появился «маменькин сынок» — внук известного академика, с интеллектуальной заумью, в которой мелькали проблески гениальности. Были и другие, третьи, четвертые — словом, паноптикум престранных людей, в котором она тешила свое пристрастие к необычному. Все желали вывернуть перед ней душу (такой случай — это ли не находка? Слово по Чехову: если хотите быть хорошим писателем, изучайте психиатрию). Только такие — и никогда другие. Закономерность была налицо, но в потоке жизни мало кто ее замечал. Обыкновенным знакомым, которым случалось заходить к Наталье Владимировне, казалось, что они на телефонной станции. Звонки действовали на нервы, знакомые дергались, глядели вопрошающе. Наталья Владимировна либо не подавала вида, либо отключала телефон.

Мама, которую Наталья Владимировна обожала, не выдержала и съехала к другой дочке, где хоть как-то можно было дышать.

— Талантливая, — сказала мама, — а высоты не достигла.

— Разве сейчас поздно? — спросила Наталья Владимировна.

Вопрос так и повис в воздухе. Никто не знал на него ответа. Будучи человеком от земли, но вовсе не от сохи, мама когда-то ломала людские судьбы, как глазированные пряники. Теперь же хотела покоя, словно и не она в свое время могла копну сена на вилах поднять. В конце концов эксцентрический бред одолевал и Наталью Владимировну: интеллект, забитый авторитетами и культурой, — все ни к селу ни к городу, постоянное дерганье, светская жизнь — все делалось невыносимым, она замыкалась в себе, по целым неделям никого не видела, не слышала. Фраза профессора: «Только и живешь, когда любишь» для нее звучала по-иному: «Только и живешь, когда пишешь».

4

Когда Наталья Владимировна столкнулась с Герциком, ее душевное состояние определялось следующим образом: она любила одного, преследовал ее другой, предложение ей сделал третий, а согласие она дала четвертому. Но ничего не выпадало, кроме как оставаться одной, превращая одиночество в уединение. Итак, она пребывала в неизвестности, занимаясь неявленным миром и отличая его от суетности «мира сего», который наблюдала в поступках своего окружения. Она была бы очень раздосадована, назови ее кто-нибудь несчастной или возьмись преподавать житейскую мудрость. А таких находилось достаточно. Ведь в чужую душу лезут охотней, чем в собственный холодильник. Обязательно где-нибудь в гостях возникал любитель повалить

дурака, для кого гостя без спутника — просто подарок, и вот уже к ней кого-то подталкивают, чем не пара?! И пара, это полное отсутствие юмора, глядит и отнекивается, поясняя, что он — однолюб и кому-то там верен. Наталья Владимировна только губы кусала, да чаще, чем требуется, подливала вино в свой бокал. Но иногда... Так осаживала...

Наверно, с точки зрения светского истэблишмента, она могла бы жить по-другому. Завтрак в Италии, ужин во Франции и т.д. и т.п., но столь приятное времяпрепровождение не имело для нее цены, потому что путь к нему был обычным. Желанное для других уже само по себе означало вульгарность. Наталья Владимировна не возражала против Италии или Франции, но как-то само получалось, что оказывалась она в других местах, например в дельте Волги, одна в лодке, кругом вода и тростник, в отдалении лебеди, а по соседству, в охотничьем домике на сваях — егеря, нагрянувшие бить бакланов. С егерями Наталья Владимировна не могла поселиться, потому ее устроили в лодке, натянули тент, а саму лодку укрепили на шестах в тростнике. И Наталья Владимировна качалась при входе в Каспийское море под крики ночной птицы кваквы и кукованье кукушки. Луна перемещалась вместе со своим отражением, лилии, водяные орехи чилим гнало волной к бортам, Наталья Владимировна слушала ночь, вспоминала стихи Лермонтова... и еще рассказ егерей о двух братьях-рыбаках, которых нашли мертвыми: говорят, им что-то привиделось, и сердце не выдержало. Утром с тента падали капли; мошка, комары, оводы облепляли, едва высунешь нос, жара заставляла мечтать о тенистых деревьях, и главный егерь отгонял лодку далеко-далеко, под плакучие ивы — при ярком солнце с них сыпались капли, ивы действительно плакали.

Однажды егерь застрелил по дороге белую цаплю. Птица плюхнулась рядом с лодкой, из клюва сочилась кровь. Ни жива ни мертва Наталья Владимировна спросила: зачем?

— Загадал, — сказал егерь. — Есть примета: если подстрелишь белую цаплю, дама — твоя.

С этими словами он принялся выдирать брачное оперение со спины птицы и, собрав в пучок, похожий на букет серебристого ковыля, преподнес:

— Такая штука называется эгретка! Раньше стояла не меньше коровы. А совсем раньше такое носили лишь королевы. Я читал... Инфанты и испанские королевы.

— Ну, вот и продайте, — сказала Наталья Владимировна, отвернувшись, чтоб не смотреть на убитую птицу.

Выходка егеря положила конец их отношениям. Наталья Владимировна перестала с ним разговаривать и, вернувшись, попросила другого провожатого. Поменять поменяли, но, когда она отказалась есть мясо цапли, ее дружно осудили.

Школьный приятель, донжуан профессор, егерь, загубивший цаплю, — в эту компанию бедный Герцик не вписывался. Наталья Владимировна чувствовала в нем сплошную тоску.

5

Телефонный разговор затягивался, раздражал.

— Ну, это же проще пареной репы! — не выдержала Наталья Владимировна. — Надо влюбляться, переживать романы. Надо стихи читать, трепетать!

И снова пауза. Она тянулась как сумасшествие. Когда стало невмоготу, Наталья Владимировна обронила:

— Городок Изюм, может, и замечательный, но по мне так лучше бы там умели заговаривать зубы.

Название родного городка вернуло Герцику речь:

— Почему нет? Почему муж и жена должны иметь одну головную боль? Вы понимаете, что происходит? Сегодня ставлю пломбы, завтра удаляю, послезавтра опять пломбы... О чем вы говорите! Какие стихи! Газету некогда в руки взять. Я вообще ничего не читаю. Ужас...

Его голос дрожал как маленькое обвинение. Тень гетто стояла за ним. Тень гетто была неистребима, и Наталья Владимировна молчала. Здравый смысл подсказывал как-то одернуть, но язык не поворачивался. И фраза: «Конечно, психика мужчин тоньше и ранимее женской (сама по себе крамольная: а разве не мужчины в порыве великодушия, а может из обыкновенного тщеславия, чтоб самим не обидно было, придумали пресловутую женскую «тонкость»?), да, ранимее, я знаю... Но распускаться... Надо же и о других подумать», — звучала лишь в ее голове. Потому описание бесконечных болезней, анализов, хождений по врачам не заставило себя ждать. Не раз и не два поминала Наталья Владимировна проклятый зуб, подправленный его рукою. Но что теперь?.. Повернуть вспять, указав границу дозволенного? Наталья Владимировна не могла не отметить странное стечение обстоятельств: зуб, сломанный в порыве страсти, стал причиной другой любви, — да нет, не любви, скорее «зубной боли в сердце», по выражению Генриха Гейне. Слушая нового «воздыхателя», Наталья Владимировна поминала и Гейне: «Да что он в глубоком обмороке надумал эту галиматью! А может, сердечная боль в зубе?». Потом проклинала изобретателя телефона и желала ему перевернуться в гробу: «чтобы мучить, придумал...» Изведенная разговором, хваталась за работу, из рук все валилось, и Наталья Владимировна готова была повеситься. Однажды, чтобы пресечь поток жалоб, она сказала:

— Да это все город, асфальт... Надо выехать на природу, сменить обстановку.

— За город? — переспросил он и вспомнил Наташу. — В смысле: на дачу? А что я там буду есть? Или вы забыли: я на диете.

Наталья Владимировна вздохнула и неожиданно почувствовала себя свободной. Она сказала себе: «Все!» Она сказала себе: если погибающую нацию узнают по стоптанным

каблукам, то бесполого человека — по тому, с кем он устраивает свидания — с другой близкой душой или со своим желудком. А сказала так потому, что несколькими часами раньше ей уже испортили настроение. Да не кто-нибудь, а профессор, в общем-то добрый малый. Вместо обаятельной любовной белиберды, которой всегда развлекался сам и развлекал Наталью Владимировну, она услышала:

— Я готов продать душу дьяволу, лишь бы во мне признали хоть один серьезный талант. Мужчине мало быть просто славным парнем.

— А что, талант донжуана вас не устраивает?

— Боюсь, я не отношусь к тому типу котов, которые во всем остальном отдают предпочтение женщине. Да, я преклоняюсь перед вами, готов упасть на колени, но лишь в том случае, если на следующее утро вы станете на колени передо мной. Именно перед моим даром, а не просто как хорошим парнем.

Но робкие окультуренные опыты Валериана (а он жаждал лавров писателя) не производили на нее такого же впечатления, как его сумасшедшие выходки. Наталья Владимировна считала его работы баловством от нечего делать. Ей и в голову не приходило серьезно к ним относиться. Да и кто она, собственно, чтобы добиваться ее одобрения? Сама недотягивает до настоящего уровня. На днях перечитала кое-что из прежнего своего и с отстраненностью посторонней сравнила с теперешним своим же и поняла, что не только не взяла новую высоту, а утратила то, что было: дыхание, юмор... Но не это смущало сейчас. Смущала легкость, с какой этот кот Лерик наделял себя негативной властью, ставил условия. И кому? Ей, которая так вымарывала свои рукописи, столько доискивалась до каких-то там смыслов в каких-то там других сверхсмыслах, что, по ее выражению, впечатывала свою грудь в край стола. И эта чужая легкость действовала на нервы, заставляла чувствовать себя оттор-

гнутой. Тотально. В жизни, в литературе. Она давно уже не предлагала свои работы к публикации. Не добивалась. Не состязалась. Не лезла в ряды.

— В нашем различии сходства больше, чем различия, — жестко сказала Наталья Владимировна профессору. — Обоим хочется невозможного.

Глава седьмая

И опять причитания тетки зазвучали в ушах Герцика. Незаметно они перешли в стоны. Вечное общежитие, раскладушка в коридоре, настырные постояльцы, мешки. Куда деваться? Где спрятаться? Не видеть, не слышать, прильнуть к родному человеку. Он жаждал спасения, взывал к маме, но она не являлась даже во сне. И он звонил ей. Только Наталья Владимировна умела выслушивать как никто.

— Что, если тетю устроить в больницу? Есть договоренность с главным врачом. Доктор сказал, что это конец.

Наталья Владимировна молчала, хотя догадывалась, что Герцик ждет от нее решения, быть может: «Перебирайтесь ко мне».

— Но я не в состоянии слышать ее стоны! Сколько так может продолжаться? Она не поднимается уже третью неделю. А я не оправился еще от прежнего стресса. Надо же что-то делать!

Очередной разговор с Герциком застал Наталью Владимировну в хроническом состоянии неустроенной жизни. Профессор попал в больницу с жестокой депрессией; школьный приятель «Люблю-безумно» еле жив после драки — в другую. Наталья Владимировна буквально разрывалась между ними. Тот, кого она любила, ведать не ведал о ее чувствах, в довершение всего четвертый — разбился! Наталья Владимировна была близка к тому, чтобы самой

начать драться и бросаться. Она стояла возле окна. Перед ней были крыши и небо. На горизонт громадами налезала «архитектура», стекла зданий наливались закатом. «За что мне такая пытка? — думала она. — Какое-нибудь слово поддержки, протянутая рука — и ты заложница. Сети добра или зла... То и другое невыносимо. Можно говорить что угодно, но Ницше прав: “Падающего толкни”». Подноготная чужих чувств была как на ладони: умирающая тетушка ставилась в один ряд с устройством личной жизни. И то, как пройдут ее последние дни, зависело от Натальи Владимировны. Малодушием отзывалась эта житейская ситуация. «Вот ведь история, — думала Наталья Владимировна, — метаться, когда выбора нет. А Судьбе нужно просто глянуть в глаза, протянуть к ней руки. Но, может, я чего-то не понимаю. Наверно, они все правы, а дело в том, что я терпеть не могу быть правой, и это вовсе не равнодушие». Тоска разбирала ее, она чуть не плакала. А он говорил о Гефсимании, о чудных краях, о том, что они уедут, наивно полагая, что можно убежать от себя.

Он был щупленький, маленького роста. Когда-то избежал смерти в гетто. Однажды знакомая попрекнула его фамилией, обыграв созвучие: «Герцик — герцог». Он посчитал себя оскорбленным. И, наверно, был прав. У него действительно было все, или почти все, чтобы стать герцогом, но какая-то малость, возможно игра судьбы, увела его на другую дорогу.

РУССКО-АМЕРИКАНСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ДЕНДИ

От них за километр веяло Англией. Одетые с иголки британские манекены, сотворившие шедевр из собственной жизни, улыбались из-за стекла витрины и не желали знать никакой новой России, никаких сломанных судеб, трагедий... Вот уже сто лет они оставались на высоте своего последнего вздоха и ничуть от этого не страдали. Они, созданные для восторгов и крупных денежных сумм!

Их вид пересекался со строкой Пушкина: «Как *dandy* лондонский одет...» И совпадал с образом Уайльда: «Надо или быть произведением искусства или носить произведение искусства». И не совпадал с образом другого Уайльда, узника и изгнанника.

Джентльмен, которому эти разодетые, эти с иголки были обязаны своим появлением, скромно стоял в сторонке, в тени чужого пластикового самомнения. Все в нем выдавало самого-самого, неважно какого, важно, что ПЕРВОГО, и важно, что денди. Особенные манжеты, шейный платок узлом при том, что «пantalоны, фрак, жилет», да еще одиночество, подчеркнутое, специальное — все это делало джентльмена фантастически! чудотворно родным. Впору было подобно пушкинской Татьяне начертить напротив него на витринном стекле: «ОЕ» — так щеголь напоминал Онегина. И не только его. Сорочка в английском духе... Воротничок острыми углами вверх... Обращали память к

доброму приятелю Онегина, да-да! самому Александру Сергеевичу. Эти детали с гениальной небрежностью по сей день присутствуют и свидетельствуют на двух его знаменитых портретах. А помнится, учителя, экскурсоводы твердили: «изображен художником Тропининым по-домашнему», — и указывали на плечи действительно под халатом; «строго, возвышенно — художником Кипренским», — и тыкали в задний план с видом на музу. А про «Одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторане, где читаю или новый роман или журналы...» — ни слова. Надо было увидеть заморское пришествие моды, эту витрину, чтобы уразуметь: да ведь и Пушкин немного денди! По крайней мере, в том, что касалось одежды.

Итак, нашего джентльмена в сторонке звали Джордж Брайан Бреммель. Он был из папье-маше. Поза, томность, нарочитая ирония, демонстрация своей драгоценной персоны — все это было при нем. Но из-за столпотворения подражателей его жизнь давно превратилась в подвиг незамеченности. Из своего XIX в. Джордж Брайан не без грусти смотрел на праздник подмены возле себя, удивленный тем, что его вообще не забыли. Увы, стекло витрины делило жизнь на сверкающую и не очень, соответственно поговоркам: «Бесятся с жиру» и «Не до жиру, быть бы живу». Сверкающей было меньше, совсем ничего, поэтому и в зорких глазах Джорджа Брайана можно было прочесть: «Имейте в виду, человечество вымерло не столько от эпидемий, сколько от зависти».

И кусок Лондона, выпавший на долю нашего джентльмена, готов был стоять за эти слова до последнего клок тумана, до высшей точки Иглы Клеопатры, до легчайшего взлета самого английского из мостов.

«Это не зависть», — хотелось всех успокоить: и Лондон, и Джорджа Брайана.

«А что?»

«Это гораздо хуже — слабость».

На это у Джорджа Брайана хватило такта впасть в другую народную мудрость, ее смысл на всех языках одинаков:

«По одежке только встречают...»

«Так было. А теперь и провожают по ней и выталкивают в дверь».

С тем можно было уйти в собственное скудоумие и податься своей дорогой. Но в голове пульсировало: «Интересно, а что пишет о Джордже Брайане История моды?»

1. Американка

Была у меня такая где-то на полке, между «Историей нравов» и «Обрами Италии». Но это казалось, что книга там. Придя домой, я ее не нашла. «История нравов», как и полагается, стояла на месте, «Образы» — подавно, как вкопанные, а вот «История моды»... Не было ее ни на других полках, ни в других шкафах, ни на письменном столе, нигде. Сквозь землю она провалиться не могла, оставалось подумать о посетителях того проходного двора, которым еще недавно была квартира. А случилось такое благодаря доброй американке Мэйрин.

Надо знать Мэйрин, чтобы так говорить. Если не считать гражданства, от американки в ней был лишь акцент. Остальное же... Например, вечные кеды, джинсы, а также явная склонность к депрессии, а еще невозможность жить без компьютера и ежедневного душа — все это вошло в мировой обиход и даже было освоено денди.

Мэйрин принадлежала к породе вечных студентов, когда-то нашему национальному типу. Она училась в Московском университете, уже имея диплом Калифорнийского, собиралась в Российский гуманитарный, тоже на какое-то ускоренное отделение, по возвращении в Америку метила в

Йель, а завершить образование желала в Гарварде, не чураясь при этом политологии в Беркли, социологии в Принстоне, культурологии в Стэнфорде, историографии в Хьюстоне, курсов кройки и шитья в Анн-Арборе. К университетам она относилась, как Дон-Жуан к женщинам: ей хотелось перебывать во всех, а к курсам кройки и шитья — как женщины к Дон-Жуану: все мечтали наколоть его на булавку. Что сподобило Мэйрин заняться Россией, сказать трудно. Она и сама толком не знала. Сначала она объяснила: «У вас люди любят друг друга», — но это такая ерунда, что она сама рассмеялась. Та-а-ак любят, что готовы сожрать друг друга без соли и с потрохами. Потом она объявила: «У вас нормально относятся к деньгам», — но это уже не просто ерунда, а ерунда двусмысленная, требующая уточнения, а именно: что такое *нормально*? Наконец, она изрекла что-то похожее на правду: «У вас жить интересно». Чехов тоже считал, что в России живут талантливее, чем за границей. А что сочинял?.. «Почему вы всегда ходите в черном?» — вот эпитафия к чеховскому явлению. Так что и с «жить» можно поспорить. Но зачем? Самоедам всегда приятно, когда о них хорошо говорят. К тому же для меня она была не просто студенткой, но и квартиранткой, ее «*интересно*» было здесь и сейчас.

Первое, что она сделала, когда появилась вслед за чемоданом, который катил шофер, — подарила мне коллекционную куклу в клетчатой шотландской юбке, в высокой бархатной шапке с пером и поставила в известность, что предки ее родом из Шотландии, и, где бы она ни была, она поддерживает все шотландское. По той же причине для нее неприкосновенны пауки, в Шотландии культ этих животных. Позднее выяснилось, что она симпатизирует не только паукам, но и всему живому, не ест мяса и не носит ничего из натуральной кожи и натурального меха, даже туфли покупает из какого-то суперсовременного материала. При

этом она не упустила случай заметить: «Там, где с к о т , я ни при чем», — обыгрывая английское звучание родины Вальтера Скотта.

Возможно, предки ее имели особенные шотландские черты, сама же Мэйрин выглядела типичной южанкой: карие глаза, смуглая кожа, было в ней даже что-то от арапчонка, какой-то неуловимый подтекст во всем облике, особенно в кудрявых черных волосах. При этом ничего яркого в одежде, никаких побрякушек, и речь без эмоций, скорее наоборот: «Э-э-э», «м-м-м» — медленная и старательная, на стенку полезешь, пока схватишь о чем. Она волновалась — понятно: кто знает, что ждет в этой холодной России, в этом чужом доме, с этой незнакомой хозяйкой...

Конечно, мой вид не грел: с одной стороны, «Гуд дэй, Америка!», а с другой — назад к коммуналке. Деваться же некуда: мне тоже хотелось быть денди (еще до того, как увидела кусок Лондона снизу вверх), а денди — это бо-ольшие расходы. А кроме того, интересно, как знаменитая американская предприимчивость ушибется о нашу российскую лень.

Лос-Анджелес, где Мэйрин жила и откуда прилетела, не вызывал у нее прилива восторга, хотя там она родилась, там остался ее друг Макс, наконец, близ этого города был развеян прах ее матери, которая умерла молодой. Об отце она сказала: «он — сволочь», не то что отчим — музыкант и прекрасный человек, но и он тоже умер.

Такое предисловие как-то не вдохновляло. Жалость — хорошее чувство, но не с него хотелось бы начинать. Тем более, что в отношении своих родных хвастаться особенно нечем. На этот счет есть поговорка: «В чужую семью без топора не входи...» Вариант этой поговорки звучит утешительней:

— Под каждой крышей свои мыши, — сказала я. — Ну, вроде: еще поискать такую семейку.

Мгновенно откуда-то были извлечены карандаш и тетрадь.

— Как-как??? Мышки-крышки?..

Я рассмеялась и повторила.

Как в компьютере мышь снует по экрану в поисках нужной строки, так в нашем разговоре... Эта самая мышь обнаружила неожиданное. Оказывается, Мэйрин любила Стейнбека, его повесть «О людях и мышах». Странно, но я тоже любила эту повесть. Таких же героев, которые никому не нужны. Джон Стейнбек, человек из Калифорнии, сначала изгнанник, потом желанный, обласканный и увенчанный, нас и породнил. За ним просвечивало кое-что и свое: детство, чужеродность рядом живущих, их отторжение, враждебность. Отношение родственников часто исчерпывается качествами лежалого пресного сухаря, который помещается на месте сердца, просто не желательно, чтобы это касалось тебя. Но, как ни крути, а любовь — редкий гость на этой земле, потому любви особо никто и не ждал. Так... иногда хотелось меньшей непробиваемости, хотя бы двоюродной или троюродной, вровень родству, но и этого не закажешь, значит надо жить в том, что есть, то есть в серной кислоте, принявшей вид воздуха. Вот и папаша Мэйрин ничего не придумал, как тыкать в маленького человечка пальцем и вопрошать свою женушку: «Скажи мне, Элизабет, кого ты произвела на свет? Разве это ребенок! Это какой-то ублюдок!» Затем следовало: «Ты не состоялась как женщина, ты не состоялась как жена, ты не состоялась как мать, ты не состоялась как полезный член общества». Но Элизабет было довольно и одного греха: при ее рождении ее собственная мать умерла. Элизабет принимала нападки как должное и сделалась чем-то вроде козла отпущения. Не мудрено, что утешением ее стало чтение Достоевского. Она обращалась к далекой стране, где страдание сделалось нормой, и говорила самую загадочную фразу из всех, какие Мэйрин слышала

от нее: «Раша, мазер...». Но я отвлеклась, ведь речь у нас шла о Стейнбеке.

На радостях я притащила кучу журналов «Америка» — стойкий дефицит прежних времен мне перепадал от случая к случаю — и открыла первый попавшийся. Черт бы меня побрал с моим интересом к Америке! Со страницы глазела неприлично расплодившаяся семейка президента Буша-старшего, сплоченная, дружная, сытая и в силу этого слегка туповатая на морды.

— Когда я смотрю на эту фотографию, — сказала Мэйрин, — мне хочется плакать, — и ушла в свою комнату.

— А мне что, не хочется?! — закричала ей вслед. — Но, когда хочется плакать, надо смеяться.

На следующий день она подарила мне высокую кружку с надписью: «Не падай духом». А я приготовила ей изречение: «Выигрывает тот, кто не признает себя побежденным». Запомнила ли Мэйрин его, не знаю, но мне ее кружка напоминает с тех пор, что ведение диалога — не самая сильная черта самоедов. В отличие, например, от англичан, вернее от англичанок вроде миссис Тэтчер, которые предпочитают не забивать в разговор гвозди, а прибирают к рукам щекоткой, как ловцы крокодилов и политиков — простофиль. Известно, нежные тиски душат вернее.

2. Деньги

На что она жила, где брала деньги, какое-то время оставалось загадкой. Для бедной она слишком много тратила на книги, театры, телефонные переговоры, интернет-клубы, кафе. Для богатой — не позволяла себе излишеств вроде казино, ресторанов, драгоценностей. Университет она посещала четыре раза в неделю и скорее записалась бы еще на какие-нибудь курсы, чем пропустила бы хоть одно занятие.

Как-то она пришла домой и швырнула пальто чуть ли не на пол. Ей, наверно, казалось, что такие жесты — это по-русски, вроде как хватить водки и закусить стеклянным стаканом; подобными «русскими» сценками пробавлялась фабрика грез на экране. Но чужое воспитание так же, как выпады по поводу Голливуда, не входили в мои планы, поэтому до поры до времени я на все смотрела спокойно. Из пальто полетели деньги. А всякие там монеты, в рублях ли, копейках, Мэйрин за деньги вообще не считала. Они валялись по всей квартире, так что, будучи совсем на бобах, можно было в любом углу, под диваном или шкафом, наскрести на приличный завтрак, обед или ужин. На сей раз она засеяла монетами кухню.

— Хорошо бы их подобрать, — сказала я. — Пригодятся...

— Знаете, — ответила она, глядя в окно, — зачем нужен ветер?

Я молчала.

— Ветер нужен, — продолжила она мечтательно, — чтобы я бросала на него деньги. Чтобы они летели, как листья, всегда зеленые...

Столь эффектные фразы обычно производят впечатление. Мне тоже было как-то приятно услышать такое. Одно дело читать у Достоевского, как Настасья Филипповна швыряет деньги в камин, и совсем другое — видеть российские замашки в американке. Правда, Мэйрин сильно бы огорчилась, узнав, что щедрость давно перешла у нас в разряд вредных привычек.

— Но здесь не зеленые, а деревянные, — заметила я, намекая на родную валюту.

— Дерево тоже ценно, если оно красное.

— Ну, может, у вас, в Калифорнии... Разные там секвойи... А у нас все красное в миг растащили на личное состояние. Впрочем... — я хотела выдать фольклор о плохом

танцоре, которому известно что мешает, но заметила в ее руках карандаш и блокнот. И фольклор остался при мне как последнее прибежище, куда не ступила нога иностранца.

К слову сказать, на ту пору наши иллюзии относительно американской щедрости давно рассеялись, американцы слыли прижимистыми, если не скрягами. И фраза, с которой Россия начала новую жизнь: «Америка нам поможет», была продолжена: «как веревка повешенному». Откуда взялась эта фраза и с какой стати Америка должна помогать — неизвестно, но факт остается фактом: тема американской помощи плавно перешла в тему русского иждивенчества, развязавшую языки всем болтунам, начиная с политиков и кончая журналистами. Особенно упражнялись ведущие радио с фамилиями на «Б» и такими же голосами. В ход пошло слово «совок», в него вцепились, как некогда в собачью фамилию «Шариков» — этот булгаковский символ спеси и непонятого самомнения нашей интеллигенции, забыв, что шариковы — мы все. Правда, никому не возбраняется выделять себя в «само по себе», но то, что само по себе, примечательно тяготением к целому. От чувства своей недостаточности это случается чаще, чем принято думать. И потому, деваться некуда, а «совки» и «шариковы» — мы все без разбора и это свое утверждение возвожу к Рембрандту, к его картине «Распятие»: среди воздвигающих крест Рембрандт изобразил и себя: «Я, как и каждый грешный, участвую в убийстве Христа»...

— А направление ветра имеет значение? — продолжила я тему денег. — Сейчас он дует с запада.

— Мне все равно. Я сама разберусь.

— А кто спорит? Просто где запад, там деньги, а где деньги... В общем, имейте в виду — сорить деньгами у нас рискованно. В лучшем случае скажут, что вы плохо воспитаны.

— Не трогайте мою маму, — предупредила Мэйрин.

— А причем здесь мама? Вы уже сами можете воспитывать себя.

Она возвела глаза к небу:

— Мама, прости ее, — и, подхватив пальто, замела им пол и разметала монеты.

Скоро жизнь стала напоминать сценку из какой-нибудь пьесы Мольера, когда к герою один за другим следуют учителя. Мэйрин наняла учителя игры на балалайке, учителя дикции и учителя старославянского. С таким же успехом она могла нанять и преподавателя ветеринарии. По крайней мере, был бы прок нашему коту Крузи: от кошачьих «сниккерсов» он стал чем-то покрываться под шерстью. Вся эта орава наставников исправно мучила своими предметами, Мэйрин усердно занималась, аккуратно выкладывала денежки, потом приходила на кухню, где теплее, и начинала мучить меня (а это она умела): «шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей...». По-моему, мышей и грошей было куда больше, если учесть, что поговорку она талдычила за вечер неслитано. На сей раз загнанная мышь не стала ее путеводным животным. Напротив, разлучила с учителями.

В один прекрасный день Мэйрин обнаружила, что денег в обрез. Где-то там, в Америке, «мани-мани» имелись, но друг и доверенное лицо Макс, который следил за банковским счетом Мэйрин, замешкался, кого-то где-то не подстегнул, и счет оскудел. В чем дело? Мэйрин запрашивала, Макс отвечал, что у него депрессия, и что он хочет покончить с собой. На тот момент, прямо скажем, замысел не слишком удачный. Но Мэйрин, видно, привыкла к таким поворотам и положила на время. Она знала, что депрессия в одиночку не ходит и потихоньку сползает в садизм, на нем исчерпывается, потом все идет как по маслу. Каждый вечер она звонила в Америку и с интересом спрашивала: «Ну, что, покончил?» Видя мое удивление, она говорила: «Это нормально», — и так коротала время. И как-то добавила

в том духе, что природный садизм человека выразился в допущении ада и представлениях о нем — и нечего изображать из себя. А с учителями настроилась на уроки в кредит. Как бы не так! Учителя заартачились. Занятия пришлось отложить. Но вот Макс пришел в норму, и деньги явились, но Мэйрин не торопилась продолжить занятия. Она уклонялась от телефонных звонков с такой же настойчивостью, с какой учителя напоминали о себе. Чувствовалось, люди кусают себе локти, но что толку?! Мэйрин обиделась, а в предприятиях подобного рода обида — аргумент столь же веский, как и чужая жадность.

Так место учителей в сердце Мэйрин занял Крузи — черный, элегантный и стройный котик на тонких, высоких ножках. Нежнейшее существо, которому не шло постоянно чесаться. Мэйрин взялась за его здоровье с той же дотошностью, с какой предавалась учителям. С котиком она приносила из клиники кучу лекарств и завела специальный журнал процедур. Бедный Крузи чумел от внимания и при виде Мэйрин сбегал как ошпаренный. Он забивался куда-нибудь под диван, извлечь его без помощи было сложно. И Мэйрин повадилась звать меня. Ее голос только и слышался. За вечер раз сто. В конце концов, взмолилась и я: «Хватит!».

— Из-за вашего котика я не намерена сидеть за решеткой! — последовал ответ.

Я вытаращила глаза.

— Если хозяин не в состоянии обеспечить животному полноценную жизнь, в Америке полагается штраф или тюрьма. Два года!

— А что полагается, если не можешь обеспечить нормальную жизнь хозяйке?

— У Хемингуэя было шестьдесят кошек, и он не жаловался.

— По-вашему, это единственная разница между мной и Хемингуэем?

— Если бы это было, как вы говорите, то я не истратила бы на Крузи мно-о-о-го-о!.. очень много денег.

Надо было склонить голову, но я полезла в бутылку:

— А кто вас просил?! Тоже мне, благодетельница... Пускай общество защиты животных и ставит вам памятник.

— Вы не смейтесь, потому что в первой клинике предложили его усыпить.

Такие фразы бьют в цель. Они не для тех, кто души не чает в своих питомцах, кто помнит завет Поэта: «ВЗГЛЯД ЗВЕРЯ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ ГРУДЫ ПРОЧИТАННЫХ КНИГ».

— Это что? В России так принято — усыпить? — не отставала Мэйрин. — Лучшее средство от перхоти — гильотина, да?

И рассказала, как в центре Москвы, напротив дома Цветаевой, в клинике с приятным названием «Идеал» и т.д. и т.п... Словом, она подыскала настоящего доброго доктора, но он стоит дороже.

Я не просто расстроилась, я готова была усыпить самого доктора Смерть, но это обошлось бы еще дороже. Короче, шестьдесят хемингуэевских кошек призывали сделать хоть одно благое дело, желательно с последствием для врача.

Через час, когда, довольные, мы возвращались из ветеринарной клиники (а врача сдали без боя), к нам подошел солдат — «честь имею», как положено, в форме и, глядя на Мэйрин, тихо зашевелил губами. Мэйрин ничего не поняла и застыла в недоумении. Пришлось перевести лепетание: «Он просит денег на сигареты...» (подобное было не редкость). Мэйрин фыркнула и отвернулась. И не дала ни копейки. Солдат отошел и стал искать объект повернее. Но опять его ждал отказ. Тогда Мэйрин выхватила из сумки деньги и побежала к нему...

Тут было над чем задуматься: почему кот Крузи был понят сразу, а наш защитник отечества — лишь со второй попытки? Тему денег и армии я отмела. Чести — тоже (гуд

бай, «Капитанская дочка»!) Осталась Мэйрин как сплошное противоречие с уклоном в мужененавистничество. Но такое объяснение могло устроить, если бы, например, котик был лишен мужского достоинства. А это был действующий, любвеобильный типус, отец большого семейства, рассредоточенного по всей Москве.

Загадку разгадал профессор Мак-Дэниэл, автор книги «Агония русской идеи» (наив в смысле «агонии» и ниже всякой критики в смысле «идеи»), он же — директор американской студенческой группы, шеф Мэйрин. Однажды он позвонил, чтобы узнать, все ли «о-кэй», и проговорился, что Мэйрин имеет привилегии, так как служила в армии. То-то я видела у нее вещевые мешки защитного цвета... Значит, и привилегии такого же цвета, да еще баксово шелестят. И представление о мужском достоинстве без метафор. Кстати, назад от солдата она побежала еще резвее и после весь путь прибавляла шагу, так стремилась от злополучного места, где все, кроме кота, глядели на нее по-собачьи.

3. Призраки

Тема получила перекрестное опыление в комиссионном магазине у Никитских ворот. Мы зашли туда просто так, посмотреть и уйти. Но «просто так» не для Мэйрин: цены, от которых непривычные падали в обморок, ее вдохновляли как «дешевизна». Потому я была начеку. Множество ненужных предметов уже осело в квартире. Мэйрин покупала, тащила их в дом и бросала на мое усмотрение. А «мое усмотрение» не знало, что делать с картинками, полушалками, подносами, лапоточками Арбата, платочками, фартушками Измайлова, кастрюлями, сковородками и щетками «Смоленского пассажи», тарелками, шкатулками, свечками «Седьмого континента». Правда, французским духам, записям музыки и

кошачьим консервам оно находило применение. Но магазин «У Никитских ворот» подобным не торговал.

Сначала Мэйрин хотела купить черный, сталинского времени телефон. Потом настольную лампу с идейным абажуром в молотах и серпах, наконец, остановилась у шкафа.

Это был простой канцелярский шкаф. Простой, но не «дорогой и многоуважаемый», словом — не чеховский. На задней стенке его, с внутренней стороны, значилось «НКВД, Серебрякову, г. Куйбышев». Я сообразила, что адрес военный, в Куйбышев эвакуировали правительство. На внешней стороне той же стенки стоял и другой адрес — Лубянки, и тоже Серебрякову. Это когда ведомство возвращали обратно. Мэйрин горела: она покупает. Самый подозрительный предмет всех времен и народов: шкафами вечно что-то заслоняли, перекрывали, оформляли тайные входы, создавали целые лабиринты; в них прятались любовники, дети, животные, мужья, в них обитали тени, привидения, запахи, призраки, тайны. Даже библейский ужас с отрубленной головой Олоферна и леденяще-скромной Юдифью имел отношение к шкафу. Сначала этот ужас сделался темой, затем картиной, потом стенкой шкафа у одного венценосного ценителя живописи и лишь под конец — экспонатом Дрезденской галереи, шедевром и классикой, и навсегда — прологом к мрачным тайнам специальных служб.

— Зачем покупать? — спросила я, обалдев.

— Я хочу быть с их душами.

— Душами т е х или э т и х ? Палачей или жертв?

— Хороший вопрос, но я не готова ответить.

Как не готова?.. А университетская долбежка? Старания преподавателей? Американцам преподносили только одну Россию — террора, жертв, коммуналок и диссидентов, как бы соответствуя фразе: «У русских непредсказуемое прошлое». Мэйрин знала: за каждой дверью стояли т е с а м ы е и хватали... Она считала, что советский человек был задуман

как хроник-герой для вечной революции, но из этого ничего не получилось, потому что в массе человеческая природа хлипкая. В пронизательности ей не откажешь. Однако здесь рассуждения Мэйрин не кончались. Для однозначности она слишком много читала. А чтение, как известно, ударяет не только в голову. Не зря же хитрые малороссы говорят: «Така разумна, что аж дурна».

— Юджин О'Нил, — объявила Мэйрин однажды, — сказал: «Тот, кто верит в невозможное, ближе всех к подножию радуги». Вы верили в невозможное. Вы были у радуги.

Надо же, а я не заметила. Вот темнота. Правда, имя писателя знала. Еще бы! Нобелевский лауреат, драматург великой депрессии. И видела его пьесы. И знала, что он, между прочим, отец последней жены Чаплина Уны. Но я никогда не думала, что нобелевские лауреаты — такие дети: им мало нагородить пышных слов, они желают все напечатать. И в этом качестве участвовать во всеобщем психозе. А психоз, между прочим, вещь не столь безобидная: ставит на голову целые народы и тем доказывает, что миром правят вовсе не деньги — миром правят психические эпидемии! Революции тоже заразны.

— Вы понимаете, — продолжала Мэйрин, — у меня ностальгия по Советскому Союзу! По невозможному! Я — совок. Зовите меня — Марина Ивановна Пушкина.

Вот что значит переборщить с отрицанием. Начинается жизнь фантомов.

— Но у нас уже есть один советский человек. Это я. Второй — многовато для совместного проживания. Итак, Марина — понятно почему, Ивановна — потому что ваш отец — Джон, а Пушкина?.. Из уважения к русской литературе?

— Нет!

— Потому что напротив церковь, в которой венчался Пушкин?

— Нет! Потому что моя фамилия Ган, а «ган» значит «пушка»!

Так мир подобий дал знать о себе. По принципу бреда. Взял и спутал все карты, да еще задел что-то в душе. Уронил до разменной монеты, которую каждый может поднять и перевернуть как угодно.

— Не обижайтесь, — сказала я, — но «ган» значит «балда». Пойдемте. Довольно и того, что дом у нас сталинский.

И простой канцелярский шкаф с обычным советским прошлым остался на месте.

— Конечно, должны обижаться вы, — рассудила она позднее. — У меня тоже есть любимый поэт, и мне было бы неприятно, если бы его игнорировали.

Но здравый смысл — штука, которая не любит являться все время. Тем более, когда один человек дотошный, а другой — взрывной, один — в своем праве, как при допросе, а другой — сыт «интересом» по горло. Вместо того, чтобы продолжать идти молча, Мэйрин опять привязалась с вопросом о коммуналках. То есть лучшей темы для пытки не отыскала. Дело даже не в теме, а в предопределенности содержания. Вроде, надо ли наступать на грабли? Ясно, не надо, и спрашивать нечего. Но бывает, что отвязаться труднее, чем объяснить.

Разговор строился так: я пробовала растолковать, она пробовала понять. Я опять объясняла, она на глазах тупела. Я пробовала сохранять спокойствие, она... Конечно, я взъерепенилась.

— Да чего тут неясного? Ежу понятно! Мы же с вами как в коммуналке. Так и раньше жили.

В ее невозможном лице наконец что-то протаяло, какое-то понимание. До центра Земли дошло бы скорее. Она изрекла:

— Так они вам платили?

— Кто?

— Соседи.

Было ясно: предмет безнадежен. Он вне всякого смысла и даже всякого бреда. Но меня уже одолела нечистая сила.

— Мало, что доставали меня котиком Крузи, мучили каждый день, мешали работать, теперь взялись «коммуналкой»! Вы — садистка, а никакая не Пушкина, вам все равно чем изводить. Вы ничего не понимаете в нашей жизни. И дурацкая ностальгия по Советскому Союзу тут ни при чем!

Если бы можно было вернуть эти слова! Но когда один человек въедливый, а другой ошалелый... Если бы сделать их приложением к коммуналке!.. Социалистическая активность из них так и была. Но я уже выдохлась, и все покатилося своим чередом. Во-первых, Мэйрин съехала от меня. Во-вторых, у нее началась депрессия. В-третьих, она пригласила в Москву своего друга Макса, в-четвертых, у нее завелась русская подружка Маруся, в-пятых, спустя два месяца она запросилась обратно. И вместо одной пытливой американки я получила небольшой коллектив: Макса, Марусю и Мэйрин.

4. Квартира

Две женщины и один мужчина — это огнеопасно, даже если мужчина напоминает тюфяк. Это выцарапывание глаз, таскание друг друга за волосы, склянки с кислотой, выплеснутые в лицо соперницы. Но скромная русская девушка Маруся из далекого города Пермь нашла путь надежнее. Даже не тот житейский, объединяющий сердце мужчины с желудком. В один прекрасный день я обнаружила, что квартира превратилась в прачечную. Маруся стирала!.. Для Макса. Носки, джинсы, футболки... Если ничего подходящего не имелось, она хватала носовые платки. Если с платками было в порядке, бралась за утюг, чтобы погладить. Мэйрин презрительно усмехалась. Не много же против любовного ар-

сенала в виде бесконечного пара, воды и огня. И продолжала занятия: утром в университете, под вечер — в читальном зале. Реферат по истории, реферат по литературе, то есть к одной разлучнице добавила двух посильнее.

В другой прекрасный день (а я появлялась, как красное солнышко, из Подмосковья, сада и лета) обнаружилось, что в коллектив влилась Марусина мамочка Люба. Мамочка всегда подразумевалась на рынке при пачках конфеток, печенья и чая. Она торговала с утра до вечера. Какая нелегкая сдернула ее с места и кинула на мою голову?! Видно, та же, что подняла из Перми от пьяницы мужа и повела искать счастья в Москве. Помимо рынка, она обреталась у дяди Пети, родственника своих лет, который пускал ее на ночь. И вовсе не оттого, что любитель по женской части (это само собой), — у него была страсть посильнее — горькая, и стычками именно в своей коммунальной квартире на трех холостых мужиков он был по горло сыт, а ночь... Ночь примиряет всех: и тех, кто мозолит глаза шатанием, и тех, кто их закрывает для сна, и тех, кому некуда деться. Как женщина работающая мамочка и у меня не сидела без дела. Она вязала. А котик Крузи гонял перед ней клубок. Котик один и обрадовался моему появлению. Компанию ему могла бы составить Мэйрин, но ее не имелось в наличии.

— Мой котенька создан для любви, — сказала я, поднимая Крузи на руки, как последнее свое достояние, чего он терпеть не мог и всеми правдами и неправдами начинал вырываться. — Он у нас настоящий Казанова.

— А это что, порода такая? — откликнулась Люба, сгребая вязание.

Для обмена эрудицией желательно настроение. А какое настроение, если царапается, пускает кровь и сбегает даже любимый кот. А вместо него... Даже не хочется продолжать: настолько все до боли родное. Состояние общества в лицах. Свои и чужие. От тех и других не того... Только

одних жалко, а других... С другими русско-американские партнерские отношения. Ну, может быть, с элементами послабления. Человечности, если угодно. Все равно это время я пребывала вне дома, когда главное — не удобства. Главное — *почувствовать дождь, как его чувствует дерево.*

Меж тем Маруся в любовном угаре стирала. Макс смотрел телевизор и растирал поясницу, а темная лошадка Люба, упрятав вязание, взялась окучивать меня тортом и полной кастрюлей супа.

Такое гостеприимство... обязывало. И что-то предполагало в ответ. Определенно, не выяснение отношений и не мою открытую пасть. Оно щекотало нервы, будило, если угодно, тон, на худой конец, — солидарность, уж очень торт был хорош, не кондитерское изделие, а полное обездвижение! По рукам и ногам. Уйти можно только в депрессию. Настал мой черед. Но нет, эта дама как роскошь меня обходила. Я плюнула и сказала:

— Да за ваши художества Америка должна платить мне ренту пожизненно. А она даже не знает, скольких ненаписанных страниц стоили мне ее граждане. И это называется мировая держава! В двух шагах от посольства вы буквально открыли в моей квартире новый, пятьдесят первый, штат, а квартирка-то, между прочим, была расстреляна в 1993-м. Не без участия вашего президента. Он давал «добро», когда наш спрашивал разрешение. Да и посольство само... Захватило треть Конюшковской, а на этом месте, между прочим, наша школа стояла — № 97, которую я окончила, черт бы вас всех побрал!

И уехала, откуда приехала, к себе в сад, под Москву. Но, прежде чем хлопнуть дверь, предупредила:

— И никаких пятьдесят первых штатов! Был и есть Шубштадт, именно так, на петровский манер. И в «холодной войне» здесь никто не участвовал, значит и проигрывать некому.

Кажется, я сама не поняла, от чего сбежала. Но, распилив пару бревен, наколов кучу дров, обработав несколько яблонь, наконец, догадалась. Многолюдие — ни при чем. Разве им на Руси удивишь! Как в иностранных энциклопедиях говорится о водке: смертельная доза — литр, но не для русских, так и здесь... Да это просто смешно! Для бывшего советского человека квадратный метр практически безразмерен. Вот тортик — это серьезнее. Нет, тортина, тортище, всесильные башенки с кремом, обставленные шоколадными бомбами. Кажется, их звали «мадлен». Перед ними нельзя устоять. Они метили в мою талию, а за нее тоже надо бороться, как Маруся — за Макса, мамочка Люба — за комнату дяди Пети, а котик Крузи — за свою независимость, как я же сама — за прустовские мгновения в жизни, за обретенное время.

5. Тетрадь

Настал и третий прекрасный день, когда покладистую Марусю Макс увез в Америку за собой к большой растерянности мамочки Любы. По старой памяти она приходила к Мэйрин, но спрашивала почему-то меня:

— Вы не знаете, Макс с дефектом?

— Дальше кота мои интересы по этой части не простираются. А вообще-то я знаю, что ему сорок лет и что он бухгалтер.

Любу мучили угрызения совести. Даже утешить хотелось.

— Да не было у Макса с Мэйрин любви! Она выдала его за Марусю, чтоб действовал на нервы не ей, а Марусе. Понимаете?.. Специально. Одни предпочитают мужчин, а другие — университеты. Такая вот нетрадиционная сексуальная ориентация.

Я действительно спрашивала Мэйрин, не жалеет ли она о приятеле. Какой никакой, но давний, опять же, доверенное лицо, а теперь — отрезанный ломоть. «Наоборот, — говорила она, — я очень рада...»

Это уже третий человек в моей жизни, который радуется счастьем других. Первый — поляк Моравец — твердил: «Доброта — это гениальность» (восемнадцать лет лагерей в два захода), второй — ростовский интеллигент Рамзесов с присказкой: «Бескорыстие анонимно» (текущая крыша квартиры, рояль напрокат, кусок хлеба на завтрак), теперь — Мэйрин, русский вариант хеппи-энда, когда счастье конвертируется в страну проживания. Еще пара-тройка людей — и все родное воскреснет.

Но Люба наахивала свое:

— Ах! Нехорошо получилось...

Так было положено основание для пирамиды из вязаных шапочек, шарфиков, носков, варежек, безрукавок... Так рукоделием мамочка Любочка взялась замаливать Маруси-разлучницы грех. Мэйрин сваливала все в прихожей, под вешалкой, и скоро стало понятно, что для полного счастья не хватает лишь моли. Она, конечно, оживляла дизайн, но мое кашемировое пальто, которое висело на вешалке, мне было дороже.

С этим неумным рукоделием, похоже, и связано исчезновение «Истории моды». Скорее всего, Любаша тихо взяла книгу на время — попользоваться и вернуть. Кто знал, что меня вдруг зацепит понятие «денди», и я полезу его искать? Никто не мог представить себе и другое, что Любашин приятель дядя Петя починит приятелю телевизор, и тот в благодарность выставит самодельную брагу, ни много ни мало — бадью! И дядя Петя приложится к ней, да так, что даст дуба, не успев ничего узаконить. Никаких отношений, и Любу как миленькую выставят вон его дорогие родственнички. Какая уж тут «История моды», какие

денди! А с ними Джордж Брайан Бреммель, объятый магией пушкинских строк.

Но все равно, книга от этого не переставала быть нужной. Я опять все перерыла, но нашла лишь стопку тетрадей. На верхней обложке — надпись: «Отношения и ценности. Мысли Мэйрин Ган о России». Ах, даже так... Надо полагать, тот самый реферат, которым она занималась последнее время. Интересно, за что в нашем уважаемом университете получают «отлично»? А Мэйрин окончила его похвальной студенткой.

«Отношением русского народа к жизни правят климат и размер страны, — начала я читать и дочитала до следующего: — В России любят собраться вместе, и сидеть за полночь, и рассуждать о великом. Даже в парламенте дебаты продолжаются не просто годы, но целые столетия. Они все спорят, должны ли принять культуру Западной Европы, тогда как она давно у них под носом и преуспела в этом как в жанре плохой копии. Но русские так заняты своей жизнью, что ничего не видят и ничего не слышат. А если слышат, то тайный смысл слов от них уходит. Когда я сказала своей хозяйке, что моя фамилия “ган” в переводе значит “Пушкина”, она решила, что это абсурд. Она даже обиделась, как будто Пушкин — их монополия и нечего лезть. Если подходить к этой фамилии со стороны отца поэта Пушкина, то это абсурд. Если подходить со стороны фамилии его матери Ганибал, то никакого абсурда нет, а есть два слова вместе: “ганибал” означает “ядро пушки”, можно “ружейная пуля”.

Их великий царь Петр был, как видно, мистическим человеком, он как будто предвидел, что через несколько поколений родится такой же великий

человек, как он, и, предчувствуя его судьбу, заложил в фамилию “ганибал” свое видение. Это он дал ее арапу, которого ему привезли из серала. И крестил его как Петра Ганибала. Но арап не хотел быть Петром и сделался Абрамом Ганибалом. Ганибал сопровождал царя во всех походах. Потом долгое время жил в Париже, вступил во французскую службу. Там же имел много детей от двух жен и любовниц. Остальное можно додумать и допустить, что за много десятков лет некоторые потомки арапа могли потерять за границей часть фамилии и докатиться до “Ган”. Так лучше, чем понимать “Ган” как абсурд перед “Ганибал”. Моя хозяйка признает фамилию “Пушкин” только за одним человеком, которого они все не читают, но боготворят как Иисуса, а моя фамилия должна быть “Балда” — так, наверно, посчитала хозяйка. Я уехала от нее, чтобы самостоятельно сделать для русских что-то полезное и доказать, что я все-таки в определенном смысле Пушкина. Душа для русских имеет самую большую ценность, если у кого-то или чего-то она есть. Когда я вышла на дорогу души, то вернулась к ней с Марусей и Максом, чтобы хозяйка видела все сама и поняла, кто порочней...»

Мэйрин, наверно, хотела сказать «любвеобильней», но перепутала слово. Но это ведомо только ей.

Вот и узнай, что лучше: держать в руках эту тетрадь или жалеть об «Истории моды»?! Что нового дала бы «История»? Да и что такое история? На время застывшее время, сформированное людьми по ту и другую сторону правды, поднятое над самим собой, дань человеческому воображению, а в целом — зола, на которую смотришь глазами Судьбы: что там блеснет, уцелеет, что отзовется в грядущем.

А тетрадь?! Я читала и думала, так кто же из нас балда — Мэйрин Ган или я? Кто острее, проникновенней чувствует слово? Кто, наконец, порочней? Если, конечно, любовь к России — порок. Да и что такое порок? То, что прежде считалось нормой. Определенно, американцы нужны, чтоб давать другим по мозгам и показывать перекрученность на свой собственный лад.

А Мэйрин Ган с месяц как была далеко. Ею владел новый университет под названием Йель, где-то в Нью-Хевене. Близ океана.

Послесловие **Мода как способ убийства**

«История моды» отыскала меня сама. Правда, другая — подаренная свидетельницей моего нытья по пропаже. О денди в этой книге ни слова. Зато шанелей, кристиан-диоров, версачей сколько угодно. Но это же так современно! Лишнее подтверждение того, что мода всесильна, — не в смысле покроя одежды, а взгляда на вещи. Она, как политика, способна убить, вывести из игры, особенно тех, кто в нее не входил.

ПАМЯТИ ПОГИБШЕЙ СИРЕНИ

Нет, никогда — нет, никогда
(Так дюнам говорит прибой)
Не полетит орел больной.
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!

Эдгар Аллан По
(перевод В. Рогова)

1

Как-то в гостях, разглядывая фотографии на стене, наивно, по-детски прилепленные в три ряда, я спросила хозяина: «Почему они рядом?» Имелись в виду Эдгар По и Валерий Брюсов. Один — пылкий, непредсказуемый, автор знаменитого «Ворона», другой — холодный делатель строк, известный «герой труда».

Не успела я закрыть рот, как была опровергнута страшной пощечиной, от которой посыпались искры из глаз, а сама я вроде тряпичной куклы шмякнулась в кресло возле деревянной бочки из-под соленых огурцов, набитой книгами. Хозяин был вне себя, рвал и метал, а кроткая Лялечка, которая привела меня к этому чудовищу, потеряла дар речи. Придя в себя, она сказала чистую правду:

— Петр Романович, к вам никого нельзя приглашать! Это самое настоящее хулиганство! — и голосом мученицы объявила: — Мы сейчас же уходим!!!

В мгновение ока в ее руках оказалось пальто, послышалось:

— Одевайся!

Конечно, Лялечка права: в гостях приятнее пить чай с пирожными, чем получать оплеухи. Но в одном с ней нельзя согласиться: на другой конец города не едут только затем, чтобы схлопотать, извините, по морде. Поэтому Лялечкино «Уходим!!!» было пропущено мимо ушей, все еще в звоне-огне. Я заявила:

— Никуда не пойду! По воскресениям отдыхаю.

Это иносказание имело и другой, более убедительный смысл, а именно: гонор — не та единица, какой меряют человеческие отношения, и что особенно важно, к литературе не применимая. Ведь мы пришли к Костину, одному из лучших переводчиков Эдгара По, признанному мэтру и эрудиту.

Надо заметить, что тогда я была под обаянием «странного Эдгара», как его называли поэты. Читала про него все подряд, не расставалась с его рассказами, угадывала в героях зачатки страстей, которые впоследствии разошлись по мировой литературе под названием «достоевщина». Слушала рахманиновские «Колокола», навеянные его фантазией. А к Брюсову относилась спокойно, вернее никак, доверяя расхожему мнению о нем как о сделанном, ненатуральном поэте.

Помнится, Лялечка давно звала к своему эрудиту. Я не торопилась. Мешали воспоминания о встречах с другими ее знакомыми — вечно с какими-то выходками и недоразумениями. Карнавальные люди требуют особого настроения, а его не закажешь.

Все же в феврале Лялечка уломала меня. Этот месяц, завершая зиму, придает ускорение мыслям, как будто внушая: сейчас или никогда. Да и случай особый: все-таки мэтры и эрудиты на дороге не валяются.

2

Сначала мы долго-долго ехали под землей. Потом шли стеклянной галереей сквозь запахи ванильных булочек и шашлыков, затем на солнце пробирались по яркому снегу к одинаково серым высоким домам. И, шатаясь от воздуха, до самого подъезда не столько дышали, сколько вбирали в себя весну.

Плоским магнитным ключом Лялечка распечатала дверь. Мы ступили в потемки и через пару шагов оказались перед пестрой бахромой объявлений, теперь уже на металлическом ограждении лифта. Лифт поднял нас куда-то под крышу и выпустил возле очередной запертой двери. Эта преграждала путь к четырем квартирам: по числу кнопок-звонков слева и справа.

Обилие закрытых дверей, если не действует на нервы, то, как всякая мнимая прочность, задает тон ожиданию. После звонка оно кажется бесконечным. Но вот там, в невидимой глубине, скрипнуло, потом запищало, наконец, хлопнуло, и шарканье с постукиваньем палки начало приближаться. Спустя минуту-другую тенью на волнистом стекле остановилось напротив нас. Лялечка ласково объявила:

— Петр Романович, это мы!

Дверь отворилась.

При виде открывшего стало ясно, что наш визит скорее благотворительный, чем дружеский, когда приходят не в гости, а навестить.

Худой, изможденный, с костылем, Костин не имел ничего общего с образом, который сложился у меня заранее. Потертая одежда болталась на нем, как на вешалке. Ниже подбородка висел платок, прикрывая что-то, не предназначенное для посторонних глаз. Это что-то — след операции на гортани, сразу выдал голос: вместо членораздельной речи одни шипящие и свистящие звуки. Лялечка, знавшая Костина давно, говорила позднее, что у него был краси-

вый бархатный баритон, он любил им играть, декламируя любимых поэтов, и в больнице, понимая, что обречен на шипение, перед операцией прочел на английском Шекспира. «Вы, сударыня медик, — заметил хирургу, — последняя, кто слышит мой голос». Об этом Лялечке поведала медсестра, которую он, между прочим, назвал «псицей»: она посмела назвать его Петя, а не Петр Романович.

Забыла сказать, что в его больших *странно-веселых* глазах я не увидела ни малейшего интереса к себе, никакой благосклонности. Чуть-чуть задетая, я двинулась за Лялечкой в конец коридора.

Едва прикрытая дверь легко отворилась, гора книг за ней, казалось, только ждала, чтобы свалиться. Но нет, ничего не случилось. Свободный пяточок прихожей позволил нам спокойно снять пальто, да еще разглядеть неизвестного щеголя, портрет которого висел на стене. Дверь в его комнату была открыта, и ничто не мешало увидеть, что она также завалена книгами. Что-то подсказывало, что на портрете — хозяин, словно порода, не истребленная временем и болезнью, давала знать о себе. На горле, занавешенном ныне платком, у молодого человека красовалась атласная бабочка. Да и сам он имел такой вид, что минута — и полетит.

Лялечка, кинув пальто, устремилась на кухню, к Костину, а я замешкалась, без всякого вдохновения пристраивая на вешалке свою шапочку. Она как нарочно сваливалась. Поднимая ее, я всякий раз встречалась с насмешливым взглядом щеголя.

Признаюсь, перспектива кухонных посиделок меня вообще не грела. То, чем так гордились диссиденты и в чем видели обаяние, когда говорили о новом интеллигентском свободомыслии, нисколько не умиляло. Может быть, потому что люди, собиравшиеся на кухнях, часто не могли отличить сосну от березы. Не мудрено, что представление

о демократии и реформах, взлелеянное в этих тепличках, выродилось в оголтелое самохвальство.

Однако не возвращаться же обратно. Выбора не было. Смиряло и то, что кухня далась сейчас Костину не от хорошей жизни. И я присоединилась к компании.

3

На фоне широкого окна, в последних лучах солнца Костин выглядел намного печальней и старше, чем только что в коридоре. Весь от искусства, скорее театрального, чем литературного, голубой крови, с белыми волосами, с лицом того отстраненного обаяния, которое отошло в прошлое с академической манерой игры. Такому лицу с большими, круглыми, *странно-веселыми* глазами отвечало ампула возвышенного, романтического героя, но жизнь, отвергнув пафос, отодвинула и его приверженцев на задворки, где воспоминания об аплодисментах и лаврах лишь способствовали одиночеству и болезням. Обстановка кухни, весь этот быт, раковина с горой посуды усиливали впечатление. На подоконнике цвела фиалка, тяготея к чистому куску неба за стеклом и свету. Со стороны фиалки это было более чем трогательно: она как бы передавала привет от другого мира, тихого, ясного, уходящего, утверждая право на красоту в любом месте. Ей, должно быть, потребовалось много сил и всяческих стимуляторов, чтобы явить себя в полной красе и фиолетовым ликованием радовать своего господина.

Книги здесь тоже имелись, но доходили с пола лишь до поручней кресла, распространялись к углам, обводя собой странный предмет — деревянную бочку из-под соленых огурцов, переваливали ее через верх, а затем забирались в нутро, набившись вроде сельдей. Фотографии, о которых сказано в начале, были прилеплены на свободной стене против окна.

Костин с Лялочкой договаривались о покупках, когда меня потянуло к снимкам. За спиной слышались лишь шипящие и свистящие звуки. Записывая в блокнот, Лялочка уточняла: «Сыр “Монастырский”, “Докторская колбаска”, салатик “Богема”...» Кто мог знать, что мой дурацкий вопрос: «Почему Брюсов и Эдгар По рядом?» — прервав гастрономические переговоры, окончится карательной операцией! Откуда только силы взялись! Старец отреагировал как на пароль, открывающий преисподнюю психики. Должно быть, имя Брюсова было ключевым словом.

В первую секунду я ничего не поняла. Но это в порядке вещей. Обычно до нашего человека лишь с третьего-четвертого раза доходит, что его бьют. Так бы и я, но мои очки... Они слетели. Да и щека загорелась. Я же говорю: на кухнях не жди хорошего. А кто-то назвал их «оплотом новейшего вольнодумства»! Да последнему дураку известно, что кухонные начинания не могут окончиться благополучно. Хотелось спросить нашего книголюбца, этого безумного Повелителя фолиантов, а как же Вольтер с его знаменитой тирадой: «Я с вами не согласен, но готов умереть, чтобы вы могли это высказать»?! Да и скульптор Нисс-Гольдман Н.И. пришла на ум, потому что она явно не дотянула бы до своего 97-летия, если бы судьба свела ее с Костиным. Наш интеллектуал просто убил бы ее за слепок Брюсова в гипсе: узкие глазки — настоящие щелочки, брови, поднятые углом, острый подбородок — все это на вздернутой голове, насаженной на длинную наклонную вертикаль, как на пику, и все это ради впечатления верхоглядства. К тому же слепок, помещенный не на какой-то кухне, а в Третьяковской галерее, на самом виду. И как, наконец, Марина Цветаева со своим «героем труда», этим клеймом, поставленным на Брюсова, с этим своим особым видом любви к нему — *оттолкнувцем*??? Про Бунина и не говорю. Иван Алексеевич сказал, как от-

резал: «Полное свинство», — насчет некоторых брюсовских писаний.

Но вопросы следовало отложить на потом, а сейчас главное было — найти очки. Я же, шаря по полу, лишь наткнулась на мусор. Наконец догадалась заглянуть в бочку — там и нашла. Хозяин продолжал негодовать, весь трясся, из чего следовало, что мне должно убираться, да поскорее. Но сама я так не считала и к твердому «не подумаю уходить» добавила с пробной шутливостью:

— Прежде, когда набрасывались, было хотя бы понятно, что защищать. По украинской поговорке: «все бери, мене не рушь».

Я надела очки и посмотрела на чужое бешенство глаза в глаза и вместо зрачков увидела острые иглы, на которые пала тень улыбки, совсем слабой, какой-то ее троюродной сестры. Значит, худшее миновало. Можно было выпрямиться в кресле, а Лялечке выпорхнуть в магазин. Пробегая мимо, она шепнула: «Не бойся. Теперь он тише воды, ниже травы». Заверение, впрочем, плохо вязалось с видом ножа в руках старого сумасброда, он принялся нарезать хлеб к обеду, давая свежими крошками обильное угощение своим непрошеным компаньонам.

4

За Лялечкой хлопнула дверь. В стремлении сделать что-то полезное была вся она. На таких действиях была основана ее жизнь, известная мне с той поры, когда мы познакомились. А познакомились лет десять назад, не меньше. И постепенно для нее напросился образ.

Иногда на старинных картинах пространство между небом и землей заполняет сонм ангелов. Лялечка казалась одним из таких ангелов, не принадлежащим, правда, ни небу, ни земле. Для земного она была слишком добра и участлива, а для небесного — не в меру хлопотлива. Каче-

ства эти как-то не согласовались друг с другом, случалась и несурязица из их столкновения. Да и с душой, вернее, ее творческим уголком, где у Лялечки зарождались стихи, они не ладили. «А как же поэзия?» — хотелось попрекнуть иногда. И сам собой напрашивался ответ: «Ну, что поэзия... Ее хватает, всех этих рукописей-не-горят, разных нетленок, а вот доброты...» И каждый желал ощутить Лялечкину доброту на себе, увидеть безмятежный лик ангела, которого сотворила сама жизнь, а не придумали люди, как придумывали всяких волшебниц, фей, всяких Сонечек Мармеладовых. А жизнь что? Сотворяет в расчете на высокий процент поразительного в человеке. Спорит с Природой там, где желательно обойтись согласием.

Не могу сказать, что в тот момент я была благодарна Лялечке за очередную скандальную встречу. Но, чтобы очень злилась, также нельзя утверждать. Костин это чувствовал и не обращал на меня внимания. Он все резал и резал, словно шеф-повар, который дает мастер-класс. Покончив с хлебом, перешел на какой-то овощ, с завидной скоростью кромсая его в солонку.

А солнце тем временем все садилось и садилось и меркнувшим светом смягчало резкость его движений. Казалось, в такие часы и щеголь из соседней комнаты слетал с портрета и глазами тихого вечера глядел на свою судьбу. И все понимал, и не принуждал говорить, зная, что судьба желает молчать, склоняясь в сторону вечности.

Неожиданно Костин бросил нож, проковылял в комнату и вернулся с бурным увесистым томом. Бережно, даже нежно раскрыл на титуле. «Нашему дорогому поэту Петру Романовичу...», — выведенное там, сразу бросалось в глаза. Я прочитала — для того и подал сей раритет в тусклом кожаном переплете — и почувствовала себя неблагородным пришельцем, забредшим в чужой дом мутить воду. И последующие слова об избранном обществе, любящем

и уважающем своего юного друга, прочитала, и пожелание, чтобы он, Петр Романович, никогда не забывал своего предназначения. Внизу подпись, как росчерк нотариуса, скрепляющий юридический документ, удостоверяла главное слово — «поэт», придавала каждой букве каноническую необратимость, тяготела к народной мудрости: «что написано пером, не вырубишь топором». Подпись была: *Иоанна Брюсова*. Так на посмертном издании Брюсова вдова опекала любимца из могилы.

Предполагалось, что сей документ достаточно убедителен, чтобы я ничего не имела ни к самому Костину, ни к Брюсову, ни к его фотографии на стене, ни к соседству с Эдгаром По. И я уже ничего не имела. Особенно глядя на пол. Всякий бы понял, что там — единственные существа, с которыми Костин постоянно общался. Кто читал Аввакума, помнит, как неистовый протопоп сетовал: «Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно».

Листая книгу, я наткнулась на вековой давности строки:

Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном!

«Странно, — подумала я, — что никому не пришло на ум, как эта фраза сбылась. Цепляют ее к революционным предчувствиям Брюсова, тогда как уничтожение случилось гораздо раньше, Брюсов и сам не заметил».

Но говорить это Костину?.. Не лучше ли вспомнить другое?

— А сирень? — спросила я примиренчески. Уточнила на всякий случай: — Та самая, врубелевская.

Для Костина в моем напоминании не было загадки. Он понял, что речь о сирени, которую Врубель сделал фоном

в портрете Брюсова. История эта известна. Но отдельные детали не мешают напомнить.

5

Художник находился на лечении в психиатрической клинике, когда издатель «Золотого руна» Рябушинский заказал ему портрет Брюсова. Издатель желал поместить репродукцию будущей работы в своем иллюстрированном журнале, уже представившем некоторых именитых литераторов.

Брюсов позировал в клинике — деревянном одноэтажном домике, где больные содержались на домашний манер. Работая три сеанса, художник написал коленный портрет брюнета с темно-кариими глазами, с бородкой и матово-бледным лицом, напоминающим ему южного славянина. Стоя со скрещенными руками и блестящими глазами, устремленными к яркому свету, Брюсов был изображен на фоне сирени. Работу пришлось прервать, потому что Брюсова вызвали в Петербург. Он исчез на три недели, но остался подаренный томик его стихов. Скорее всего, художник вернулся к ним, и повторное чтение оказалось не в пользу автора. Возможно, строки:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...

произвели на Врубеля такое же впечатление, как позднее на строгого и требовательного писателя Бунина, и художник удивился, что пропустил это при первом чтении.

Когда Брюсов вновь появился в палате, мольберт с полотном стоял в стороне. Брюсов подошел и увидел, что его изображению отказано в сирени. Художник как будто взял ее за руку и отвел под опалы и аметисты сиреневых сводов, в чертоги своих прежних картин, недоступные посторонним, шепнул на прощанье: «Тебе с Брюсовым нечего делать». По-

тирая руки, он бормотал удивленному Брюсову о «свадьбе Амура и Псиши», которых напишет вместо сирени. Но и этот фон не суждено было осуществить.

После смерти Врубеля на пустом пространстве его последней большой работы осталась фигура Брюсова в обществе холста, вытравленного до исходного цвета под бормотание: «Тля... Уже почернели листья. Как много тли!». Была зима. Шел снег, и порывы февральского ветра шевелили больничную штору. Что это было? Припадок безумного гения или что-то другое, когда невидимое дается в мгновенной вспышке? Известно, Врубель не церемонился со своими картинами.

Костин не знал, почему художник уничтожил сирень. И вообще он Брюсову поклонялся! Для него имя кумира давно приобрело чары заветного слова, соединенного с шорохом книжных страниц, крупным готическим почерком дарственной надписи, цветом давних чернил и многим-многим иным, где тайне погибшей сирени не было места. Тайна существовала сама по себе, а Костин со своим почитанием — сам по себе.

Глядя на цветущую фиалку, я заметила:

— А хорошо бы вам, Петр Романович, завести сверчков. Когда стрекочут сверчки, это удивительно приятно. Вот и Пушкин в дружеском кругу звался Сверчком.

На лице Костина возникло подобие одобрения.

— И что занятно, Петр Романович, — не отставала я, — вот на Псковщине, к примеру, простые люди сверчков называют скачками. Как вам такое?

Выражение одобрения оживилось улыбкой. Не знаю, сколько усилий потребовалось бы, чтобы ее закрепить, не появившись Лялечка, а с ней — великий русский напиток в форме треугольной стеклянной посуды, которая сразу вошла в родство с деревянной бочкой из-под соленых огурцов. Он-то, надо отдать ему должное, разлитый в старинные

стопки, расчерченный звездами хрустала, и взял на себя дипломатические тонкости по укреплению отношений.

6

Разумеется, первый тост был за Валерия Брюсова. И второй тоже. И третий... Я уже приспособилась различать фразы Костина не слухом, а по движению губ. Если не получалось вчитаться, он, замечая это, каллиграфически выводил слова на бумаге. Но имя Марины Цветаевой я угадала. Разве мог книжный копатель обойти ее «против»!

— А вам, сударыня, — сказал он, и лицо его пообещало основательную порцию яда, — да будет известно, что Цветаева пишет кровью... — помедлив, спросил: — Но какой? — и дал время догадаться самой.

Мы с Лялечкой фыркнули. Благо, помянутые ранее Вольтер и Нисс-Гольдман Н.И. не пришли ему в голову, им бы тоже досталось. А пока Костин повернулся к плите, где что-то кипело, и решил, что довольно, хватит щекотать ноздри, пора еде на тарелки. Мне было поручено вынуть из раковины три посуды и вымыть в ванной. Я поспешила исполнить и, обеспокоив фауну, которая, кинувшись в рассыпную, вмиг вернула полупластиковый полустертый орнамент, проникла к умывальнику. Открыла кран и вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, как все нормальные люди, глянула на тумбочку, заваленную одеждой. Краешком из нее виднелся листок бумаги. Он торчал ровно настолько, чтобы прочесть каллиграфически выведенное: «Целую кончики ваших крыльев».

Вода тем временем продолжала литься на тарелку, которую я держала, и проявлять рисунок яркой китайской маски, изображенной во весь круг. А с ней прояснялось и кое-что в моей голове.

Эти случайные детали: чужое послание, обрывок лирической каллиграфии, красная маска на серебристом

фарфоре — намекали на течение какой-то иной жизни, не имеющей отношения к моим мыслям о Врубеле. Но по законам ассоциаций они были связаны с Врубелем темой любви и тайны. И наплывом кадра, как в кинофильме, вынесли на поверхность одну глубинную фразу, вычитанную давным-давно в тоненькой книжечке. На ее обложке цвета речного песка, словно сквозь толщу прозрачной воды, легким контуром зыбился лик Надежды Забелы, певицы, жены Врубеля, знакомый по множеству портретов и фотографий. В знаменитой «Сирени» лик обращал на себя внимание жгучим трагическим взглядом. К Забеле относилась фраза из тоненькой книжечки: *«Все певицы поют как птицы, а Надя поет как человек»*. Эти слова казались странными, тогда как близкие художника считали, что в них весь Врубель. Не смешно ли, пойти к Костину и схлопотать пощечину, чтобы проникнуться новым чувством, да хоть к смыслу этой же фразы, понять, наконец, что Врубель говорит о своем предпочтении искусства самобытного, естественного и душевного искусству голого мастерства и техничности. Иногда и пощечина поощряет в душе почвенное начало. Напоминает о бытовании мира вторичной культуры, где в заданном режиме, точно на поводке, в заранее обкатанной системе координат адепты, ничем не рискуя, несут миссию Великого подражания, празднуя подмену как вечную ценность и насыщая суетой свою жажду успеха. И все же вторичности не суждено стать самобытностью, а суете — служением. И если Художник уничтожил сирень, то дело не в безумии или эксцентрической выходке, а в чем-то более сложном.

С чистыми тарелками я вернулась к столу и сказала:

— А сверчков завести не очень-то просто. Пауки, например, менее прихотливы, правда, они не стрекочут.

Но думала о другом: ведь у меня тоже была сирень, исполненная не масляными красками, а словами (робкая попытка прозы, и все-таки дорогая, потому что была моей

первой работой, значит первой любовью). Она называлась «Миф о сирени». Когда писала, не думать о Врубеле не могла. Потому гибель его сирени воспринималась как личная утрата, болезненная и устойчивая, вошедшая в состав лилового цвета, в сам аметист над овалом перстня, который я стала носить с памятной даты, когда тот первый рассказ увидел свет.

Костин, разогретый обществом и тремя стопками алкоголя, грустно посмотрел на меня и ответил:

— Ваша сентенция, сударыня, грешит лукавством. Да будет вам известно, что пауки у меня уже есть.

И невысказанное, как марево, зависло над нами, и это невысказанное называлось *Великое притяжение Прошлого*.

Послесловие

Известно, хороший дипломат всегда помнит о том, что ему нужно забыть. Более склонная к словесности, чем к дипломатии, вынуждена признать, что второе «Я помню чудное мгновенье» не суждено никому. Тем более не суждено человеку, которого не слишком-то баловали собратья приветствием: «Мир входящему».

РУССКИЕ И НЕМНОГО ШВЕДОВ

Они были в легкой одежде, мерзли и жаловались на погоду. Почти неделю их занимали на конференции, когда каждый шаг расписан и приурочен к программе, сначала по разряду научной, потом по ранжиру культурной: с показом фильмов, спектаклей, устройством концертов и разных приятных встреч. Напоследок преподнесли экскурсию в Мелихово, потому что конференция была чеховской.

Много народу не ждали: дело было в канун Пасхи.

Когда все собрались, подали микроавтобус, в него сели два шведа, гостя из Персии и мы с Евстолией, или попросту Лялей, даже Лялечкой: так больше подходило ее незлобивому нраву (полным именем Евстолия ее никто не звал, хотя она со своим оттенком церковности в облике — от простых волос до вытянутых мешковатых одежд — очень подходила ему). Итак, все сели в машину и двинулись. По дороге, перед самым выездом за город, к нам присоединилась сопровождающая — Элеонора Михайловна. Она вскочила почти на ходу: при кепке и рюкзачке, вся настроенная на дорогу.

Что касается меня, то я была сбоку-припеку, к конференции отношения не имела, но, узнав от Лялечки об экскурсии, напрасилась: мне давно хотелось побывать в Мелихове, и вдруг такой случай. Чем не подарок, если вспомнить рассказ «Студент», где действие происходит тоже под Пасху. А рассказ этот Чехов ценил и даже в какой-то анкете отметил, что считает наиболее отделанным из всех своих коротких

вещей. Позднее на этот рассказ набросились литературоведы, я читала его уже подтравленная их словесами. Они как-то ловко умели подменять собой автора, дотошно излагали сюжет с тем, чтобы протащить его от одной цитаты к другой, обставить банальностями и псевдоученной чепухой подвести к «идеям»: сначала «о вечной связи настоящего с прошлым», потом «о звеньях цепи, связующей одно время с другим» и, наконец, к «правде и красоте». Убив одну вещь, они переползали к другой, называли все это «чеховским мироощущением», а свое кровососание — анализом.

Меж тем достаточно было взять томик Чехова, раскрыть на нужной странице, и настроение, трепет, сердцебиение — все это, первозданное, теплое, опять приникало к тебе: пустынные огороды, костер, трое стоящие у огня... А евангельские события, о которых ведет речь Студент: тайная вечеря, предательство Иуды, отречение Петра, по-прежнему отзывались чувством трагичности жизни, близким тому, какое испытывали его слушательницы — крестьянки.

Лялечка, которая что-то докладывала на конференции и была среди ехавших все же своя, надумала познакомить меня со шведом, знатоком русской культуры. «Хорошо бы каждый русский, — пропела Лялечка, — знал нашу литературу так же, как знает профессор Густав». Лялечке всегда хотелось какого-то благостного согласия меж людьми, потому она часто выдавала желаемое за действительное. Но это выяснилось после, когда уже не действовало обаяние ее кротости, а собственное прекраснотушие представлялось смешным. Однако в момент, когда Лялечка говорила, все выглядело правдоподобно и даже завораживало. Напрашивался какой-то ответный жест, хотелось засвидетельствовать почтение, тоже пропеть что-то культурно-приятное, отдать дань, снять шляпу, раскланяться... И я пропела. То есть вспомнила незабвенных шведов. Главное же, сказала о Валленберге, дипломате Рауле Валленберге, который во время

войны в оккупированной немцами Венгрии спас несколько тысяч людей. Помнится, когда говорила, волновалась, как будто сдавала экзамен.

Профессор выслушал, слегка наклонив голову, и заметил не то с досадой, не то упреком:

— Но ведь с Валленбергом так и не ясно... Ничего достоверного. Одни догадки. До сих пор неизвестно, как закончилась его жизнь, при каких обстоятельствах его у вас растерзали.

Профессорский тон несколько озадачил, хотя... В самом деле достоверного мало. Даже теперь, когда Валленберга давно нет на свете, можно было лишь сослаться на Отчет рабочей группы по его делу (книга издана в Стокгольме на русском языке) и повторить чужой вывод о том, что в начале сорок пятого года Валленберг оказался в расположение советских войск, был переправлен в Россию и пропал в лабиринтах Лубянки. Профессор прав: судьба Валленберга не делала чести моей отчизне.

Возможно, название политической службы произвело впечатление, а может, чувство, с которым я говорила, показалось профессору каким-то подозрительным, но после моих слов он не просто насторожился, а даже перестал смотреть в мою сторону. Он целиком переключился на своего попутчика, высокого молодого человека, который, как я, в конференции не участвовал, а, видно, оказался соседом по гостинице и был приглашен соотечественником для компании.

Персидская гостыя разговором не интересовалась, она не знала ни слова по-русски.

Машина тем временем продолжала катить мимо голых хмурых берез, они сменяли одна другую, пока не вывели на расчищенную площадку. Ее размеры предполагали туристическое нашествие, но сегодня тут было пусто, разве что вид на памятник Чехову, одинокий и бесприютный, на дощатые

картинные постройки усадьбы делал место особенным. Шофер приглушил мотор. Мы вышли на свежий воздух.

Зимой уже не пахло, но и до настоящей весны было еще далеко. Поблизости стоял маленький чистенький домик из тех, что всегда при дороге, — с чашкой чая и едой на скорую руку. Туда сразу же направились иностранцы, а мы... Остались как неприкаянные, нас не позвали. Элеонора Михайловна поспешила по мокрой дорожке в контору договариваться об экскурсии. А мы продолжали торчать под дождем, словно выбывшие из семьи людей. Деваться было некуда. Я сказала, кивнув в сторону недавних попутчиков:

— Ну, что, пойдем отмечать новоселье?.. Не стоять же с утертым носом.

Лялечка подняла на меня удивленные глаза. Я пояснила:

— Ну, как же... Вступление в общеевропейский дом. Дружба дружбой, а табачок врозь. Похоже, у нашей всемирной отзывчивости нет котировки на рынке. Обидно.

Лялечка согласилась и подтвердила улыбкой, которая сразу растаяла в воздухе.

И мы подались в тепло. Сели отдельно, тоже как иностранцы. И, как они, взяли кофе и что-то в придачу. тоже расположились вальяжно. Но... То самое «но», когда всякие пустяки вроде: «у вас своя компания, у нас — своя», переживаются как событие. Болезнь гордости, что ли...

— Вечно я втягиваю в разговор такое, от чего все делается как-то сложно.

Лялечка вздохнула и ответила, что и она тем же грешит.

Скоро нас позвали, экскурсия началась.

Земля в усадьбе выглядела по-осеннему прошлогодней, на северной стороне кое-где задержался снег. Он лежал серыми островками, напоминая прикорнувших голубей. Только лилейник, по-народному «петушки», видом своих неровных зеленых гребешков будил в душе что-то весеннее.

Чеховский сад показался не сразу. Но вот по тонким стволам я узнала вишни, а в глубине, по правую сторону от главного дома и напрямую перед крыльцом, темнели яблони со свежими спилами в рыжей замазке. Но я уже не смотрела на них. Цветные головки крокусов упрямыми лобиками пробивали землю, ярко бросались в глаза. Нерадостно встречал их белый свет, не «миром входящему», сыпал дождем, клонил набок. Но они все равно рвались в этот мир, готовые совершить подвиг жизни, как будто зная, что другого времени нет, надо жить в каком довелось. Наверно, так же цвели они и при Чехове, так же цветут и теперь у меня в саду, под Москвой. И я заскучала по их молодому привету, который совершался там ни для кого.

И все, что рассказывала экскурсовод, а затем переводила Элеонора Михайловна для персидской молчуньи и молодого шведа, отзывалось этой готовностью ранних цветов, словно само место диктовало такое радушие. Меж тем у экскурсовода болела нога, она прихрамывала, а Элеонора трудилась для человека в каком-то смысле случайного, приглашенного профессором, а не ею.

Из-за перевода время для нас удвоилось, и мы могли осматривать с дотошностью заядлых туристов и даже заметить лишнее, а именно то, что профессор и в музее продолжал сторониться, старался не совпадать со мной у витрин. Словно оберегал себя — от чего, неизвестно — и тем самым будил во мне чувство, близкое мании гончей, которая вся на следу и уже остановиться не может: начинает искать то, чего нет. Да вот и экскурсовод, и Элеонора Михайловна — обе со всей душой и вниманием, милые, обаятельные, однако нельзя сказать, чтобы гости слишком растрогались. И светлая улыбка Лялечки тоже была без ответа. А Лялечка все равно улыбалась, она, как эти весенние цветы во дворе, знала свое.

Экскурсия закончилась, и нам посоветовали самим сходить в церковь: она такая приметная, в северном духе, как на Кижах, рубленая, бревенчатая, а перед службой особо красивая в пасхальном убранстве.

Мы пошли узкой дорожкой, мимо прудов. Шведы сразу рванулись вперед, бросив свою спутницу персиянку. «Странные люди, — думала я, — никому не улыбнулись, не подали руки, никому от них ни жарко, ни холодно... Профессор (иначе как литературоЕдом я уже его не звала) одарил музей своей статьей — хоть на этом спасибо».

Не желая смотреть в его сторону, я перевела взгляд на компанию кур, они гуляли на воле и с непонятной симметрией симпатично держались друг друга, не отставая от петуха.

И что бы красноперому клевать себе камешки в удовольствие, так нет: расправил крылья и заорал. В считанных метрах от храма! Словно затем, чтобы вспомнился тот петух, который запел, когда Петр отрекся от Иисуса.

Дальше началось несусветное. Такая коренастая, плотная старушенция в темном платке и вязаной душегрейке деловито шла себе к храму, но, увидя брошенную персиянку, остановилась, вдруг распростерла объятья и кинулась к ней, начала тискать и целовать. Персиянка ответила таким же любвеобилием, они приветствовали друг друга, пока не устали. Только и доносилось: «Ой, я тебя помню! Ты была у нас в прошлом году! Как увидела, сразу признала. Пойдем, милая, в храм, баба Нина нынче там прибирается». И всех заморских гостей эта самая баба Нина повела за собой и представила ликам святых. А зацелованная гостья упала на колени перед иконой и Библией, лежащими среди свежих цветов.

Нельзя было не поразиться памяти этой бабы Нины: ведь она перевидала сотни экскурсантов и прихожан. Выйдя из церкви, мы с Лялечкой удивлялись: «Надо быть такой жгучей брюнеткой, такой насквозь персиянкой, да еще но-

сатой, как Гоголь, и такой глазастой, приметливой Ниной, просто из ряда вон». Но швед, наблюдавший со стороны, сказал: «Фарин (то есть она, зацелованная) никогда не была в России. И здесь она первый раз». Я посмотрела на Фарин, она от души смеялась и разводила руками. Я огляделась по сторонам, нет ли чего такого, что могло сбить бабу Нину с панталыку, какого-нибудь чеховского Черного монаха, например. Нет, ни высокое деревянное крыльцо, ни железная ограда, ни гора наколотых дров в церковном дворе, ни тем более небо с плотными низкими облаками над тесаной аккуратной маковкой не напоминали монаха. Определенно в самой Фарин что-то сбивало людей.

— Да вот и Стенька Разин в свое время ополоумел из-за персидской княжны, — сказала я. — За борт бросил, отпетая голова. Как там в песне? Перед кандаляниками выхвалялся.

Упоминание о Стеньке Разине уж совсем погубило мою репутацию в глазах профессора. Просто уронило ниже некуда. Бетонная стена, и та смотрелась приветливей. «Ну, и пускай, — подумала я. — Наверно, ему так проще. А может, в Швеции так принято». Хотя с Элеонорой Михайловной он неожиданно потеплел. Но они, видно, давно знакомы по службе. Люди отрепетированные. А впрочем, что с него взять! Мир разъят, разобран, разложен по полочкам и в этом так далеко зашел, что никакой Христос, Магомет или Будда уже не помогут. Так было, так будет. И никакой трагедии в этом нет. А дело в том, что сам человек слаб, пуглив, одинок. И если профессор так держит себя, значит, есть основания. Не всем же быть Валленбергами и протягивать другим руку спасения или поддержки. Даже апостол Петр только страдал и плакал, когда били Христа. «Страстно, без памяти любил Иисуса, но трижды отрекся», — сказано в Библии. И я постаралась забыть о профессоре и вообще не смотреть в его сторону. Но обида подтачивала. Маленький отверженный человек поселился в душе и требовал своего.

И все ему было на руку: хмурый прохладный день, дождь, чувство голода. Я полезла в карман за платком, и пальцы наткнулись на пасхальный подарок бабы Нины — крашеное яйцо. И все заняло свое место. «Тоже мне, гимназистка, — сказала себе. — Вирус путаницы в воздухе, разве не ясно? И со шведом такая же путаница. Все рассеется. Нам не дано читать в душах других: слишком обострены, переразвиты чувства. Мелкое видится крупным, крупное — мелким; все зыбко, мимолетно, непостоянно. Лишь в озарениях кое-что проясняется. Жизнь приземленней и проще. Может, вовсе не в Валленберге дело и не в апостоле Петре...»

И снова накатанная дорога полетела из-под колес и так лихо у нее получалось, не в пример душе, которая словно топталась на месте не в силах вырваться из собственных пут. Осталось позади Мелихово, навевшее Чехову столько хороших вещей: «В овраге», «Студент», «Мужики», «Чайка»... Мы ехали на встречу с «Палатой № 6» в Покровское-Мещерское, в психиатрическую лечебницу имени Яковенко.

И здесь, в главном больничном корпусе, было что-то вроде медицинского и краеведческого музея. Портреты, фотографии, книги, журналы дежурств, дневники, смиренные рубашки, разные железные приспособления для буйных, переходящее красное знамя, почетные грамоты, плащ-палатки, военные каски, шинель, фронтовые письма, простреленные документы — все это собрано так, чтобы уместиться в единственной комнате и никого (ничего) не обидеть. На советском периоде краеведческое рвение исчерпывало себя; новое время, то есть демократия, было представлено всего на одном стенде, да и то в виде кривой со сногшибательной динамикой душевных болезней. Кривая забралась так высоко, что относительно распространения бреда в ближайшие десятилетия можно было не сомневаться. Она гарантировала также фобии, депрессии, апатии, суициды, мании и все остальное из области завихрений.

Над входом висел большой портрет по-библейски бородатого человека с глубокими проникающими глазами. В пояснительной табличке он был назван доктором Яковенко, основателем лечебницы, «светилом первой величины».

И тут тоже никто нас не торопил, не гнал в шею. А когда экскурсия закончилась, и мы подались к выходу, под сень бородатого вседержителя, профессор продолжал изучать стенды. Тем снова обратил на себя внимание. Краем уха я слышала, что он спросил о Яковенко, но экскурсовод ответила, что корни этого рода где-то на Украине, а больше она ничего не знает. «Досадно!» — сказал профессор. Экскурсовод почувствовала себя виноватой, сказала что-то про Киев, где, верно, имеют на всякого замечательного человека банк данных, надо лишь запросить. Так ли, нет, но она имела право ошибиться: она не была профессиональным экскурсоводом, а была врачом этой клиники, экскурсию же провела, чтобы не указывать гостям от ворот поворот: хранитель музея заболел, да и приехали мы в выходной, когда музей не работал. Она сделала, что могла: раздобыла ключи, открыла комнату, приняла, рассказала, а теперь закрывала двери, чтобы нести ключи приболевшему хранителю куда-то на край поселка. Даже обувь на ней была словно для этого случая — выдавшая виды, при том что на левой подошве белел обрывок квитанции, какие нашлепывают при сдаче в ремонт. Вот запрет дверь и скроется из вида и не будет поблизости отзывчивого славного человека. И никто не поинтересуется: кто она, давно ли работает, сколько лет, как ее имя? А она еще проводила нас до машины, доброго пути пожелала. И не о ней заговорили в машине, нет, — о будущей чеховской конференции в Ялте. И так увлеклись, что по-курортному рассолодели.

— Между прочим, Ялтинский ботанический сад, который Никитский, швед заложил. Христиан Стевен, — сказала

я, нарушив собственный зарок на молчание. — Десять лет был директором.

— Это когда? При советской власти?.. — удивился профессор.

— Да вроде при Александре Первом советской власти еще не предвиделось. В 1812 году...

— Ах, вот как! Странно. А я и не знал.

Он сказал это так, словно его специальность — все знать и ничего не чувствовать. А Никитский сад как раз из области чувств. Но говорить об этом профессору... Да лучше закрыть глаза и представить себе что-то цветущее, те же крокусы, они там тоже цветут и сводят с ума вместе с барвинком. «Если бы я не был писателем, — вспомнилось признание Чехова кому-то в письме, — то был бы садовником». И действительно, где поселялся, там сразу обзаводился деревьями. А из Никитского сада выписал кучу растений для дома в Ялте. Сама держала в руках чеховские квитанции, когда добралась до архива Никитского сада.

— Имейте в виду, — заметил профессор, вдохновленный 1812 г., — Витберг — первый архитектор храма Христа Спасителя — тоже швед.

— А Стевена датчанин сменил. По фамилии Гартвис. Тридцать шесть лет директорствовал, а уж датчанина выкурили такие лопахины, чеховские, потрошители, по-нашему, по-русийски, без благодарности и поклона. Он сразу и умер.

Что-то дружески-человеческое мелькнуло в глазах профессора. А впрочем, нет! Показалось. Когда мы выходили из машины, он, прощаясь, раскланялся лишь с Фарин, меня он в упор не видел.

— А что ему так понадобился психиатр? — не без злорадства спросила я у Лялечки позже.

— Видишь ли, у психиатра был брат — литератор. Профессор ищет его следы. Для полной картины. Он пишет

книгу о литературе русского Серебряного века и никого не хочет пропустить.

— Ах, вон оно что! Выездная сессия шведского народного потрошения. А кто же будет новые «Палаты № 6» сочинять? Да, кстати, я знаю одного небезынтересного Яковенко. Знала даже учительницу, у которой он в Подмосковье учился. И дочь этой учительницы мне известна. Филосемитка, как Валленберг, хотя чистокровная русская.

Правда, о возможном потомке доктора Яковенко я не могла сказать ни хорошего, ни плохого — что не последователь Валленберга, это точно, и что отец его был генералом службы, которая угробила Валленберга, а в отставке уже сидел на даче и пил, тоже точно.

Лялочка, не ожидавшая подобного поворота темы, задумалась и, глянув невидящими глазами, пропела:

— А ты не хочешь ему это сообщить? Вдруг профессора заинтересует твой Яковенко.

— Между прочим, он такой же мой, как и твой.

— Ну, все равно. Профессор будет рад. Сообщи, я благословляю тебя.

— У тебя что, очередной «майский день», «именины сердца»? Или опять тяга к соборному согласию? Что тебе его радость! Он безрадостен навсегда.

— Ну, что ты сердишься? Сама же говорила с ним о Валленберге.

— А Валленберг что, запретная тема? Не занесена в протокол? Не одобрена ученым советом?

— Сама подумай, новый незнакомый человек... Неожиданно появляется в группе, заводит разговор о Лубянке, о Валленберге. Профессор не раз бывал в России и по старой памяти принял тебя за секретного сотрудника безопасности, приставленного к нему. Информатора, понимаешь? Он ведь в чужой стране. Мало ли... Береженого бог бережет.

Сказанное было так нелепо и так безупречно в рамках почтенного образа выглядел профессор, что оставалось лишь рот разинуть. Что я и сделала в каком-то приступе удивления: так мило, просто, в полном согласии со всеми законами логики преподнесла Лялечка свое сочинение. Даже завидно стало. В таких случаях нужно смеяться, но чувство юмора как отрезало. Застыл смех в душе при упоминании проклятой Лубянки. И это называется: люди расстаются с прошлым смеясь! Может, какие другие, но только не наши. Так и напрашивалось предложение, и прежде всего к самой себе: «А не полечиться ли нам, господа, в той самой клинике у хорошего доктора? Ведь из двадцатого века и всех этих противостояний мир вышел довольно потрепанным, проще говоря, с поехавшей крышей. Эпоха титанов всем нам дорого обошлась. Даже благополучным шведам, которых никогда не трясло, как нас, но по самоубийствам они кое-кого обогнали (чем не комедия!). Воистину, с Чеховым не поспоришь: если в одном месте связь времен распадется, то волны разойдутся повсюду».

— Есть дороги, по которым нельзя вернуться обратно, — сказала Лялечка, словно прочтя мои мысли.

— Да если хочешь знать, ради одного Валленберга с профессором и стоило говорить!

И, сказав, поняла, что хватила. Вспомнилось, как важно и со значением преподнес профессор музею свою статью — подборку страничек, прошитых в хребте, вложив в этот жест что-то и чересчур: самолюбия ли, тщеславия, самомнения?.. Вот оно где скрещение! Тайный источник обиды, мании, бреда и путаницы. Разве о ком-то, кроме себя, хотел слышать знаток русской культуры, рыскающий по провинции в поисках еще одного имени. Да явись сейчас тень Валленберга во всех лубянских приметах — с вечным бормотанием радио и негаснущей электрической лампой, и тень бы сказала: «За меня можно не беспокоиться. Моя

судьба состоялась. Не надо ни на кого обижаться». И так это было больно, что день перечеркнулся в ничто.

А все равно Воскресение приближалось. И в душе что-то менялось, словно она вставала на место и вспоминала те времена, когда, упорядочив хаос, Создатель спокойно протер очки, чтобы снять с себя мерку, и по образу своему и подобию дать неприкаянной воплощение.

ГОРОД, ДОМБРОВСКИЙ И МЫ

Кажется, их было семеро, а может больше, теперь это не имеет значения. Они скинулись и выпустили сборник своих стихов. А потом решили отметить событие в небольшом зале, куда пригласили всех, до кого дозвонились. Для остальных повесили объявление, но пришли только свои — кто не боялся ходить вечерами. Слово «киллер» уже вошло в обиход, а где заказное убийство, там и случайные жертвы.

Итак, половина зала собралась и внимала. Публика самая разношерстная, от восемнадцати до восьмидесяти. Стихи давно слышали, знали... Но это не имело значения: все были настроены на «бис», на легкую театральность каждого выступления. Только незрячая Анастасия сбила всех с толку как всякая недоступность в стихах без лишнего шума, уловок и декораций. Тот случай, когда слепая и зрячих заставляет прозреть — значит, на миг опрокинуться взглядом в себя, похолодеть и... забыть.

Анастасию сменила нижняя белая юбка, на четверть вылезавшая из-под темного платья. Похожим на эту юбку было и чтение. Однако домашняя атмосфера вечера настраивала снисходительно, и мастерицу первых попавшихся слов проводили аплодисментами. Потом следующую — в длинных висячих одеждах, с неземной любовью в строках и очах.

Выступила еще Александра. Казалось, она состояла из большой головы, короткого туловища и длинных полированных ногтей. Безжизненные ножки ей не служили.

Отец вынес ее на руках и усадил на стул как ребенка. Будь у нее крылья, она сильнее напоминала бы женщину-птицу. Оставалось верить, что чувство полета ей давали стихи. Она читала грудным специальным голосом, чересчур поэтическим для правды, которую являла сама. Наконец, председательница вечера обнародовала свое приятное рукоделие и закрыла официальную часть.

Возникли бутылки — шампанское, водка, началась пирушка. Слабое чувство абсурда было усилено запахом чеснока от выложенной колбасы и табачным дымом. Евстолия, которая пригласила меня сюда, опекала слепую Анастасию.

Евстолия все делала тихо и незаметно и как бы отдельно от своего редкого имени. Она воссоединялась с ним, когда, например, читала свои стихи, но затем житейское и попутное уводило ее куда-то и такое редкое имя становилось ей ни к чему. Поблизости сидела еще одна женщина, которая все время шурилась и, щелкая пальцами, говорила: «Вечер, ха! удался!». Она, не переставая, курила и подливала себе в стаканчик то водки, то шампанского и как будто не подозревала, чем грозит подобная смесь.

Наконец, компанию попросили из зала: отведенное время закончилось. И незримые — души ли, духи ли, тени? чьи глаза смотрели с портретов на стенах, казалось, вздохнули свободно, дождавшись покоя.

Александрю сразу же взял на руки отец и понес через холл к гардеробу. Она возвышалась со спокойствием статуи, ухоженная, аккуратная, с яркими губами, с темными зачесанными вверх волосами, безучастная к жалости, которую читала в чужих глазах и цену которой, наверное, знала.

«Когда видишь эту картину, сердце обливается кровью», — сказала председательница вечера; ее в сторонке ожидал правнук, нетерпеливо потряхивая автомобильными ключами.

Евстолия подошла ко мне попрощаться. Ее уже уносило попутным ветром, который шумел у нее внутри. Рядом опять обнаружилась любительница водки с шампанским. Евстолия назвала ее Милой и с тревогой спросила, доберется ли она до дома сама. Мила отмахнулась, как человек, которому море по колено. В самый раз было вмешаться и отпустить Евстолию со слепой поэтессой:

— Я доведу ее до метро. Вдвоем интересней.

Сокращенное «Мила» мне не нравилось, и я сказала, что буду называть ее полным именем.

На Людмиле было свободное мужское пальто, грубые ботинки и непонятная шапка — все с бору по сосенке, лишь бы не замерзнуть. Пальто бросалось в глаза не только тем, что мужское: оно вообще принадлежало другой жизни, какой-то устойчивой и надежной, в которой вещи не имели сноса, а люди были попроще и поспокойнее. Суконное, двубортное, с накладными карманами, большим воротником; сшитое на совесть, с пожеланием: «Носи с удовольствием». Оно и носилось, а не донашивалось, носилось притом с ветерком. Был еще странный плоский портфельчик, который придавал ей сходство с провинциальным бухгалтером. Людмила прижимала его к себе и не отпускала ни на секунду.

Через пять шагов спутницу развезло и начало мотать из стороны в сторону. Держать ее при себе было непросто. Но у каждого провожатого свой секрет. В общем, в лужу она не шлепнулась.

Так мы дошли до подземного перехода, спустились по страшным разбитым ступенькам, чтобы по сырому тусклому тоннелю перейти на другую сторону улицы. Это сейчас в подземных тоннелях блеск и сверканье, а тогда пахло, как в тамбуре электрички, вода сочилась по шербатым кафельным стенам, капала с потолка, лампы едва горели. Казалось, само место забыло свое назначение, предпочтя вид ловушки для темных дел. На каждом шагу стояли ящики попрошаек,

от которых днем рябило в глазах. Из-за этих ящиков наше движение притормозилось, а тут новый фортель: Людмила не желала на другую сторону без сигареты. Она рванулась к одному прохожему, другому, оба шарахнулись с ужасом, но второй сигарету ей дал. Оказалось, что без огня табачок ни к чему. Прохожий с досадой вытащил зажигалку, чиркнул и постарался скорее смыться. Людмила, закурив, долго кричала ему вслед, не понимая, что в этом плохого и почему я сержусь. Хоть убей, подобные сцены настроения не поднимают. Отпускать человека в таком виде было смешно. И я потащила ее к себе, благо, дом находился поблизости, в каких-нибудь считанных метрах.

В свое время так же поступил со мною Домбровский Юрий Осипович. Автор «Хранителя древностей» сказал: «Мне легче проводить тебя, чем не проводить». И мы вдвоем пошли к подмосковной платформе «Голицыно», здесь я села на электричку. Правда, я не была пьяной, разве что стрелки часов дернулись за полночь. Во фразе Юрия Осиповича просвечивал герой его «Записок мелкого хулигана», недавно прочитанных мной, и я сказала:

— Ваши добрые дела кончаются отсидками. Вы сами написали, как спасли женщину и попали за это в кутузку.

— Не оканчиваются отсидками, а венчаются ими, — ответил Домбровский.

— А знаете украинскую поговорку: «Не вмер Данило, так болячка задавила»?

На это Домбровский ответил:

— Все думают, что я — поляк, украинец или еврей, а я — чистокровный цыган, а жена у меня — чистокровная казашка.

— А счастье у вас какое? — спросила я.

Он ответил:

— Русское.

Что Писатель имел в виду: каторгу, Колыму, откуда мало кто возвращался, а он вернулся, или свою человечность, этот по нынешним временам ненужный довесок к «факультету ненужных вещей», — не знаю.

Для Людмилы заглавную фразу Юрия Осиповича я переиначила на свой лад: мне спокойнее, чтобы она переночевала у меня, чем болталась неведомо где.

Кстати, один литературный гранд потянул в памяти другого, вернее, другую. И я сказала:

— Вот, Ахматова, имей в виду, прикурила как-то от паровозной искры. На поручне в тамбуре. От людей не ждала: себе дороже.

— Ну, а я — от снежинки!

— Красноармеец рядом сказал: «Эта не пропадет!». Сечешь сермяжную правду?

— Ну, и я не пропаду, пока стихи. Ведь стихи — это форма молитвы.

Мои домочадцы встретили ее с интересом: еще бы! новый запах.

Они обнюхали все, что сочли нужным, и дали понять, что на свете существуют другие более важные вещи, чем запахи разных казенных мест, в том числе и больничных, например сытный домашний ужин.

— Сколько их у тебя? — спросила Людмила.

— Если бы от тебя пахло валерьянкой, их было бы меньше. А так у тебя двойтся или даже тройтся в глазах.

— А ты юмористка, — сказала Людмила с каким-то покладистым умилением и вдруг всполошилась: — Слушай, а сигареты? Хоть здесь не придется клянчить?!

— Ну вот, начинается... Приглашаешь гостью, а получаешь кучу проблем.

— Доставай где хочешь! Я не могу.

— Может, тебе и кофточку постирать?

— Ну, ты же умная... Должна знать, если человеку вовремя не дать выпить или закурить, он может умереть.

— Это как в анекдоте про зануду, что ли? — и я рассказала, кто такой зануда из анекдота: человек, которому легче отдаться, чем объяснить, почему ты его не желаешь.

Она засмеялась и снова сказала:

— Ну, юмористка...

Через несколько минут сигареты появились. Пока я за ними ходила, Людмила устроилась на кухне и разложила перед собой исписанные страницы. Тайна затрапезного портфельчика была раскрыта: в нем содержались стихи. Оказывается, и она сочиняла.

— Так... Для себя, — заметила она небрежно. Но резко выпущенная струя дыма поведала о другом. И я поняла, что сигареты — не последнее мое испытание в этот вечер. Правда, стихи не виноваты, что были извлечены на свет божий, когда моя башка уже ничего не соображала. Да и важен ли смысл, если главное — ритм!

Она чеканила что-то умное, с посвящениями, именами и... образом букета, стоящего в водке. Я не столько понимала, сколько чувствовала, что она сделана из того самого материала, из которого делают поэтов, но что-то в ней перепутано. Интересно и даже симпатично перепутано, так что задерживало внимание, заставляло вслушиваться, иногда тянуло схватить за руку и сказать: «Повтори!», — но она уже мчалась дальше, и так до следующего проблеска.

— Ладно, — вздохнула я, когда она закончила. — Главное, чтобы твои ботинки просохли... А стихи отлежатся и посветлеют.

— Посветлеют, думаешь?

— Бай-бай...

Уже лежа в кровати, я слышала, как она вышла из своей комнаты, осмотрела коридор, ванную, выглянула на

лестничную площадку, убедилась, что ловушки нет, и спокойно вернулась.

Как всегда в таких случаях, когда чужая тайна приникает к тебе, у меня было чувство, что я лишняя в своей квартире. Но мои домочадцы опять дали понять, что сон в хорошей теплой постельке, рядом с хозяйкой, да еще на сытый желудок, важнее чужих странных тревог, и даже ухом не повели в ответ на хождение, а кое-кто так просто зевнул от скуки. В переводе на язык человеческий зеванье означало: закидонами нас не удивишь, у нас закидоны похлеще.

Утром я скинула горстку сигаретного пепла в раковину и отпустила гостью на все четыре стороны. Она ушла, широко ступая, стремительным шагом. Затем я позвонила Евстолии и сказала:

— Она, наверно, очень бедная. У нее обувь течет.

Евстолия не стала спорить и ответила: «Надо что-то придумать».

— Да и в вашем сборнике она не участвовала... А могла бы, если бы деньги...

Евстолия согласилась и по своему обыкновению заговорила о том, что не имело прямого отношения к теме. Так я узнала сказочную историю про Людмилу, деньги и Музу. История начиналась с утверждения: «Деньги давал ей сын...»

Людмила складывала их бумажка к бумажке, так что к ее дню рождения набиралась приличная сумма. В день рождения она звонила Евстолии и приглашала в кафе «Муза». Здесь у входа встречала. Обе проходили мимо портрета Пушкина и оставались за бархатными портьерами одни в небольшом кабинете. Им подавали меню, и Людмила предлагала заказывать все, что душе угодно. И они пировали. А на столике теплилась свечечка.

Она горела внутри стеклянного полушара, и огню ничто не грозило, да и он, заточенный, вел себя тихо. И никто

друг от друга не загорался, разве что тени тянулись к своим пределам. Да зыбились тени теней.

Эта история была сказочна тем, что не вязалась ни с обликом Людмилы, ни с худыми ботинками, ни со многим другим. Но она совпадала с плоским портфельчиком и образом букета, стоящего в водке. Еще она совпадала с двумя книжечками ее стихов, которые Людмила издала позднее и подарила мне. Стихи утверждали: есть вещи сильнее слов. Утверждали не строчками, а присутствием тайны и той тени, которая лежала на всем. Строка о букете в печать тоже попала, и, прочтя, я почему-то подумала: из каких цветов состоял букет? Может быть, из оранжевых, как одна из ее обложек, вангоговских, беспокойных, с черными птицами перед солнцем?.. Я тогда не узнала. А теперь спросить уже некого.

КОРОНЕР¹

На Руси долго запрягают,
да скоро едут.

Поговорка

Одни ищут затонувшую Атлантиду, другие раскапывают былые цивилизации, а в это же время у всех на виду столица бывшей империи, так называемый Третий Рим, медленно и верно погружается в преисподнюю: захваты людей, взрывы, поджоги, пожары, обрушения перекрытий, заказные убийства, расстрел парламента... Социологи говорят об эпидемии агрессии, интеллектуалы — о периоде реакции, возврате диких времен Средневековья. Но эти, высоколбые, слишком чувствительны. В определенном смысле люди и не выходили из Средних веков. И не надо вспоминать разных монстров, которые где-нибудь в Германии зазывают одиноких и легковерных в свои родовые замки или в какой-то Финляндии, наоборот, в свинарники, а потом от гостей остаются холмики — это дело следователей, патологоанатомов, психиатров. Речь о нормальной жизни, так сказать обычной, которая протекает, исчезая у всех на глазах. Не надо вспоминать и маркиза де Сада и всех этих

¹ Коронер — судебно-медицинский эксперт.

Пазолини: «Сто дней Содома» вершатся и продолжаются на каждом шагу.

1

В свое время неподалеку от памятника Гоголю, в подвале, была Мастерская. Правда, подвал больше походил на чердак, полутемный, заставленный старой мебелью, весь в картинах и книгах. Здесь работал Художник. Он тоже считал, что тут самый настоящий чердак, только не вверху, а внизу. Сюда можно было зайти, хотя Художник не занимался показом своих работ, тем более выслушиванием всяких мнений. Но картины были повсюду, и не увидеть их было нельзя. Под низким потолком висела одна — очень темная, написанная на доске. «Завтрак», «Обед» ли назвать ее, в общем, не важно: ничего из еды, кроме зажаренного вверх ножками поросенка, не изображалось на этой картине, да и поросенок не покоился на столе в своей глубокой посудине, а витал с ней заодно, как мечта. Вокруг стола сидели люди и в каком-то цепном единодушии общались между собой, но поросенка это мало касалось. Он был сам по себе — в одиночестве, а они сами по себе — в коллективе. «Они жрут друг друга», — пояснил Художник, и все вопросы относительно «мечты» отпадали.

«Где теперь эта Мастерская?» — «Ее сдали в аренду, а Художнику его же собратья по цеху объявили: “Считайте, что вас тут не было”». Обычно подобное говорят, намекая на призрачность человеческих отношений, но Художник понял глубже. «Где картины?» — «В Хьюстоне, в частном музее». — «Где сам Художник, открыватель новых смыслов?» — «Здесь, в столице. Шлифует стекла, как Спиноза, и размышляет о жизни».

«Шлифует стекла» не следует понимать так прямо, все в какой-то степени шлифуют, только одним удастся стать Спинозой, а другим — нет.

В тот день, о котором речь, наша с Лялечкой частная жизнь проходила на фоне взрыва в метро, а взрыв совершился на фоне неостановимой чеченской войны и был ее отголоском. Вышло так, что нам понадобилось проехать злосчастной подземной дорогой, едва ее привели в порядок после террористического акта. Лялечку затребовали в гости на домашнее торжество. Она давно уже превратилась в такую дежурную посетительницу вроде штатной визитерши или достопамятного свадебного генерала. Именины, поминки, годовщины свадеб, смертей, дни рождения, юбилеи, отпевания, похороны, литературные и музыкальные вечера, поэтические встречи, презентации, конференции, приятельские посиделки — вот колея, по которой она моталась. Нельзя сказать, чтобы все это ей очень нравилось, но, как многие меланхолики, она оживлялась на людях, кроме того, внутренние обязанности требовали приложения. И все-таки... что-то в этом мельканье грело ее, влекло в круговерть. Не исключено, что так она поддерживала свою душевную форму и состояние «на плаву». Еще недавно она писала стихи, но что-то случилось, стихи ушли, а поэтом она все равно осталась. Рифмы еще настигали ее, но некогда было посвящать себя им. Прежде она садилась за стол, чтобы удержать строки, которые рождались в голове, а теперь... Вид стола, заставленного посудой, коробками, банками, склянками, даже не действовал на нервы. Все давно поменялось местами и в душе, и в квартире. Разве что кошки и привязывали ее к дому.

Параллельно стихам шли переводы с других языков, она была неплохим переводчиком самой разной поэзии: польской, английской, норвежской. Но и тут начались осложнения. Заказов делалось меньше, а работать в свое удовольствие?.. как-то не получалось: надо было зарабатывать на жизнь. Тишина стала ненужной, и, едва раздавался телефонный звонок с очередным приглашением, она срывалась,

готовая бежать хоть на край света. Знакомые, не слишком церемонные и прежде, теперь вовсе распоясались — теребили с утра до вечера и с вечера до утра.

Лялечка редко приходила с пустыми руками. Дорогие кондитерские наборы, книги, цветы или просто что-нибудь симпатичное к чаю — все это с детской улыбкой, как-то мило, без шума. Худощавая, бледная, с простыми русыми волосами, она появлялась из-за дверей, из какого-то рассеянного полумрака, снимала свои особенные пиджачки или курточки, они нередко казались с чужого плеча, оставляла в передней обувь, тоже выдавшую виды, и незаметно, покладисто, без усилий ступала вперед, устранивалась в комнате около света и с этим светом сливалась. Очарование беззаботности исходило от нее в такие минуты, его не все замечали, но все желали его испытать. Если в доме были четвероногие, им тоже перепало что-нибудь вкусное с хрустом, бесподобно пахучее. Уходя, она часто прихватывала какую-нибудь хозяйскую вещь — покупала для вида, чтобы выручить человека. Вещь не стоила доброго слова и потом дома у нее валялась без дела, пополняя гору подобных же свертков. Часто после таких визитов Лялечка сидела без гроша, пока кто-нибудь, в свою очередь, не выручал и ее. А если сердобольных не находилось, она несла фамильное серебро в ломбард, закладывала и получала денежки, которые сразу же уплывали. Либо по старой дорожке, либо их просто-напросто отнимали. Она была находкой для трех категорий людей: карманников, нахлебников и писателей. Карманники и нахлебники как более ловкие и настырные обирали ее постоянно: своим отвлеченным взглядом, да и всем видом какой-то ускользающей незлобивости она словно приманивала, подворачиваясь на пути, воры просто не владели собой, встречая такого клиента. Они *западали*. Их руки начинали действовать сами собой и, бывало, сами

собой оставляли мелкие деньги: на проезд ли, на хлеб? — непонятно.

С писателями обстояло сложнее. Эта публика, занятая в основном собой, ничего не придумала, как мучить ее бесконечным самокопанием. С подробностями, с чтением собственных километровых поэм (да лучше бы анекдот рассказали!).

Больше половины Лялечка пропускала мимо ушей, на кухне в это время что-то кипело, там же горело, откуда-то лилась вода, рядом мяукал котенок... Не в силах сосредоточиться Лялечка что-то бормотала в ответ, пока неуместной репликой не выдавала себя. До говорящего, наконец, доходило, что для полной картины не хватает только его, и он, обиженный, закруглялся.

Легко догадаться, как писательская братия пользовалась Лялечкой, когда надо было протащить своих в творческий союз. Рекомендаций она надавала несчитано. Пожалуй, столько же, но уже в тысячах рублей, за ней водилось долгов.

«Кроткая», «тихая», «Офелия», «ангел», «астральная», «вся для людей» — вот определения, которыми ее наделяли одни, тогда как другие бросали: «Безвольная!», но они-то как раз липли к ней на каждом шагу, заодно и дела вешали, до которых собственные руки не доходили. И дела эти уносили Лялечку далеко-далеко, она и сообразить не успевала куда и зачем. От обилия этих самых чужих дел и запустения собственных Лялечка задыхалась, суета засасывала, и тогда самой себе она казалась птицей с перебитыми крыльями. Бывало, заглянув для работы, она просто валилась с ног, житейской неприкаянностью веяло от нее, ей требовалось лишь полежать на диване, прийти в себя. Но и тут она могла разве что лепетать: «Я себе не принадлежу. На меня не надо рассчитывать». В такие дни сумятица и неразбериха следовали за ней по пятам, планы ломались и летели к черту, она запутывалась в собственных обещаниях, полу-

чая в ответ попреки и раздражение; все кругом делалось незначительным, обесценивалось — любая твоя работа и ты сама, и во всем этом была какая-то неправда, отторгаемая душой. Но когда она уходила... Долго еще вспоминались ее туфельки не по сезону, холодные, промокшие, или плащик вместо пальто, а еще виноватое «Прости-и-и» или растянутое «Спаси-и-бо тебе»...

А знакомых ее хватило бы на целое учреждение: от оборотистых тетушек — домашних хозяек, их домочадцев до полубогемных дам, литераторов, артистов, бардов, музейных работников, политических активистов, бывших сокурсников по университету, чужих родственников, которых она навещала в больницах, встречала и провожала на всех вокзалах, мужчин, пробавающих литературой, про кого одна зубоскалка заметила: «Седина в бороду, а хрен по городу». Прибился к этой компании даже угонщик самолета, отсидевший где следует, кстати, хороший поэт.

Попадались и совсем особенные персонажи. Например, Бронислава. Она любила ходить в гости, но как-то не укладывалась вовремя. Договаривалась, предположим, на шесть, но появлялась, когда хотела. Лялечка ждала, дергалась, Бронислава звонила, называла уважительные причины (а то и мариновала без всяких звонков). Лялечка пробовала отменить встречу. Бронислава кидала трубку и прибывала к полночи с кучей даров в набитых сумках. Юркая, щупленькая, со стриженной головой, на которой седоватым ершиком топорщились волосы. Одни называли ее «проныррой, которая пролезет без мыла», другие — малохольной, а третьи при ее появлении вообще теряли дар речи. Поговаривали, что в свои лучшие годы Бронислава постукивала. Но Лялечка в это не верила, а если и верила, то не придавала значения: постукивала, ну и что? а кто без греха? Для компании Бронислава не годилась, потому что приставала и задиралась, чем выводила из себя солидных гостей, и Лялечка

пыталась принимать ее одну. Но Бронислава не признавала ограничений.

На помойках ли она набивала сумки пластиковыми стаканчиками, драной обувью, треснувшими абажурами, старыми календарями или где-то еще, только Бронислава обкладывала Лялечку своим добром, приговаривая: «Мы должны помогать друг другу». Довольная, садилась за стол. «У тебя супчика нет?» — спрашивала, шмыгая носом. И, получив вожделенное, после каждого глотка испускала: «О-о-о!..» Затягивалась сигаретой — и все! И ничего больше в жизни не нужно. Но нет, следовал заказ на чашечку кофе покрепче, Лялечка кидалась на кухню. Бронислава тем временем облачалась в атласный хозяйский халат, усаживалась на диван и просила: «А чего-нибудь вкусенького к кофейку!» В ногах у нее громоздились ломаные жалюзи (самое последнее подношение), и, пуская дым, она блаженно нахваливала, какая это шикарная и нужная вещь.

На первых порах их знакомства (лет восемь-девять тому назад) Бронислава ограничивалась тем, что выгребала из холодильника продукты, бормоча: «Не стала бы брать, но хозяйка сама предложила», и отправлялась восвояси. Изъятие совершалось как бы в порядке вещей и не отягощалось никакими комплексами ни с той, ни с другой стороны. Если Лялечка раздражалась, то разве при опозданиях, но вскоре попривыкла и к ним. «Что же она так мучает тебя? — это невольный свидетель, какой-нибудь новичок, при случае не выдерживал. — Мало при той власти наизмывалась? И теперь по митингам шляется, людей пугает. Лучше б щи научилась готовить». — «Нет-нет, она настоящая», — отвечала Лялечка. — «Да Бронислава с быка молоко возьмет. Потому и гремит костями под красным флагом». Собеседник от злости начинал запинаться. «Жа-а-лко ее, — отвечала Лялечка, зная что-то свое, что-то за пределами явного. — Она

вообще-то мыться приезжает. У нее ванна не действует». И вид у Лялечки был, словно она выдала чью-то тайну.

Наверно, такое случается, если обыкновенная отзывчивость не устраивает самого человека, ему требуется что-то большее, может быть, — жертвенность. Но тут было иное. Тут в самом деле была жалость. На каком-то особом уровне. Да и другое известно: одинокая Бронислава любила гладить Лялечку по головке, похваливать. Лялечка как-то призналась: «А мне с Брониславой легко, я отдыхаю с ней. Она непритязательна, не осудит. Гость благодарный».

И я затыкалась со своими «разболтанными», «деструктивными», оставляя Лялечку в мире, где бездельник равновелик работяге, где народ надо жалеть, а народ — это «свои в доску», беспардонные, бестолковые; затыкалась и чувствовала себя сволочью, потому что Бронислава была стара, слаба и тщедушна. А когда она неожиданно исчезла, я стала чувствовать себя хуже, чем сволочью, мне казалось, что я накликала на нее беду, и она провалилась в канализационный люк, который сослепу не заметила во дворе.

Самых давних своих знакомых Лялечка называла только по имени, ничей солидный возраст ее не смущал, все становились Ленечками, Валюшами, Сереженьками, все — красивыми, добрыми, одаренными, чувствовали себя немножко домашними, и всем нравилось, что это ни к чему не обязывает. Но часть знакомых оставалась при полном параде — редакторы, педагоги, им отчество полагалось по статусу. Саму же Лялечку редко называли ее настоящим именем «Евстолия», находя его неудобным каким-то. Между тем имя Евстолия она заполучила не просто. Ее отец, историк, занимался темой русского террора. Среди специальной литературы ему попала «История смертных казней в России». В книге он увидел фотографию двадцатиоднолетней Евстолии Рогозинниковой, сделанную с кладбищенского медальона. Темные локоны, белые кружева, безупречный

овал лица, большие глаза. Казалось, такой красоте подвластно все. И вот, он читает: 15 октября 1907 г. студентка Санкт-Петербургской консерватории, Евстолия Rogozinnikova, идет к главному начальнику российских тюрем, чтобы убить его, а после взорвать себя в охранке. ЗА ВВЕДЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ! На ней тринадцать фунтов особо мощного динамита.

Сильный аромат духов, читает историк, удивляет просителей, ждущих в приемной. Вошедшая требует встречи с начальником. Она принесла передачу для арестанта, а ей отказывают в приеме. Охраннику и в голову не приходит, что расфуфыренная дама — член Летучего боевого отряда, куда принимали «смелых, кристально чистых, лишенных пороков идеалистов», и что одуряющие духи заглушают запах взрывчатки (после Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. таких отрядов насчитывалось более тридцати, читает историк в сноске). Дежурный сообщает господину начальнику Максимовскому о настойчивой просительнице. Максимовский выходит в приемную. Из-под воздушной черной мантильи Rogozinnikova выхватывает пистолет и стреляет в него. Девушка, которая писала родным: «Как хорошо любить людей... Своей любовью я обойму весь мир», видит убитого и хохочет: это — не человек, он — часть аппарата. И это все, что довелось сделать питерской нигилистке, которую собирались послать в Миланскую оперу совершенствоваться в вокале.

Интересно, размышляет историк, прошла ли к тому времени знаменитая драма Виктjорьена Сарду «Тоска»? В ней певица Флория Тоска убивает злодея Скарпия, чтобы спасти от казни своего возлюбленного художника Каварадосси. Историк берет книги и узнает, что с участием Сары Бернар пьеса уже ставилась более тысячи раз. Он узнает, что и великая опера Пуччини «Тоска» с Карузо в партии художника также исполнялась. Не только в Риме,

но и Милане, даже в Одессе. Более того, в 1900 г. Энрико Карузо приезжал на гастроли в Россию. Что было в начале, — спрашивает себя историк, — жизнь или искусство? И сам отвечает — искусство. Рогозинникова сыграла роль певицы Флории Тоски в жизни, вообразив петербургского тюремного начальника злодеем Скарпия. Дальше сюжет взяла в свои руки Жизнь, где охота на тюремных чинов грозила обернуться психической эпидемией.

Пораженный этой судьбой, советский историк угадывает свои чувства в офицере, ведущем бомбистку на виселицу. Офицер спрашивает о последнем желании, он хотел бы его исполнить. «Не казнить, пока солнышко не взойдет», — отвечает Рогозинникова. Через страницу отец-историк натывается на фотографию брата — Вячеслава Рогозинникова, тоже казненного, и лишний раз убеждается, что солнышко над Россией дорого встало. А убитый начальник, как выяснилось, хотя и не слыл извергом и помогал многим, имел несчастье ввести розги для заключенных.

В память Рогозинниковой историк и назвал новорожденную дочь, не подозревая, как напророчил. Его Евстолия действительно сделалась стольной: сначала из-за стихов — в затворничестве, при книгах, столе, а когда голос пропал — из-за своей беготни по столице от знакомых к знакомым.

Немудрено, что при таком количестве приятелей жизнь превращалась в сплошную череду происшествий, порой доходило до бреда. Правда, внутри этого бреда мир виделся как будто яснее. Уже не вызывало сомнения, что в каждом человеке — абсурд, речь шла о степени этого абсурда.

Кто только с Лялечкой не попадал впросак. Даже милиция как-то опозорилась, узрев в отстраненности задержанной гражданки действие «травки». Три лба запихнули Лялечку в машину и повезли в отделение. К счастью, Лялечка уразумела опасность, стала сопротивляться, к благоразумию призывать. Только что она пристроила в добрые руки коте-

ночка своей кошки — вот и все преступление. Ее тонкий певучий голос, слова... Не прошло и минуты, как стражи смекнули: ошибочка, и отпустили: конь, мол, на четырех ногах, и тот спотыкается... Лялечка выбралась, забыв пустую кошачью корзинку, которую кинули ей вдогонку уже без всякого интереса к тому, что сочли маскировкой.

Лялечка никого не осуждала, ничему не противилась, находя, что за гордыню надо платить. «Гордыней» она называла былое невнимание к людям своей юности. Так ли на самом деле, никто не знал, но объяснение почти всех устраивало.

Когда-то она написала:

Мне тоже на этой стезе тяжело,
Я тоже любила покой и тепло,
Но всех нас куда-то ведут вожаки —
Как ломкие линии детской руки,
Проложены ими лыжни на снегу,
Я в них изменить ничего не могу.

По-моему, она сама не ведала, на что замахивалась. Я, например, чувствовала в стихах частичку сумасшедшего дыхания тургеневского рассказа «Стучит» из «Записок охотника», который спокойно читать никогда не могла. И заводила старую песню: «Дар... От Бога... Надо оттачивать». Но говорить с ней серьезно!.. Да в первую же минуту я начинала выглядеть противной максималисткой, а она — жертвой. Что-то зыбкое повисало в воздухе, и тему уносило в сторону. Казалось, непонятная центробежная сила задалась целью подчинить ее себе. Лялечка слушала, согласно кивала, глаза у нее становились выпуклыми и большими, она вздыхала и откликалась: «Что ж, ты права». Но я не верила в такое согласие и заводилась сильнее. Почему-то не хотелось признать, что и для талантливого человека литература может стать чем-то неглавным, серединкой на половинку, о чем и плакать не стоит, и что мутное: «Таких серединок на

половинку в каждом трамвае по сто штук едет» — имеет отношение к Лялечке.

— Сама подумай, — говорила Лялечка, — я как никто живу литературой. Другие в коммерцию подались, во все тяжкие...

И принималась чертить на бумаге что-то с ушами, латинскими буквами и цветами: Filimon. А я, глядя на ее руки — их вид выдавал расторопного, работающего человека (такие бывали у деревенских учителей, воспитателей, книжников), — вдруг начинала думать, что дома у нее разных флакончиков, коробочек, украшений... больше чем нужно надарено, но она... ни косметики, ни маникюра, ни каких-то безумных причесок. Какие прически, когда человек — на миру, весь в посещениях, из конца в конец города — по бесчисленным делам и заботам! Лишь к случаю наденет что-нибудь необычное: радужный лен или рогожку с узорами — и обнаружит склонность к нарядам. «Да ты — красавица, щеголиха», — скажешь и ни с того ни с сего спросишь: «Как Филечка поживает?», то есть ее обожаемый котик Филимон.

— Нет! — говорила я и сбрасывала наваждение. — Женщинам нельзя заниматься литературой.

— А ты что — не женщина? — спрашивала Лялечка.

— Себя и имею в виду.

Было время, когда центробежной силе и всем брониславам противостоял железный натиск свекрови. Своими истериками она держала Лялечку в узде — путь варварский, зато продуктивный, если судить по количеству написанных стихов. Но однажды свекровь направила усилия на другое — взяла да выбросилась из окна и положила конец трем напастям: преследовательнице, которая мерещилась ей — разлучнице, отбившей чужого мужа; собственной мании и жизни. А летела-то с третьего этажа обыкновенного пятиэтажного дома, но виском угодила в пенек: его по-

нашенски забыли сровнять с землей. Бывший муж Лялечки к тому времени обзавелся новой подругой, Лялечка осталась одна. Но знакомые позаботились, чтобы это не затянулось. Быстренько сосватали новую командиршу — бесквартирную полулюбительницу, полужурналистку, отчасти культуртрегершу, она подвизалась на устройстве выставок. Новая сразу сделала Лялечку наперсницей по мельканию здесь, там, еще где-то... И Лялечку *растащили*. Командирша года через три нашла другой приют и теперь взирала с романтической фотографии, поддерживая в покинутых стенах собственный дух. «Так устроено, — вздыхала Лялечка, — что в своих искусителях мы любим себя. Они позволяют быть добрыми и значительными. Не зря же говорится: «У лучших убеждений нет, а худшие полны решимости и воли».

Смена в виде следующей бедолаги не задержалась. На сей раз привели хозяйку сданной в аренду квартиры. Лялечка продолжая говорить о «расплате за гордыню», считала — раз стихи ушли, то им не прикажешь: «Видно, мое назначение другое — быть связной меж людьми». В такие минуты замечательная идея служения людям приводила мне на память арбузную корку, на которой поскользнулось не одно поколение.

2

И вот мы ехали в гости. По горячим следам, когда пролитая кровь еще не простыла, ринулись поезда метро, и мы сидели в разных концах вагона. Говорят, в подобных местах мечутся души, просят о мщении. Кровь кричит, достаточно дать волю воображению. Я глянула на Лялечку, она была ни жива, ни мертва, да еще подснежники в руках... Позднее Лялечка рассказала, что возле нее остановилась девушка со скрипкой. Поезд тронулся, девушка вынула инструмент и стала играть. Скрипка была красивая, лаковая, соразмерно переходящая из темного цвета в светлый. И музыка казалась

такой же. Но в глазах Лялечки скрипка вдруг сделалась обгоревшей, распадающейся на куски наподобие той, что лежала в музее искусств как воплощение нынешней лирики, с отломанным грифом, запечатанная вроде древнего ископаемого в стеклянный блок. Напротив ехала пассажирка в черном. Она была похожа на тех самых невест Аллаха, кто готов превратить свое тело в снаряд, чтобы части его разлетелись, и свободная душа предстала в дверях Рая с головами неверных. Пассажирка начала молиться. Музыка перемежалась молитвой, молитва — музыкой, а все заглашалось грохотом подземелья. Воспоминания о том, что ехавшие этой дорогой утром сделались фрагментами тел, перекрывало все, искажало сам воздух; никакой фигуры в белых кружевах быть не могло, но Лялечка утверждала, что она появилась: юная Рогозинникова ослепительной красоты. Как видение, скользнула и замерла перед Лялечкой. Едва слышно сказала: «СТОЛ МОЛЧАНИЯ»...

Что это значило? Вопрос улетучился с ней. Поезд подъехал к станции.

Мы вышли на платформу. Она была заставлена цветами. Среди ваз стояли траурные фотографии. Лялечка положила подснежники. Мы не стали задерживаться.

Дом семейного торжества обнаружился среди десятка себе подобных пятиэтажных — с открытой дверью подъезда, оттуда разило подвальной сыростью. Мы поднялись на второй этаж. Лялечка так долго нажимала кнопку звонка, что ничего не оставалось, как заглядывать в дыру на месте старого замка, видеть худосочный свет и ловить звуки включенного телевизора. Наконец, внутри кто-то откликнулся звуками кашля, дверь отворилась.

Ожидая особу в духе Лялечки, такую же поэтическую и хрупкую (Лялечка называла ее своей подругой), я увидела копию Брониславы, только ниже и суше. Подруга тоже глядела узкими плутоватыми глазками живо и без затей.

Аховая исподне-порточная одежонка зверской расцветки с блестками и чем-то висячим придавала ей видик залихватский и отрывной.

Они бросились обниматься. Лялечка обратилась к хозяйке «Капитолиночка». К имени подходил разве что жгучий красный цвет кофты. Цвет и дал направление мыслям в сторону Марксова «Капитала». Отчество «Николаевна» потянуло туда же — к головорезному, окаянному. Для полного бреда не хватало ей быть «Романовой», но оказалось фамилия у нее — Дымарь.

Коридор от пола до потолка был заставлен шкафами, коробками, ящиками, поверху лежали тюки и одежда, узенький проходик едва угадывался возле стены.

Хриплым голосом Капитолина Николаевна бросила: «На кухню! Больше нигде!» — и скрылась. Лялечка протиснулась на ее место и принялась стягивать свою шубку. Дождавшись очереди, влезла и я. И тоже начала раздеваться, попадая руками то в дверь, то в стену, то в наваленную одежду. В согласии с моими толчками мигал свет. Я подняла голову и увидела под потолком, на шкафу, настольную лампу, она опять дала знать о себе. Это был какой-то сплошной танец «хастл» («толчок»), который сейчас исполняют на дискотеках, только партнером моим был не приятный молодой человек, а этот самый осветительный прибор. При первом же шаге вперед я угодила в сумку с пустыми бутылками, они зазвенели и покатались. Какая-то жестянка хрустнула под ногой. Все же я достигла единственной комнаты и, заглянув в нее, подумала: «Это даже не бред. Это круче. То, что теперь называют «трэш», — мешки на мешках, лишь диван свободен». Видно, по каким-то особым соображениям хозяйка отважилась на такую неразбериху, но, отважившись, духом не пала и в поисках лишнего сантиметрика полезла на потолок и здесь приспособила люстру под вешалку. Плечики, нацепленные на деревянные перекладинки люстры,

висели по кругу, устроив хоровод из платьев, юбок, штанов, и всякий, кто сунулся бы внутрь, запутался бы в дебрях этих шмоток и сгинул в мешках.

Все остальное не стоило описания: ни кухня, также набитая до отказа, ни еще одна Бронислава, правда валяжная и широкая, ни тем более телевизор, который задавал тон, господствовал и гремел.

Окно на бульвар с большими заснеженными деревьями давало выход взгляду. Еще отвлекало присутствие множества кошек. Рыча, они рвали еду, которую принесла им Лялечка. Иностраным телом казалась лишь карта Франции на стене, выполненная на матовом светлом подносе. Своим видом она говорила: «Будьте покойны! Не лыком шиты...» Поблизости на плите дергался-кипятился красный, подпаленный чайник.

— Почти у всех этих кисок, — сказала Капитолина Николаевна, — одна и та же история. Я выхожу во двор выбросить ведро и вижу такую картину: вороны загнали в лужу студеной воды котеночка-крохотулю и собираются выклевать ему глазки. Бедняжка орет благим матом и хоть бы кто почесался. Ну, как допустить такое? Сволочи, другого слова не подберешь.

Можно было не уточнять адресат «сволочей»...

— А Иннокентия Николаевича я вытащила прямо из-под колес. Иди сюда, Кешенька-котик, а вот эта красавица сама меня нашла под дверью... Голая, без шерсти, ножки как спички. Ходячий скелет, и тот краше. А Бастет какая-то тварь выбросила на помойку в коробке, да еще обвязала веревкой. Зачем такие люди нужны, непонятно.

— Паста? — переспросила я.

— Бас-тет. В древнем Египте — богиня кошек. Там они были священными животными, не то что у нас.

— Вы, наверно, чувствуете себя сказочным существом? Феей-спасительницей, — сказала я и сама неожиданно по-

чувствовала себя на своем месте, в эпицентре бреда. Какая-то роковая предопределенность была во всем: и в женщинах, вобравших этот бред, и в обстановке, и в токах беспокойства, которыми насыщался воздух, и в том, что сама я здесь.

— Сказочным — не сказочным, — отозвалась Капитолина Брониславовна, — а мифических персонажей играла, как говорится, на заре туманной юности, — и гордо провозгласила: — Афины!

Признаться, в этих стенах уместней было бы имя Пандоры.

— Человека ведь не спасешь, — продолжала Бронислава Капитолиновна, — да и что от него толку?.. Хорош, когда спит, да и то мордой к стенке. Кругом измена, предательство... Видел бы это Николай Иванович, царство небесное, мой отец. Стоило ради такой свистопляски погибнуть под Керчью.

— Под Керчью? — удивилась я. Этот город был мне знаком, навевывалась не раз.

— Да. В сорок третьем. Под Керчью. В Героевке, может, слышали?.. — спросила она с надеждой, и что-то свое, очень бесспорное, очень понятное мелькнуло в ее глазах.

— Ну как же! Поселок Героевка. Теперь Эльтиген называется.

— Ничего! — был ответ. — Мы тоже когда-то Де Морреями были! При царе Горохе. Но за два века обкатались, перекрутились и сделались Дымарями. В люди вышли, не помешало.

В это время по экрану распространился некто... Даже больно было смотреть — так черты пронзила идейность... Старшее поколение как по команде одобрительно прекратило еду. Но идейности не дали растечься, кадр быстро сменили. Широкая, сытая морда освоила панораму, за ней наглый, надменный умник посыпал цитатами. Однако, выдав чересполосицу, телевизор излучил и что-то свое, что

можно было понять так: «Время идеологических монстров прошло. Настал черед высоколобых, перекрученных извращенцев. Они идут с повернутой назад головой и плюют в свое прошлое. НО ОНО ВСЕ РАВНО УПРАВЛЯЕТ НАМИ». И прибавил: «Дабл-дабл, собака, ру».

— Надо идти! — сказала я. — Нет сил слушать. Может, и жить-то осталось — на раз закурить...

Поднялась и Лялечка.

— Да чтоб они там все передохли! — сказала бывшая Де Моррей экрану. — Мало им! Надо бы еще один центр взорвать. Твари поганые! Я бы вообще запретила им въезд в Россию.

Лялечка сделала «чур-чур» и сказала:

— Ну что ты городишь!..

— Жалко, весь бандитский Нью-Йорк не взорвали. Раскурочили бы! От них вся зараза.

— А кошек?.. Кошки ведь тоже гибнут в терактах.

— То-то и оно. Невинные животные должны отдуваться за этих паскуд.

Похоже, человеколюбием Капитолина Николаевна не страдала, и это роднило ее с наступившим временем. А, кроме того, смиряло душевные порывы ее знакомых. И все-таки... Когда она пошла нас провожать и, прощаясь в парадном, наклонилась к Лялечке, обратив ко мне выцветший суховатый затылок, я почувствовала, что вся моя ирония и даже злость куда-то деваются, и нет ничего, кроме жалости. На прощание попросту ей сказала:

— Брось сигарку-то. Сгоришь сонная. И зверей запалишь.

Дымариха махнула рукой.

— Я бы не могла так жить, — вздохнула Лялечка уже на свободе. — Когда мы познакомились, у нее было и светло, и уютно, и по-своему элегантно. Картинки на стенах, миниа-

тюры... И кошки тогда были ухожены. Особенно Джозефина, похожая на песка.

— Ты ведь тоже в пятиэтажном... И вас скоро снесут. Эпоха уходит со сцены. Каждый по-своему готовится к переезду.

— Нет, тут другое. В мешках не ее вещи.

— А... — дошло до меня. — Гуманитарная помощь. Товарищи по борьбе обязали.

— По-моему, она заключила договор с какой-то благотворительной организацией. Три-четыре года назад появились эти мешки. Скорее всего — с церковью.

— Она же явная атеистка!

— А это не имеет значения. Где-то же надо хранить даяния прихожан, сортировать, раскладывать... Ко мне, например, ни разу не приходила без них.

— У тебя уже была такая, помнишь?

— Брониславочка, бедная, приходила мыться, стирать, а Капитолина — создать уют, — и, предчувствуя вопрос, который задал бы каждый идиот, сказала: — Я уже сто раз брала с нее слово: сначала навести порядок у себя. Но ей это не интересно.

— А что, посткоммунистический сюрреализм, — сказала я. — На свой лад гениально.

— А недавно вообще получилась трагикомедия, — продолжала Лялечка. — Она простудилась, врача вызвала. И попросила приехать меня. Я и открыла врачу. «Ой, мне не пройти!» — такая полная, в шубе... Пришлось протаскивать ее на кухню. А тут еще кошки. «Сколько, больная, у вас хищников?» — «Это не хищники. Это лапочки, бульюльки мои». — «Десять, больная?» — «Взяла бы больше, но возможностей нет». — «Ну вот. И хотите быть здоровой. Да от одной шерсти не продохнешь». — «Ну это как сказать... Может, благодаря им я еще на ногах». — «А мешки? Разве можно так опускаться!» — «Не от хорошей жизни! Вопрос

не ко мне». — «Вы что, соскучились по советскому быту? Это же деградация». — «Еще чего, “деградация”! Как говорят французы: се ля ме де пас: “это превышает меня”. Я, между прочим, иностранные языки знаю. И раньше была на хорошей работе. Короче говоря, с французскими делегациями. “Нормандию-Неман” сопровождала, летчиков легендарных... И, представьте себе, Жана Маре. Знаете такого артиста? А теперь, как вы считаете, найдется врач, чтобы вылечить чертановскую пассионарию? Я, к вашему сведению, возглавляю местную группу сопротивления».

Врачиха фыркнула, но за Жана Маре простила Капитолине все. Даже спросила: «А у него действительно была такая потрясающая фигура, как на экране?» Капитолина ответила: настолько «се ля де пас», что она просто боялась смотреть на него. «Ему не надо изображать графье, — сказала, — он в жизни вылитый Монте-Кристо».

— И долго после таких визитов ты приходишь в себя?

— Да кто его знает, когда как... По правде говоря, дня три после больная.

Мне вспомнилось ее стихотворение с непонятной строкой: «Но всех нас куда-то ведут вожаки», и я спросила:

— Уж не этот ли чертановский электорат твои вожаки?

Лялечка скорее одернула меня, чем ответила:

— Нельзя осуждать людей за то, что не живут по твоим представлениям!

— Мне-то что? Твой мосол, — сказано в поговорке, — хоть гложи, хоть под стол. Эти твои брониславы разве что заячий тулупчик с помойки притащат.

Лялечка рассмеялась:

— Я сама, грешным делом, на днях «Капитанскую дочку» на помойке подобрала. Разве плохо?.. С Пушкиным за бортом «корабля современности»?

— Корабля... Люди живут, а мы все свой путь ищем. И чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.

— А все равно, невозможно Россию низвергнуть.

— Не знаю... Пока все под нож. Даже в поиски утраченного времени не надо пускаться. Все на глазах.

— Нет, нет! Божья Матерь нас охраняет. Божья Матерь не даст нам упасть.

— А Богоматерь что, подписку о невыезде дала?

Лялочка опять рассмеялась и нараспев прочитала:

— А годы идут, как готы, в снегу за ночным стеклом...

— Почему готы? — спросила я. — Странно.

— Не знаю... Так у Елагина. Наверно, потому, что разрушительные.

— Да... Рухнула старая жизнь, а нового нет. Все зыбко, шатается. Слова потеряли смысл. Черное стало белым. Мат в воздухе как дорожный знак. И некому стыдиться за нас.

— Нет... — сказала Лялочка. — Богу, наверно, стыдно.

— Вот уж точно: государство не прощает несправедливости, кроме той, что творит само.

— А знаешь, есть немецкий рислинг «Молоко любимой женщины»... Ты пила?

Это было в духе Лялочки — спросить что-нибудь ни к селу ни к городу. Я отмахнулась:

— Кто перед ней извинился! Кто покаялся за обман, которым дурили всю жизнь!..

— Знаешь, Капиталина раньше в партии не была, сейчас вступила.

— А все равно видик у нее больно режимный. И разговор в дрожь бросает.

Мне показалось, Лялочка уже не слушала. Ее внимание было где-то на стороне. Я посмотрела в направлении ее взгляда.

Женская фигура шла навстречу. Все в ней было задумано и исполнено так, чтобы выглядеть болезненной и потусторонней. Белое, как маска, лицо, театральные черные губы, широко обведенные тушью глаза. Над веками — специаль-

ные красные тени. Волнистые светлые волосы переброшены слева на грудь, прижаты у талии поясом. В зеленоватых лучах фонарей, казалось, не она несет одежды, а они гонят ее сквозь крупный медленный снег...

— Кто это? — прошептала Лялечка.

Я хотела сказать: «Привидение», но, зная впечатлительность спутницы, сказала: «Легка на помине» и то, что, по моему, близко к правде:

— Обычно они загибаются от перебора наркотиков, хотя в моде у них абсент.

Лялечка не знала, что и подумать.

— Девушка-вамп, — уточнила я. — У нее на свободном плече летучая мышь из бархата. Так одеваются только готы.

— Готы? Те самые племена?.. Из Толедо?

— Готы от слова «готика», которая в Средневековье... Помнишь, были хиппи, панки... Сейчас готы. Наверно, и на теле у нее летучая мышь, татуировка — символ.

— Откуда ты знаешь?

— Я видела их на кладбище, сидят на скамейках, читают. Любимые писатели: Эдгар По, Сервантес, Чехов...

— Ты говоришь, как будто сама в их компании.

— Она спешит на готскую вечеринку. Там будет гроб, и все гости ползут в него фотографироваться.

— Ну, скажи, откуда ты это знаешь?

— А у меня ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ — КОРОНЕР.

— Коронер? Его так зовут?

— Нет, его звали по-другому.

— Хотя что это я! Ведь коронер по-английски судебно-медицинский эксперт, — заметила Лялечка деловито как переводчица.

— У го́тов своя иерархия, под знаком смерти. Коронер, даже мертвый, для них первый и посвященный. А мертвые для них как живые.

Лялечка была не из тех, кто располагает к откровениям. Она жила для благотворительности, но не для дружбы с ее правдой и духом товарищества, и своей добротой как бы замаливала эту особенность. Иногда казалось, что и доброты никакой, — лишь потворство людским слабостям и порокам. СТИХИЯ ЛЕГКИХ КАСАНИЙ несла трагических персонажей ее стаи, и не было первого среди равных и последнего, который станет первым, хотя публика была набожная и церковная, пошедшая к Богу за помощью, тогда как он ждал работников... Ради Лялечки можно было расшибиться в лепешку, но так и остаться в ее глазах наравне с последним бездельником и пустобрехом. Главное-второстепенное, доброе-злое — все на одной доске, все без разбора. Какая-то всемирная отзывчивость ходячая, образ всеядной России, желающей все принять, когда свое прахом даже не идет, а летит, а за душой ни шиша, и, как нынешняя Россия, отрезанный ломоть вселенского хлеба.

Бывало, едешь к себе в сад под Москвой и думаешь: «Вот грохнешься с яблони при обрезке и никто ничего... Так и будешь до второго пришествия. Разве что сосед Петр Петрович (про таких поговорка: «Не стоит село без праведника»), но Петра Петровича может не оказаться. От остальных же снега зимой не дождешься, не то что поддержки и понимания. Вот ведь открытие: никто за меня не молится, никто не болеет. Был один, но теперь его нет. Может, молится на том свете. А кое-кто так просто желает, чтобы я скорей себе шею свернула. А при пятидесяти трех деревьях, высоких, раскидистых, многоствольных, которых лелею и холю без всяких помощников, это очень возможно».

— У Рембрандта есть гравюра, — сказала я, — «Прощание Саула с Давидом». Давид повернут спиной. Он уходит. Говорят, Рембрандт имел в виду свою умершую жену Саскию. Златокудрую, как Давид. На гравюре он пытается

ее удержать. Но это ведь невозможно. Мертвые уходят навечно. Но кто-то все же пытается... Странно, правда?

Лялечка молчала. Часто молчанием она втягивала в разговор, человек увлекался, но Лялечка вдруг ни с того ни с сего странным высоким голосом задавала вопрос — и все немного смещалось.

— В Париже готы собираются на кладбище Пер-Лашез, — продолжала я. — Охаживают могилу своего идола Джима Моррисона. Из тех, кто захотел глянуть Бездне в глаза, но захлебнулся в собственной рвоте. Теперь он отзывается им своей музыкой. А если музыки не было? Была просто любовь... Сад, который оба любили... Как удержать? Если все, что причиталось двоим, теперь свалилось на одного?.. А у этого одного разве что сад лишь и есть.

— Ты же знаешь, — сказала Лялечка, — только человек умирает, о нем уже думаешь по-другому.

— Сад — это память... То, что было, взывает и продолжается в том, что есть. Точка отсчета. Такая же Бездна. Для восхождения, если получится... К нерукотворной строке.

Когда мы вошли в метро, чтобы снова проехать злосчастной дорогой, и двинулись по платформе мимо цветов, мне все же почудилась музыка, наверно, той самой скрипачки, которая заодно с Рогозинниковой, террористкой, привиделась Лялечке часа два тому назад. А может, то была музыка мистериозной архитектуры одной из моих любимых станций. Каменная фантазия архитектора Душкина, умудрившегося даже глубоко под землей остаться гением света.

Глядя на поминальные цветы, на эту скорбь, вывернутую наизнанку, слишком красивую и показную, я хотела сказать о наступлении ВРЕМЕНИ КОРОНЕРА, под которым теперь, как под Богом, ходим, а еще о пришествии новой Евстолии, но не решилась портить моей спутнице настроение.

— Интересно, — заметила Лялечка, — сколько понадобилось сдать бутылок и разобрать мешков, чтобы в день своего рождения угостить шампанским с рокфором?..

Но у меня в голове было свое.

— Надо спросить Художника, — ответила я, — «Стол молчания» — что это значит? Может, архитектурный реквием двум влюбленным?.. Чего бы этим словам подвернуться ей на язык? «Стол молчания» — так ведь ты услышала?

— Что услышала? — удивилась Лялечка.

— Когда мы ехали сюда, тебе же привиделась Рогозинникова!

— А... Я уж забыла. Знаешь, у меня для Капы специальная молитва припасена.

И впервые подумалось: «Не накликала бы беды твоя молитва... Ведь в этом мире все перекошено, да и Бог, утверждают философы, умер давным-давно».

P.S. В скором времени жилище Капитолины Дымарь запыляло, ей удалось спастись, а животные погибли. Их имена: Джозефина, Иннокентий Николаевич, Изумрудка, Бастет, Осенька, Мартик, Марго, Веснуша, Васена, Василий.

ЧАСТЬ III
СЛЕДУЮЩАЯ ЖИЗНЬ

ОРФЕНОВ, МЭТР-ЭТАЛОН

Вера есть не столько знание истины, сколько преданность ей.

Иван Киреевский

...Достаточно двоих верующих, чтобы найти Бога.

Из Библии

Его следовало принимать раз в неделю как сильнодействующее лекарство, этого господина по имени Правда, горькая Правда: иначе могли опуститься руки. Есть такие потрошители — бесстрастные, невозмутимые, самым голосом вынимают из тебя душу. Настойчиво, медленно, разделяя слова, капсулируя их, заворачивая в обертку, укладывая в ряды, пересыпая стружками запятых, точек, тире, говорят-говорят и доводят до потери сознания.

Надо же случиться, фамилия нашего потрошителя была Орфенов, что обращало к мысли о мифическом сладковатом Орфее. А это совсем не вязалось со стрекотанием нашего героя. Да и наружности не отвечало. Орфей был высокий, стройный, кудрявый, с кифарой в руках, а наш Орфенов ростом не вышел, а что удалось, взяла сутулость, волос же на голове имел мало, да и те виться не собирались. К тому же он всегда что-то волок. На тележке ли, без

тележки ли, но обязательно были книги, меж ними торчали канцелярские коленкоровые папки с тесемками и тесемки эти летели и развевались, как ленточки на бескозырке матроса. Если продолжить сравнение Орфенова с Орфеем, то без отношения к женам не обойтись. Орфей, как известно, души не чаял в своей Эвридике и даже полез вызволять ее с того света. По слабости нервов вернулся с пустыми руками, после четыре года маялся, томился, страдал, за что и был растерзан ревнивыми вакханками. А наш Орфенов... Тут можно только вздохнуть. В свое время он обзавелся семьей и, наверно, тогда же приобрел привычку называть все, что с ней связано, домашним концлагерем. Нет, он ничего не имел против своей супруги, милейшей Татьяны Ивановны, и даже именовал «железной», часто ссылаясь на ее мнение в отношении книг, но твердо стоял на одном: жена — злейший враг человека, если он настоящий профессионал. А все, что касалось профессионализма, для Орфенова было свято, и неважно о литературе ли речь, о музыке ли, шахматах или простом переписывании, каким, например, занимался гоголевский Башмачкин. И все-таки, несмотря на такие различия, имелся пунктик капитального сходства Орфенова с Орфеем. Орфенов был убежден: жизнь существует, чтобы стать произведением искусства, попасть в книгу. «В основе всего лежит литература», — любил повторять он слова Флобера, и с этого места его нельзя было сдвинуть. Здесь орфическая личность потрошителя обнаруживала себя как на ладони. Взгляд делался твердокаменным, оракулоподобный глас отзывался нотками вечности, а в мягких серых глазах появлялся металлический блеск.

Обычно он привозил мне книги. Чаще на чтение, иногда в подарок. Но стоило сказать, например: «Эта книга мне не нужна», как следовало:

— Вот как! А Татьяна Ивановна считает ее автора перво-статейным талантом. Она погружена в эту личность.

— С каких это пор, Лев Константинович, супружеские пристрастия обязательны для других? Вы-то сами читали?

— Ну, конечно, нет. Достаточно абзаца в начале, абзаца в середине и абзаца в конце, чтобы составить впечатление о качестве текста.

Я сделала большие глаза, скорее для вида, чем из протеста.

— Можете смеяться, опровергать, вышучивать Льва Константиновича. Боюсь, этот автор вообще зря старался. Ну, вот зря!

— Но это же как-то...

— Несерьезно? Гляньте, почти типичное неумение писать. Нежелание работать над словом элементарное. Нежелание даже прочесть свой текст. Что это? — он утыкался очками в книгу:— «Истолкование моего личного растворения!..». Такие фразы пишутся не думая, в полусне. Может быть, левой ногой. «...Должно иметь столь прогнозируемо вульгарный характер...» Людям нечего сказать, а они говорят, вынуждены говорить. Тихий незаметный ужас. Впрочем, кое-кто замечает, — он листал дальше: — «...В текучей непрерывности усреднения...» Все! Не могу, увольте. Маленький экскурс в царство лабуды завершен. Нет школы, нет выучки, нет еще чего-то существенного. Архи! Супер!! Лабудистика. Антон Чехов в таких случаях говорил: пишет, подлец, как в гробу лежит.

Посрамленный автор летел подальше, вычеркнутый из литературы, жизни, из интересов Льва Константиновича. В системе ценностей потрошителя ему не было места и пусть его, на здоровье! Никому не возбраняется считать гением кого угодно. Но Орфенову позвольте иметь собственное суждение. Его отсчет (!) по вершинам.

«А сам-то ты кто? — думала я, переживая расправу и прикидывая ее на себя. — Несчастный супруг Татьяны Ивановны. Подкаблучник». «Да, супруг. Допустим, Татьяны.

Возможно, подкаблучник. Но текст-то на тройку с минусом. Вместо прозы воздушная кукуруза», — отвечали его глаза. Позднее стало ясно: легче получить Нобелевскую премию, чем похвалу этого субъекта. Да что там премия! Некоторые лауреаты вышвыривались в разряд беллетристов второго и даже третьего сорта с характеристикой: «ультраклоачное заграничное шпанье». При оглашении закона Старджона: «Девяносто процентов всего публикующегося — труха!» А кое-какие авторы, вроде австриячки подросткового туалета фрау Елинек, вообще вытряхивались в отстой со своей «ПИАНИСТКОЙ», засыпались известью и сравнивались с землей. Камня на камне не оставлял Орфенов на этом захоронении.

Однажды он сказал:

— Завтра принесу писателя, у которого нет ни одной плохой строки. Ну, вот нет!

— Такого не существует.

— Так считаете? — заметил он, даже не находя нужным опускаться до спора.

На другой день явился с тележкой и двумя сумками — вылитый мешочник, только светлоликий и лучезарный. Долго развязывал веревки, расстегивал крепления, разводил молнии. Не раздеваясь, извлек на свет божий кучу томов в самодельных надежных переплетах, на них опустил обычные книги, все с именем, тисненным на коленкоре: МАРСЕЛЬ ПРУСТ.

— Здесь изданное, а также не изданное у нас в машинописном виде, которым занимался собственноручно.

— Вы что же, полагаете, я не читала Пруста?

— Полагаю, что нет.

Возражать не стала. Наверно, он действовал как миссионер. Правда, мы познакомились в пору, когда Орфенов уже уяснил, что чтение — не самое любимое занятие человечества, хотя лучшими его представителями замечено: «Досуг

без книги — смерть и погребение заживо». Этот факт также подпадал под закон, на сей раз Чаплина.

— Великий художник, — строго сказал Орфенов, — открыл и показал, что основным содержанием жизни так называемого маленького человека является не любовь, не труд, не карьера, даже не деньги, но непрерывная возня. Гениально отражено в фильме «Малыш». Вываривающая повседневность, копошение — такова участь обычного, то есть обыденного, человека. Она держит, заражает, приучает к себе, наконец, перерождает. И как эпилог — задвигает в дебри привычки. Тем глубже, чем незначительней система закоренелых привычек.

— А как быть с теми, — не отставала я, — кто предпочитает чтение остальным занятиям, но Пруст для них... не так, чтобы очень?

— Количество идолопоклонников, — начинал Орфенов, — еще ни о чем не говорит, хотя... скажем так: свидетельствует о публичности. Вот вам тема: публичность, поданная как мечта. Вот она, родная. Бесплатно дарю. Из этого можно сделать жемчужину, в своем роде, конечно. Хотя... Так называемый современный профессиональный литератор мыслит печатной продукцией, тиражами, а не образами. Его пассажи ориентированы на успех. Вот она — капитальная полудрема неуча! Имени господина Навуходоносора его мечта — многотомная книжная башня (подобие Вавилонской) до неба. И опять дяде Леве приходится констатировать нормальную обывательскую практичность. Тут поневоле откроешь очередной закон литературного поведения. Они, наши авторы, не проделывают безоглядного, последовательного погружения в стихию слова, в собственную, то есть, ипостась. Живут иллюзиями своего тщеславия, то есть... Прошу прощения за это слово, оно очень грубое, режет ухо, может быть, не следует его произносить, но профессионал

меня поймет... Они, авторы, позволяют себе *разнузданный* образ жизни, сплошной нарцисстический транс.

Шла пауза, подводящая к явлению Пруста:

— Вот уж кто знал законы литературы.

— Хотела бы увидеть чудака, который читает сейчас Пруста.

— И не увидите! Читают, дай Бог, сотни во всем мире, а скорее, десятки. Ну, и что? Он, Марсель Адрианович Пруст, классик мировой литературы тысячелетий. Один из обычных парадоксов литературы.

Возразить было нечего.

— Учтите, его нет уже почти девяносто лет, а пишет он все лучше и лучше. На нынешнем фоне, конечно, когда главное — гнать литпургу и погружаться в шелест купюр.

И снова не возразишь.

— Если на всем земном шаре, — продолжал Орфенов, защищенный системой чисел, в которые верил, как Пифагор, — Пруста читают хотя бы человек пятьдесят, это нормально. Цифра пятьдесят один меня насторожит.

Отсюда начиналось шествие к магическому числу 350. Триста пятьдесят идеальных ценителей, знающих тайну постижения художественного текста. Они разбросаны по планете, редко находят друг друга, еще реже устанавливают контакт и сверхредко приносят пользу один другому. Орфенов ссылался на то, что людям вообще не свойственно внимание к работе ближнего, а уж к писательскому делу!.. Да просто наплевать на него. Свое убеждение он распространял на все человечество, отсеивал профессионалов, из них выделял редкостную драгоценную группку суперпрофессионалов, этих сортировал по степени культуры, корысти, душевного рабства — и вот она, искомая величина. Тройка, пятерка, нуль!

— К Прусту, как понимаете, это отношения не имеет, зато много говорит о его современниках. А современники, как известно, частный случай потомков.

Неожиданно он замирал, в лице появлялась трагедия. Все, все, все! Лишних полминуты, и он опоздает. Его свободное время приурочено к расписанию электричек, как бы прокомпостировано цифрами отправления в родной город Дмитров. Вот ведь символика. Но это поймет тот, кто сам мотается каждый день. Тоже тема для отдельного разговора. Наспех бросал, уже возле сетки лифта:

— Есть вещи, которые спокойно обходятся без читателя, зрителя, слушателя, — а запущенный мотор гудел, скрип надвигался. — Эти вещи сами выбирают, кому им нравится. Классический пример обратного — Малевич, Казимир. Да сгинет, пропадет без зрителя. Рассыплется в прах. Это вам не «Джоконда», которую обтекает время. И пусть себе пролежит в запаснике полтора года, двадцать, сто лет.

Орфенова, объятая цифрами, тележку и неразлучные сумки заточала кабина, и все проваливались до очередного привоза книг. Последним ускользало напряжение, опустошающее, странное, которым он наделял на прощание. И не сразуобразишь, что ты в пустом коридоре, где даже тросы перестали подрагивать. Дело не просто в напряжении, но и каком-то внутреннем неудобстве: уж очень не вязались его речи с видом котомок и сумок — этими затрапезными спутниками, без которых он — не Орфенов. Книги книгами, но кроме них... колбаса, картошка, батоны хлеба, вязанки лука, бутылки молока, эластические сосуды с маслом, бакалейные и кондитерские пакеты, металлические коробки, стеклянные банки емкостью от 0,5 до 3 л, пучки зелени, кули с крупами, макароны в чехлах, рыби морды, чьи-то хвосты, свиные ножки, разное сметье вроде сушек, семечек, леденцов... И обязательная бутылка с холодным чаем. На всякий случай, для утоления жажды, когда, высунувши

язык, он искал передышки. А где-нибудь сбоку, завернутые в холстину, втиснутые в твердые пластиковые переплеты — нежные гравюры меццо-тинто. Ничего удивительного, что слову письменному он предпочитал слово изреченное, подобное дыму. А ведь он что-то пописывал, сочинял.

Однажды признался:

— Не имея возможности заниматься литературной работой вообще, а качественной в особенности, я не прекращаю хоть псевдоработу — обмысливание задумок, выведение новых бытовых закономерностей, размышленьиц вслух. У меня все-таки есть привычка к слабенькой, но умственной, работе, вернее мозговому копошению. Копаюсь внутри себя, без всяких выходов, тем более официальных.

— Ну и зря, что без выходов. Несделанное тоже поступок. Не мне говорить вам, чем вымощена дорога в ад.

— Знаете, какой порок у дяди Левы? Изъянчик? Дядя Лева, запятая, 1950 года рождения, запятая, проживающий в городе Дмитрове Московской области, запятая, патологически не выносит публикаций, потому что мысли — плод глубокой умственной работы. Не просто не любит, а горячо не любит. Точка, подпись, дата.

В этой речи поражало спокойствие. От слушателя даже не требовалось участия, но приступ товарищества откуда-то брался. Человек постигает себя самого как материал. Тут было что-то родственное. И я посоветовала послать все к черту, взяться за ум и распорядиться собой более интересно.

— Дело не в весе груза, не в длине маршрута, — заметил Орфенов, — а в неснимаемости ярма. Даже внешне я выгляжу как классический перевозчик. Вахтеры уверены, что у меня громадная семья. Думаете, сколько груза перевез дядя Лева за последние пять лет? Не трудитесь, зря потратите время. По самым скромным подсчетам — два состава по пятнадцать двусных вагонов каждый. А вы говорите «к

черту!»! Пускаюсь в дорогу и гадаю, сумею ли набросать в электричке пару-другую строк.

— Ну вот, есть же какие-то тексты!

— Привычка писать наброски к наброскам, а не текст. Киному не способен даже во дворце, в идеальных условиях, при пяти секретаршах. Будучи микроучеником Флобера, а затем и Пруста, я теоретически осознал свое положение, безвыходное из-за моей бесхарактерности. Лев Константинович обречен существовать, чтобы оттенить натуральности чужих личностей. Когда мое раблезианское семейство оставит меня в покое... Говорить об этом без эмоций невозможно... Лев Константинович напишет в завещании: «Умер от радости».

— Подобное откровение от преданного отца? Не верю.

— Вчера проводил Полину Львовну в Томск, возвращался и прыгал, как мальчишка.

Я опять замотала головой в пользу его дочери Полины.

— Даже не пытайтесь, — продолжал он, — все равно не вообразите степень моей загруженности. Дела, делишки, заданьца, поручения. Это сделалось проклятием. Громко выражаясь, микроскопической трагедией человека, ставшего классическим домашним рабом.

— А вы научитесь без слова «нет» отказывать, как японцы.

— Не только отказ, но промедление вызывает протест. Да что там, взрыв, бурю. Команды, как на флоте, должны выполняться бегом.

Я вздохнула, понимая, — случай запущенный.

— Впрочем, не в конкретных делах и делишках дело, а в ежечасной зависимости от домашней сферы с ее шквалом ежеминутных потребностей! Тут не захочешь, а откроешь Второй закон Орфенова.

— Орфенова? Вы же говорили о законах Старджона.

— Мы с господином фантастом Старджоном представители одного метода. Его закономерности глобальны,

мои — ультралокальны. Речь о Втором законе Льва Константиновича.

— Второй? Значит, и Первый есть?

— Первый закон Льва Константиновича... Дай бог памяти... Лет пятнадцать назад сформулирован. Запомните: всякая творческая работа стремится к превращению в хозяйственную деятельность. Кристаллично?

— А Второй как звучит?

Забегать вперед Орфенов не любил.

— Конечно, осел в ярме может научиться порациональнее расслабляться, иной раз хватануть листок или несколько травинок. Но это ничего не решает. Скорее наоборот — подчеркивает крепость упряжки.

Такая доверительность обязывала. Но я была на чеку. Лучше не позволять себе жалость к человеку, который понимает все лучше меня. Ведь в основе наших отношений лежала если не жестокость, то жесткость. Пройдя школу Орфенова, можно было смело глядеть в глаза дьяволу. Оба, и дьявол, и Потрошитель, не покупались на успех, оценивая работу на свой адский беспощадный манер — вне скидок на слабости, время, обстоятельства и так далее и так далее. Оба чужой безоглядностью, этим даром избранных, питали безграничное своеобразие, пристрастное ко всем, кроме себя. У обоих в дефиците была человечность.

Невероятно, но эта орфическая личность появилась на моем горизонте в роли курьера: однажды его прислали из редакции с казенным пакетом. Он обнаружился, увидел книги и заговорил. Господи, как он заговорил! О «Шинели» Гоголя. Как будто сам автор коснулся души. Околдовал!

— Читаешь, — говорил Орфенов, — в двадцатый, тридцатый, сотый раз перечитываешь классика... Нет, никакой оговорки, именно так и написано: «приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели». И это о ком же? Об Ака-

кии Акакиевиче? Неужто эта лексика — «духовно», «вечная идея» имеет к нему отношение? Куда же он занесся? И это вместо того, чтобы скрипеть пером, в чем и было вседневное спасение Башмачкина. Зарвался и погубил в себе профессионала. Поставил под угрозу безупречность своей работы. Не собственно даже уровень ее, но степень рвения. В святая святых вторглись мысли о шинели. Начала разрушаться внутренняя цитадель.

Говоря, Орфенов чуть не рыдал. Он оплакивал заблуждение Акакия Акакиевича. Почему, заполучив великолепную чудесную шинель, он не пошел с Петровичем (в качестве конвоя) на барахолку и не продал ее, чтобы там же купить довольно теплое, но внешне непритязательное вот именно барахло, новый, в сущности, капот? Этого, только этого! требовали интересы дела. И тогда Башмачкина не раздели бы и не было бы похода к Значительному лицу, и не надуло бы жабу. Так глупо, так наивно слететь с резьбы, говорил Орфенов, кинуться ну совершенно не в ту степь! И что-то вроде сюжета новой «Шинели» зашелестело над ухом:

— Шьется некая псевдошинель. Теплая прозодежда с обличьем «капота». Либо на старый отслуживший «капот» Акакия Акакиевича насаживается новая шинель. Поверх прилаживаются искусственные декоративные лохмотья, на них-то не клюнут грабители, да и коллеги в смысле вечеринки и обмываний обнов останутся с носом.

Слушая, я как разинула рот, да так и осталась после его ухода. И все эти великие Белинские с «потрясающей душу трагедией», все сострадательные Достоевские, «вышедшие из “Шинели”», померкли перед орфеновским отчаянием.

Я уж не говорю о плачущих в жилетку мультипликаторах, поддерживающих свой плач банковскими подаяниями и превративших «Шинель» в дойную корову.

Итак, Орфенов продолжал привозить книги и поддерживать меня своим мерцанием.

Другие подопечные мэтра (боксер, шахматист, врач-хирург) давно отпали. Все трое жаловались, что мэтр их *задолбал*. Прокляв его, они впали в депрессию с выходом в бытовые истерики, сопровождаемые жесточайшим неврозом и припадками злобы. Называли мэтра «вампиром». Тем задевали меня, обращая к имени композитора Баха, которого все, в том числе и родная семейка, величали «Старым париком». Меж тем, авторитеты считают, если Бог выкраивал время для отдыха, то для того, чтобы в кругу ангелов послушать музыку Старика Иоганна-Себастьяна. Ангелам же Бог оставлял Моцарта. Однако мое возражение не имело успеха: к «вампиру» добавлялся «упырь».

И вот в один прекрасный день Орфенов устроил что-то вроде выпускного экзамена: «Говорят, Мария Каллас, эта планета в мире сирен, непревзойденная из певиц, — заметил он, — проглотила живого солитера, чтобы похудеть и внешне соответствовать образу, который воплощала на сцене, хотя бы той же Кармен. Как вам такое?»

Я отчеканила:

— С нашей точки зрения, это поступок нормального суперпрофессионала. Да, несчастый в любой области деятельности, но подвижников и не может быть много. Художник, воскликнул как-то Флобер, так ведь это чудовище!

Не знаю, остался ли Орфенов доволен ответом. Одно из двух: либо истина враждебна своему проявлению, либо в глазах Орфенова обнаружился ужас. Ему почему-то сделалось страшно. Может быть, оттого, что любые пристрастия тускнеют перед тем, что таит Истина. Скорее всего, он и не посягал на нее, довольный уже одним своим несогласием. В пользу второго склонял и тот факт, что вскоре после этого разговора поток книг устремился по почте. Для встреч Орфенов объявил тайм-аут на месяц. При этом глас его утратил фанфарные нотки и скатился на полусшепот. Наши роли драматически поменялись. Теперь методичным

размеренным голосом вещала я, а он всего лишь внимал. Получив очередную бандероль, я брала телефонную трубку и говорила одно и то же: «Где ваши собственные тексты? Жду». В ответ начиналось о «делах, делишках»... О Татьяне Ивановне. Тогда я врубала: «Объяснения для слабонервных. Разве вы не знаете, что художник существует, чтобы быть уничтоженным? Прочтите миф об Орфее!» — «Но я, как, возможно, догадываетесь, все-таки человек». — «Все мы — товарищи по несчастью, по сути, рядовые чудовища. С вашего разрешения, обращаюсь к вам как к чудовищу». Он согласился, был даже польщен, но образ слабого человека, забредший в его мысли, не собирался их покидать как удобное существо отговорок. Зато именно слабому человеку обязана я обилием устных импровизаций, которые скармливал уже приятным живым тенором. Он называл их «эссе по телефону».

Этот летучий жанр утвердился при следующих обстоятельствах.

Как-то зашла речь о поэтессе, которая писала хорошие стихи. За городом в небольшом доме мы оказались соседями. Нас разделяла стена. Не слышалось ничего, кроме хлопотанья синиц за окном. Иногда вечером казалось, что сама состоишь из тишины, заполненной сердцебиением. Декабрь. Темно. Ни следа на дороге. Деревья белым-белы. Читаешь-читаешь... Чьи-то воспоминания. И вдруг строка: «Кристалльно чистая среда для духа». Наверно, в нашем доме была такая среда. А если и нет, все равно, какие для духовности стены! Для притяжения одного человека к другому. По случаю же негаданного соседства... Не уверена, что отыщутся нужные слова. Есть ли они? Встречаясь, мы улыбались. Внешне она напоминала пажу. Хрупкая, в черном. Под стать своей поэзии, изысканной, ломкой, себялюбивой. Можно сказать, она являла иную субстанцию — избранности. Однажды мы столкнулись в коридоре так близко,

что я увидела на лице ее знаки. Мужчины называли это морщинами. Случай, когда объединяются в одномыслии. Или скудоумии, не знаю. В конце концов, в каждом юном лице таятся морщины. А не в юном... У Анны Ахматовой тоже были, а ее находят величественной. Так в чем же дело: в легенде, несправедливости или чем-то другом? Орфенов только и ждал, чтобы вступить в разговор. Не дал досказать о мелкотравчатых мужчинах. Что с них взять! Бог с ними, ущербными. Но вот з н а к и на лице. Такие можно разглядеть на фотографии, сделанной из космоса над Латинской Америкой. Круги, лабиринты... То, что обнаруживается с высоты. Разумеется, тут предмет для получасовой лекции. Орфенов захлебывался. Следы цивилизации не обязательно на земле, но и на море. Не случайно имя Сафо связано с морем, и Марина Цветаева тоже морская. Так и нынешнюю Сафо опознаем как подводную лодку, которая не может без перископа. Имени Марины Цветаевой эта конструкция. А есть агрегаты иной формы, связанные с поверхностью по-другому. Им не нужен перископ. Они дышат, живут, несмотря на то, что достигают больших глубин. Таков батискаф.

— Ну, а если вернуться на грешную землю, — предложила я.

Если вернуться на грешную землю, то Анну Ахматову Орфенов определяет как человека классического типа, внутри себя мраморную скульптуру. Ее обтекает время. Ее лицо изъято из хроноса. Оно подчинено своей собственной и никакой другой природе. Понятие «классик поэзии» намного ближе к ней, почти сливается с нею и далеко от современной, либо прежней Сафо.

— И вот посмотрим, как эти трое: Сафо, Марина и Анна проходят через время, которое можно сравнить с бомбардировщиком, как они, извините, сохраняются. Появляется бомбардировщик, засекает квадрат — и от лодки с периско-

пом ничего не остается. Батискаф же спокойно пребывает на глубине — его не достанешь.

Я поздравила Орфенова со словом «почти», соотнеся его с понятием «сор», из которого Анна Андреевна (сама призналась) выращивала стихи, не располагая, как видно, запасом «чудных мгновений», и это простительно в силу особого времени.

— А время всегда особое, — заметил ученик Пруста, с чем я немедленно согласилась, и на всякий случай напомнил:

— Такими время встретим мы, какими нас оно застанет.

После этого разговора, когда он показал себя таким маршалом реабилитации — в сапогах со шпорами, при ордах, в аксельбантах, наши отношения выровнялись и приобрели согласие волн, бегущих в кильватере корабля. Собственно, в реабилитации никто не нуждался, но если она называется любовь к литературе!.. Особенно в мире, где все стремится к тотальной подмене, а с литературой это несчастье уже состоялось. Хуже! Оно состоялось и с подлинной жизнью, которая давно ушла от истоков, исказилась и сама стала литературной. Было важно сознавать, что где-то есть комнатуха № 1906, открываемая неким Хранителем, который отзовется, едва наберешь телефонный номер. Разумеется, откликнулась не Палата мер и весов в Париже, но № 1906 не уступал ей по крепости. Хранитель мэтр-эталона нес службу.

И вот снова вижу его у себя. За столиком возле стены. Разбавляющим кипятком холодной водой. С хлебной горбушкой. Он согнут и тощ. Лицо покрыто щетиной. Доверчивая молодая лиана норовит пристроить на его голове своего беспризорного пасынка. А может, это бессмертие примеряет венки: ведь он так часто вещал от имени вечности. Орфенов отстраняет наивную лиану и манит меня пальцем. Интересно, чем он так загадочно увлечен?

— Это будет роман о любви, — шепчет. — Идеальной. Она вернется. «Именно вседозволенность возродит поэзию чистоты и запрета» — с таким эпитафием. Обдумываю с 1970 г.

— А как бы увидеть пару-другую строк на бумаге?

В ответ лопотанье про Татьяну Ивановну, сырокопченую колбасу и домашние заготовки. Современникам незачем разьяснять. Потомки же пусть поверят на слово: год 92-й, век 20-й, за колбасу отдавали жизнь, стоя в очередях. Подобное не совсем вписывалось в творческие планы Орфенова, но, как он сам говорил: чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу Татьяны Ивановны. А внушить отвращение к сырокопченой общечеловеческой ценности, поднятой со сменой власти на небывалую высоту, он не мог.

Эссе по телефону закончились. Прекратились парады реабилитации. Улетучились перископы. Канули в небытие батискафы. И тем не менее... *Отслоение от повседневности состоялось.*

Этот день хорошо помню. Знакомый конверт торчал из почтового ящика. Я ухватила бумажный уголок, приютивший подпись Орфенова, и нечто увесистое оказалось в моих руках, а затем и перед глазами.

Пауза необходима, чтобы ясно услышать шуршание сухих листьев, исходящее от послания. Основной корпус текста посягал на звание самобытной прозы. Но ни одна строка не была конгениальна порыву ветра. Читая, я видела листья, они кружились и падали и не совпадали с текстом природы, впечатанным в память. Это вызывало досаду.

Увлечшись, я не сразу сообразила, что не обращаю внимания на телефон. А он вызванивал второй тур. Орфенов? Он. В первом приближении. Покинувший вечность. Какой-то лепет, в который не стала вникать. Сразу сказала: «Читаю. Это прекрасно. Но ваш текст должен быть уничтожен». И, сказав, поняла, что он изменился в лице. Сейчас наберется

мужества, спросит: «А почему, позвольте узнать?» — «Уничтожен, как осенние листья. Их сгребают в кучу и жгут». Он молчал. «Мне ли говорить о сожжении рукописи вам, почитателю Гоголя! — сказала я. — При самом удачном раскладе этот вариант всегда остается. Поедем за город, ко мне в сад, и сожжем на костре». «Но почему?» — простонал он. «Потому, что победитель не получает ничего!». — «Но я ни на что и не претендую!» — завопил он. «Это кажется. Вы благополучны до отворачивания». — «Я благо-полу-чен?» — «Да. И не спорьте. Вы слишком хорошо устроились в своих домашних микротрагедиях, в этих своих эссе по телефону. Требуется мощная встряска. Новая мера вещей. Новое зрение. Как это у классика: “И внял я неба содроганье, И горный ангелов полет, И гад морских подводный ход...”» — «Но тогда почему вы одобрили мой текст?» — «Потому, что на человеческом уровне он почти безупречен. Повторяю: на человеческом. А речь о другом уровне, более совершенном. Отслоение от повседневности — только начало. А пока у вас слово и дух в оппозиции к созвучиям природы. Глухи, как тетери, упоенные собственным голосом». — «Боюсь, вы переоцениваете возможности дяди Левы. Самое большее, на что он способен в вашем саду, это дышать свежим воздухом и подбирать упавшие яблоки». — «Значит, “увидел зверя и вспять обратился”?» — строго спросила я. Он ответил: «Давайте дождемся момента, когда время, обстоятельства и Татьяна Ивановна будут на моей стороне, ведь вы имеете дело с тепленьким существом для чистилища».

И все-таки в сад мы поехали, правда, для сбора яблок.

Трудно сказать, чем был озабочен Орфенов, исполненный волей Татьяны Ивановны. Забившись в угол вагона, он не отрывал глаз от рукописи, взятой в дорогу.

— Мои занятия исключительно для собственного развлечения, — пояснил он на всякий случай. — Приучил себя быть при литературе, в любом отдалении, любом качестве.

Приткнулся к окрестностям ее владений, так как вообще не к кому было приткнуться при живых-то родителях. А что такое биография писателя, если не история его ушибов в нежном отроческом возрасте!

«Да-да, его занятия от безделья!» — казалось, сумки, тележка, котомки, изобличая опрятную руку Татьяны Ивановны, подтверждали: «Это байбак, лоботряс, Обломов, чесатель затылка».

До самого сада никто не мешал Татьяне Ивановне обнаруживаться в личности муженька. Нельзя сказать, что Татьяна Ивановна слишком преуспела, тем не менее, след ее кропотливой ежедневной работы был очевиден: как всякий творческий человек Орфенов чувствовал необязательность своего присутствия в этом мире. Зато в направлении Свана, где цвел боярышник...

А поток времени, раздираемый электричкой, сквозил мимо, приближая к саду — местообитанию гигантской яблони, которая так и называется — райская. Ветер клонил траву на откосах, навевая ей серебристый оттенок. Рядом стелились колонии желтых цветочков. На них и обратила внимание Орфенова: ведь они вызвали бы восхищение его учителя Пруста.

— О лютиках у него настоящая поэма в прозе, — сухо согласился Орфенов, — а вот об одуванчиках ничего.

— А это не одуванчики.

— Разве? — удивился Орфенов. — Очень похожи.

— И весна в первой поре тоже похожа на осень. Так и они. «Кульбаба осенняя» называются, по сути, трава забвения. Но трава возрождения уже наготове и весной объявится ангельскими голубыми цветами. И знаете, как они называются?

Орфенов молчал.

— Не-за-будки, — напомнила я.

— Ах, да! Романтические, распускаются под луной. Нарисованные обитатели фарфоровой посуды.

— Классические. Никогда не появляются на руинах.

Так память языка увела Орфенова от тени Татьяны Ивановны в мир загадочно-обаятельных аналогий, ошарашила единением слов и законов природы. По разряду забвения и бессмертия.

Следующие десять минут не стоят того, чтобы о них говорить подробно. Станция. Аллея тополей. Калитка. Сад.

Потрясенная яблоня осыпалась куда попало: в траву, на грядки, в приствольные круги других деревьев и на те самые незабудки, которые свежими ярко-зелеными кустиками, но уже без цветов, проросли сквозь лезущий отовсюду пырей.

Орфенов подбирал яблоки молча, не обращая внимания на мои призывы оглядеться вокруг, оценить красоту первой осени. Сумерки делались все пронзительней, больней для души. Темнота приглушала краски в угоду какой-то своей тайне, быть может, включенной в невидимое и не доступной ни глазам, ни рассудку. И обольщения садом с Орфеновым не случилось. И, когда хлопнула калитка, и около нее обозначился человек, Орфенов тоже не поднял головы. Он продолжал подбирать яблоки.

Нет, пришедший не был незванным гостем, но и званным не назовешь. И вообще не гостем, а помощником, привыкшим устраивать из своих появлений сюрпризы. Он как-то не укладывался в нормальные договорные отношения, или они не применились к нему, потому он появлялся, когда хотел. Я, было, отказалась от его услуг землекопа, фотографа, плотника, но он не обратил на это внимания, понимая, какую невидаль собой представляет: ведь он знал наизусть добрую треть Шекспира.

Сей джентльмен оторвался от калитки, накренился и повалил флоксы — их последний вздох напомнил о себе сходством с ароматом брусники. Поднявшись, сделал два

шага и тем прикончил сиреневую семейку безвременника, празднующую свое родство с весенними крокусами. Затем рывком ухайдакал компанию настурций, приникших к опоре оранжевыми капюшончиками. Заодно прихватил рудбекии — всей родней они тотчас повисли с перебитыми хребтами, уткнув рыжие головы в землю. Добравшись до крыльца, пришелец вскарабкался по ступенькам и во всем безобразии, облепленный влажными лепестками, нарисовался в проеме веранды. Место показалось ему тесноватым. Он простер взгляд за окно. На траве безмятежно пасся Орфенов. Сбоку стояла я.

От обычных представлений это отличалось тем, что для начала были выбиты стекла. Кто имеет хоть крохотный домик, понимает, что значит остаться с пустыми рамами и диким виноградом на руках. Затем погромщик вывалился на крыльцо и принялся сотрясать воздух невыносимым английским: «О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства!».

Строки Шекспира заставили Орфенова, наконец-то, поднять голову. Он замер и стал глядеть на меня, как видно, желая сверить свое впечатление. Но что хорошего можно узреть на лице человека, готового разорвать погромщика? Неизвестно, как в подобном случае повел бы себя Шекспир, но, думаю, и от него аплодисментов бы не последовало. Еще бы, такого Гамлета не видел никто — с топором. Именно вид этого инструмента, взятого на веранде, сильно тормозил мое бешенство. Декламатор все оценил (а такие люди чувствуют кожей), его тоже не устроило что-то, и, бросив топор, он объявил следующий номер — поджог, если посторонний не уберется.

В это время показалась Луна. Как некий знак, как символ театра «Глобус», над которым начертано: «Весь мир лицедействует».

Явление Луны преобразило Орфенова. Законник, сидящий в нем, как по команде отозвался голосом автомата:

— Запомните Второй закон Льва Константиновича. С эйнштейновской четкостью и изяществом он пока не сформулирован, но в общих чертах это закон творческой зрелости, когда человек, превративший свою жизнь в служение, выходит на новый рубеж, но реализоваться почему-либо не может. Например, умирает.

— Врешь! — заорал погромщик. — Такие люди не умирают. Они сгорают! ярко, красиво. Как космическая ракета. Давай, хрен-валент, превращу тебя в факел и устрою пожар как Нерон?

Луна была слабая, очень простая и совсем неначитанная. В общем, она была вечная. Немного античная. Все, что случалось под ней, ее мало заботило. Она держала путь к череде тополей, осеняющих дорогу, и собиралась проследовать по голым верхушкам. Ее безразличие было так сильно, что для чего-то разумного просто не оставалось чувств. Хотелось погасить ее и самой провалиться сквозь землю. И появиться с другой стороны Земли. Но! Еще предстояло вывести Орфенова за калитку, ступая к станции без оглядки. И потом в ожидании электрички утешать себя видом все той же Луны. Ничего хорошего о ней, связанной с безумием человека, не приходило в голову. А все казалось: растопыренные кроны деревьев катили ее — блудницу по своим верхушкам и, словно подгулявшие мужики, передавали из рук в руки.

— Знаете, — сказала я ошалело, подогретая своим же сравнением, — лучезарный Петрарка завещал часть денег гуляке Боккаччо...

Орфенов уставился на меня как на что-то потустороннее.

— Ну да, Боккаччо, итальянскому фривольному гению. Он хотел, чтобы автор «Декамерона» наконец-то купил себе

шубу. Такую же теплую и удобную, как шинель Акакия Акакиевича. И знаете, ведь он умер с пером в руках.

— Кто? — бесстрастно спросил Орфенов.

— Ну конечно, Петрарка.

— А я думал, Башмачкин в новом тексте «Шинели».

— А это потому, что вы из нее не вышли! И не выйдете никогда. Ни Бог, ни время, ни Татьяна Ивановна этого не допустят.

— Вам виднее, — невозмутимо ответил Орфенов. — Только в ожидании электрички не воображайте себя Станционным смотрителем. По склонности к пьянству этот персонаж больше подходит нынешнему молодому человеку.

И тирада о том, что мне, как всегда, везет: материал сам просится в руки — выбитые стекла, растоптанные цветы, оскорбления — не просто везенье, это архивезенье, — последовала с неумолимостью приговора. В ответ хотелось рыдать, но жизнь велела смеяться. И я засмеялась.

СЛЫШИТСЯ ТИШИНА

***Посвящается
Константину Валерьевичу Сидорову
и только ему***

История, которую хочу рассказать, известна по литературному шедевру, который не заподозришь в лукавстве. Однако правдивость тут особого свойства — художественная, значит безгрешная по отношению к изначальному факту. А факт этот содержится в воспоминаниях человека, столь же великого, как и пока не названный автор литературного шедевра.

Это случилось в Риге в 1835 г. Одного парикмахера угораздило отхватить себе часть носа: то ли точил на ремне свою бритву и вроде ветряной мельницы размахался, то ли разъела болезнь, какая-нибудь золотуха, а может что и похуже. Во что превратилась жизнь парикмахера, можно представить. Не просто нос, он само лицо потерял в широком и представительном смысле этого слова. Жена бросила, клиенты сбежали, друзья поспешили подальше. Врачи, к которым он обращался, скоро убедились, что цирюльник — жертва собственной неосторожности, а вовсе не сумасшедший, и надоумили обратиться к приезжему коллеге, кто в отличие от них мог бы помочь. Предупредили: коллега молод, но успел поднатореть в ассистентах у заграничных медицинских светил и в свои двадцать пять лет уже заслужил славу

чудесного доктора. Одна незадача: доктор сам заболел и, пребывая на госпитальной койке, нуждается в некотором деликатном уходе. Цирюльник живо смекнул, что случай идет ему навстречу и взялся прислуживать. А когда доктор более-менее пришел в себя и мог держать скальпель, то сам предложил ему операцию.

Взяв кожу со лба, он как-то так устроил, что сообразил ему новый нос. Все пришитое замотал и отпустил с миром. А через какое-то время, видя, что нос прижился и сидел молодцом и даже совался куда не следует, доктор признался, что это была его первая самостоятельная пластическая операция. Вспоминая этого пациента на склоне лет, доктор сказал, что это был лучший нос из всех сделанных им, чтобы «вернуть отверженных в лоно жизни».

Впоследствии наш доктор помог многим людям: и Чайковскому, Гарибальди, Менделееву, Бисмарку, и простым солдатам, и великим князьям. Нетрудно догадаться, что речь о хирурге Николае Ивановиче Пирогове.

Никто ни на чем не настаивает, но аналогия напрашивается сама собой: всякий начитанный человек вспомнит повесть Н. Гоголя «Нос». Заметим в скобках, она была напечатана Пушкиным в «Современнике» в 1836 г. Соединив тему носа с именем Пирогова, вернемся к дате события — 1835 г. Законный вопрос: а как он очутился в Риге, к которой поначалу не имел ни малейшего отношения?

Наш герой возвращался из Германии после курса лекций и занятий оперативной хирургией в клинике Иоганна Диффенбаха, кто утверждал: «Человек без носа вызывает ужас и отвращение. Люди склонны воспринимать деформацию его лица как божью кару за его грехи». В этом высказывании нет никакого преувеличения. Ведь что такое в глазах общества человек без носа — это прежде всего сифилитик, то есть, по мнению многих, падший, наделенный безносой личиной смерти.

Следуя в прусском почтовом дилижансе из Берлина в Кенигсберг, Пирогов думал направиться далее в Петербург. Но по дороге заразился сыпным тифом. Это и вынудило его застрять в Риге. Он пролежал в госпитале два месяца, а когда вышел, едва держался на ногах. Продолжить дорогу не мог. Тогда-то и занялся беднягой парикмахером. Да и не им одним. Сделал много других операций, прочел множество лекций.

Обо всем этом Пирогов пишет в «Дневнике старого врача», издание которого в один прекрасный день попало мне на глаза и, естественно, не без удовольствия было прочитано.

Рижский эпизод особенно заинтересовал меня, я рассказала его знакомому доктору К.В. На Востоке такого человека, как он, называют духовным Мастером, у нас же записывают в парапсихологи, хотя область его профессиональных интересов намного шире.

К.В. выслушал меня, в своем духе заметил:

— Хотите сказать, что душевные свойства разных людей находят друг друга вне мира физических измерений.

— Может, и так.

— Вне времени, вне разума души узнают друг друга по какому-то магнетическому притяжению?

— Это разум вы относите к миру физических измерений? А какой единицей меряете? Эгоизмом? Тщеславием?

К.В. строго посмотрел на меня и бросил полушутливый тон:

— Заметьте, органы нашего тела, кстати и мозг, не очень-то считаются с умом, будь он хоть семи пядей во лбу. Они свои тайны держат в секрете. О какой-нибудь медицинской драме в своей крови или том же мозге человек узнает в последнюю очередь, когда ситуация становится критической. Тут ум начинает суесться, объединяется с

эмоциями, систематизирует, сопоставляет и только осложняет дело. Короче, ум не стал своим господином.

— Я мыслю, следовательно, заблуждаюсь?

— Есть вещи посильнее ума.

— Уж не кирпич ли, падающий с крыши соседнего дома?

— На уровне высказывания многое превращается в лубок.

— А я говорю о шедевре. Представьте, два гения, почти одногодки, Гоголь старше Пирогова на полтора года, по существу, занимаются одним и тем же: Гоголь — хирургией души, Пирогов — хирургией тела. Оба сотрудничают в контексте единого целого... На самой рискованной высоте. Еще жив Пушкин. Объяснять повесть Гоголя литературным влиянием смешно. Она постижима через комплексное понимание. То, что о ней написано, — *литература*, а сама повесть — природней природы, как была, так и осталась загадкой, хотя вызвала к жизни целую носологию. И все авторы этой славной науки — «носологии» — сходятся на одном, что образ Носа заимствован из журналов. Андрей Белый в своей гениальной книге «Мастерство Гоголя» так и пишет: «шутка с задворков журналов эпохи Гоголя».

Авторитет Белого освобождает нас от цитирования других замечательных литераторов вроде Виноградова, Василия Розанова, Набокова, Дмитрия Чижевского и остальных, кому вообще не важно, откуда взялся нос, а важно, как при помощи пустяков можно описать громаду человеческого ничтожества. О самом же «физиологическом ужасе безносицы» пишет только Белый, понимая, что он занимает Гоголя не меньше, чем фиктивность пустой человеческой жизни. Наверно, напечатанные в журналах анекдоты и каламбуры о приращении искусственных носов ближе литераторам, чем какая-то пошлая текучая правда жизни, увернувшаяся от литературы. А она такова, что Пирогов

в свои двадцать пять лет наделал шуму лекциями по хирургии в покойницкой Обуховской больницы Петербурга. Лекции сопровождалась препарированием мертвых тел с показом и разъяснением причин всяческих патологий. Но сначала Пирогов ошеломил ученую публику в Академии наук. Здесь, только вернувшись из заграницы, он дал пробную лекцию «О пластических операциях вообще и ринопластике в особенности». Кто-то из профессоров сказал, что его лекции пользовались такой же бешеной популярностью, как в свое время концерты итальянской певицы Анжелики Каталани.

Для своего первого выступления в академическом зале Николай Иванович принес наглядное пособие в виде старой болванки из папье-маше. Нос, естественно, с болванки он срезал, а лоб обтянул лоскутом резины от драной галоши. Из нее выкроил нос и пришил его так ловко, словно всю жизнь этим занимался. Ринопластику он демонстрировал по индийскому способу, восстановленному немецким хирургом Иоганном Диффенбахом — авторитетом в области хирургии лица, у которого Пирогов стажировался в Берлине, но которого скоро оставил ради геттингенского профессора Конрада Лангенбека, так как берлинец игнорировал анатомию. Первая лекция Пирогова состоялась 9 декабря 1835 г. Последняя — спустя шесть недель. Все это время, пока дожидался утверждения в должности профессора Дерптского университета, Пирогов не прерывал своего просветительского подвижничества. Не исключено, что и двадцатишестилетний Гоголь с его влечением к загробным мирам присутствовал на одной из лекций в Обуховской больнице. А если не присутствовал, то слышал от знакомых. Если же не слышал, то уловил атмосферу времени своим гениальным чутьем.

Невозможно не заметить связь между тем, что делал Пирогов в анатомическом театре, и тем, что делал Гоголь

в прозе. Анатомическая хирургия Пирогова стала у Гоголя психологической хирургией сатиры. По выражению Мережковского, Гоголь превратил свой смех в «жестокое орудие жестокого знания». Вспомним, что доктор, к которому обратился безносый гоголевский персонаж — майор Ковалев, обладал густыми бакенбардами и магнетическим голосом, из корысти не лечил и называл свой труд искусством. Пусть косвенное, но все это имеет отношение к Пирогову. Но есть в тексте Гоголя одна особенная деталь, которая прямо указывает на Пирогова, а именно когда квартальный приносит майору Ковалеву завернутый в бумажку нос и подает со словами: *«Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу... И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос... Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».*

В своем «Дневнике» Пирогов пишет, сколько препятствий пришлось преодолеть, прежде чем утвердить хирургическую анатомию в качестве научной дисциплины. По мнению министра просвещения, профессор анатомии должен был находить в строении тела лишь премудрость творца, создавшего человека по своему образу и подобию. Иной подход считался утверждением грубого материализма и неверия. И добавляет: *«...В стране, где господствует "видимость", я искал "сути". Пока форма и "видимость" будут иметь преимущество в святых местах искания истины, до тех пор нам нельзя ожидать ничего доброго».*

Одна фраза из воспоминаний нашего гения хирургии переносит тему носа в другую плоскость. Это место, где он пишет о геттингенском профессоре Конраде Лангенбеке. Пирогов говорит о чистоте хирургических приемов, которой его учил старик, а главное — о его умении слышать *цельную и завершенную мелодию операции.* Так и пишет:

«учил умению слышать мелодию операции», — и своим признанием просто оторопь наводит. Во всяком случае, на меня. Ведь это откровение человека, который всю жизнь резал, кромсал, не вылезал из анатомического театра. Да только за девять месяцев кавказской кампании Пирогов сделал свыше семисот операций. И вдруг «мелодия»!.. Удивляет то, что о *мелодии* говорит не композитор, а хирург, применяя это понятие к такому далекому от музыки делу, как операция. Ее удачу, спасение человека он связывает с акустической функцией тела, под которую настраивает себя и ставит руку. Жизнь тела, сложные оттенки души, ее драматизм находят выражение в звуке, соединенном с миром природных сущностей, не зависящим от усилий человека, то есть тем, что знали и ценили древние греки, что воплотили в образах сирен и Орфея, что теперь можно назвать тайным знанием. И речь не только о биении сердца, токе крови, ритме, пульсации, паузах, а о чем-то таком, что необъяснимо словами. Это признание как бы выдает код, доступный лишь посвященным вне мира физических измерений.

Кстати, слова хирурга близки к тому, что позднее скажет композитор Арнольд Шенберг, автор атональных творений: *в человеческом взгляде я слышу музыку*. И не он один скажет подобное. За несколько лет до него французский неоклассицист Альбер Руссель выразится в том духе, что *композитору, как и хирургу, необходимо иметь точный инструментарий гармонии*. Что это: безусловное, близкое вдохновению состояние — своего рода формула, когда в человеке говорит поэт? Или связь с вечностным началом по ту сторону мысли? А может, что-то родственное природе экстремальных явлений? Фраза о мелодии наводит на мысль о сверхзвуковых посланиях, например. Вспоминается история французских опытов 1982 г., экспериментально доказывающих, что две испускаемые кван-

товые частицы каким-то образом сохраняют связь даже, когда удаляются друг от друга на огромное расстояние. Едва оказывали воздействие на одну частицу, как другая мгновенно меняла свое поведение. А как узнают друг друга кукушки? Известно, что они подкидывают яйца в чужие гнезда. Но не все знают, что со своими детьми они воссоединяются в южных краях, где перебивают время холодной зимы. Речь о таинственной связи, казалось бы, бесспорно явных вещей. Ученые предполагают, что подобная связь осуществляется через порталы более тонких измерений. Пока что это реальность за рамками физического мира. Она лишь предлагает нам доказательства своей тайны. Но факт остается фактом. Фразу о *мелодии* высказал хирург, пришивший парикмахеру нос. Гоголь воплотил сюжет, принятый за анекдот, сумел его услышать и взять. Пушкин напечатал повесть в «Современнике», в то время как другой журнал — «Московский наблюдатель» — счел ее «пошлой и грязной». А много лет спустя Шостакович обратил ее в музыку и заключил в нотные знаки. Случайность? Вряд ли. Случайность обходит людей, связанных друг с другом мгновением вечности. Возможно, это и есть *мелодия*, но доступная лишь слуху души?.. Какой же должна быть душа, чтобы вибрировать на высочайших частотах? Уверена, вне слова «человеческой» ответ бессмыслен. Вне возвышенного светлого чувства он так же не убедителен. Не случайно в качестве дисциплины людям предложена Библия. Однако соблюдай человечество заповеди, у него была бы другая история, и «Любите себя!» в опрошенном смысле не было бы подхвачено на уровне национальной идеи и встречено с нежностью, опошленной всеобщей симпатией. А скажи, что это переключка с теорией «разумного эгоизма» Чернышевского, то и не знаю, что со мной сделают. К счастью, одного человеческого признания мало. А божественное не узнает себя в этом призыве. Стихией искусства это давно

пережито. Практикой тишины — проверено. Думается, эта мысль особенно неприятна современному человеку. И не только оттого, что жизнь больше слов, а вселенское разногласие тянет в противоположные стороны. Современного человека одолела публичность. Он так озабочен собой, так раздираем тщеславием, что правда сама чурается его, толкая слово заповедное в плен слова звучащего, готового воплотиться без всякого смысла или по «легкости мысли необыкновенной». Это тем удивительнее, что о взаимоотношениях Бога и слова поминается каждый день: через Библию благословляется слово написанное, а через народную мудрость предостерегается о слове сказанном и несказанном. В этом смысле вряд ли прав нобелевский лауреат Салман Рушди, утверждая, что книга не способна оскорбить чьи-то чувства. Он советует: если книга не нравится, хлопните ее, и она потеряет возможность вас оскорбить. Мысль неглубокая. В ней находит себя неверие в силу запечатленной идеи, в том числе агрессивной, которой достаточно, чтобы привести душу в движение, а мысль в определенное состояние. А что делать с ядом, который уже принят? В обществе тотального риска, где гуманистическое начало отчуждается в аутсайдеры под флагом «Любите себя», культура оскорбленности складывается сама по себе как нечто, готовое заполнить пустоту. А неизъяснимое, невидимое, беззвучное меж тем окружает нас и ждет своего открытия. Как и понятное, видимое, звучащее, оно имеет свою структуру, которая также реализуется через вибрацию. Вот и мечтаешь услышать *музыку тишины*, о которой говорит Пирогов и которую ловит во взгляде мастер атональных творений Шенберг. Несмотря на то, что бог хирургии говорит о *медицине*, а мастер атональных творений — о *музыке*, оба вероятно, имеют в виду одно и то же. То, что знал Одиссей, благополучно миновавший остров сирен, этих прелюбодеек глубинного

темного знания. То, что слышали вакханки, растерзавшие Орфея. То, что гении заключают в художественную форму иносказания, давая своим откровениям новую жизнь.

P.S. Ученик Шенберга Джон Кейдж во время своих акустических опытов в звуконепроницаемой лаборатории (1952 г.) сделал открытие: *«Я услышал, что тишина — не отсутствие звука, а действие моей нервной системы и циркуляция крови»*. Это привело его к созданию самого спорного произведения XX в.: «4.33», где музыка воплощается тишиной.

ЧАСТЬ IV
ПЯТЬ ЭТЮДОВ
К АВТОПОРТРЕТУ

ВЫСОКОЕ-ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО

Солнце стало сильнее припекать, снег на крыше подтаял, и на потолке появились мокрые пятна. Уже Светлана не говорила: «В мою жизнь вошла романтическая струя — начал течь потолок»; тяжелые бесперебойные капли пришли на письменный стол с печатной машинкой «Эрика» и материалами для будущей монографии. Тогда-то и позвонила Светлана в домоуправление: что вы там? снег сбрасывать собираетесь?!

— А чего, сахарная? — ответили ей. — Подумаешь, каплет! Да и как это может быть, если летом крышу чинили?.. Полный ажур! И чтобы опять? Может, сами чего намудрили?.. С новым краном-то умеете обращаться?

— Да причем здесь кран?!

— А притом, что ставят хорошую сантехнику, а вы все скручиваете! Вам лишь бы испортить! Кто ручку отодрал от парадной двери? — и, не дожидаясь ответа, голос сменил гнев на милость: — Внизу там, на линии сбрасывания снега, стоит частная машина, совсем новенькая, «Жигули». И покуда она маячит, у нас руки связаны. Не вам же раскошиться, если чего с машиной, и не вам по судам таскаться. А мы это уже проходили. Лучше сами попробуйте изловить владельца. Чтoб переставил. Наверняка из вашего подъезда фрукт. Делов-то — прочесать десяток этажей.

Но Светлана ловить не стала, а пошла к дворничихе. Но дворничиха оказалась от неба еще дальше, чем Светлана.

Не потому что жила на первом этаже, а потому что небо не приходилось чистить, разгребать и посыпать солью. Сущность солепосыпательницы отзывалась в каждом ее слове:

— Машина? Да хоть весь тротуар заставь, все меньше мороки. А то мети, скреби, убирай, а на завтра — снова здорово! Каторга, а не труд. А я, между прочим, женщина. В институте раньше работала.

Немного остыв, дворничиха перешла к новой теме:

— Что-то, милка, прежде тебя не видала. Недавно, что ли, въехала?

— Осенью...

— Не твои ли грузчики высадили стекло в парадном?

— Оно уже было разбито.

— Так-так. Одинокая или с семьей?

— Может, вам анкету заполнить?

— А чего, дело житейское... Или интереса нет?

— Да что вы все! Помешались?! Вам — про Фому, вы — про Ерему!

— Замуж надо выходить. Вот что! Красивая, интересная... Молодая... А крыша течет — не помеха. К себе мужик пусть берет, не жметя... Небось, и зарабатываешь неплохо. Не портниха, нет? За границу-то ездешь? Так-так. Когда стекло-то махнули, я хватилась, а мне говорят: это, мол, разведенная, модная, что въехала на последний этаж.

— Да не касалась я никакого стекла!

— Люди вот разводятся, производят обмен, а после опять жизнь устраивают... Небось, и кавалеров прорва. Женатых гони, скатертью дорога, одна морока от них. И нечего сердчать! Не девочка.

Обработав человеческую душу с тем же усердием, с каким действовала ломом, дворничиха сказала:

— А ты, милка, зря беспокоишься, объявленьице-то готово, — и, вынув из кармана бумажку, подала Светлане прочесть:

«Господа! Просьба не бросать в мусоропровод тухлую селедку. Это — не озон и не Лориган-Коти».

Светлана уставилась на дворничиху, пробуя что-то понять.

— Больно складно написано, — пояснила дворничиха. — На память взяла из соседнего подъезда. Вместо «селедки» вписать «машину» — и печать пришпандорить.

А капли меж тем добрались до картотеки, отражающей интерес мировой науки к проблеме: «Вымысел и действительность». Значилась на карточках и фамилия Светланы — Бояринова.

Прежде чем укутать ящики клеенкой и поставить на них кастрюлю, Светлана обозвала автомобильного владельца бессовестным и перенесла занятия на сухую кухню. Пускай течет, отвлекаться она не намерена.

Если бы кто-нибудь заглянул к ней, то увидел бы такую картину: Светлана Алексеевна в синем длинном халате, который делает ее похожей на гейшу, расположилась между холодильником и газовой плитой. Сидит она боком, потому что некуда девать ноги, не внутрь же стола, между вареньем и сухими грибами. Бумаги, папки, справочники лежат не только на плите, но даже на откинутой дверце духовки. На месте буфета, выдворенного в коридор, — разложенная раскладушка под пледом. Она придавлена раскрытыми фолиантами. На ночь книги перекадываются на телевизор — единственный некухонный предмет, волею хозяйки прописанный здесь постоянно, с самого въезда в квартиру. Из-за осадного положения телевизор теперь служит чем-то вроде стойки. Светлана Алексеевна подходит к нему, чтобы перекусить.

Практичные люди могли бы сказать: «Дурью мается», вспомнив, кстати, про ложку, которая горло дерет. Те же, кому было известно, что, кроме литературы, Светлану Алексеевну мало что занимает, заметили бы: «Только так

и можно что-нибудь сделать. Пусть бездари создают себе условия». Равнодушие Светланы Алексеевны к быту распространилось и на объявление дворничихи, на котором появилась обесценивающая приписка: «Срочно! Продаются башмаки для тех, кто собрался в долгий путь за истиной». Пожав плечами, Бояринова лишь подивилась человеческому умению соединять философию с торговлей.

Победное солнце тем временем растопило снег на крыше, так что в один прекрасный день последняя капля шлепнулась мимо кастрюль и скатилась с клеенки, оставив гибкий известковый подтек. Книги, картотека, письменный стол вновь стали досягаемы, и, жадно вдыхая запах сырой штукатурки, про который говорила: «Пахнет печкой», Светлана Алексеевна больше не сердилась на владельца. Стоит себе машина и пусть стоит. Придет настоящая весна, ее и след простынет.

Но весна наступила, а машина не трогалась с места. Ее владельца как будто не волновало, что рядом уже распахнулись двери давно не тревоженных гаражей. Чем был он так занят? В городе забот много, всех не угадаешь. Голуби, которые искали пропитание возле колес, вспархивали от шагов Светланы позднее, чем она переставала думать о владельце. И не потому, что мысленно оставалась за письменным столом даже на прогулке. Наоборот, весна заставляла работать по принуждению, просто отсиживать, чтобы после не мучиться как бесполезному человеку. Но все равно угнетало, что движима привычкой, а не потребностью, что зашторенные окна спасают от солнца, а не от самой себя, и что нет ничего оскорбительнее бесплодного просиживания. Благословенное затворническое чувство убывало, уступая желанию перемен. Это было так сильно, что тело становилось слабым для чувства, а ум не пригодным для теорий. Такое состояние Бояринова называла «*приступами жизни*». Когда оно находило, Светлане Алексеевне требова-

лось кому-то сострадать, нести радость, служить преданно, без рассуждений, к кому-то отчаянно привязаться сердцем. В таком состоянии она и посмотрела однажды на машину.

Толстый слой пыли лежал на сером капоте, на стеклах. Тусклые грязные шины словно приросли к асфальту, пустота исходила от ручек, от холодных сидений. И заброшенность, острая, городская, непонятная без тишины и векового бурьяна. Ни с чистым днем она не вязалась, ни с младенческой газонной травой, ни соседством зеркальных машин, освоивших подножие дома. Стремительно двигалось, шумело, дышало все кругом. Побеждая запах свежести едким духом бензина, подъезжали и уезжали машины. Хлопали дверцы. Галдящими стаями срывались вверх воробьи. Шевелилась на асфальте даже тень старой липы, продуваемой ветром. Только запыленная машина была чужой и весне, и солнцу, и провальной синеве между облаками. И звукам пианино из какого-то окна. «Куда же девался владелец? — подумала Светлана. — Неужели с ним что-то случилось?» Однако не на ученом же совете или в читальном зале гадать о его судьбе, когда собственное нерабочее состояние занимало все мысли. И тревога пробивалась, когда Светлана видела машину, по утрам и вечерам, изо дня в день, пока не обнаружилась как жалость. Скорее всего, думала Светлана, он болен, беспомощен, и во всем городе нет ни души, кто позаботился бы о нем. Вспоминались истории об одиноких людях, страшные, полуправдивые, которые пригасли бы в памяти сами, не озари их бессмертное: «*Вашему пахарю моченьки нет...*» Беспокойство мешало вспомнить, что там у Некрасова дальше, она подходила к книжному шкафу, а в уме уже обреталось все до единой строки:

Знал для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.
Плохо бедняге — не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет.

Быть может, и здоровье подорвал из-за этой машины. Копил деньги, отказывал себе в еде, не понимал, что силы на исходе. И некому было отговорить, занять другим. Жалость удваивалась от раскаяния, едва вспоминала, с какой неприязнью думала о владельце раньше. Чтобы рассеяться, подходила к окну, но взгляд почему-то тянуло вниз. Сердце окутывалось болью, как поле туманом, от избытка ли незанятых чувств, от жалости ли к владельцу? Казалось, сердцу все равно, на чем растратиться, лишь бы не биться зря, без сострадания.

За тридцать семь лет жизни оно так и не научилось перебирать и сочувствовало всякому, кто подворачивался на пути. Если же этот всякий попадал в период «приступа жизни», то сочувствие оборачивалось помощью. Правда, добытый Светланой успех не шел впрок: ведь люди привыкли к своей слабости как удобству существования и укрывались в ней точно в закоулке, ведущем от большой опасной дороги. Успех служил им не для дела, а для воспоминаний. Светлана Алексеевна как раз изживала ощущение неразборчивости после одной недавней истории. Героиней истории была Саша — сотрудница конструкторского бюро, в котором Бояринова время от времени заказывала ксерокопии. Про Сашу было известно, что тридцать лет она пишет рассказы и тридцать лет надеется их напечатать. Светлана Алексеевна встретила с ней, когда Саша оплакивала очередную неудачу: только что из редакции вернули пакет, сопроводив ненавистным: «должны вас огорчить...» Саша обреченно смотрела в одну точку и бестолково твердила: «Если бы не дочка, я выбросилась бы из окна».

Светлана Алексеевна попросила отвергнутые рассказы. Саша зарыдала сильней. Тогда Светлана Алексеевна сама взяла пакет и вечером дома положила его на письменный стол. Читая, не заметила, как увлеклась, начала править, дописывать. И все это время не могла забыть дрожание Са-

шиной руки, выбирающей таблетку из фольги, и стук чашки о редкие зубы. Подстегивало и воспоминание о Сашиних родственниках с их советами заняться чем-нибудь путным. Уважение ли к чужому труду, неприязнь ли к обывателям-родственникам или досада на редакционного сотрудника за отписку прибавили решимости, только Светлана Алексеевна пошла с отвергнутыми рассказами к главному редактору журнала и попросила прочесть самому. Как ни ценил редактор чужую доброжелательность, он никогда не согласился бы поддерживать бездарь. Но один из рассказов ему понравился. Впечатлением редактор поделился как человеком, открывший юное дарование. Для публикации потребовалась фотография. И через несколько дней с портрета глянула немолодая женщина с такой хитровато-простодушной улыбкой, словно собиралась сказать: «Вот тебе и Саша!» От маленьких круглых глаз под темной, точно приклеенной челкой, от кожаной шляпы с бантом исходило сияние. Главный редактор до того удивился, что почувствовал себя обманутым. При первой же встрече он припомнил Бояриновой:

— Ну что, подсунула нам бабушку?..

Светлана Алексеевна, собравшаяся было благодарить за публикацию, осеклась.

— Не так уж и много — один успех за тридцать лет, — всего и сказала, не довольная тем, что защищает справедливость банальностью.

— Успех! — усмехнулся главный редактор. — Перспективы-то никакой.

Примерно так же подумала и Бояринова, когда узнала, что Саша вышла на пенсию и впечатлениями от долгожданной свободы делилась так: «Связала две кофты, сшила сарафан, два платья, съездила на экскурсию...» Вспомнились слова главного редактора: «Не для тех стараетесь, Светлана Алексеевна». «Одаренность возьмет свое», — мысленно возражала ему Светлана. Ведь для Бояриновой самый понятный

характер всегда заключал в себе тайну. Однако, не коря себя за близорукость, она все же, переживала прошлое как ошибку. Ее разуму требовалось что-то более значительное, чем существование довольного человека, которому ничего больше не нужно и который на ужине в честь публикации заявляет о пределе мечтаний, а затем подтверждает свои слова многомесячным ничегонеделанием. Едва подопечные утрачивали в глазах Бояриновой самое привлекательное свое качество — страдание, как словно становились другими. Светлана Алексеевна долго мучилась из-за людского несовершенства, вспоминая, как после торжественного ужина в честь публикации Саша благодарила ее за сюрприз — роскошную кулебяку:

— Расположить к себе мужиков лучше нельзя.

Чем чаще наступало разочарование, тем обиднее становились одинаковые соболезнования разных людей: «Всех на Руси не облагодетельствуешь». «Только тех, — отвечала Светлана, отстаивая свое право, — что попадают на пути». Однако и ее утомили промахи. Их накопилось так много, что она стала называть себя «бестолочью». Не однажды настаивал период временного покоя, скудной правильности и умеренности поступков, когда можно извлечь урок и к ближайшему «приступу жизни» наказать себе: помогать по уму, а не по чувству. Ум же нацеливал на бережных многоопытных людей, кто старался одолеть трудности сам и в дружеских отношениях держался меры. Меньше всего эти люди боялись попасть в зависимость или остаться в долгу. Они знали, что Бояриновой ничего не стоит сделать хорошее: сколько бы сил она ни тратила, всегда это была малость перед остальным — тем, что в запасе, что покоилось без движения... И нарастращенность томила ее, и обострялась потребность опекать какое-нибудь несчастное существо, которое нуждалось бы в ней беспредельно.

Муж таким существом не был, хотя нуждался в опеке. Заботы о нем за три года совместной жизни выродились в добывание хороших продуктов, которые он ел только с горячим хлебом. Светлана Алексеевна старалась, как могла, но он все равно переметнулся к другой. Новая любовь не совмещала домашние обязанности с наукой и не заставляла чувствовать себя протоплазмой, словом, достоинствами не унижала.

И остальные, после мужа, обескураживали. Их как-то не радовало, что Бояринову приглашали в Англию читать лекции, что в Кембридже она жила в комнате для почетных гостей. Интересовались больше подробностями оформления визы, бытом, спрашивали, все ли англичане чопорные и правда ли, что умываются из раковины. Часто цеплялись за какие-нибудь детали, сбивая разговор на пустяки. И Светлана Алексеевна в который раз замечала, что говорит, как в комнате для почетных гостей она раскрыла шкаф, чтобы повесить свои длинные платья, но обнаружила внутри закуток, не рассчитанный на женские туалеты. Средневековые мастера старались лишь для мужчин. То, что она водрузила платья на крючки для мантий, куда больше увлекало слушателей, чем все рассуждения о вымысле и действительности. И тогда Светлана Алексеевна стала начинать рассказ таинственным полусшепотом:

— Представьте себе, Кембридж, ночь, средневековье. Портье открывает дверь огромным ключом. Дубовая мебель...

А когда доходила до джентльмена в цилиндре, который сопровождал ее на лекции, блистательного, надменного, самолюбие слушателей почему-то не выдерживало, однажды ее спростили:

— А если честно, кто вам все это устроил?

Светлана Алексеевна не сердилась, она готова была терпеть такие милые простительные пустяки. И этим

окончательно обезоруживала своих поклонников. С ущемленностью задетого самолюбия они называли Бояринову «недоступной женщиной», прибавляя: «Не по теперешним временам». Так же неопределенно говорили, что у нее глаза как у восемнадцатилетней — слишком наивные.

Лишь один Игорь Морисович не соперничал с ней. Вместо осточертевших ободрений: «сильная», «мужской ум», «мужская рука», сказал: «Нужно беречь себя. Ведь вы — женщина. У вас не так много сил». Светлану Алексеевну настолько потрясли эти слова, что ночью, проснувшись, она вспоминала обстоятельства, при которых он говорил. Перед глазами возникал парк, безлюдная аллея и осенний туман, поглощающий дыхание Игоря Морисовича.

— Вы слишком много занимаетесь жизнью. Пошлите к черту всех этих Саш, Глаш, Даш... Далась они вам. Есть высшая цель. По ней будут судить о вас, а не по вашей благотворительности. Кому теперь интересно, что Милорадович, например, освободил крестьян, а Пушкин нет? Милорадович так и остался крепостником, а Пушкин... Не мне вам говорить.

На другой день Игорь Морисович сам удивился бы тому, что нагородил про доблестного Милорадовича, но тогда он был так мил.

Автор двух написанных и нескольких еще ненаписанных книг, Игорь Морисович вручал Светлане свой чемоданчик и просил понести, потому что у него заболела печень. Светлана принимала ношу, но, пробуя поставить рыцаря на место, интересовалась:

— Может, вам и цветов купить?

— Цветов? Боже сохрани! Лучше кураги, в ней есть калий.

Когда Светлана думала об Игоре Морисовиче, то всегда представляла себе человека в полосатом халате и домашних шлепанцах, хотя видела его и с рюкзаком, набитым капуст-

ными кочанами, — время от времени он ездил в центр города закупать продукты. Трудно было предположить, что перед вами исследователь, который с гордостью определял занятие наукой как элитарное. Нередко ему изменяло чувство меры: он, например, не терпел в разговоре авторитетных имен; слово «талантливый», отнесенное к кому-нибудь живому, заставляло Игоря Морисовича нервничать, руки его начинали дрожать. Казалось, чужие работы он читал для того, чтобы изречь: «Этот человек мне ясен. Он любит полных брюнеток, коньяк “Камю” и бифштексы с кровью». Или: «Тут нет двух мнений — история хама, написанная хамом!» На вопрос, зачем два ряда небольшого шкафчика оставил одинаковыми экземплярами собственной книги, Игорь Морисович отвечал:

— Чем захламлять всяким бредом, лучше это.

(И, наверно, был прав).

А тот, кто неосторожно заявлял, что первая книга Игоря Морисовича понравилась больше, чем вторая, достаивался снисходительного:

— Это потому, что вы — невежественный и малокультурный человек. С вами все ясно. Я сразу заметил в вас некоторую генетическую смазанность.

Бестактность, капризы совмещались в Игоре Морисовиче с одаренностью исследователя, способного заниматься своим предметом с утра до ночи. За чистое отношение к делу Бояринова прощала ему многое.

Однажды, в минуту душевного сиротства, Светлана позвонила Игорю Морисовичу, полагая, что мелкий упорный дождь сделал его подходящим собеседником. Действительно, он тронул Светлану искренним признанием, что противен сам себе и не знает, куда деваться.

— А вы влюбитесь, — посоветовала Светлана.

— Не в кого.

— В меня, например.

Последовало молчание, потом простодушный ответ:

— В вас влюбиться нельзя.

— Почему? — спросила Светлана тоже серьезно, пока Игорь Морисович прикидывал, сколько понадобится энергии, сил, фантазии ради одного только сомнительного звания поклонник. Добиться же большего? А где взять терпение? И потом ухаживать без тайной цели... Он давно вышел из этого возраста.

Но у Игоря Морисовича хватило ума воспользоваться промахом, чтобы заявить себя для более благородной роли — друга, старшего наставника, если угодно:

— Полюбить женщину — значит потерять ее! А я этого не хочу.

Впрочем, он не лукавил, когда просил Светлану забыть, что она женщина, ставя науку выше самолюбия.

Но все-таки находились охотники, искавшие встреч самоотреченно, с дерзким упорством. Тогда подаренные цветы не успевали вянуть, сменяясь другими, начиналась лихорадка встреч, с карусельной быстротой летело время. Лишь засыпая, Светлана успевала подумать: «Он добивается, чтобы отступить. Удержать ведь труднее, чем завоевать». И беспощадно додумывала: «Отступится и все равно вернется, уже ненужный». Почему так происходило, Светлана не знала, но хотела, чтобы кто-нибудь умный объяснил со стороны. И звонила Игорю Морисовичу.

— Ради бога, никаких неприятностей! Мне нужны только положительные эмоции, — поспешно предупредил Игорь Морисович, и его нервные пальцы, наверно, искали какую-нибудь скрепку, которая расплатилась бы за его волнение.

От желания говорить вмиг оставалось что-то совсем скромное, что укладывалось в неотложный вопрос:

— Игорь Морисович, с чего начинается гибель любви?

— С прикосновения!

Озадаченность Светланы переросла в протест, она возражала:

— Да нет же!.. С боязни оказаться за бортом.

Игоря Морисовича раздражали спорщики, и он обрывал разговор:

— Займитесь делом. Это разговоры для праздных.

— Но я же не машина, — защищалась Светлана.

— В таком случае можете больше не продолжать. С вами все ясно. Тогда варите кашу, чистите кастрюли и будьте обыкновенной женщиной. Если вы ищете нового подопечного, — жестко определял Игорь Морисович ее состояние, как будто знал, что накануне вечером она, такая гордая, самостоятельная, впервые в жизни попробовала заручиться постоянством своего нового воздыхателя и услышала в ответ: «Как вы, Светлана Алексеевна, не цените себя!», — то заботьтесь обо мне, покупайте курагу, утешайте, рассказывайте... ну, не знаю... про герцогиню де Ментенон, например... Все-таки у вас очень тяжелый характер. Две недели вы обещаете угостить блинчиками, которые похожи на вологодские кружева. Где они?

— Вас разве дозовешься? То у вас печень болит, то хандра одолела, то погода не та... Уже счет потерян вашим капризам.

— А вы принесите ко мне.

— Не путаете ли вы меня, Игорь Морисович, с какой-нибудь ненормальной кошатницей, которую очеловечивает только любовь к выхолощенному затираненному коту! Не ждете ли, что и я, как ваша соседка, начну говорить про своего Ваську: «А огурчики мы тоже любим»? Разве я от ненужности маюсь? От приступа жизни!

— Все-таки талантливая женщина — это кошмар. Никто и не отрицает ваше великодушие, — заключал Игорь Морисович и бросал трубку.

Минут через десять он все же звонил, чтобы внушить:

— Вы страдаете от своей доброты. Для обычной жизни не нужно всего, что слишком. Берега нужны, понимаете? Знаете, кого вы напоминаете? Дерево... Что-то из группы мамонтовых. Со стволом, который не раскачаешь. Уцелели еще такие. Подождите обижаться. Диковинное дерево. Потому что оно не просто большое и не просто вечнозеленое. На нем привито много разных растений: и яблоня, и груша, и слива, и персик, и даже... фейхоа! Да, с запахом земляники. Но дерево такое высокое, что невозможно ничего достать. Да и не надо доставать. Дело не в плодах.

Глухой шум в трубке заставлял предположить, что Игорь Морисович съехал на диван и пристраивал возле подушки телефон.

— Но в природе нет ничего напрасного, — напоминала о себе Светлана.

— Стихия такого дерева — вы-со-та! Оно должно просто существовать... Чтоб все знали: есть такая диковинка.

Многое из того, что говорил Игорь Морисович, имело смысл, если он не щадил ее самолюбия. Но сравнение с высоким деревом показалось Светлане лестным, и она простила ему менторский тон. Однако спустя несколько дней этот тон опять откуда-то взялся. Светлана позвонила, чтобы ошеломить Игоря Морисовича новостью. Минуту назад она узнала, что авторитетный профессор на представительном собрании хвалил новое направление ее работы, требуя для Бояриновой поддержки. Но главное было не в пользе выступления. Ей не терпелось сообщить, что никогда не переведутся благородные люди. Тем более не терпелось, что Игорь Морисович был свидетелем, когда другой ученый муж унизил Светлану отповедью: «Что вы хотите? Мне надоело быть антрепренером. О себе некогда думать!»

Игорь Морисович не разделил Светланиных чувств, фыркнул в ответ:

— Тоже мне Дон Кихот! Да он должен был так поступить, если болеет за судьбу науки... Он же к вам хорошо относится, ценит...

Это звучало обидно. В памяти возникло все, что когда-то простилось самому Игорю Морисовичу, но осталось в сердце на счету: главное же, отказ ввязываться в дискуссию из-за «острой» работы Бояриновой. И, пренебрегая запретом на отрицательные эмоции, может быть, жестче, чем хотела, Светлана Алексеевна отрезала:

— Вы тоже меня цените, но не сделаете ничего похожего!

От неожиданности с ног Игоря Морисовича, наверно, слетели шлепанцы. Светлана не успела представить себе его голые пятки, гребущие к себе коврик, как Игорь Морисович назвал ее циничным, меркантильным и отвратительным человеком. Отношения были прекращены. Когда ее спрашивали: «Какая кошка пробежала между вами?», Светлана хмуро отвечала: «Есть вещи, которые не прощаются никогда».

Теперь, глядя на машину, Светлана чувствовала себя никому не нужной и какой-то нелепой. Было обидно за тех, для кого не просто старалась, а прошибала лбом стену: почему люди оказывались мельче, чем она думала?.. И себя было жаль: опять жажда содействия возобновляется в ней, как хроническая болезнь. Как бы со стороны она оценивала себя и думала, что самосохранение возможно лишь в примирении одушевленного и неодушевленного. Тем спасительнее становилась мысль о владельце машины. Ведь он был так явно и так удобно несчастен, что можно было сочувствовать, не боясь разочарований.

И вдруг ночью кто-то сорвал с машины решетку радиатора. Черная дыра между фарами вела к тусклым металлическим внутренностям, словно ход в распечатанный тайник. Для ошарашенной Светланы это было посягательством на

нее саму, на ее надежду, на то, что желает владельцу выздоровления. Отступить так сразу она не могла. «Любого могут разорить, пока лежит в больнице», — этот довод был сильнее действительности, в которой машина из ночи в ночь стала терять какую-нибудь из частей, оседать, никнуть к асфальту. Возвращаясь домой, Светлана иногда перехватывала нечистые взгляды, шарящие по капоту, и чувствовала себя способной схватить палку, чтобы отогнать примечающих. Сдерживая себя, старалась не думать оскорбительно о людях, но почему-то думала, возмущалась их черствостью и тем, что никому нет дела до ночных расхитителей, сколько ни звони стражам порядка.

— Какие там меры, гражданка, — отмахивались они, — если вы не знаете ни номера машины, ни фамилии владельца! Вот если в этой машине совершат правонарушение...

Светлана хотела обратиться к дворничихе, но подумала-подумала и отказалась. Зачем? В несчастье владельца она больше не сомневалась.

Не разорение щитка, не пустота вместо капота, не разгром багажника убедили Светлану, а вид рваного толя, брошенного кем-то на ложе с неподъемным мотором, чернота толя, угнетаемого дождем. То был конец. «Бедный владелец», — подумала Светлана.

Она обошла машину, словно катафалк, заглянула внутрь. Сама собой пришла мысль о цветах. Не отдавая себе отчета, она подалась в цветочный магазин. Там, в полумраке, стояли только гортензии в горшках, распространяя запах теплицы. Светлана собралась было к выходу, как вынесли цилиндрическую вазу, словно обрубленную по росту гвоздик. Она взяла букет и, едва замечая встречных, пошла к дому. Она хотела положить цветы, веря, что человеческая жизнь, пусть неведомая, чужая, достойна чувства утраты и сострадания.

Подойдя к машине, расправила гвоздики и успокоилась тем, что дождь избавил ее от свидетелей. Для верности все-таки оглянулась и... положила цветы. Белым пятном они отразились в мокром толе, как вдруг... Кто-то тронул ее за плечо. Светлана вздрогнула. Рядом стояла дворничиха. Любопытство на ее лице мешалось с интересом к людской оборотливости, к умению даже маленькую сумочку приспособить для своих целей. Чем озабоченней искал взгляд дворничихи недостающий мелкий предмет на машине, тем сильнее нарастал в Светлане протест униженного подозрением человека. Однако ни одного толкового разубеждения не находилось, а, как нарочно, думалось, что слишком тепло одета, что от сырых деревьев пахнет корой и стволы черны...

— Уж и брать нечего, — сказала Светлана образумляюще.

— По мне, милка, так пусть унесут с потрохами. Не жалко! — великодушно отпустила дворничиха людские грехи и дала скидку на остаточные явления совести: — Чего жалеть-то?! Легко пришло, легко и ушло!

— Но, согласитесь, история ужасная. И грустная, если хотите.

— Всех, милка, не пожалеешь! А ты мне вот что скажи. Не твой ли сосед повадился бросать огрызки в форточку? Ну что за бесстыжий народ! С вечера уберу, а утром опять — осколки, огрызки, всякая дрянь... Да что он не спит, черт его не берет! Весь двор стружками завалил. И в лифте пятно от канистры. С зимы не уgomонится никак. Денег, видно, куры не клюют. Под дуб, под ясьень отделявает квартиру. Не кооператор он, нет?

— Кто?

— Да сосед твой, милка! Что въехал на Крещение. Дверь-то новую видала?.. Небось, зелененькими заплатил.

— Какое мне дело до всяких дверей?

— По нынешним временам, милка, такие двери одни бакалейщики ставят. Семья-то у него которая по счету, не знаешь?

— Нет у него никого.

— Ты мне, милка, мозги-то не пудри. Сама видала... С черненькой... Ни рожи, ни кожи... Да и мужики-то нынче... До чего дело дошло! Люстру повесить некому. Пришлось самой присобачивать. Или алкаш, или соплезвон, без няньки ни шаг. А стоящий народ... Тоже ведь не заступники. Все нынче не то. Что работяга, что ваш брат — научный работник. Не горюй, гусь свинье не товарищ! Поди-ка лучше цветочки в водичку поставь.

— А все равно жалко. Этот человек как раз хороший был.

— Может, и был, да вот беда, дурочка, сплыл.

— Разве можно винить человека в смерти?

Упрек заставил дворничиху тяжело и долго соображать. Она нахмурилась, дивясь своей бестолковости, от чего в лице совсем потерялся смысл. Обе стояли друг перед другом, не зная, что и подумать.

— Разве он не умер? — спросила Светлана, начиная пугаться.

— Кто? — вовсе отупев, отозвалась дворничиха.

— Владелец машины.

Дворничиха плюнула себе под ноги, словно поставила точку на всей неразберихе, когда других делают дураками, хотя они смышленее и практичнее всяких научных работников и давным-давно навели справки да еще милиционера притянули, чтоб убрал непотребство из центра города. И язык дворничихи заходил, как плетка при ученье уму-разуму:

— Как же, умер! Держи карман шире. Это хорошие люди умирают, а вроде этого скотовоза сидят в тюрьме. Спекулянт он. Аферист. У него еще две таких машины и все конфискованы. И эта тоже конфискована.

Дальше Светлана Алексеевна не стала слушать. То, что выкладывала дворничиха, для кого-нибудь и сошло бы за правду, но Светлана Алексеевна слишком хорошо знала природу действительности. Знала, что люди не могут без вымысла. Жаждут его. Светлана только не понимала, почему вдруг напала такая тоска... Почему дрогнуло сердце. Зачем это чувство вины. Перед кем? И не желала признать, что ощущением пустоты напоминал о себе *приступ жизни*. Медленно превращался в боль. А может, это работа, брошенная посредине, давала знать о себе? И слова Игоря Морисовича: «Вы слишком много занимаетесь жизнью, варитесь в ней. Запомните, для вас она — только материал», — уже не казались жестокими.

А в милиции в это время должностное лицо заказывало технику с подъемным краном, чтобы переправить рухлядь на свалку — туда, где покоились старые башмаки неудачливого искателя истины.

Виной же всему было солнце...

ТАВРИДА

Колы разлучаются двое,
за руки берутся воны.

Украинская народная песня

О нем, главном инженере Сабрине, говорили, что даже летом время сна — какие-нибудь сто восемьдесят-двести минут темноты — ему отмеряет электрическая лампочка над входом в подъезд: покидая управление последним, он включает ее на ночь, чтобы на рассвете самому погасить. Отдельные поступки этого человека называли сумасбродными выходками, а я тем не менее доброжелательно настраивалась к нему, хотя однажды согласилась: «Умная голова дураку досталась!»

Ко дню встречи с главным инженером у меня уже сформировалась потребность сказать ему несколько трезвых фраз, что когда-то было необходимо выкладываться ради производства, а сейчас не двадцатые годы, не тридцатые, не военные сороковые, сейчас четко разделено время труда и отдыха и незачем выпрыгивать из штанов.

И вот он сидел передо мной, а язык не поворачивался говорить. Глядя в его лицо, истончившееся на сером воздухе, пахнувшем горячим агломератом, было ясно, что он освоил на фабрике все работы, какие возможны, и по необходимости вкалывал в выходные. Ради собственного удовольствия?

Вряд ли. Что-то подсказывало, что ради удовольствия он мог наблюдать, как разламывается каленый пласт агломерата, прежде чем огненной лавиной свалиться в вагон, или взбежать по наружным скобам на самый верх фабричного здания, пренебрегая безопасной внутренней лестницей. Возможно, стоя у смотрового окна, он представлял, что видит движение глубинных масс в земном ядре, и это давало силы: он чувствовал свою соприродность духу огня.

Приготовленную еще до встречи фразу я произнесла лишь к концу разговора, когда в голосе главного инженера обнаружилась доверительная интонация.

— Мне сказали, что вы на фабрике с пяти утра до ночи, а в остальное время вам можно позвонить домой, и вы придете, если не ночуете здесь, на диване.

— Иногда я так устаю, что не в силах добраться домой. Даже перестал замечать, что засыпаю одетым. Может быть, потому что мне некуда спешить.

— Есть книги, кино, компании...

— Я так устаю, что в мудреной книге не соображу, а когда просто отдыхаю, то перестаю себя уважать.

— Всегда так? Должна ведь и у вас быть остановка.

— Тогда я умру.

Чтобы не дать ему время на новые необязательные мысли, я сказала первую чепуху, как врач, отвлекающий больного:

— Какая у вас замечательная картина! Интересно, как она называется?

Понимающим взглядом Сабрин освободил меня от роли успокоительницы. Тонкие пальцы его тронули карандаш.

— «Зимний вечер». Художник Дубовской. А я называю ее «Шинкарка». Хибара. Кругом снег. Еще розовые облака. Лошади дремлют у входа. Собаки не лают, значит, встречают знакомых. Где так может быть? У шинка. Я смотрю на этот снег, и он успокаивает меня.

Сабрин говорил по памяти, не поднимая к картине бледного продолговатого лица. Он словно сдавал экзамен по наблюдательности и ждал одобрения, чтобы отнести его не к себе, а к художнику. Картина понравилась мне хотя бы за то, что она нужна была Сабрину, когда его беспокоила любая пылинка, упавшая на электрический контакт. Эти розовые облака, возможно, не тронули бы меня, если бы не обнаруживали тоску Сабрина по тишине и тому небывалому состоянию, когда он мог бы отлучиться с фабрики и не сообщать диспетчеру, где его разыскивать.

Легчайшие позлащенные облака напомнили Сабрину о происшествии того дня, когда он выбрал картину на складе и повесил у себя в кабинете при цехе. Он рассказал об этом происшествии, уже знакомом мне со слов других.

В конце смены из грохота (хвостовой части агломашины), куда со спекательных тележек падает раскаленный агломерат, вылетел колосник. Раздосадованный агломератчик доложил Сабрину и ждал обычного в таких случаях распоряжения: остановить машину, залить водой. Ждать, пока металл остынет, предстояло уже не раздосадованному агломератчику, а тому, кто его сменит через несколько минут. И рабочий готовил себя к ярости сменщика и к подкрепляющим ее выражениям. Сабрин же, выслушав, представил себе лицо начальника смены — своего коллеги, который, наверно, едет на фабрику, а может быть, уже входит в ее ворота и не догадывается, какой «подарок» ему подсурили. Сабрин не сказал рабочему ничего нового, но через несколько минут после того, как остановили машину, распорядился прекратить охлаждение. Грохот был все еще раскален и цветом походил на просвеченные рубины, когда Сабрин кинул на его дно, выложенное колосниками, мокрую фуфайку, надел две пары брезентовых рукавиц и через то самое круглое окно, куда любил смотреть, думая о силах земного ядра, стал спускаться вниз, словно в колодезь.

Сначала загорелись рукавицы, потом ботинки, и Сабрин слишком поздно понял, что следовало привязаться канатом, иначе пока он достигнет дна, на нем сгорит одежда.

Он крикнул вверх:

— Воды!

Сразу холодные струи ударили в Сабрина, упали наискосок и жарким паром отошли от каленых стен. Сабрин почувствовал, как начали скручиваться кончики ушей и пот, испаряясь, покрывал тело солью. Сабрин стоял уже на дне, и оставалось только не задохнуться, и не скатиться под уклон, и не удерживаться за адские стенки, для того чтобы нагнуться и вправить колосник, и сдать новой смене исправный работающий механизм. И Сабрин нагнулся и протянул к колоснику руку. Обнажилось запястье между рукавицей и спецовкой, и кожа на запястье надулась, как готовый лопнуть пузырь. У Сабрина были еще силы вправить колосник ногой, и он истратил их, вверяя свое спасение людям, которые сгрудились над ним в безопасной высоте цеха.

Они показались Сабрину похожими на студентов-медиков, которые следят за операцией: он уже воспринимал все с безразличием обреченного.

Слоистый жар шел от огромных поверхностей металла. Густ и мутен был воздух, опалявший его. Стены дрожали и багровели. От их мощного остывания иссушалась соль на лице. И так явственно Сабрин ощущал, как уплотняется пространство возле него, как смыкаются края спасительного окна и жар выжигает внутренности, что ему захотелось броситься вниз и прекратить в теле изнурительную слабость. Он с трудом удерживал падавшую голову и поднимал сухие глаза, чтобы согнать дурман и не никнуть к смертельной решетке. И едва он задевал меркнувшим взглядом неподвижные лица людей, как в сознании восстанавливалась мысль, что от них зависит, будет ли он еще когда-нибудь любить и оставит ли о себе достойную память вместо сокрушенья

о том, что однажды бесполезно сгорел. И когда в последнем отчаянье он готов был броситься на багровые стены и не вовлекать в огонь никого, агломератчики свесили над ним вниз головой самого рослого, который огромной лапой схватил Сабрина, как котенка, и потащили обоих наружу.

Новая смена приняла исправный механизм. А Сабрин велел всем своим забыть о поступке, и тем самым уберечь себя от суда за нарушение техники безопасности.

Шершавый на ощупь темно-коричневый кусок агломерата умещается на ладони. Его можно было бы сравнить с комком земли, будь он помягче. По геометрии он ближе всего к пчелиным сотам — стекловидный, с острыми углами и кромками. Сырье для доменного производства.

Давно тюльпаны в графине свернулись в остроконечные куполки. Стало тихо в комнате после того, как Сабрин умолк. Мой ожидающий вид вызвал у него улыбку растерянности.

— Согласитесь, читать про любовь куда интересней, чем описание производственных мыслей главного инженера вроде меня. Если хотите увлечь читателя, дайте герою влюбиться. Не верьте, когда говорят, будто с годами человек начинает думать только о болезнях. И все эти: «сбросить бы мне годочков двадцать», «в моем возрасте не до женщин» — сплошная бравада. Люди и думать боятся, что могут лишиться чувства любви. А художественное описание мыслей главного инженера — это не стоящий внимания скучный предмет. Знаете, о чем я думаю? Где достать машину, чтобы вывезти мусор из коксодробильного отделения.

Между прочим, горечь часто питает самоиронию, особенно в память любви, если этим словом назвать разновидность иного огня — того, что занимается от одного взгляда. Ведь какой-нибудь год назад Сабрин думал совсем о другом.

Тогда усердно трудилась на транспортере, следя, как продвигается дробленое топливо, красивая работница Надя. Она сидела в бетонной галерее с оплетенными электриче-

скими лампочками и мало интересовалась тем, что творится вокруг. На комбинате в это время работали практиканты. И вот один из них — криворожский студент, уставший от практики и агломерации, остановился возле нее, чтобы быть замеченным во всей стройности и красоте. Вскоре бригадир отделения пожаловался Сабрину на праздного студента, который пропадал для металлургии из-за опасного внимания к чужой жене. В ответ Сабрин только пожал плечами. Его не занимал студент, пока в октябрьское освещенное электричеством утро, подняв голову к фабричным трубам, он не увидел надпись: «Надя!». Внизу, на земле, стояла банка белой масляной краски. Он вообразил силу чувства, погнавшую студента ночью под небо к опасному краю трубы высотой с небоскреб, чтобы утвердить над округой свое счастье, и загрузил, как обойденный лихач. Надпись уничтожили нанятые и, сдавая работу Сабрину, просили передать незнакомой им Наде, чтоб согласилась любить и не подвергала бы их больше опасности. В новое утро надпись, уже черная, возникла опять. Сколько бы она еще закрашивалась и появлялась, неизвестно. Чтобы покончить с этим, Сабрин распорядился выставить к трубе патруль. Но к этому времени покоренная Надя уже покинула мужа и скрылась со студентом в его родном Кривом Роге. Вернулась она скоро, едва студента охладил родителем, а он испугался жить беспризорный и проклятый. Она стала к транспортеру и, наблюдая за ней издали, Сабрин открыл в себе прощение и волнуящую жалость. Спасенный недавно от смерти, он мечтал пригодиться грустной женщине и для ее счастья ночью полез на верхушку трубы. Когда-то он поднимался в этой трубе на лифте и, достигнув верха, неприязненно отстранился от высоты. Теперь же не то, что поднимался по редким наружным скобам, а взлетал с банкой охры и даже не вспоминал о спасательном поясе, которым мог бы пристегнуться. Утром из окна конторы Сабрин увидел, как

выпрямилась фигура Нади и проясненные глаза замерли на буквах собственного имени.

В обычном состоянии Сабрин успокоился бы тем, что принес радость обездоленному существу, но теперь ему хотелось вознаградить ее со щедростью своей вновь обретенной жизни. И он стремительно женился на ней, чтобы уберечь от разочарований и самому не нуждаться в нежной душе, которой был бы необходим.

Но опытная Надя не простила ему своего спасения, похожего на спасение блудницы, и, мучаясь от его неровной любви, унижала себя разговорами о том, как она привлекательна для мужчин, и, не будь Сабрина, любой пленился бы ею. Она продолжала думать, что в глазах Сабрина ее возвысила страсть студента и гордилась собой как великой любовницей. Она ненавидела работу Сабрина, его верность машинам, в которой находила признание своей заурядности, и мечтала отомстить за пренебрежение и за то, что чувства спасителя истаяли в нем. Ей хотелось оскорбить Сабрина быстротой новой победы, и под предлогом отдыха она уехала на Кавказ, где мужчины менее разборчивы и более понятны. Домой она не вернулась. Звать жену обратно Сабрин не стал.

Через открытые окна донесся запах горелого сушняка, пересиливший смрад отработанных газов. У ограды кто-то развел огонь. Было видно, как идут на смену рабочие. Они входили в здание фабрики, словно не настаивал новый день — воскресенье, и у них не было иных желаний, кроме вот этих — заполнить ночь трудной опасной работой. Сколько раз, попав в проходную какого-нибудь завода, видела на стене траурные листки с фотографиями погибших! Опасное производство — этот смысл почему-то не доходит до наших книжных людей, которые любят посмеяться над работягами, пренебрежительно о них отозваться. И потому слова Сабрина показались мне скорее тихими, чем иными. Кто видел производственный ад, этот мутный зеленый газ,

валящий из горна, этот выброшенный огонь, заполняющий пространство литейного двора, это дышащее серой, ослепительное кипенье металла, — кто видел это, поймет главного инженера.

— Доблесть металлурга, — сказал Сабрин, — начинается с того, что в летнюю жару, когда даже военным разрешено расстегивать форменные воротнички, металлург надевает войлочный тяжелый бушлат, шапку по плечи, защитные очки и входит в цех, где температура воздуха близка вулканической. Агломератчиков называют подсобными металлургии. Мы всего лишь выдаем горячий агломерат и не видим, как он, превращенный в чугуны, выпускается из домен. Но мы стараемся работать так, чтобы из-за нас доменный цех не стал окончательной каторгой. Там хватит своих трудностей.

«Горячий агломерат» — мягко сказано.

Если пойти вдоль фабричных рельсов по путям, обсыпанным рудной пылью, то выйдешь к месту загрузки агломерата. Полынь здесь совсем погребена, наружу торчат только грязно-зеленые уголки листьев. Они начинают дрожать, предвещая появление электровоза задолго до того, как он покажется.

Смотрящему на загрузку ночью кажется, что из прокопченных стен фабрики бьет огонь. На металлические ванны похожи грузовые вагоны, в которые он падает. Вот гряда, как будто высвеченная изнутри, осела в последнем вагоне, и состав трогается. Лучше не стоять возле путей. Жарко! Невыносимо!! Чахнут тут и деревья. В самом начале весны они уже желты. А электровоз тянет свой груз в порт. Здесь его ждет судно с белым надпалубьем, похожим на старинную крепость. От прочих транспортных кораблей эта машина отличается тем, что везет раскаленный груз. Тысяча триста градусов! В открытом трюме.

В штормовую погоду пар окутывает палубу. Волны, переброшенные через борт, вскипают в трюме и, стремительно испаряясь, образуют едкий туман. Сквозь него не видно ни дали, ни берегов. А идти — через узкий пролив, где можно столкнуться с железнодорожным паромом, через мелкое море, опасное затонувшими суднами, — топляками. За двенадцать часов пути агломерат теряет сотню-другую градусов. Но все равно в доменную печь попадет раскаленным. И опять убеждаешься в этом, когда видишь разгрузку ночью. Снова огонь. Падает возле домен. Литые корпуса воздухонагревателей, выстроенных в ряд, напоминают ракеты. Разноцветные дымы над домами дают представление о качестве плавки. По окраске любой обер-мастер определит ее состояние. Через несколько часов агломерат, доставленный из Керчи, уже в виде чугуна устремится по литейному желобу в потоке, напоминающем вулканическую лаву, осядет в гигантских ковшах.

И раньше, до того, как попала на горно-обогатительный комбинат, я задумывалась о психологической зависимости между преданностью человека своему делу и преданностью лучшему в себе. При этом всегда вспоминала судьбу одного профессионального ныряльщика, который должен был достигнуть рекордной глубины и возвратиться на поверхность. Дойдя под водой до предельной отметки, он, вместо того чтобы повернуть наверх, пошел дальше, в глубь моря, за черту, откуда нет возврата. Меня не устраивало объяснение этого самоубийственного поступка изменением газового обмена в крови. Я считала, что роковое действие спортсмена вызвано страстью к глубине.

Минутного молчания оказалось мало, чтобы Сабрин определил свое отношение к этой истории. Тишина продолжала шириться, как вода на пробитом льду.

— Разве осуждают артиста, если он умирает на сцене, или капитана, если он тонет со своим кораблем?

— Артист способен так войти в роль, что вместо того, чтобы изобразить чью-то смерть, умирает сам. Капитан тонет, потому что таково его представление о чести. Вы едва не сгораете, чтобы поддержать непрерывность процесса в условиях, когда его остановка не угрожает человеческой жизни. А если бы вас не спасли?

Вздых Сабрина означал, что у нас нет одинакового отношения не только к металлургии, но даже к такому доступному понятию, как жизнь.

— У всех по-разному обнаруживается ответственность, товарищество, чувство собственного несовершенства. У меня вот так.

Я старалась не смотреть в его иконно-грустные глаза и молчала. И вообще говорить не хотела, потому что знала: обычные мерки не для тех, кому главное — выложиться до предела. Даже в пору массового потребительства, когда само их существование признается анахронизмом, а верность лучшему в себе — замшелыми принципами, они остаются собой. Лишь выйдя из цеха на улицу, где свободно гуляли ветры двух морей, а тучи цеплялись за трубы, я сказала себе: «Тоже мне Дон Кихот!».

Каким огромным казался цех, какими удивительными люди. И как не хотелось от них уходить. Но что-то тянуло дальше, и ничего поделать с этим было нельзя. От вида гигантских махин я пьянела, не догадываясь, что такое чувство от дьявола. Может быть, мне хотелось догнать эпоху, в которую не успела родиться, когда сталь, а не человек, была вместилищем духа, и химеры с ощеренной пастью представлялись мне серафимами? Объяснение явилось позднее: «Судьба подняла паруса».

То была плавучая машина «Андрей Платонов». Волны громоздились, словно нагнетаемые лопастями мощных турбин, взвивались у борта, рушились, ветер срывал пену, гнал над водой. Не зря гласит морская пословица: «Море не любит

непотопляемые суда». Может, потому что море считали жидким зеркалом неба, а мир не был текучим, сомнительным и двусмысленным, как сейчас. Белизна волн ослепляла, и я не сразу восприняла очертания корабельного носа, куда повернулась, улавливая привычный запах агломерата. Постепенно неяркие пятна начали проявляться, реальность как бы прорастала сквозь них, наконец, глаза освоились, чтобы видеть четко. Тонны раскаленного сырья покоились в трюме и казались сверху безобидным черноземом, но, едва через ограждение перелетала волна, раздавалось шипенье, и яростный пар отрывался от зашлакованной корки. При штиле на нее опускались чайки, но, даже переминаясь с лапки на лапку, надолго не оставались: горячо! И взлетали. Куда они устремлялись? Зачем так кричали — тревожили сердце прощальными голосами? Любовь призывали, плача по ней. Лишь боль душе добавляли.

Полоса воды веером продолжала разворачиваться, пока судно не взяло курс на пролив. Казалось, скрытым усилием моторов не корабль повернуло вперед, а город Керчь с игрушечными постройками двинулся назад. Дольше всех спичечным коробком виднелась аглофабрика, но и ее упрятало в холмы; вскоре, даже приподнявшись, я не могла найти за сомкнутыми далями ее дым. Мы шли на Мариуполь. Мимо Тамани. Но о Герое нашего времени не вспоминалось. Думалось о другом человеке. Даже мечталось.

ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ

Вот он входит с улицы, после будней и мрака, и возле зеркал, в лучистом сиянии, застаёт оживление. При этом ну просто царит, всех выше и всех заметней, она — самая светлая, волоокая, меланхолическая. Уста общаются, глаза отчуждают, голова утопает в кудрях. Вся в центре людей и вниманий. «Вот это да! Еще и звучит как скрипка Страдивари», — думает человек с улицы, пронося свое изумление мимо. Взбегает по лестнице, по красной линейной дорожке, защемленной железом, делает передышку на марше и, достигнув последней ступеньки, шажками-шажочками вступает в преддверие.

Безлюдный торг со стяжательской цифрой в витринах, постное око смотрительницы — ничто не трогает проходящего. Он снова переступает порог, теперь уже зала, и занимает кресло. Вперяется в никуда. Поддельные ампиры на сцене слишком с иголки, чтобы удерживать взгляд, правда, и они уже с прошлым — виды видали, даже голый зад сочинителя, выскочившего читать стихи нагишом (практика, может, и позабытая, зато упование на силу поэзии налицо).

А публика набирается... Не так уж мало, если вспомнить про осень и слякоть, про холодно-зябко, к тому же и стоимость билета — ворох рублей, а что свободны ряды... Так это гарантия рафинированности торжества.

Да, убедительна дата — двадцать пять лет заокеанскому издательству «Кое-что»! Еще полгода назад в том же про-

ходном дворе, при стенах и зеркалах, при кассе с пучеглазой старой лягушкой, к афише, оповещающей о подобном событии, пришиливалась бумажка: «Билеты проданы». Теперь же никаких огорчений: иди и присутствуй, если ты светская благодарная личность и внутри тебя попискивает: вот столько сделали для тебя — издавали великих, когда на родине ими поигрались и бросили, сберегли особенных, питали изысканными. И вообще...

Они выпускали симпатичные книжки с летящей строкой, человеческим шрифтом, с такими белыми пространствами между главами, что глаз отдыхал, а мысль витала, как дух над водой. Эти пространства обещали невыразимое: то золотое слово, которому высшая почесть — не быть. Воплощенным, конечно. Правда, без опеки в книжках не обходилось: предисловие, послесловие... Благо, ценитель, который делился со мной чтением, изымал все навязчивое. Так, освободил Мандельштама от издательского напутствия, оставив бумажный бобрик на месте вырванных страниц.

Было и неудобство у книжек — их надлежало таить. Иначе мог последовать разговор в известном всем учреждении. А что такое внимание тайных служб, лучше не говорить. С тех самых пор, когда приведенного обхаживали с таким тактом, что даже кресло предлагали (сами-то обходились стулом), в железные лапы лучше не попадать. Те времена прошли, но трепет... К сожалению, трепет остался. Правда, к концу режима столько развелось несогласных, что кресел не хватило бы для собеседования. Бедные любители словесности, как они настрадались!

Помнится, в общественной литераторской дачке меня представили Юрию Осиповичу Домбровскому. Подарок Пасхальной недели — встреча с автором «Хранителя древностей». На что битый, четырежды каторжник, этот чудак через какие-нибудь полчаса обнаружил свою полную неблагонадежность: чего только не осело в обыкновенном ящике

его письменного стола! И среди прочего — «Кое-что». Ни одной книжки Домбровский мне не дал, и я спросила: «Зачем же гусей дразнить? А если вас в отместку заложат?..» В ответ лишь улыбка, многозначительная, что ли, которая потом оживляла фотографии его посмертных изданий. И поза человека на допросе: вперед голова — само внимание.

— Ничего не знаю, — сказал Домбровский. — Вынул из почтового ящика. Кто-то подкинул, — и это все, чем мог защититься такой тертый калач, как Домбровский.

Тогда мне было ни к чему, а сейчас интересно, какие издания из запретных он выделял. Его симпатии выражала фотография, висевшая в комнате.

— Это мой бог, — сказал Домбровский.

— Вы были знакомы? — последовал вопрос в прошедшем траурном глаголе.

— Виделись однажды. Пили целую ночь.

И божество его снижалось до имени Василий свет-Макарович, всем известный Шукшин.

Недурно придумано: и выпить с таким богом можно, и посидеть. Как я его понимаю! Ему хотелось Бога, а Бога не было, и Домбровский нашелся: и Бог соблюден, и свой брат не обижен. Впрочем, в истории искусства выпивки с Богом случались. Не кто иной, как сам патрон беспредметной живописи Казимир Малевич, принял от Бога стаканчик, что не замедлил отобразить на картине, хотя и был противником всякой предметности. Так и нарисовал двух творцов: Господа и себя за бутылкой водки, ведь творец, по Малевичу, тот, кто делает новое. Это уж потом он придумал *супрематизм* и в «Черном квадрате» заложил основу нового культа. Но это кстати. Так вот, Домбровский таскал эту фотографию, как свою кошку Каську, — повсюду, и я не знаю: воспоминание ли грело его на той Пасхальной неделе, или он сам приноровился к нему, чтобы иметь личное господнее Воскресение.

Если заняться, можно многое вспомнить, но вечер... Вот он, слетает...

Юбилейная группа выходит на сцену. Несколько сонная, слегка будничная, бестолковая. Щелканье аппаратов и вспышки света приводят фигуры в чувство.

Каждая в своем устремлении. Кто, подволакивая ногу, при клюке, жилетке и бороде, вроде и антиквариат на цепочке. Кто в рейтузиках магнетическим силуэтом на галантных пружинящих ножках. В бархатном мэтр придвинулся и стоит без затей, пока слева и справа его окантуют. Мимо простреливает сутулый малый — вишневые губы, игривые вихры. Кажется, и рожки под ними, пригодные скорей почесывать-щекотать, чем бодаться. Почтенная супружеская чета косо вписывается в ансамбль, привнося свою щепотку соли: незыблемая, идейно и корпоративно сплоченная. Последней влетает бутылка «Боржоми», поддерживаемая крепкой буфетной рукой. Секундное «Ап!», и минеральная шипит, наполняется пузырьками, разгоняется по стеклу и гаснет бисером серебра, предоставленная самой себе.

Юбилейная группа меж тем разбирается — это сама ловкость, добрая воля и послушание. И вот вам групповой портрет в казенных ампирах. Показательны брачные узы, соединяющие литературную пару. И брусничная жилетка бородача, которому для классического колорита не хватает какого-нибудь мытищинского чаепития. И человеческая весомость мэтра, заточенного в твердый воротничок. Нежны вакхические рожки пострела. Но всего нагляднее нервные черные ножки в рейтузиках, закинутые одна на другую, обхваченные руками, опечатанные перстнями, установленные на носки, отточенные в подъеме. Браслетка с запястья венчает согнутое колено. Только бутылка «Боржоми» ничего не выражает, кроме самой себя. Она так прекрасна при фотографических вспышках и так далека от жизни, облитая цветом морской волны.

Но чу! Купивший билет как бы подписывает контракт — глазеть и молчать.

Явлением Поэтессы открывается вечер. На галантных пружинящих ножках сверкнула перстнями, обозначилась, примагнитила зал. Судорожны движения, ломок голос. Ручки, щечки, подрагивающие коленки — все самопровержение к мужскому роду слова «поэт», на котором настаивает, и все — пантомима, хотя и звучащая. Сейчас истощится и, отпружинив, отломится от микрофона. Подчеркнуто особенная, приникшая браслеткой к колену. Упав челкой на лоб, сядет по ту сторону здравомыслия. И все же практичная самим пребыванием на смотру. Задуманная и скроенная по собственным лекалам успеха *Подписантка* 1993 злосчастного октября.

А публика будет ждать. Может, пострел одарит простотой? Но он недоволен. Хмурится. И не трогается к микрофону. Его возмущение не нуждается в усилителе звука. Ну, конечно, зал пустоват — зияют ряды, свободны проходы, да и свет худосочен. Его вера нуждается в знаках, а проза — в глазах. Без этого она — лишь бумага, обманутая шрифтом. Ведь было же, было!.. И кордоны милиции, и наседающая толпа — несчастные какие-нибудь полгода назад. Что изменилось? Литература? Вкусы? А может, читающий народ? Пострел честит его «азиатской задницей» и запивает откровение минеральной.

Для юбилейного выступления несколько скуповато. Приятно, что интеллект, отточенный на романах де Сада, так жаждет масс, но если родные взяли и охладели... Пострел лаконичен. И лексикон его, вопреки ожиданию, не вызывает прилива крови к щекам или желания отплеваться. Физиологические неудобства он оставляет читателям своих сочинений. Правда, знатоки утверждают, что его эрудиция в области ненормативной лексики явно хромает — отдает настенной словесностью подросткового туалета. Они же,

знатоки, говорят, что матерок, коим упражняется сей господин и социально близкие ему дурачки, — это так, для культурных людей. Вот если бы наш пострел, любитель светских приемов, услышал настоящий кондиционный мат, то никто не поручился бы, что водка, которую в ту минуту он готовился выпить, не перекрыла бы ему дыхание, а сам он не свалился бы в шок. Вообще непринужденность пострела по отношению к чистым белым страницам существовала уж как-то слишком обособленно от умственной культуры и мира мыслей. Пострелу вечно хотелось что-то продемонстрировать подобно уличным извращениям при виде подвернувшихся гражданок. Много позднее постоянство вредных привычек дало себя знать в пересадке физиономий при издании его собственной книги, когда переплет был задуман как нечто из ряда вон. Тут пострел влез своей мордуленцией в репродукцию роскошного портрета кисти Никола Лажельера, по-пролетарски выпер оттуда изображение вельможи времен Людовика XIV, но по-хозяйски оставил падающие, как водопад, абсолютистские кудри и взбитое батистовое жабо. Все это приспособил к обволакиванию собственной персоны, и все это стало пениться, кипеть и сверкать на обложке его изданных опусов, демонстрируя братание автора с утонченной французской культурой. Братание столь заразительное, что целая шеренга литературных эксгибиционистов последовала его примеру, припав к работам великих художников в каком-то самовозбудительном экстазе. Следом за мордуленцией, уже в следующем «из ряда вон», пострел поместил изображение другой части тела, полагаю своей, которую до того скрывал штанами, явно недооценивая выразительную экспрессию органа. Назвал издательницу «Мужчины», пренебрегая краткостью и точностью более подходящего слова.

Тем временем мэтр берedit свои раны: не печатали, вымарывали, кромсали — на уровне местоимений: я, мне,

они... Однако при свете статистики (цифра изданных книг) не того как-то. Он бледен. Заторможен. И не равен той канонизации, которой подвергся в отместку за прежнее затирание. А будь равен? Все равно вознесен обстоятельствами: пугающе кавказская личность. В его облике много от злобы дня, не обратимой в пункте национальности. А черты, совпадающие с актуальностью газетных полос, как удар ниже пояса. Видишь танки, толпы, жертвы — и отступаешь к обыкновенному рассуждению: хорошо, хоть этот не там. Пускай лучше склоняет местоимения и на фоне, при свете, в присутствии уступает место жаркой шерстяной Бороде.

Но что такое? — странное шевеление, шелест, нестройность парада.

«Кто это написал?» — кричит Поэтесса, опережая бородача с его несбывшейся речью. Всего-навсего бумажка, переданная из зала, а вот уже в действии ножки, ручки, челка, еще узловатая палка, которую на пути к микрофону Поэтесса вырывает у Бороды. О трех ногах в инвалидном шантане добирается к рампе, взрываясь новым негодованием: «Кто?».

Человек с улицы вынужден встать во всей красе сто-процентного интеллигентно-непогромного вида. Маргинал, вечный «сам по себе», несоединимый ни с кем — никогда и нигде. Поэтесса швыряет палку; ее новый экспромт предназначен для кого-то в тени: поблескивают мрачные аппликации, рейтузики тянутся вспяť, позвоночник выдает свою гибкость.

В оглашенной записке вопрос: «Почему под знаком потерпевших талантов в афише нет бутылки “Боржоми”?»

А действительно, почему? Публика исходит токами единения.

И тогда... Меланхолическая, светлая, волоокая, всех выше и всех заметней... Богиня белых пространств, покровительница невыразимого... Та, мимо которой наш герой

пронес свое изумление, торопится из рядов. Ее продвижение — это верхнее «си» Страдивари, подогретое всеобщим вниманием. Ее голос — это унисоны Вселенной, освоенные гортанью. Всю соль на раны, пепел на рожки, щелчок по бутылке «Боржоми» она, владелица заокеанского «Кое-чего», готова взять на себя.

Человеку с улицы становится скучно. Скрипка Страдивари больше не приходит ему на ум, потому что склонение местоимений, подрагивание коленок, вибрация голосов — все тяготеет к логике, то есть к владелице «Кое-чего». Можно подаваться прочь, получив еще одно подтверждение закона *тотальной подмены*.

Когда-то, если верить легенде, его воплотил Колумб: поплыл в Индию, но открыл Америку. На том сошелся и обольстился, полагая, что не в накладе. До него и после многие обольщались собственным здравым смыслом: если судьба подбрасывала Америку, забывали про Индию — и вот вам житейская мудрость про синицу в руке, журавля в небе — доступная, навязчивая и... противоположная идее, ее породившей, как противоположна Америка Индии. Но человек с улицы, бедолага, помнил об индиях. Он баловался литературой. Всех подпольней и всех неприметней, он притянул, мечтая о *нерукотворной* строке — той, что угадывается над корпусом текста. Он ждал открытых дверей. И вот они распахнулись. Друзья, поклонники, посторонние... Люди с оружием — все потянулись на огонек.

— Да закрыты же открытые двери, — говорит кто-то рядом. — Эх ты, Гольфстрим, заблудившийся в самом себе!..

Не дотерпев до конца, уходят люди с оружием. Остальные смирились. Вот Борода отпадет от вещания, будет объявлено: «Все!», — и вперед! Посторонние с папками собственных опусов ринутся к сцене. И опять кто-то скажет:

— Время судорог, щекотки и томления интеллекта. Впереди свальный грех под Аполлоновой колесницей, всеобщий морально-этический зуд.

Человек с улицы обернется. Никого. Все на сцене. Можно дышать. А дышать все-таки нечем. И ему мучительно захочется воздуха, холодного, чистого, как пространства белой бумажной страницы, таящей возможность неизреченного. И выпивка с Богом уже не покажется ему невозможной, эта идея супрематиста, которая воплотилась сначала в живопись, а затем в простой белый холст, взятый в раму, — картина столь же прекрасная, как чистый бумажный лист.

А вся беда в том, что человек с улицы шел всегда с парадного входа.

НА ТОМ МЕСТЕ ЗЕМЛЯ БЫЛА ЛИПКАЯ

(Москва, 3–4 октября 1993 г.)

Говорили, что там земля была липкая и мошкара тучей вилась, привлеченная запахом крови, а убитых свалили под мост. В самом начале дня люди были мертвы. Расстреляны в центре Москвы. Возле Дома правительства. Что привело их под пули: заблуждение ли, верность ли прошлому, отчаяние, что-то еще — какое это имеет значение? Их уже нет, и, в отличие от живых, они теперь ни о чем не жалеют.

Подозрительно хорошая погода выдалась в октябре 93-го после долгого холода и дождей. Возможно, в последний день Содома тоже была хорошая погода, и тоже было предчувствие черных дней.

Жизнь к тому времени сделалась зыбкой; манипулирование ценами и вовсе расшатало ее. Брожение, выкрики, стычки стали темой, на которой паразитировала огромная индустрия информации. Тут и правитель не задержался с угрозами. Что имел в виду наш первейший гражданин, выяснилось позднее, а тогда одни видели в нем избавителя, другие — очередного державного профана, кто-то — клятвопреступника и никто — миротворца семи пядей во лбу. Однако новая формула рабства, запущенная в оборот: «Выбора нет!», — смешала все мнения и оживила круговую поруку вечных фрондеров с их зудом постоянно что-то подписывать. Теперь они публично требовали расправы, называя своих противников «красно-коричневыми». В ответ из луженых

глоток несло: «Мы отомстим!» А напряженность тем временем нарастала, как нарастало судорожное растаскивание государства под щебетание прессы: «Любите богатых». Об этике говорить не приходится, лишь о ее раковой опухоли. Зло повисло в воздухе, как дорожный знак.

И тогда Всевышний, у которого ни одна державная бестия не попросила мудрости «для управления народом моим великим», как бы сказал: переполнилась чаша сия, людям нужно отдохновение, и ниспослал погожие дни. Очистилось небо, проглянуло солнце... Но люди, словно с цепи сорвались. И кинулись друг на друга.

Таков урок божественной педагогики. Он показал, что Каинова печать на всех. Последующее, достойное показа на Страшном суде, разворачивалось прямо под окнами нашего дома.

Еще недавно мне все было мило в нашей квартире. Расположение, последний этаж, открытость пространству, мельканье стрижей под карнизами крыши. Встречая гостей, могла и сказать: второго такого вида в Москве не найдете. Река, набережная, мост, небо — давно стали частью жилища. В начале октября месяц апострофом разделял скопления звезд. Однако правее была странная пустота: не хватало привычного флага на шпилье — он пропал вместе с Домом, его возносящим. Градоначальник повелел — и свет, тепло, вода, телефонная связь были отключены от этой географической точки.

Грызня Каина с Авелем тоже так начиналась; собственно, в ней все и дело, остальное — игры в масштаб. Мечта «человек человеку — друг» стала недостижимой. Хотя бы волком был человек человеку. Движимые законом природы, серые не переходят черту — в драке не загрызают друг друга. В знак поражения побежденный хищник подставляет шею. Не правда ли, это что-то напоминает. Конечно же: ударили по правой щеке, подставь левую. Призыв к благородству,

заложенному природой, — волки, а не люди, следуют ему. Подставь, чтобы победитель не тронул, отвернулся и отошел: кровь соплеменника волку не нужна. И волк отворачивается, уходит. Но не таков человек. Тем более жаждущий мести.

Да, темнота в небе наводила на разные мысли. Надо привыкнуть к неизменности горизонта с этим трепещущим флагом, чтобы так просто, ни с того ни с сего, смириться и закрыть глаза, и принять все вчерне.

Исчезнув, вид сразу сделался прошлым, тем самым *когда-то*, где были слова давнего гостя: «Позиция, которой позавидовал бы Освальд», — события тридцатилетней давности в американском Далласе примеривались к нашей действительности. Просто так, из любви к параллелям. А в судьбе, которая где-то рядом, и мало кому дано ее угадать, уже что-то менялось, может быть, какой-то атом сместился. Провидец, пророк, мудрец хранили молчание: разумное слово тонуло. Ведь подлинным всегда кажется день настоящий, тягостный в пустыках, и все эти разговоры о ценах, вечная замороженность властями да наше упование на доброго дядюшку.

А власти... Они занимались *мышегрызенцем* — сводили счета.

Улицу оцепила милиция, потребовались документы для прохода домой. Солдаты в бронежилетах заполонили дворы. Форменные накидки с капюшонами во время дождя, заграждения на каждом шагу, колючая проволока... Человеку, который не переносит подобные атрибуты власти, понятны и те, на кого так же действует вид дубинок, касок, щитов. Это позже глаз притерпелся и перестал обращать внимание, а тогда доблестные президентские солдаты выглядели как заграничные наемники, выставленные против своего же народа.

Прибывшие солдаты меж тем расположились не там, перекрыли не то, задерживали не тех... С самого начала их

действия носили бредовый характер, придавая событиям фарсовую оборотную сторону.

Двухнедельного оцепления было достаточно, чтобы кое-кто из жителей начал покидать свои квартиры, перебираться подальше к родственникам, друзьям. Звали и нас. Но мы не поехали. Почему? Не знаю. Новинский, Конюшки, Девятинский — все это наши края, мы знали их как свои пять пальцев. Отсюда моя мама Лидия Владимировна, блестящая ученица академика Прянишникова, уехала агрономом в Звенигород, затем директором совхоза на Урал, здесь родилась я, училась в школе, неподалеку в издательстве вышла моя первая книжка и рядом же, в Доме книги, она продавалась. Довольно того, что часть этой местности — старинные Конюшки с их неповторимым пресненским обаянием, наша школа № 97 с флигелем, давшим приют учителю литературы, сгнула под неуклюжими американскими строениями. То ли казармы, то ли склады, обезобразившие панораму. А когда-то здесь, в тарасенковском доме, в подполье с пауками, хранился архив Марины Цветаевой. Много позднее, в пору нашего ученичества, нам было довольно того, что в доме с пауками живет Эля Извекова — классная ученица, приверженная герпетологии, или попросту змеям.

Имена, тени, воспоминания... Здесь были прочитаны книги, созрели пристрастия. Здесь давние тропки и закоулки помнили шаги Грибоедова, а глухие дворы — легендарного Гинзбурга, построившего Дом коммуны, здесь звучал голос Шалапина, а Наталья Климова — политическая заключенная Новинской женской тюрьмы написала знаменитое «Письмо перед казнью», отсюда совершила дерзкий побег. В общем, старинные Конюшки приказали долго жить, выхолощенные в своем естественном холмистом движении. Мы уступили их подневольно, а теперь была наша воля. Словом, остались дома, и логическому объяснению это не поддается.

В обстановке тех дней можно было вести только жизнь принужденную. Все же удалось проведать свой сад под Москвой. Он был такой настоящий и такой не от мира сего, что душа отдыхала даже при мысли о нем. Кто знал, что эта поездка станет последней?! Возможно, я еще вырвусь туда, и даже скорее всего, и, может быть, посажу новые деревья, но это будет иное. Между прежней жизнью и нынешней — автоматная очередь, ну а что это значит, можно представить.

Вернулась как подгадала. Позднее это назовут массовыми беспорядками, мятежом, восстанием... Происходящее отвечало всем названиям, но в начале походило на обыкновенное праздное воскресенье.

3 октября. День как день. Солнце в зените. Публика слоняется, делает покупки, прогуливается с собачками. Бронежилетные стражи маются от безделья. Наскучило ожидание. Ощущение опасности стало привычным, и до какой-то свехрусталости надоело видеть все в истинном свете. Но куда денешься? В воздухе опять... неуловимое... что-то не то... Бронежилетные первыми чувят опасность. А может их просто предупредили, дали команду исчезнуть без промедления? Предусмотрительные решают подстраховаться. Один из таких звонит в нашу дверь: «Одежду! Быстро! Только гражданскую». Старый плащ, потертые брюки — с этим исчезает как будто и не был. Забегая вперед, скажу, что за формой он явится, когда события отшумят, через несколько дней, которые до блесно прослужит победителю президенту.

А на улице куда-то деваются ограждения. И колючая проволока отброшена в сторону. Литая, заокеанская, с насаженными стальными шипами. Ее делят плоскогубцами, куски разбирают на сувениры. Центру города возвращается прежний гражданский вид. Еще какой-нибудь час Новый Арбат предоставлен самому себе. Гуляющим кажется: ну, слава Богу, значит, власти договорились, худо-бедно все утряслось. И вдруг... Без лиц. С прутьями в руках. С камнями.

Сотен пять-шесть оглашенных вырываются на проспект со стороны Садовой. С дальней сходки под красными флагами начинали они свое сумасшествие. От самой Октябрьской площади словно гнали по бездорожью. И люди больше не люди... Уже не идут, их несет на рожон, толкая крушить все, что попадает на пути. Летят стекла машин, прокалываются шины, глушатся моторы. Сначала профессионально, со знанием дела выводится из строя техника, потом настает черед охранников. Им устраивают осмотр: «Руки вперед! Ладони вверх!». Пороховая пыль, ввевшаяся в кожу, выдает тех, кто стрелял. Этих избивают до полусмерти, оттаскивают к фургону. Остальным дико, нечеловечески орут: «Шагом марш!», — и они шагают в сторону мэрии под ружьем. А толпа прибывает, и конца края нет столпотворению: «За власть Советов, и как один умрем...»

Кто мог знать, что слова эти начнут сбываться. Из окруженной мэрии грянули выстрелы. Прошу запомнить, первые выстрелы раздались из мэрии, этого форта столичной гордыни. На стороне что-то шарахнулось, взвилось воронье, воздушная волна достигла нас, и мы поняли: там убивают.

К вечеру, едва мертвых и раненых растащили в разные стороны, живые начали формировать ополчение. Совсем как два года назад, в августе 91-го, в дни крымской ловушки, когда решалась судьба первого президента. Такие же отряды безоружных сторонников, баррикады, костры. Только в оппозиции теперь оказались другие. Бывшие соратники стали врагами. Позднее, толкуя события, кто-то скажет: коммунизм еще долго будет сопротивляться. Вот уж простота! Коммунизм ли, что-то другое... Любая идеология в искаженных отношениях с жизнью. Заплечных дел мастера совершили очередной рывок, не слишком задумываясь о последствиях. А кто-то решил: пришла новая эра, посыплется манна небесная. Действия ловкачей сопровождались судорогами пропаганды, на сей раз была запущена тема

революции снизу. Мистификация состоялась. Глумение, святотатство вывели на орбиту пару сотен прохвостов с хорошо подвешенными языками. «Вышли мы все из народа...» — зазвучало на новый лад. Ну, вышли. Из криминальной тени, тюрем, партийной номенклатуры. И... пошли в разные стороны. Кое-кто — в нищету, пустоту, безумие. Провозглашенный рынок — смешно! Не этой идее вместить наше вечное языческое бедование и нашу растерянность. Не подчиненная рассудку — эта нашенская обреченность ускользает из-под контроля разумности. Оттого и кинулись в новый фарс, что затосковали о прежнем. Отход к прошлому был заложен тогда.

Слишком много разочарованных оказалось на площади Свободной России в ночь с 3 на 4 октября. На что они надеялись? Что им, сочувствующим оппозиции, простят своеволие? Нет. Что против них не поставят танки? Вряд ли. Есть смешное понятие — человечность, оно и сбило всех с толку. Вышедшие из бескровного августа 91-го думали, что стрелять в безоружных не поднимется рука. И тут просчитались. Их первыми и покосили возле походных палаток, в которых они ночевали. А потом ударили по Дому, который они защищали. Не так явно, не с фасада, а с тыла, возможно, ни в какой хронике этого нет, и все же... Приехали офицерики, жаждающие долларов и чинов, и на холме за Горбатым мостом успокоили их навсегда.

Что было дальше, стали называть национальной трагедией. Как будто все обрелось в этих словах, вроде бы скрестились все точки зрения, глубинные смыслы, полярные мнения. И все-таки... Да, трагедия, но проявившая мир сей во всей наготе. Если хотите, это был пасквиль реальности. В центре города целенаправленно и методично сносили головы, новейшим оружием людей разрывали в клочья, а рядом, на соседней улице, никто ничего, да что там! на Арбатской площади бананами торговали. И про это сказа-

но: жизнь продолжается?.. Но жизнь вовсе не то, что так продолжается. Стало вдруг очевидным, что можно умереть ни за что и даже от нечего делать. Только ленивый мог не попасть в зону военных действий. Все дороги вели туда.

А теперь заключительная сцена из нашего бытия. Маленький частный случай.

Я стою у окна. Дом Советов полыхает, как спичечный коробок. Гарь летит в сторону церкви Девяти Мучеников, оседает на куполах. С колокольни уже не слышно выстрелов. Отзвучали в полдень вместе с жизнью одного из тех, кто оттуда стрелял. Снайпер изрешечен снизу, повержен. Однако все переменчиво. Сегодня убили его, а завтра... Кто знает, чья очередь завтра. Просто хочу напомнить, что колокол в чью-то память всегда звонит по живым. Даже когда молчит, даже когда его нет, а набатная медь переплавлена в смутном горне. Кажется, Дом взят, покорен, раздавлен, но по нему бьют и бьют, и требуют белого флага. Победители алчут полноты унижения — этой выставленной на весь мир белой тряпки. В государстве, где не стало народа, а лишь разобщенное население, вдруг дал себя знать синдром превосходства — не дань ли традиции, разбуженной запахом крови?.. Вновь и вновь бьют из орудий. Огонь полосой летит над рекой и, ахнув по цели, отзывается ни на что не похоже. Звук смерти катится по округе.

Уже десять часов, как остановилась жизнь, и никакой надежды на просветление. Обещанная тишина задержалась. А черный дым валит, делая зыбкими очертания церкви. Распад времени продолжается, и никому не ведомо, сколько продлится наша ни на что не похожая жизнь, никакому победному радио, никаким сверхнезависимым вещательным голосам. Но что это?.. В эфире слово «капитуляция», и, пока оно начинает хождение, что-то именно человеческое протаивает в душе, какая-то привычка к жизни. И даже желание приобщиться к сонму глазееющих. Ну, как же! Страна,

затаив дыхание, вечно за чем-то следит. Сейчас родную всемирную отзывчивость обслуживает американское телевидение. Гордо транслирует с места событий вроде как шоу под названием «Пляска смерти». Незачем куда-то бежать, подвергаться опасности. Достаточно устроиться в кресле, нога на ногу, и взирать. Синхронность полнейшая: вы затягиваетесь сигаретой, а в это время где-то там — бац! и нет человека. То есть он остается, но уже в виде мертвого тела. Снова затягиваетесь — и кто-то стреляется сам. А через секунду людей уже пачками отправляют на тот свет. Главное — все взаправду. Еще не успеваешь сообразить: кто ты — зритель ли, соучастник?.. А голос за кадром: «Русские убивают русских». Залихватский, почти с упоением.

Ну а меня зачем дернул черт к телевизору? Кажется, сама в дверях преисподней. Вот именно, на пороге, откуда не видно фасада горящего здания, значит и группы братоубийц с поднятыми руками следующих под конвоем. Черт дернул, и вечером, в пятнадцать минут шестого, у нас засветился экран. И вдруг... Над самой головой... На крыше... Автоматчик... Застрочил вниз по солдатам. По нашим «защитникам», которые изнывали без дела. Около танков, бронетранспортеров, полевых кухонь, госпиталей. Целая кавалькада... Вмиг всколыхнулась. Секунда-другая, и ответный огонь бьет по нашей квартире. «Доблестные» войска не жалеют патронов. Пули зарываются в штукатурку, выбивают куски гранита из облицовки дома, долбят телевизор, прямо сердце изображения, расстреливают наповал, обнажая железную подоплеку событий — символ всех провокаций, и невозможно крикнуть: «Сукины дети, куда же вы лепите!» Автоматные очереди совпадают со звоном стекла, в паузах слышен кашель над потолком, его, автоматчика, брань, и наш обзорный, последний этаж, угол дома, становится второй колокольней. Только там не было моей мамы и стреляли в другого, а здесь... Пули за пулями. Рядом. Наискосок. И

мгновенья адского чувства, почти веселья... Не с кем-то — со мной. Так интересно, ни на что не похоже. Пули летят, обгоняя жизнь. Со смещенным центром тяжести. Первые после Бога. И вдруг Бог взывает голосом Матери: «Лера, Лера!» Не видя, лишь слыша дьявольскую молотьбу, она кричит за дверь. И тут бесовское настроение оборачивается досадой: ну что она вечно волнуется, я же не в мирном мире, переорать пальбу невозможно. Мой голос теряется. А Мама зовет и зовет, потом под пулями кидается ко мне. У летящих пуль странный звук — словно по клавишам тюкают невпопад. Это все, что можно сказать о музыке. О другом же... Разве то, что была жизнь, был сад, исполнение замыслов... Не жаловались, не роптали, не пресмыкались... И вот пришли необстрелянные сопляки, которые и винтовку толком держать не умеют, и, покорные чьей-то воле, лупят по нашей квартире, по нашей неразделенности, по единой кровеносной системе и по всем несказанным словам.

Потом, когда отстреляло, и отгорело, и ошпарило тишиной, когда начали открываться двери для желанных и всяких, нас стали утешать: скажите спасибо, что живы остались. Действительно, странно: восемнадцать пуль подобрали в квартире. Непонятно только, кого благодарить: солдат, правителей или Господа Бога? А может, тех, кто давал этот совет? Целая галерея типов не замедлила проявиться на фоне участия, одни с любопытством, другие — стрекотанием пошлости. А может, саму смерть, которая гуляла поблизости, а к нам в тот день не зашла. Но она заглянула неделей позднее.

Лидия Владимировна окончила жизненный путь на моих глазах. Ныне так не уходят — с *восторгом*. Кто-то ждал Ее там, и Она улыбалась.

Господи, это надо все пережить. Если сон разума порождает чудовищ, то что порождает явь разума?..

А на месте расстрела земля была липкая, и этого не стереть.

ВРЕМЯ ГОДА — САД

Остановленное мгновенье перестает быть прекрасным. Таким оно видится после, когда пройдет. Так, покоясь на чувстве утраты, время обретает в нас дух, психологию и условность, а с ними — притязания человека на вечность. Древние это знали, доверив прошлое богине памяти Мнемозине и музам, ее дочерям: Урания владела неизменным пространством Вечности с далекими холодными звездами, а Клио стерегла катастрофически убегающее время Истории — двуликое, переходящее из трагедии в фарс. Но меньше всего хочется рассуждать, когда тянет поведать о том, как сад, обыкновенный яблоневый сад, стал разновидностью воплощенного времени. Впрочем, он не был обыкновенным.

Теперь трудно представить, что такое возможно, — заложить сад в одиночку. На сороковом километре железной дороги, если считать от Москвы, одна молодая Лидия, агроном, взяла землю, чтобы развести сад. Была она красивая и сильная, могла копну сена на вилах поднять и, сажая деревья, не ведала, что с ними закладывала и свою судьбу. Кроме яблонь, она посадила вишни, сливы, кустарники, много цветов. И, заимев маленький домик, переселилась к зеленым питомцам из столичной густой коммуналки. Так учредилась юная автономия плодовых деревьев, которую не позволялось приспособлять к своим прихотям и удобствам, а только к душе и глазам. Здесь не было прямых линий, кроны формировались в виде округлых чаш,

сильные ветви удерживали и подчеркивали изгиб арок. Между деревьями в крупные композиции группировались цветы, так что отовсюду просматривался кусочек, столь же замкнутый, сколь и открытый, подчиненный общему замыслу. Разросшийся сад можно было сравнить с книгой, которая читалась и увлекала с любого места. Он воплощал себя по обе стороны центральной дорожки и уходил в бесконечность — иллюзию создавали дальние кулисы высокой зелени. В этот сад можно было выскочить без ничего и не опасаться, что кто-то из прогрессивной общественности по соседству увидит тебя и возьмет на заметку, как лакомую аморальность для шельмования. Время стояло такое, что отклоняться от генеральной линии партии не рекомендовалось. А железная Лидия, теперь уже Владимировна, отклонялась. Не признавала пламенных скороспелых «ученых» вроде Лысенко, из-за которого, будучи директором совхоза, чуть не села в тюрьму, отказавшись следовать его методам яровизации. Например при посадке картофеля. Презирала сельскохозяйственную тупость партийных временщиков. Уважала великого Мичурина, ссылаясь на мистера Бербанка, американскую знаменитость-ботаника, кто тщетно старался переманить волшебного селекционера из тмутараканьего Козлова Тамбовской губернии к себе, в Соединенные Штаты. Гордилась своими учителями, настоящими, а не «липовыми» профессорами Тимирязевской академии — Прянишниковым и Вильямсом. И вообще в молодое свободное время имела облик старорежимной красавицы с роскошной пропорциональной фигурой и крошечной ножкой в шикарных лаковых туфельках. В основное же время вкалывала как простая селянка, не покупаясь на модные теории и зная свое, проверенное годами да народным опытом. «Она работала с крестьянской жадностью», — лучше не скажешь, хотя замечено это писателем Богомоловым не про Лидию Владимировну, а про героиню какой-то его повести, но дает

представление о той и другой. Сама же Лидия Владимировна, порой припозднившись с подъемом на минуту-другую после зари, попрекала себя: «Лежи Марья — Бог бачить». От своей родины Украины она сохранила манеру говорить и любовь к поговоркам, которыми метко пересыпала речь.

Держать пристрастия при себе ей, самобытной, не привыкшей лезть за словом в карман, не всегда удавалось. И я, ее дочь, была частым свидетелем расправы над ней, признающей в утешителях лишь собственный сад. А на попреки доброжелателей вроде меня всегда отвечала словами чеховской героини: «Дядя Ваня, надо быть милосердным». Вот уж кто не жил в окрестностях поговорки: «С милым рай и в шалаше, если милый атташе».

Этот, подмосковный, вовсе не был первым садом ее жизни. Сколько помню себя, сад был с нею всегда: у дедушки-бабушки, родной тети, двоюродной, он был до меня у прадедушки, у его соседей — пана Шуманьского и пана Ястрембского, и возле того костела, рядом с которым они жили на Украине, и где были заложены азы садопочитания да верность завету: «Для меня главное — красота». Олесь, Анджей, Текля Шуманьские... Их тени не покидали ее, напоминая о проклятых годах коллективизации, когда закончилась их привольная жизнь.

Настало время, и сад перешел под мое попечение. И я принялась говорить: «Для меня главное — красота!» Однако на фоне милого старого домика это мало кого убеждало: тяга к загородной помпезности одолела людей. Громоздкие, неуклюжие хоромины уже расползлись по округе, заслоняя линии горизонта, тесня душевное чувство простора. Мало кому хватило ума действовать глупо (с точки зрения себялюбивой обыденной жизни), лелея растения, а не себя.

«Так и будешь жить в халупе?» — спросил как-то Володя, лучший водопроводчик из тех, кто занимался своим делом;

он открывал сезон, пуская воду по трубам, и закрывал с первыми устойчивыми заморозками.

«Разве я живу здесь? Я работаю! — и, сказав, предъявила в доказательство свои руки. — Сад и дача — это как два разных вероисповедания. Чем больше дом, тем меньше земли под ногами. А мне надо, чтобы первую половину лета я была как в ботаническом саду, а вторую — как в лесничестве».

Это точно знала: в интеллектуальном смысле земля выше человека: она рождает золото и много другого, из-за чего люди трясутся и теряют рассудок. А под домом что? Под плитами, камнями, бетоном? Земля не явит чуда, не передаст своей силы, она обречена на бездарность, на приобщение к миру людей, их удобствам, капризам. Не зря же зоркая Лидия говорила, что деревья самая совершенная форма жизни. В это легко поверить потому, что в них нет изначальной порчи, присущей человеку, — этой несусветной тяги к комфорту на уровне привычки, подавляющей при встрече с Судьбой. Эта особа, известно, терпеть не может тех, кто ее избегает. Благоволит лишь к принявшим бой, который сестра ее — Жизнь — постоянно навязывает.

Тогда Володя махнул рукой непонятно куда и сказал, что первый ряд яблонь хорошо бы убрать: «получится отличный огород». «Ценный совет, — заметила я. — Только страна советов кончилась. Могу засвидетельствовать. Из окна дома на Новом Арбате в 1993 г. сама видела белый флаг. С тех пор обхожусь без советов. И вообще... Мне надо, чтобы небо было двойным: одно — пресветлое, привычное, настоящее, другое — из листьев, трепетное, шелестящее. И, чтобы, смыкаясь, кроны давали свет только цветам. А цветы соединялись бы в хоровод, а не лоскутное одеяло». И чтобы в латинской ботанике их названий витало: «Аморе фатум», как некий знак сокровенного, которое к обнародованию не спешит.

Домик был вроде избушки на курьих ножках, не лез в глаза, не заявлял о своем господстве над зеленью. Правда, фигура деревянного льва на фасаде под крышей обнаруживала кое-какие претензии. Посвященные знали, что фигура имеет отношение к знаку зодиака хозяйки, к июлю-августу, когда лев в фаворе среди звездных светил. Резные же птицы по обе стороны окна были помещены для компании.

Домик существовал, чтобы принять на ночлег, укрыть от дождя, хранить огонь, а впоследствии дать приют животным. Они начали появляться, когда люди со своим вошедшим в привычку нытьем перестали вызывать жалость, а чувство сохранения живого требовало своего. Вообще-то утешение следовало искать у Бомарше. «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”», — передает его слова Пушкин устами Сальери. И однажды ближе к полночи я это сделала — взяла Бомарше, лохматый престарелый том. Но после чтения мои мысли стали еще темнее. И вот почему. «Ваше сиятельство, — читаю в сцене Садовника и графа Альмавивы, — повадились бросать на грядки всякую дрянь. Вот вчера выбросили человека». Говоря так, Садовник имел в виду одного дурака, графа Альмавиву, однако нашел в моем лице второго. А как назвать человека, который при этих словах даже не улыбается, испытывая самое худшее — нехватку юмора!? Видимо, без бутылки шампанского для меня рецепт недействителен. А может быть, глубокая ночь без звуков и живой теплоты сотворила из меня деревяшку?

А еще избушка существовала, чтобы приходиться в упадок и напоминать о ремонте. Она ждала так долго, что, обветшав, в один прекрасный осенний день, когда сад ушел на покой, а яблоки лежали в ящиках, насыщая воздух сумасшествием аромата, провалила под моими ногами ступеньку крыльца. Словно притянутый таким непорядком, из какого-то не-

известного далека, нарисовался рабочий, тоже Володя, и предложил свои свободные руки.

Обстановка живо переключалась в сад с белыми от известки стволами, и можно поклясться, что никакой режиссер, кроме Бергмана, не мог бы придумать подобную встречу со своим прошлым. Вместительный плетеный сундук из ивы столетней давности, набитый хворостом (когда-то в подобных держали белье); кровать-модерн с металлическими изысканными цветами на спинках; этажерка и стулья в том же давнишнем духе; сталинский кожаный диван с деревянной полкой для книг; платяной шкаф и прочая всячина более поздних времен. При солнце, среди белых стволов, этом дворянском собрании деревьев, все выглядело постановочно, при луне — трагично. Да еще когда падают листья... Именно покорное ветру движение вносило щемящую ноту в их невозможный шорох. Оставалось повесить часы без стрелок, по крайней мере, в своей душе, и предаться... Можно сказать, воспоминаниям, а можно... — блажи: когда дел по горло от воспоминаний опускаются руки. Но вещи, хранители прошлого, действовали вопреки моей воле. В стихии памяти, вызванной ими, обрел себя образ отца, да не просто как соавтора моей жизни или поклонника стиля «модерн», а еще и как ценителя литературы, кто поддерживал отношения с Андреем Платоновым (оба работали под Москвой). И думалось, не от этого ли знакомства перешло ко мне странное свойство — жалеть и хранить ненужные вещи. Один из героев «Котлована» видел в них отпечаток согбенного труда и собирал для социалистического отщепенца. Что видела я, непонятно, скорее всего, милые знаки былого, но, помешанная на неистребимости всего, явленного в этот мир, собирала, чтобы потом сжечь и дать им новую жизнь, таящуюся в золе.

Скоро зарядили дожди, и сделалось не до глупостей. Прошлое вернулось под кров, в сосновый запах свежестру-

ганных досок, к охапкам сушеных трав, развешанных как белье, и реальная печь-«буржуйка» наподобие мистических часов примирила эпохи.

А на дворе стояло безвременье. Оно цепляло всех и Володю-строителя тоже.

— У вас неприятно работать, — сказал он на прощание.

— Помнится, нанимаясь, вы по-другому пели, — и грубо спросила в духе новомодного хамского панибратства, выявив самое незатейливое из своих многочисленных внутренних лиц: — Бабло, что ли, подстегивало?

— Разве у вас бабло? Своими же платите.

— А какие нужны?

— Шальные. Левые. Их легче брать.

— Так кажется. Хрустят одинаково.

— Как же! «Свои» на месте лежат. Рука не поднимается тратить.

Завидная шепетильность. Впрочем, совесть никому еще не мешала устраивать цирк церемоний, которым не обязательно верить, но за которыми интересно следить. Вот наслаждаться промахами чужой простоты (что «хуже воровства» — гласит поговорка) совесть действительно мешает. Ну, какие церемонии в эпоху вынужденных отношений! Обморочное время под флагом приватизации исключило тонкости обхождения. Сколько раз, уже позднее, расплачиваясь «своими», ощущала мужскую неловкость, таящую остатки былой галантности. Такой желанной в иных обстоятельствах. Но о них оставалось только мечтать, вспоминая какой-нибудь кинематографический идеал с лицом очередного кумира. У Володи, например, был рот, созданный для поцелуя. Ошеломительного. И он вряд ли об этом знал. И по моей улыбке, конечно, не догадался, что она относится вовсе не к передаче заработанных денег (прощание с ними его внешность смягчила). Но что-то все же он уловил. И, принимая колоду сотенных, осторожно сказал: «Может,

обмоем ствольнички? Чтоб удача светила. Угошу, не обижу». Следовало отдать должное его интуиции. И обрести себя в роли мужички, занятой только хозяйством. Не расположенной к изыскам переразвитых чувств. А после его ухода поразмышлять о вкусе к соблазнам, сомнительным для человека, который трудится в поте лица, не имея при этом душа. Правда, в случае с ним весь фокус был в уникальности поцелуя. И это безотносительно к чьим-либо прихотям, замечено справедливости ради. Я мысленно пожелала ему изощренной подруги, равнодушной к зову открытых губ, но менее чувствительной к запахам человеческого тела, чем я, например (ведь и воплощение поцелуя неуловимым образом связано с обонянием). А без изощренности, в этом почти искусстве, он, вечный труженик, никогда не узнает правду о своих сумасшедших губах. Ведь тайное только делает вид, что не хочет быть явным, — рано или поздно оно становится им. А раз так, то не лучше ли ему объявиться пораньше? И опередить жестокое утешение поговорки: «Если бы молодость знала, если бы старость могла».

В следующую осень выяснилось, что и в подновленном домике с двойными полами и утепленным потолком приходится спать в пальто. Французский коричневый драп (Лидия Владимировна любила добротные вещи) грел меня, когда кончалось тепло «буржуйки». Было, конечно, смешно, что, укладываясь, я одевалась как на Северный полюс, в то время как где-нибудь в Москве люди стягивали с себя все. Там кодовые замки, запечатанные парадные, металлические двери, накладные цепочки, а здесь? — задвижка на честном слове, от хороших людей. При этом полное осознание того, что большой мир болен, раз продолжают войны, и люди убивают друг друга, и один порядок никак не может смениться другим. Разумеется, я могла уехать домой, в центр Москвы с вольным видом на реку. Но меня не тянуло в город, в унылый обостренный психоз многолюдья. При саде было

теплее. Главное — интереснее. Да и кто станет готовить его к зиме! Наши отношения давно стали любовными. И сад это знал. Ему была обязана посвящением в науку постоянных привязанностей. Он учил отрешаться, обретая энергию в прелести одиночества, столь необходимого мне для главной работы — литературной. В самых обыкновенных вещах он высвечивал таинственные смыслы, надеясь, что я не останусь лишь на уровне их понимания. В текстах учил говорить пробелы между словами и строчками, делать их красноречивее слов. Да и на прочее распространял свою магию. Например, самый простецкий обед превращал в тончайшее кушанье, какое-нибудь пот-о-фе с фуа-гра под соусом жю с оливками каламата, немислимое даже под сенью парижских каштанов. А когда кончалось пение птиц, преподносил вереницу самых различных звуков, приучая в монотонном плеске стекающих капель угадывать ноты божественной музыки, например Доницетти, которой проникалась до помрачения, до культа Феррары, родины композитора. Сад знал, что за ним еще сотни ценнейших уроков и потому не спрашивал: кто будет цементировать дупла? Срезать отжившие ветки? Жечь их с опавшей листвой? Он держал меня при себе крепче всякого соблазнителя и не заикался о школе страданий по Достоевскому или обеспокоенной совести по Толстому, или воспитания чувств по Флоберу и Чехову, уверенный, что университеты души мне при нем обеспечены. В самой его бессловесности был залог нашей дружеской связи.

Я гасила свет и натягивала поверх пальто одеяло и все равно на рассвете чувствовала, как охлаждается земля, как скрипит ее ось и как одиноко ей совершать этот путь со всеми закопанными мертвецами и чуждым ей прахом жизни. Зато утром не было проблем с одеванием. Сложности начинались, когда, забравшись на дерево, принималась пилить, а в лицо — опилки, в бок — противная,

неудобная ветка, норовящая воткнуться в ребро, а дождь не унимается, и вода проникает за шиворот. Голова отваливается от непривычного положения, ножовка тупится, нога скользит по мокрой коре, а вокруг — никого. Заколочены дачи, закрыты ставни, недвижны ворота. Кончился сезон. Главное — подпилить ветку с другой стороны, иначе она сорвется и обдерет кору, и ты будешь мучиться, как будто кожу содрали с тебя. Такое случалось не раз; сколько глины и вара ушло на замазку, а веток, стволов и даже целых сухих деревьев сожжено на костре. Я уж давно вывела для себя формулу счастья. Счастье — это когда в дождь удастся разжечь костер одной спичкой, без специальных горючих средств, отравляющих зыбкий осенний воздух, и он горит как ни в чем ни бывало. Горит день. Укрытый, окопанный, тлеет ночь. Утром же, подкормившись хвоей, взвизгивает и призывает начать все сначала. Точь-в-точь — неугомонный любовник. Впрочем, в смысле страстей костер устраивал меня больше. Он полыхал, не опалия души. И не держал за пазухой камень, столь обязательный у предателей. Не ранил мелочностью интересов, опуская в подполье психических комплексов и перекрученных чувств. Он действительно красиво горел. Без сажи. Без задних мыслей. Желая собственного бескорыстного самосожжения. И подгонял скорей поворачиваться.

И опять на дерево, и опять в подмастерья Господа Бога. Вниз спускаешься очумевшая, сил закапывать падалицу уже нет. Мне хорошо оттого, что я умею кое-что делать руками, а не только сидеть за столом, и все равно, что мои волосы и одежда пахнут дымом, а плечи сделались как у каретника Михеева, которым у Гоголя похваляется Собакевич. Важно, чтобы свое прошлое сад получил в виде золы. Иногда я позволяю себе сжечь в костре собственную рукопись, или старые письма, или одежду, в которой работала, чтобы затем пустить в круговорот пепел своей жизни, — ведь не

каждому дано увидеть, как на нем что-нибудь вырастет. Да не просто вырастет, а порой вымахает так, что заберется ветвями на крышу домика или пронизет кроной электрические провода. Но это скорее мой промах, чем досадное своеволие деревьев. Кроме общения со стремянкой и связанной с ней непростой акробатики, оно ничего другого не обещает. Ведь перспектива трещин на шиферной крыше или короткого замыкания в проводах не устраивает ни меня, ни деревья. Как выполняется акробатика на стремянке да еще с двухметровым сучкорезом в руках, лучше не рассказывать: склонность к дурацкому риску не жаждет быть поднятой на смех. Несомненно одно: для такого па-де-де, как обрезка веток в электрических проводах, желателен напарник. А он не всегда под рукой. Бесплатно, как заметил один великий певец, поют только птички. Поэтому даже в случайных зрителях это представление не нуждается. Следуя мимо, они вовсе не горят желанием помочь, а лишь делают вывод о вашем финансовом положении. Логика здесь простая: если работаешь сама, значит нет денег кого-то нанять. Суждение спорное, даже несколько обескураживающее, но в мои планы не входит менять чьи-то извращенные представления. Лучше другое — делать обрезку в безлюдные будние дни. Добавлю, что у самолюбия много способов самоутверждения, у автотерапии — тоже, и что мои па-де-де не самые сложные из них, так что деньги тут, в общем-то, ни причем. Скорее дело в любви к искусству. Знакомые москвичи называют это тягой к экстремальным условиям. В основном те, для кого летнее отключение горячей воды в городской квартире — трагедия.

Итак, была осень, но не обычная, а настоящего яблоневого обвала, когда идешь по яблокам, а с веток они бьют тебя по башке. Уже некуда было закапывать падалицу, оставалось тащить на помойку. После дождей дорога была размыта, усыпана листьями. В лужах стыло отраженное серое небо,

закиданное отсохшими ветками тополей. Увесистый мешок ехал за мной и вдруг... На большой дороге крохотное серенькое существо и крик: «Караул!» Так в переводе с кошачьего звучало душераздирающее «мяу». Два типа поблизости не задержались с призывом: «Возьмите его. Бежит за нами от той аж калитки». Интересно, если бы не я, кому бы передоверили они сочувствие и частичку своей пьяной совести? Я подхватила котенка и пошла месить грязь дальше уже со всадником на плече. «Так это ваш?» — женским голосом спросил второй тип удивленно. «Ну, конечно, нет», — ответила я, еще не понимая, что союз с котенком уже состоялся и в чужом участии не нуждается. Существо вцепилось мне в воротник и не думало меня покидать. Оседланная, я вернулась домой и, подсев к печке, открыла чугунную дверцу, чтобы подбросить в очаг поленьев. Каленые розы сгоревшего хвороста шевелились у стенок и ворожили мерцаньем. Несколько минут нас оведало теплом горячей березы и всем остальным, связанным со словом «блаженство». После этого котенок спрыгнул на пол, и поднял ко мне невинное кроткое рыльце. И захотелось прижать его к себе и подышать шелковой нежностью коротенькой шерстки.

А когда существо признало во мне родительницу, я часто спрашивала: «Нюрочка, а помнишь, как мы познакомились с тобой у помоечки? Тебе было только четыре месяца». Нюрой она стала потому, что на солнце ее шерстка казалась голубой как у норки, и Нюра — это недалеко от Норы и близко красивой деревенской прохиндейке, на лобике и спинке которой просвечивало золотишко. Глазки ее напоминали крыжовник (есть такой — «английский бутылочный»), а нос горбинкой — профиль Анны Ахматовой. Кстати, легкая на помине Анна Андреевна окончила дни недалеко от нас, в Домодедове, и, когда в соснах мы собираем землянику, она не упускает случая прийти в голову:

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу,
Сосен дрогнули верхушки...

Я еще не поняла тогда, что первое «А помнишь?» выдало меня с головой. Мысль, работавшая в режиме монолога, потребовала диалога — этого свидетельства человеческой недостаточности, о которой намекал еще Бомарше, поймав меня на нехватке юмора. Нюра предоставила мне возможность беседы и вернула радость веселости. А еще благодаря Нюре с ее прохиндейской бедовой мордой и приклатненной походкой, я стала чувствовать себя сказочным существом — из тех, кого немцы называют «Кацен-менч», то есть человеком, своим среди кошек. Таким, говорят, был поэт Николай Клюев.

Но кое-кто увидел меня госпожой Ахавци из «Маленького Мука», такой шелестящей, томной, которая только и делает, что обихаживает своих котопеек, подкладывая им под головки подушки. Буду пока называть этого незоркого человека гостьей.

Она появилась вся в белом и длинном, вся устремленная к ирисам. Эти цветы как раз начинали свою быструю игру «три-на-три». Был июнь, месяц их коронации. Под солнцем, в сиянии своих воинственных мечевидных листьев, они беспечно поднимали венцом три изнеженных лепестка, показывая прохладную шелковую изнанку в искорках серебра, и тут же, словно изнемогая от жажды, выбрасывали языки, то есть три лепестка лицевой стороны с бахромой и путаной сетью узора. При этом не забывали благоухать, держа возле узловатого стебля три разведенных пластинки, отточенных как слоновая кость. Бутоны в виде острых крепеньких челночков пока не участвовали в игре, ожидая, когда окончится обряд коронации старших. Не знающие увядания, увенчанные свернутся вроде пустых резиновых шариков, и скользкими, влажными отойдут в мир иной.

На иерархической лестнице Флоры ирисы стояли достаточно высоко. Будучи любимцами мифической Ириды, повелительницы радуг, они царили в гербе вечно цветущей Флоренции наперекор крылатым чудовищам и прочим наводящим страх существам в гербах других городов. Художники полюбили в них утонченную красоту краткой ветреной жизни и возвели в символ модерна. Редкие орнаменты обходились без их лилового декаданса.

Приметливая гостя взяла за правило с ними общаться и пробиралась к ним каждое утро — молиться. Из окна было видно, как она склонялась, осеняла себя крестом, заводила глаза. Занятно было за ней наблюдать, думая о том, что несправедливо требовать от людей простоты, ведь это самое сложное в жизни. После молитвы она задерживалась и что-то шептала. Может быть: «Я вас целую, обнимаю, глажу», что нередко слышалось от нее в минуту прощания. А может, глядя на острые листья, — она слагала стихи в честь союза меча и лиры, ведь она притязала на сочинительство, и воображения ей было не занимать. Ее тихий, безжизненный голос, рассчитанный на образ кроткой послушницы, был мал для ее крупной фигуры. Слушая, хотелось иногда отвести ее в сторонку, сказать: «Не притворяйся. Я все про тебя знаю». Возможно, нашу Ириду потому и тянуло к ирисам, что они воплощали дух несовместности, заметный и в ней самой. Тогда же роскошно цвели пионы, но нашу Ириду их нега вовсе не волновала. Заметив, что кое-какие кусты начали осыпаться, она сказала, глядя на перистую белую опадь: «Падшие. В руинах теперь». Возможно, вид мужественных гладиаторских листьев ириса в сочетании с женственной повадкой его же цветов помогал нашей Ириде придерживаться того человеческого типа, в который она играла, называя себя «содержанкой». Критическое начало этого заявления обескураживало тех, кто не знал, что она замужем. Правда, при общении с ней становилось ясно,

что муж существовал не только для ее содержания, но и для ношения раскидистых ветвистых рогов. Наша Ирида не могла жить без того, чтобы его не обманывать. И все истории, связанные с этой захватывающей стороной своей жизни, она подавала под грифом: «Я патологически откровенна». Некоторые похождения она запечатлела на бумаге и привезла с собой, желая, чтобы я прочитала и высказала впечатление.

Черт бы побрал меня с моим обветшалым представлением о гостеприимстве! Лучше бы занималась садом! По крайней мере, длилось бы обаяние тайны, связанное с непрочитанной рукописью, предвкушение новизны. Однако нечистая сила решила иначе.

«Ну, как?» — однажды спросила она.

А голос

У ней был тих и слаб — как у больной...

Уже не Ирида, а пушкинская Инеза, вспомнилась. Та, о ком скорбел Дон Жуан близ Антоньева монастыря.

— О чем ты? — прошептала она тоном маленькой девочки.

Странную приятность

Я находил в ее печальном взоре

И помертвевших губах...

— Тебе не понравилось?

Ничего не оставалось, как распрощаться с Дон-Жуановой ночью лимонов и лавров, спросить без затей:

— А чего не рубишь дерево по себе? Сама — вся из себя, а любовники у тебя... Или калеки — без слез не глянешь, или старички — от ветра шатаются. Главное же, те и другие от нечего делать. Зато сама в полном праве.

— А другие, знаешь, что со мной учинят? А я не хочу быть жертвой.

— Ну а проза?.. Художественная, конечно. Причем здесь, когда без отвращения читаешь жизнь свою? — и, переиначив пушкинское: «*И с сожалением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю...*», почувствовала нечто зыбкое в самом воздухе разговора.

— Господь с тобой! Как причем! Человек нежно и кроважно рвет незабудки. Наклоняется и говорит: «Можно взять вас с собой?» То есть оборвать ваш миг. То есть ваш век. И слышится: «Обрывай». Я же никого не принуждала. По доброй воле это не грех.

Ну что было делать, если литературу стали путать с медициной, предлагая в качестве романов, повестей, рассказов истории болезней, требующих не тиражирования, а исключительно дезинфекции?! Пришлось сказать:

— Человек, между прочим, силен не тем, что делает, а тем, что не делает. То есть *что* именно не пишет. А на бесспорное никто не посягает.

— А разве человек — абсолют? Он не имеет области ясного выражения. Иногда это сладкий комок крахмала, большей же частью медуза, коротающая на песке свое умирание.

— А ты скажи все это батюшке. На исповеди. Ты же верующая.

— Батюшке!.. — усмехнулась она. — Но ведь и он мужчина? Не всем дано вникать в чужое исповедание. Подробности увлекают. А когда их излишне, и у батюшки душа цепенеет, а плоть распяляется. Я же его не приветила, и тогда услышала: «Ступай вон, содомитка».

— Вот уж для ада история.

— Не думаю, что для ада. Просто он суд чинил, а был в своей черни, и взять его не тянуло. Мне ночь — не закон. Я мужа бросать не собираюсь: с кем венчаться, с тем и кончаться.

— Святой человек!

— Мизантроп мой Валентин Алексеевич. Людей ненавидит. На полном серьезе считает, что изменить жене все равно, что изменить родине.

— А ему просто жалко глаза твоей соперницы.

— Да я бы ее как сестру обняла. Ноги бы мыла и ту воду пила.

Разговор становился опасным. Несколько скользким. Хотя, батюшка мне понравился. Не занимается дезинфекцией, самого под хлорную известь тянет. Может, и я соблазняюсь не тем... Да что наводить тень на плетень! Материал так и просился в руки. Колорит, фактура, типаж... Или я отупела от земледелия. Будущий рассказ можно было назвать: «Целую, обнимаю, глажу».

Все это не мешало мне относиться к ней хорошо и даже (о, Господи!) находить кое-что похожее в своей биографии, которую по части любовных историй образцовой не назовешь. Правда, я предпочитала молчать, но от этого истории не становились более нравственными.

— Кстати, — сказала я, — незабудки — это тебе не какая-нибудь трава забвения. Знаковые цветочки. Лучше не трогать. «Не чипай лихо, — говорила Лидия Владимировна, — нехай лихо спит».

— Почему?

— Иногда высшей силе ничего не остается, как перевернуть страницу Исайи.

— Может быть... Знаешь, теперь на лопатки меня положило лето. Я смотрела в небо и чувствовала себя сотворенной из той же субстанции, что облака. Они соединялись, звали меня, и это постепенно сбывалось. А еще я смотрела в пространство между деревьев. Там был разрыв, и тут мы увидели друг друга: дух сада и я. И мне захотелось прочесть духу стихи. Можно я почитаю?

И читала. Конечно, звучал Пастернак. За городом самый обожаемый автор. К нему и другие гости питали пристра-

стие, особенно когда несешь из колодца воду или копаешь грядку. Подходили и голосом небожителей начинали: «*Мне Брамса сыграют, Тоской изойду...*» Прервать течение возвышенных строк не поворачивался язык. Приходилось терпеть. Утирать лоб косынкой. И вспоминать анекдот — про Иванова и сольфеджио. Действительно смешной. Заодно отдыхать.

В очередной раз, когда гостя стала душить меня Пастернаком, я остановилась, опустила полные ведра и попросила доставить их на веранду.

— Ой! Я же платье залью и буду вся мокрая, — сказала она тихо. — Я лучше в дубраву пойду. Можно?

Звук ее голоса вмещал что-то еще кроме слов. Может быть, ледяное дыхание сердца. А может, что-то иное... Мутное и двусмысленное. Я глянула на антоновку, возле которой разрослась земляника, и ясно почувствовала святость природы.

Нюра как раз переживала свой первый в жизни роман с четвероногим кавалером, настоящим де Грие, они не отводили глаз друг от друга. Все, что я знала о кошачьей любви, бледнело перед церемонностью этой пары. Это не был помоечный роман на скорую руку. Так опытный сердцеед дорожит невинной подругой и сам не опускается до легкой победы. Влюбленные не разлучались. Они нежились на травке, гуляли по рейкам забора, грелись на песочке, уединялись в шалаше, где скамеечка служила даме пьедесталом, а земля — подножием кавалеру. Дошло до того, что на ночь глядя Нюра привела его в дом, словно затем, чтобы честь по чести представить. В комнате и увидела их, обожающих друг друга глазами. За мной тихо последовала гостя, но идиллия вывела ее из себя. «Скунс! — завопила она — Выгнать его! Иначе мы задохнемся. Удушит пахучими метками...» Словом, ясно — все когда-нибудь поднимались по черным лестницам (и спускались тоже, особенно в коммунальные времена), помним их запах. Но

дело не в этом. Голос... Прямо скажу — фурии. Уж и не знаю, который лучше: прежний безжизненный или этот, базарный, безжалостный. «Скунс!» — повторился еще пару раз и пропал так же быстро, как и возник. Привычка играть взяла свое, однако надо уметь, выскочив из роли, с места в карьер вскочить и дать мне повод посмотреть на нее повнимательней. И заметить сквозь напускное спокойствие мрак упертой досады в глазах. А мне так хотелось неведения! То есть ангелоподобия. Ведь Бог дал ей талант. Но кто-то иной, наделив бесчувствием, измельчил дар, перечеркнул.

Неугомонному де Грие пришлось замкнуться под крыльцом и тише воды, ниже травы до утра дожидаться подруги.

Утром, когда любовная парочка возобновила церемонии, гостья сказала:

— Мне не то чтобы грустно или завидно, а как-то вдруг сделалось ясно то, чего у меня нет... Даже не то, чтобы нет... Просто кошке даровано больше, чем мне. А ведь я тоже кошечка.

И, взяв плед, обволокла себя им на диване, свернулась, затмив круг ломких теней, которые посылало солнце сквозь листья.

Потом прозвучало:

— Можно я в дубраву пойду? Не то, упаси Бог, наткнусь на их брачевание.

И тихо, покорно двинулась к калитке, проследовала мимо ограды, вся в белом, бледная, с темными волосами. Вернувшись в полдень, пролепетала: «А я тебе веночек принесла. Можно надену?». Легко представить, что выражало мое лицо под этим веночком, когда руки по локоть в глине, которую месишь, собираясь замазывать раны деревьев. Конечно, безмятежностью Флоры оно не отличалось.

Все эти дни стояла жара, и она продолжалась, но для гостьи это была только хорошая погода, потому веночков набралась целая горка. В конце концов, я спровадила все

на помойку и тем выместила досаду на беса безделья, который уводил ум моей гостьи лишь в одну сторону, где она чувствовала себя, как рыба в воде.

— Вот я была молодая и козлоногая, — начинала она, — а любовник у меня был на сорок лет старше...

Выкладыванию растопки для будущего костра такие высказывания явно мешали. Я замирала с раскрытым ртом, все забывала, и башенка щепок рушилась.

— Мы располагались нагие, — продолжала она, — и тонкая полоска дамасской стали зависала над нами.

А у меня тем временем рассыпались все спички из коробка, словно и на них находил непонятный дурман. С костром тормозилось. Чайник рядом оставался холодным, потому что без огня какой кипятик, электричество же в домике отключили, а газовой плиты не имелось. Суп из топора тоже чего-то ждал в кастрюле под яблоней, а денег на более интересное кушанье никто не собирался давать. Тем более святой дух, который взял на себя лишь заботу о наших талиях и сократил их как следует, о других же важных вещах не подумал.

Затем вступал в силу рефрен: «Я патологически откровенна», и уже не просто смелые, а прямо-таки лихие изложения слетали с ее языка. Меня, правда, никто не заставлял слушать, но все было так интересно, непринужденно и как бы само собой, что уберечься, не показавшись себе же! ханжой, было сверх сил. Как не вспомнить хлорного батюшку. Видно, и ему свела дыхание смесь утонченности и разврата. Да еще поданная голосом девочки. Это уж потом я спохватывалась, корила себя, что не научилась извлекать из чужих слов лишь познание, и как соучастница на виду своего же сада самым слушанием входила в круг человеческого распутства. Но было так увлекательно! Кстати, и книга, в которую время от времени ухитрялась заглядывать, поддерживала меня в этой мысли. Как нарочно, явилась.

Присланная из Ярославля поэтом Леонидом Королевым. То был Казанова, «Мемуары». Гостя потом взяла у меня книгу и нашла очень скучной. Действительно, перед пассажирами гостьи записной жуир-итальянец — мальчишка. Ему душа какая-то требовалась, благородство... Человечность какая-то. А блеск ума, изящество фраз — это гостья оставила в стороне как старомодную чепуху, которая только суть затмевает. «Я беспощадна!» — сказала она. И впервые на ее бескровном лице возникла подлинная, непритворная, гордость. Почти как печать. Как знак победы жизни над немочью. И выражение это почти убеждало меня, что нежность, раскаяние, сострадание вряд ли нужны в этом мире, а нужны глупость, хамство, лукавство, коих и мне было не занимать, а раз так, то нечего изображать из себя овечку. Но все равно... Внутри что-то сопротивлялось, что-то цеплялось за «чудное мгновенье» и говорило: нет! нет!! нет!!! Надо отдать должное и Казанове. Словно предчувствуя подобное равнодушие, он отверг будущую читательницу еще двести лет тому назад, потому что его пером, мне показалось, водили не только любовь к бабьим юбкам и эротический зуд, а гениальность стилиста и отвага художника. И все, кто к этому безразличен, ему да-а-авно не нужны. По части же дамских прелестей он тоже имел к ней претензии. У него, поклонника библейского Олоферна (сам признается), моя русалка успеха бы не имела. И вот почему. Вместо ножки у нее была настоящая лапа, под стать ее росту. Головой за нее Казанова не поплатился бы, как Олоферн за Юдифь, плененный ее крошечной ножкой, которая хорошо видна на картине Джорджоне. И снова бы подписался под строками на странице семьдесят первой, где речь об одной итальянской актрисе: *«Но я не поддавался ее прелестям. Браслеты и кольца, в избытке унизывавшие ее пальцы, не заслонили от меня слишком широкой и мясистой руки; и, несмотря на ее старанья скрыть свои ноги, предательница — туфля,*

выглядывавшая из-под платья, достаточно мне обнаружила соразмерность их высокому ее росту, ту неприятную соразмерность, которая не нравится не только китайцам и испанцам, но и всем обладателям изящного вкуса. Высокая женщина должна иметь маленькую ступню, и это вкус не новых времен, ибо им обладал господин Олоферн, который иначе не пленился бы госпожою Юдифью: «И сандалии ее прельстили взор его».

К испанцам и китайцам я прибавила бы имя Лидии, в саду которой русалка гостила, не затруднив себя даже поинтересоваться ею, отдать дань ее тени. Восхититься силой ее характера и красотой маленькой ножки, которая видна на фотографии, прикрепленной к стене. Вообще многое, связанное с этической стороной жизни, было передоверено моей гостьей слову «содержанка» и как бы находилось под его покровительством. И если я смотрела на это с любопытством, то Лидии это активно не нравилось. Она терпеть не могла людей, для кого самым большим событием за день было разворачивание облака на небе или протягивание руки к яголке. Может быть, тень Лидии и устроила так, что погода нахмурилась, пообещала дождь и подняла гостью в обратную дорогу, а мне внушила конфликтное чувство против себя. «Но разве я виновата, что в пороке столько обаяния?» — оправдывалась я перед тенью. «Ты увлекаешься мнимым. Есть главное и о нем надо помнить», — вот и все, что Лидия отвечала. А ночью, приснившись, сказала: «Запомни, в яблоневоm саду зародилось человечество». Интересно, что гостья, превратившись в Ириду, с тем и осталась, хотя у нее было настоящее имя — в честь прекрасной святой, записанное в паспорте. Но я не приняла его во внимание, следуя одной из любимых поговорок Лидии Владимировны: «Далеко куцему до зайца». Обезличенная, гостья внушала доверие больше.

Были и другие ночи, когда Лидия Владимировна являлась проведать, остепенить. Однажды я сказала: «Не зря же Николай Алексеевич написал: “Будь с оглядкой, голубок, омут сладок и глубок”». Лидия знала, что под Николаем Алексеевичем имелся в виду поэт Клюев. Ее, прозорливую, несколько удивило, почему в круг чувственного притяжения попал мужицкий кошачий Клюев, а не аристократичный рафинированный Блок или сладостный Мандельштам, не бесстрашный романтический Гумилев или изысканный Кузмин, но на этот вопрос ответ следовало искать в моей склонности к соединению несоединимого. Казалось, выводя чувственное начало из почвенного, я сближала пошлый сегодняшний день с далеким мерцающим днем Серебряного века, бывшим сто лет назад. Но, сближая, влеклась вовсе не к разложению радуг над декадентскими ирисами, пусть и прекрасному на вид, а к солнечному Иному, в котором поэзии был чужд подручный карманный сор.

Оскорбленный моим бездельем, сад зарос и начал стряхивать желтые листья, земля задубела, потрескалась, цветы привяли. Лишь Нюра прощала мне все. И невниманье, и свою худобу, и желанье сорвать на ней зло за дополнительный физический труд. Когда я начинала беситься, она прыгала мне на грудь и обнимала шею. Лапки смыкались чуть ниже затылка — и все... Из меня можно было веревки вить. Ни одно существо в мире не имело надо мной такой власти. Тем более усатое. «Уж если ты на ножах с любовью, — слышалось мне в преданном мурлыканье, — то учись переводить низшую энергию в высшую, творческую, и здесь собирать свою жатву».

И вот, гостя уехала, а «Целую, обнимаю, глажу», повисшее в воздухе у калитки, не сдвинулось в сторону прозы. И тогда тоже звук ее голоса вмещал больше значения, чем сами слова. Что-то за гранью привычного, подозрительное, мерещилось в нем, мешая заняться делом. И сожаленье о

том, что не смогла зарядить гостью токами творчества, не проявила рвения в дружбе. Ох, эти интеллигентские вибрации духа! Высокие материи! «Какая дружба? — говорит один из героев Островского (драматурга). — Я — человек женатый». Но драматург вспомнился позднее, когда спустя несколько дней подалась в Москву поливать цветы на окнах квартиры и услыхала звонок... Нет, не бывшей Ириды... А ее матери, настроенной на истерику. И не важно, что я не давала ей номер своего телефона и знаю ее лишь заочно и вообще не выношу грязных слов да еще в адрес собственной дочери. В тот момент, когда приложила трубку к уху, предпочтительней было и даже уместней, чтобы раздалось что-нибудь другое, а не то, что услышала я. Но она сказала то, что сказала, а я не пожелала на это ответить и унять ее ревность. Не пожелала, потому что «Целую, обнимаю, глажу» обрело вдруг недостающий смысл в лице нового персонажа. Его имя Иван Иванович, он — отчим Ириды, стало быть, муж разъяренной звонившей гражданки, которая требовала «правды и только правды!». От меня, «посвященной подружки». Но я, увы... Не оправдала надежд.

Так и осталось неясным: кто кого соблазнял и что там возникло между падчерицей и отчимом, только мамочка, она же супруга Иван Ивановича — законная, верная, ненаглядная, поливала дочурку последними словами и сама лезла на стенку. И продолжала требовать правды, которая раскроет ей глаза и выведет доченьку на чистую воду. И там, на этой чистой воде, маменька или удавит ее, или прикончит как-нибудь по-другому, потому что нет сил терпеть... Здесь матушка популярно объяснила, что именно терпеть. При этом голос у нее был словно пропитан жидкостью, из которой составлены передовицы центральных газет, а набор слов мог обогатить лексикон наших ведущих писателей, которые хвалятся своей авангардностью. Ну, как удержаться и не посочувствовать Ирине, как не позвонить

ей и не сравнить с ирисом, который волей таинственных сил превратился в мою подружку, до того неистовую, что радуги пронзали ее вместо того, чтобы возноситься дугой. И позвонила. Но не тут-то было. Мое сокровище и не подумало подойти, занятое обедом, вернее — священнодействием поедания. За кадром муженьку объявило: пусть хоть потоп начнется и полетят камни с неба, пусть высшие силы пригрозят в соляной столб ее обратить — она не доступна и все. Вот тут при слове «недоступна» Александр Николаевич, то есть Островский, он же — драматург пьесы «Свои люди — сочтемся» — и дал мне урок относительно дружбы. А следом мэтр-эталон Орфенов, живой классик из Дмитрова, уже с помощью телефонной связи возымел к недоступности такое отвращение, что сказал: «Чего нету под рубашкой, на рубашку не пришьешь». И пожелал мне посадить собственный гнев на цепь.

Голос невозмутимого спокойствия с нотками укротителя и садистского превосходства подействовал. Ударил в голову как нашатырный спирт, поднесенный к ноздрям. Отрезвил. Правда, никто не давал Орфенову полномочий приводить меня в чувство, но не согласиться нельзя: он прав.

Чтобы представить, кто такой наш дрессировщик, скажу: Орфенов принадлежал к тем драгоценным и в то же время страшным людям, которые не позволяют себе любить ничего, кроме искусства, и в этом качестве доходят до помешательства. Когда же человеческая природа берет в них верх, они пробуют договориться с собой, начиная искать рая за пределами доступного. Идея возлюбленной — ангела, например, не покидала Орфенова никогда. Он желал беречь и лелеять своего ангела. Быть около него, чтобы поддерживать, улучшать его биографию. Возможно, с житейской точки зрения это бред, зато творчески — продуктивно: Орфенов написал несколько оригинальных вещей, обыгрывая тему любовных свиданий с достоинством настоящего мужчины,

а не какого-нибудь пустослова, решившего, что проза — место, где избавляются от сексуальных комплексов. Были и другие серьезные качества у нашего укротителя. В частности, Орфенов не кантовался с московской литературной *шоблой*, которая лезла в верха, представляла и обслуживала новую власть, не имея за душой ни большой темы, ни настоящей биографии, ни, что совсем непристойно, своей интонации. Избежав в своем дмитровском захолустье столичной порчи, мэтр-эталон, таким образом, сохранил содержание человечности процентов на девяносто, тогда как в центре оно падало до пятидесяти-сорока.

Нас снова сделалось трое: сад, Ньюра и я. Но с уходом лета явилось четвертое — наваждение. По случаю прочитанной новой книги, сменившей Казанову по части дарений. Книга была смешная и нежная. Слова в ней играли как самоцветы. И автор не рядился в одежды рокового любовника. Но голос у него был такой, что останавливал интонациями и что-то делал со мной. Он не призывал догонять свою юность. Он ее догонял, целовал и омывал ей лицо шампанским.

В наваждение я посылала собственного двойника и там сгорала, безразличная ко всему, кроме емкого точного слова. Со мной была нежность, вычитанная из строк, к ней приникала, хотя знала: в прострации все двойники. Между тем в каталоге моих поражений уже значилось имя таланта, чью жизнь исказила подлость, и за неимением ничего от обманутой или покинутой я маялась время от времени дурью гордыни, не собираясь ставить себя на место. Зато это сделало наваждение, начав стихию страсти с нуля. И скоро потребовало полного сумасшествия, в которое ринулась... Однако сад остановил на пороге. Он не требовал жертвы, лишь напомнил о долге. А долг и любовь... Они ведь дружат? По-моему, дружат. А если нет? Если подменяют друг друга и закрывают на это глаза?

Нюра тем временем коллекционировала запахи и гоняла мышей, деревья пестовали плоды, а я гасила себя работой. Все мы умели по запаху и направлению ветра определять погоду и чувствовали, что настоящие холода не за горами. Мы трудились, не покладая рук, лап и ветвей, но работы не убавлялось. Дело портила райская яблоня — могучая, раскидистая, с несколькими стволами и кроной, в которой непонятно чего было больше: листьев или яблочек — их называют еще и китайскими, — со своими лаковыми тельцами и засахаренными черенками они неподражаемы в варенье. Однако было не до варенья, яблочные детки сыпались при каждом порыве ветра, или когда на дерево садились птицы. Однажды при посещении стаи, китайка сбросила добрую половину плодов. Что-то попадало в траву, часть — на грядки, дорожки, цветы. Дождь превращал эти дары в кашу; подсыхая, она покрывалась коркой. Никакие грабли или иной инвентарь здесь не годились, поэтому сама я уподоблялась граблям, которые ползали и руками сгребали этот ненужный слой (кто знает, что такое состав и кислотность почвы, меня поймет). Лучше всех справлялась со своими обязанностями Нюра. Она забиралась в заросли ландышей и лишь кончик хвоста, как перископ над водой, выдавал ее продвижение. В этих джунглях Нюра караулила мышей, иногда попадались лягушки — слышалось дикое кваканье, и мне приходилось вмешиваться. С той поры, как ежи сократили свое население, мыши повадились устраивать в доме настоящий шабаш. Незваные гости появлялись ближе к осени и вначале вели себя тихо, оставляя визитные карточки в укромных местах. Но через какое-то время!.. К тому же хвостатые решили, что обосновались у Гофмана, Эрнст-Теодор-Амадея. В романтическом царстве Щелкунчика под властью Мышиного короля. Стоило лишь погасить свет и улечься. Они мастерски умели создать впечатление, что на свете только они со своим грандиозным шорохом. Казалось,

не маленькие норушки скребутся в углу, а гигантские звери. Столь же мастерски компания заполняла пространство играми. Мыши носились друг за другом, устраивая скачки, не разбирая где мебель, где человек. Их не заботило, что мой лоб или плечи не приспособлены под дикую свистопляску, которая в ночи представлялась бегами на ипподроме. На шиканье они хотели плевать, и гнали за кругом круг, гикая и вопя. И все по лбу и плечам. Нюра положила конец подобным бесчинствам. Она затевала свою игру и, пока кого-нибудь не ловила, не унималась. Каждую ночь Нюра притаскивала мне в кровать очередного мышиноного дурачка, чтобы и я поиграла. А я с визгом выскакивала в ночь. Нюра летела за мной, но в судьбе выброшенного заморыша я уже не участвовала. Свечение листьев под звездами мгновенно устраивало так, что на душу сходили мир и покой. Чары ночи наделяли безгрешностью в самых лунных желаниях. Но что в них! Они оставались желаниями. Никто не торопился ко мне. Я была на свете одна с несбывшимся наваждением.

После восьми выскакиваний, которые не всегда отзвывались в душе раззором лунного блеска (были и простые мрачные ночи), недели за две все мыши были изведены. В домашней темноте стали слышаться лишь журчание электрического счетчика и мурлыканье Нюры. Но сердцу от этого не стало покойнее.

А тем временем полетели желтые листья, и соседский клен напротив нашего окна в одну ночь сбросил одежды. Сбросил на то самое место, где стоял возле калитки первый хозяин соседского дома Дмитрий Иванович Павлов. Лидия говорила, что он — сын земского врача, и надо быть ею, чтобы так понимать слово «земский». Безоговорочным признанием высшего качества звучал ее голос. Дмитрий Иванович стоял возле калитки в белой сорочке, расстегнутой наверху, и казался родней июньского вечера, который вбирал его в свое постепенное угасание. Лишь цвет сорочки

не поддавался закату. Когда мы подошли, Дмитрий Иванович спросил: «Вам чем-нибудь помочь, Лидия Владимировна?» Спросил так, словно тепло сумерек перешло в его голос.

Клен, конечно, не помнил его, как не помнила дорога в щебенке и многое, что явилось позднее, зато тень Дмитрия Ивановича придерживалась этих мест, как будто понимая, что здесь обитает его душа. Ей, душе, теперь вряд ли понравилось бы, что желание помощи, которым она жила, остыло в людях, хищническая круговерть замутила глаза и обратила соседское бытование в торжество сребролюбия. Казалось, вопреки физиологии люди стали смотреть не для того, чтобы видеть, а чтобы не видеть, что кто-то в чем-то нуждается.

Наследники Павлова обычно жили до снега. Их свет в окошке был тем светом, перешедшим в иносказание, которое употребляют, говоря о чем-то большем. Их свет в окошке со временем стал частью нашего сада, как остальное, что грело уже тем, что оно есть. Однако на сей раз они съехали рано, и нам суждено было встретить первый снег самим. Мы стояли на крыльце и видели, как он падает на белые флоксы — они цвели редкими одинокими цветочками. На наших глазах все обращалось в белое, даже сиреневое семейство безвременника — эта копия весенних крокусов; так осень не признавала саму себя, утверждая весну. В такую погоду хорошо сидеть у печки, слушать музыку горящих дров (от одного звука теплее), вдыхать запах березы, подсыхающих яблоч, шиповника, но мы не могли этого делать, потому что успела прохудиться наружная труба нашей «буржуйки», не было тяги, и дым валил внутрь комнаты. Если бы не асбестовая рогожа, припрятанная в сарай по старой привычке барахольщика, и не знаю, что было бы. Я обмотала трубу этой портянкой, вид домика стал и вовсе открыточным. А снег падал и таял, и скоро все обрелось в прежнем виде, только мокрое и грязное. Семейство безвременника, правда,

сделало вид, что ничего не случилось. В конце концов, и весной падает снег, но это не значит, что нужно менять свои планы и склонять голову. Иней доставлял меньше хлопот, чем снег, хотя разил сильнее. Помнится, в одну ночь поставил на колени всю коллекцию астр в палисаднике. С переломанными хребтами они уткнулись головками в землю и больше не поднялись. Плети дикого винограда висели, как ошпаренные кипятком, отделившись в плачевной памяти от пейзажей древних германских легенд: о Тангейзере и Лоэнгрине. Одна диморфотека сохраняла спокойствие среди побоища. Она смотрелась в зеркальце льда, верная фамильным устоям своего ромашкового семейства, и не гнулась. За оградой, да и на прочих голых местах, трава была белая и только в саду зеленая. Но в эту пору зеленый цвет под деревьями не радует глаз, как всякое, что не ушло под черный пар и оставлено на потом. А «потом» может быть, а может — не быть. Но если все же руки дойдут до перекапывания приствольных кругов, то работа превращается в испытание: а вдруг подвернется лягушка? На зиму лягушки зарываются в землю, впадают в спячку. Однажды, перекапывая, я поранила ни в чем не повинное существо и впредь зареклась нагонять свое упущение за счет чужого несчастья.

А райские яблочки продолжали падать и расшибаться о робкий снег, который сделался сплошь в красных брызгах. Я уже не сердилась на них, проникнув в мудрость восточного зеленого патриарха, словно вышедшего из географической части Библии, когда был один только Рай, и никто не нуждался в заботе. До меня, наконец-то, дошло, что могучее дерево потому и сбрасывает яблочки, чтобы человек нагибался и тем держал себя в физической форме. На фотографии крона этого дерева кажется рассеченной — дельтой стволов и ветвей, объявшей собою течение человеческих лет.

Однажды я показала фото известному скульптору и услышала: «Слушай, у тебя сад, как у Клода Моне». Приняв в виде слов этот орден Почетного легиона, польщенная, в тот же день я решила наградить себя бокалом вина, но выпить его в обществе самого зеленого патриарха. Однако судьба припасла другого партнера.

Тогда, выйдя из электрички, я уже подошла к концу платформы, собираясь спуститься по лесенке, как услышала, скорее спиной, чем ушами: «Подайте на хлеб». Видно, жажда компании обернула меня к тихому голосу. Подошла. И ясней увидела на скамейке согбенного и несчастного. В старом сером плаще.

«На хлеб это сколько?» — спросила. «Полтинник», — ответил он скромно, имея в виду полсотни. «Между прочим, я без билета проехала. Напрасно решили, что я богачка». — «Тогда сколько не жалко». Покорное чужое молчание будоражило мое любопытство: кто он? что с ним случилось? Почему укутался в плащ? Он не стал томить ожиданием. «Из зоны, — сказал. — Нахлебался баланды, больше не надо. Лучше, думаю, попрошу». — «Завидная мудрость. Грабеж — дело не из приятных. Можно опять налететь». — «Я за убийство сидел». От неожиданности я внутренне отшатнулась, что, впрочем, не помешало проявиться осведомленности: «Сковородкой или ножом?» — «Кулаком». — «Ничего себе кулачок», — сказала и на всякий случай отступила подальше. Посмотрела с опаской. Он выпрямился под взглядом, тряхнул головой, и я увидела уже не согбенного, вовсе не старика, а битого жизнью красавца со следами буйного прошлого на лице. «И не думал никого убивать, — и что-то невыносимое в голосе, какая-то страшная правда заставила меня даже не замолчать, а заткнуться. — Само собой получилось». — «И сейчас пьете?» — спросила, чтобы не выглядеть окончательной идиоткой. «Нет, на хлеб намазываю, — сказал. — Потому на хлеб и прошу». — «Ладно, черт с тобой!» — ответила,

сократив дистанцию до предела. И по-пижонски выплеснула из вынутых пластиковых стаканчиков распечатанный йогурт, а затем из сумки вытащила бутылку, подала ему открывать. «Ого», — свистнул он, прочитав на этикетке название. «Значит, не перебесился?» — «А надо?» И опять, как в саду под деревом, с Иридой, я вспомнила анекдот про Иванова и сольфеджио, смешной невозможно, ну смешной до истерики, но уже огласила его со всеми матерными словами, присоединив тост: «за дерево и за тебя». И чокнулись скорее душой об душу, чем пластиковыми стаканчиками.

Наверно, не надо было этого делать — сразу уходить от него. Он не осмелился даже просить, чтобы осталась хоть на минутку, ему так не хотелось допивать вино одному. Я угадала это по пробке, которую вогнал в бутылку по горло. Ведь он не знал, что я кинулась за своим наваждением, воскрешенным красным бургундским вином.

И опять посыпались опилки в лицо и за шиворот, по сырым стволам заскользили ноги. А дождик сеял, словно желая разделить со мной компанию, — заботился, чтоб не осталась одна. А тут на голову откуда-то с верхней ветки сваливается утешение — в усах, полосатое, меховое, оно соскучилось и мало заботилось, что может сорвать меня вниз вместе с ножовкой.

И все-таки настал день, когда нагруженные яблоками, мы двинулись в город. Закрыли домик, чтобы перенести свою сказку в мир полуфабрикатов и вторичной реальности. Но без приключения сказка перестает быть таковой. На платформе тонкие чувства Ньюры не выдержали звука подъезжающей электрички, в панике она выпрыгнула из коробки. Я осталась с мешком яблок, которые сами катятся только в частушках. На другой день я разыскала беглянку в кошачьей мафии, недалеко от помойки. Взрослые кошки пригрели ее как малолетку, как Оливера Твиста — Феджин.

Вот и все, если не считать пустячка. Мы закрыли домик, а зимой его взломали. Пошное ограбление. Но это уже другая история, из другой оперы, которая называется «Криминал», о другом начинании, когда вид выставленного стекла вызывает одно желание — скорей забить окно досками, когда по морозу гвозди прилипают к рукам, а за досками топаешь в снегу по колено. Но все это было потом, а поздней осенью мы покидали сад как место, где познается Бог вне церкви и прихожан.

На повороте я оглянулась и помахала саду рукой. Наверно, сад увидел меня очень маленькой.

Февраль 2010 г., Москва

Содержание

От автора.....	3
ЧАСТЬ I. НИЗВЕРГНУТЫЕ.....	5
КОЛЫМА СТАНОВИТСЯ ТЕКСТОМ	
Орфей, ты только убит.....	7
Венера в бушлате.....	37
На дорожке золотого забоя.....	57
Холодный Освенцим.....	74
Логический сбой.....	96
В строю проклятых (О Леониде Бородине).....	109
Иосиф Бродский, Исая Берлин и королева-бродяга...	130
Трава времени.....	146
Женщина-катафалк.....	177
Дежурный офицер узника № 7.....	183
ЧАСТЬ II. МИР БЛАЖЕННЫХ ТЕНЕЙ.....	195
Недобитые, праздные.....	197
Двор рыжих лилий.....	253
Сад, 1987. Давнее происшествие.....	268
Одиночество мужчин и котов.....	290
Русско-американское воплощение денди.....	325
Памяти погибшей сирени.....	349
Русские и немного шведов.....	363
Город, Домбровский и мы.....	376
Коронер.....	384
ЧАСТЬ III. СЛЕДУЮЩАЯ ЖИЗНЬ.....	409
Орфенов, мэтр-эталон.....	411
Слышится тишина.....	433
ЧАСТЬ IV. ПЯТЬ ЭТЮДОВ К АВТОПОРТРЕТУ.....	443
Высокое-высокое дерево.....	445
Таврида.....	464
Человек с улицы.....	475
На том месте земля была липкая.....	484
Время года — сад.....	494

Литературно-художественное издание

**Шубина Валерия Семеновна
КОЛЫМА СТАНОВИТСЯ ТЕКСТОМ**

Издатель Леонид Янович

Корректор Олеся Плех
Верстка Вера Брызгалова
Обложка Ульяна Янович
Технический редактор Евгений Янович

Налоговая льгота —
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

НП Издательство «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»
Контактный телефон +7-916-651-3094
по вопросам реализации +7-985-427-9193
E-mail: nkhronograf@mail.ru
сайт: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати 10.11. 2017
Формат 84x108/32. Бумага офсетная №1
Печать офсетная. Усл.-печ. л. –16,5
Тираж 500 экз. Заказ № 806

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

ISBN 978-5-94881-402-5



9 785948 814025



Валерия Шубина – прозаик, эссеист, публицист. Автор ряда книг прозы, в том числе «Мода на короля Умберто», «Гербарий огня», «Женщина-катафалк», «Недобитые, праздные», «Портрет из холодного воздуха», а также очерков об охоте «Станица золотого фазана».

МОСКВА  ХРОНОГРАФ

